ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 2. 1—208.

ISSN 0321—1878



2

1991

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

«...Программные цели и задачи:

Публикуя произведения художественной и документальной литературы, журнал «Звезда» выступает в защиту прав человека, равноправия и содружества народов, высокого престижа культуры и духовной свободы всех граждан страны.

Журнал независим от политических партий и массовых движений, а также от каких бы то ни было писательских групп и объединений.

...Источники финансирования:

Доход от реализации тиража журнала и приложений, доход от публикации рекламы и объявлений, добровольные пожертвования частных лиц и организаций, иные источники, не противоречащие действующему законодательству».

ВНИМАНИЮ
ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Будущее вашего журнала в ваших руках!

СВОИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

вы можете перечислить на наш расчетный счет
№ 14000608435 в Дзержинском отделении ЖСБ Ленинградской городской конторы Госбанка. МФО 171047.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНЫ!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Звезда

2
февраль
1991

ЛЕНИНГРАД

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ: СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР   ИЗДАТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20
Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 20.10.90. Подписано к печати 12.12.90. Формат 70 × 108 1/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 24,84 уч.-изд. л. Тираж 142 220 экз. Заказ № 756. Цена 1 р. 60 к. по подписке.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Борис Хмельницкий

ЯСНОВИДЕЦ

Пьеса в 2-х действиях

> «Теперь — быстро — проснуться... проснуться... проснуться... проснуться...»
> *М. Фриш. «Граф Эдерланд»*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(в порядке появления)

ПЕРВЫЙ — образованный гражданин.
ВТОРОЙ — малообразованный гражданин.
МАЭСТРО — ясновидец из Театра эстрады.
РЫЖИЙ — его партнер по представлениям, шут.
ДОКТОР
МАРИЯ — вокзальная проститутка.
ПАССАЖИР — любитель стрелкового оружия.
ЖЕНЩИНА
ПОДРУГА
МАРК
САМСОН
ВЛАСТИТЕЛЬ
ЕЛЕНА
ОХРАННИК
ГОРНИЧНАЯ
ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Членами государственного совета могут быть те же Первый, Второй, Пассажир, Женщина и Подруга, соответственно обозначенные как 1, 2, 3, 4 и 5 члены совета. Это не формальный прием: властолюбцы, как правило, люди одной породы.

ДЕЙСТВИЕ 1

Зал ожидания. Когда-то это был замок — узкие вытянутые окна, в которых еще кое-где сохранились цветные витражные стекла, толстые стены, уходящие ввысь своды на колоннах... Однако деревянные скамьи-диваны, киоск, набитый вокзальной снедью, небольшой тир в глубине зала и голос диктора, изредка звучащий по внутренней связи, говорят о том, что замок превращен в вокзал. И очень давно — на всем лежит печать запустения.

Вечер. У стойки тира упражняется в стрельбе Пассажир. За его действиями наблюдают две женщины-приятельницы, стоящие чуть ли не за спиной стрелка, и двое мужчин, расположившиеся на скамье неподалеку. В другом конце

Хмельницкий Борис Ильич (р. в 1943 г.) — драматург, окончил театральное училище им. Щукина, работал режиссером на Дальнем Востоке, член СП СССР; автор пьес: «8 дней за свой счет», «Семейный ужин», «Дом на Орлиной», «Два процесса, которых не было», «Ванька Каин», с успехом идущих на сценах театров страны. С 1983 года живет в Ленинграде.

зала Доктор, Мария, Маэстро и Рыжий играют в карты. А в центре, обозревая весь зал, устроился странный человек в плаще. Это Марк. Но кто он — станет понятно только во второй картине.

Сцена освещается в ту минуту, когда Пассажир поражает очередную мишень.

ПЕРВЫЙ. Он кладет пули, как каменщик кирпичи,— одну к одной, одну к одной!

ВТОРОЙ. Его бы к нам на неделю в деревню. Коршуны всю домашнюю птицу перевели.

ПЕРВЫЙ. Ставьте пугала с автотрещотками.

Первый — человек с ярко выраженными задатками общественного деятеля.

(Горячо.) Пора нашим сельчанам активно использовать достижения науки и техники! А то живем по старинке, чуждаемся нового, все ждем, чтобы сосед первым начал.

ВТОРОЙ. Оно конечно, к соломенным чучелам птицы попривыкали. С другой стороны, где ее взять — эту технику?! Вот вы, человек умный — где?

ПЕРВЫЙ. Разве дело в том — где?! Нельзя мыслить так утилитарно!

В противоположном конце зала Рыжий закончил очередную сдачу, и Доктор с азартом поднял карты.

ДОКТОР. Так!.. Чтобы долго не торговаться, сразу: семь червей!

Первый, Второй и Человек в плаще повернулись на возглас.

РЫЖИЙ. Маэстро, слышите? Доктору привалила убойная карта.

МАЭСТРО. Вряд ли это ему поможет. Еще раз предупреждаю, доктор, вы обречены на карточные неудачи.

ДОКТОР. А я вам не верю! Не верю в предсказания, и все тут! Мои прошлые проигрыши — не доказательство!

МАРИЯ. Если честно, я тоже в такие штучки не верю, маэстро. От чего, по-вашему, зависит потенция клиента? От расположения звезд? От денег в его кармане.

МАЭСТРО *(усмехаясь)*. А если я, допустим, скажу, что сейчас здесь появится человек с букетом опавших листьев, то, когда он придет, вы начнете мне верить?

ДОКТОР. Пусть сначала придет! *(Смеется.)* Семь червей!

МАЭСТРО. Пас.

РЫЖИЙ. А я вистону.

Игроки увлеклись игрой. Пассажир выстрелил и попал.

ЖЕНЩИНА *(Подруге; интимно)*. Люблю мужчин, попадающих в цель сразу.

ПОДРУГА. Я понимаю.

Обе хихикают. Пассажир повернулся к дамам.

ПАССАЖИР *(самодовольно)*. Это очень просто, я сейчас объясню.

Любовно поглаживает ствол ружья.

У каждого ружья свой нрав, свои пристрастия. Как у человека. Одно поражает, когда целишься в сердце мишени, другое — когда в прорези мушки видна голова.

ЖЕНЩИНА. Как интересно!

ПАССАЖИР. Могу научить, если хотите.

ЖЕНЩИНА *(страстно)*. Обязательно!

И направилась к барьеру. Пассажир учит Женщину стрелять.

ПАССАЖИР. Вы слишком далеко отставляете приклад. С ним нужно слиться, отдаться ему. Вот так.

Тесно прижался к Женщине сзади, поправляя через ее плечи ружье.

Я держу ружье, цельтесь!

Выстрел.

ЖЕНЩИНА. Попала!

В этот миг в зале появился Самсон с букетом опавших листьев. Его появление не осталось незамеченным.

МАРИЯ *(весело)*. Меня вы, кажется, уже убедили, маэстро.

ДОКТОР. Чушь!

ПЕРВЫЙ *(Человеку в плаще)*. Мне кажется, что именно такие явления наука относит к разряду неопознанных.

ЧЕЛОВЕК В ПЛАЩЕ. Не мешай мне работать.

ПЕРВЫЙ. Конечно, каждый имеет право на собственное мнение...

ЧЕЛОВЕК В ПЛАЩЕ. Брысь!..

ПЕРВЫЙ *(отошел в сторону)*. Боже, какие нравы!..

Самсон тем временем осмотрелся и вдоль стены направился к киоску. Убедившись, что киоск закрыт, он растерянно оглянулся и встретился глазами с Марией.

САМСОН. Простите, вы не скажете, где тут поблизости можно купить сигарет?

МАРИЯ. Нигде, уже поздно. Идите сюда, я вас угощу.

Достала из сумочки пачку сигарет и протянула ее подошедшему Самсону.

Берите. Импортные.

САМСОН *(взяв сигарету)*. Дорогие...

ДОКТОР *(он недоволен)*. В наше время дешевы только слова.

МАРИЯ *(Самсону)*. Присаживайтесь.

САМСОН. Я вам помешаю.

МАРИЯ. Не помешаете, я на прикупе.

ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! В седьмой кассе имеются свободные места на дилижанс до переправы.

Самсон сел рядом с Марией и устало вытянул ноги.

САМСОН. Устал... Два часа прошагал, если не больше. Это все листья...

Встряхнул своим букетом.

Букеты детей и нищих... Ровно в пять я закрыл окошко кассы, вышел из банка и не узнал улицы. Все было засыпано листьями. И я повернул не налево, домой, а направо. Асфальта не видно, ноги утопают в листьях по щиколотку... Мне даже показалось, что город кончился. А я все шел, шел... *(Помолчал; улыбнулся.)* Впервые в жизни я повернул в другую сторону, и вот — остался без сигарет.

МАРИЯ *(протягивая пачку)*. Берите еще. Берите. На потом.

САМСОН. Спасибо.

МАРИЯ. Странное место — вокзал, правда? Первому встречному можно обнажить душу.

ДОКТОР. Мария...

МАРИЯ *(весело)*. Душу, доктор, только душу! *(Самсону.)* Вы не подумайте чего, я не пристаю. По пятницам пусть клиент хоть с золотым членом, все равно не отдамся. По пятницам мы уже давно собираемся вместе и устраиваем карточный вечер. Просто я ждала вас.

САМСОН. Меня?!

МАРИЯ. Ну да, незнакомца с листьями. Маэстро предсказал ваше появление здесь.

ДОКТОР. Чушь! Случайное совпадение.

Маэстро вдруг рассердился.

МАЭСТРО. Ясновидение, предсказание будущего — это дар! В древности им обладали только жрецы — люди особой касты. И народ чтил их за сопричастность к замыслам богов. Жанна д'Арк слышала голоса, и к ее советам взывали сильные мира. А нынче нас используют на эстраде в паре с шутами.

РЫЖИЙ. Ох, ах, ой-ой-ой, как страдает зайчик мой! Вам не нравится партнер или гонорары, мастер?

МАЭСТРО. Перестаньте.

ПЕРВЫЙ *(Человеку в плаще)*. Маэстро прав, оккультизм — это наука!

САМСОН *(с некоторым смущением)*. Вы действительно можете предсказать будущее, маэстро?

МАЭСТРО. Могу.

ЖЕНЩИНА. Как интересно!

Отстранила Пассажира и присела на одну из скамей поблизости от игроков.

САМСОН. Пожалуйста, предскажите...

МАЭСТРО *(разглядывая Самсона)*. Знаток кроссвордов, тихий и непритязательный служащий, просидевший девять лет за конторкой...

САМСОН. Десять!

МАЭСТРО. ...вдруг с ужасом обнаружил, что его жизнь утратила какой-либо смысл. Тогда он вышел из банка и ступил на неведомую дорогу в поисках перемен.

САМСОН *(оправдываясь).* Это все листопад...
МАЭСТРО. Всех нас здесь свел когда-то листопад. И кто пришел раз, тот становится завсегдатаем.

Взял Самсона за руку.

Посмотрите мне в глаза. Внимательно. Теперь спите. Вы — спите!

Пауза. Рассматривает ладонь Самсона. Человек в плаще встал, подошел поближе и остановился за спиной Маэстро.

Вижу мальчика с торчащими вихрами. Рядом девочку, ведущую на веревочке рыжего кота.
САМСОН *(с удивлением).* Да... Она жила в соседней квартире. Как же ее звали? Кота звали Мурик, помню, а вот ее... Но я же не сплю, маэстро!
МАЭСТРО. Сейчас будете спать. *(Помолчав.)* Вижу юношу, выходящего из бассейна. Стройный, хорошо сложенный...
САМСОН. Я был победителем универсиады по плаванию...

Речь его становится все более и более вялой.

МАЭСТРО. Помолчите, вы мне мешаете.

Самсон замер. Пауза.

МАРИЯ. Дальше, маэстро! Дальше!
ЖЕНЩИНА И ПОДРУГА *(вместе).* Так интересно!

Маэстро оставил руку Самсона и отошел в сторону. Доктор смеется.

ДОКТОР. Вот вам и все ясновидение!..
РЫЖИЙ *(кривляясь, как, видимо, делает на всех концертах Маэстро).* Нет уж, мастер, представление продолжается! Публика ждет! Просим, маэстро! Просим!..

Маэстро с грустью взглянул на напряженные от любопытства лица.

МАЭСТРО. Дальше палата в доме для душевнобольных. Зарешеченные окна. Человек в смирительной рубахе сидит на кровати.
САМСОН *(улыбаясь).* Мне... не грозит... такая палата... я нормален...

И закрыл глаза. Мария разочарованно вздохнула.

ДОКТОР. Как врач подтверждаю, что этот парень абсолютно здоров. Усыпить человека может любой психиатр в любой поликлинике.

Все развеселились.

Мой ход. Продолжим?
РЫЖИЙ. Ходите.
МАЭСТРО *(с той же грустью).* Ходите, ходите...

Игра возобновилась.

ПАССАЖИР. Ей-богу, стрелять гораздо занятнее.
ПОДРУГА. Научите меня тоже.
ПАССАЖИР. Прошу!

Устраивается сзади к подскочившей к барьеру тира Подруге.

ПОДРУГА. А!.. Не прижимайтесь так сильно сзади, я замужем!
ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! Дилижанс до переправы отправляется через двадцать минут. Просьба приготовиться к посадке.
ВТОРОЙ. Это наш!

Первый, Второй, обе женщины и Пассажир, подхватив свои вещи, направились к выходу.

ДОКТОР *(сбрасывая последнюю карту).* Возьмите теперь на своего туза, и вы без одной! Вот так-то, ясновидящий. *(Смеется.)* Кто вистовал?
РЫЖИЙ *(зло).* Я. Вы бы были поаккуратней, маэстро! Это вам не зрителей дурить на концертах, это преферанс, это живые деньги!
МАЭСТРО. Пулька только началась.
РЫЖИЙ. То-то и оно, что только началась, а я уже подзалетел!
МАЭСТРО. Перестаньте.

Человек в плаще склонился к Маэстро.

ЧЕЛОВЕК В ПЛАЩЕ. Меня вы тоже убедили, маэстро. И я надеюсь, что сильные мира согласятся познакомиться с вашим искусством.

И тоже направился к выходу, провожаемый удивленными взглядами игроков.
Затемнение.

Просторная гостиная в загородном доме Властителя.
Гостиная обставлена аскетично: кресло Властителя неподалеку от камина, банкетки вдоль стен и рояль в углу. Над камином шнур от звонка в приемную. Вечер. Пять человек — членов государственного совета — в тревоге прохаживаются по гостиной. Это какие-то странные существа в бесформенных хламидах и в головных уборах. Даже по лицам трудно сразу определить, кто из них женщина, а кто — мужчина. За исключением 3-го члена совета, лицо которого украшают пышные усы.
В гостиной стоит тишина, прерываемая редкими возгласами «кыш!». Это 2-й член совета отгоняет от себя невидимых «чертиков». И вновь воцаряется тишина.

5 ЧЛЕН СОВЕТА *(не выдержав).* Зачем нас созвали?!. Зачем?!.
3 ЧЛЕН СОВЕТА. Приглашения, идущие сверху, не обсуждаются. Пригласили, и точка.
5 ЧЛЕН СОВЕТА. Но почему вечером?.. И сюда, на дачу?.. Почему?..
3 ЧЛЕН СОВЕТА. По кочану.

Удовлетворен собственным остроумием; смеется.
Пауза.

4 ЧЛЕН СОВЕТА (2-му). Что вы так на меня смотрите? Все время смотрите! Хотите донести Властителю последние слухи?
2 ЧЛЕН СОВЕТА. Обязательно донесу, это мой долг. *(С гордостью.)* Я человек простой, что на уме, то на языке.
4 ЧЛЕН СОВЕТА. Я знаю, вы давно под меня копаете! Сфера торговли вам не по зубам! И своего зятя посадить на мое место вам не удастся! *(Всем; трагично.)* Все мои поступки обрастают сплетнями. Теперь болтают, что я совращаю мужчин, используя служебное положение.
5 ЧЛЕН СОВЕТА *(с тоской).* Хорошо, хоть про вас не говорят, что берете наличными.
1 ЧЛЕН СОВЕТА. Привлеките распространителей слухов к суду за разглашение государственной тайны. Поправка первая к закону о частной жизни членов правительства. Мы приняли его еще в одна тысяча...
2 ЧЛЕН СОВЕТА. Тс-сс!..

Пытается что-то схватить на своем плече.

Кыш, гниль болотная!.. Прихвачу — шею сверну!

4 ЧЛЕН СОВЕТА *(5-му; с облегчением).* Совсем вылетел из головы этот закон!
3 ЧЛЕН СОВЕТА. Следует пользовать танки, а не законы. Танк — штука особая. Стоит только его завести, а там он уже ездит сам по себе из города в город, из города в город...
1 ЧЛЕН СОВЕТА. Как идеолог вынужден напомнить присутствующим, что у нас прогрессивное государство. Для танков необходим повод.
4 и 5 ЧЛЕНЫ СОВЕТА *(со вздохом).* Прогрессивное...
3 ЧЛЕН СОВЕТА. Интеллигентщина! Мы защищаем интересы большинства, народ отдал тысячи жизней за принципы, понадобится — еще отдаст! И нужно, чтобы меньшинство это крепко усвоило! Какой вам еще требуется повод?
2 ЧЛЕН СОВЕТА. Меньшинство, большинство... Нет чтобы все заедино.
5 ЧЛЕН СОВЕТА. Вот именно! Все заедино! Все-все заедино! И чтобы никаких сплетен о членах правительства!

В гостиную вошли Властитель, Елена, Марк, Маэстро в концертной одежде и Охранник. Охранник замер у входа, Елена присела в стороне у рояля.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Прошу простить за задержку, у Маэстро только что кончилось представление.

Энергично прошел к своему креслу. Члены совета в недоумении.

МАРК. Маэстро — признанный ясновидец. Я пригласил его осветить нам будущее.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА *(вместе).* Ясновидец?!.
4 ЧЛЕН СОВЕТА. Уф-ф, даже в жар бросило... *(Властителю.)* Мы тут измучились в неведении.
1 ЧЛЕН СОВЕТА. Замечательно, Марк. Мы не зря назначили вас начальником управления. *(Всем.)* Правительства многих цивилизованных стран пользуются услугами ясновидцев.
2 ЧЛЕН СОВЕТА. Велика важность — цивилизованные страны! Ей-богу, все как

с ума посходили с той цивилизацией! А мы идем другим путем; у нас свой кочан на плечах есть!

ВЛАСТИТЕЛЬ *(прерывая спор)*. Мы готовы, маэстро.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА *(суетливо занимая места на банкетках)*. Готовы... готовы...

Марк отошел поближе к Елене. Маэстро поклонился.

МАЭСТРО. Итак, вас интересует будущее...

4 ЧЛЕН СОВЕТА. В разумных пределах.

5 ЧЛЕН СОВЕТА. И без оценок наших личных качеств.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Самое лучшее — это вкратце. Что ждет общество, и когда оно под нашим руководством достигнет вершин расцвета.

МАЭСТРО. Хорошо. Пожалуйста, протяните все левую руку ладонью вверх.

Члены совета выполнили просьбу Маэстро. Ясновидец рассматривает ладони.

МАЭСТРО. Ничего не вижу... *(Властителю.)* Глаза слезятся. В городе тысячи лампочек выписывают лозунги и призывы. А вдоль дороги сюда многометровые стенды отражают свет фар. *(Иронично.)* Я понимаю, у политиков существует набор приемов, с помощью которых рекламируются обещания и которые впоследствии остаются только средством освещения улиц. Но когда много света, у людей портится зрение.

1 ЧЛЕН СОВЕТА *(насмешливо)*. Пожалуй, нужно учесть замечание и выключить электролозунги. Чтобы не раздражать население.

3 ЧЛЕН СОВЕТА *(серьезно)*. Точно! Выключить лозунги и включить моторы у танков!

4 ЧЛЕН СОВЕТА *(страстно)*. Но тогда улицы окажутся в темноте! И мужчины перестанут замечать женщин! Нам грозит демографический спад!

5 ЧЛЕН СОВЕТА *(нервно)*. Нельзя допустить такого падения национальной культуры!

2 ЧЛЕН СОВЕТА. Помню, при керосинках жили, и ничего! И детей хватало! Потому как темнота совсем даже наоборот — способствует... Кыш, нечисть мохнатая!.. Кыш!..

МАЭСТРО *(Марку)*. Боюсь, что не сумею оправдать вашу рекомендацию.

Марк взял Маэстро под руку.

МАРК. Причина, надо думать, не в лозунгах?

МАЭСТРО *(шепотом)*. У этих людей не видно будущего. У них ладони без линий.

Марк рассмеялся.

МАРК *(громко)*. А вы предскажите будущее одного человека — главы правительства. И по нему мы поймем, что ожидает каждого из нас.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Логично.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. У вас генеральская голова, Марк.

1 ЧЛЕН СОВЕТА *(Властителю)*. Это лишнее доказательство нашего единомыслия с вами.

4 ЧЛЕН СОВЕТА. И преданности!

5 ЧЛЕН СОВЕТА. Преданности в первую очередь!

Члены совета дружно аплодируют Властителю.

МАРК. Продолжайте, маэстро.

Пауза.

Маэстро подошел к окну и отдернул штору. Он сосредоточен.

МАЭСТРО. Осень... Голые ветви деревьев, качающиеся фонари в пустынном парке, исполинские тени охранников на земле... *(Властителю.)* Внешняя чувственность этого дома и внутренняя его аскетичность говорят о том, что вы человек импульсивный, но умеете подчинять чувства разуму.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Чтобы сделать такой вывод, не нужно быть ясновидцем. О чертах моего характера писали газеты.

Члены совета смеются.

МАЭСТРО. Я газет не читаю. Люди часто не верят в то, что проповедуют. И за строчками благожелательных слов видны злоба и жажда насилия.

1 ЧЛЕН СОВЕТА *(возмущенно)*. Все зависит от точки зрения!

МАЭСТРО. Оставим прошлое, чтобы не утверждали, что я пользуюсь общеизвестными данными.

Взял руку Властителя.

Посмотрите мне в глаза. Внимательно. Теперь спите. Вы — спите!

Рассматривает ладонь.

(С удивлением.) Странно... Очень странно...

ВЛАСТИТЕЛЬ. Что?

МАЭСТРО. Совсем недавно я видел точно такую же ладонь. Во второй половине жизни все ваши линии совпадают.

ВЛАСТИТЕЛЬ. И что это значит?

МАЭСТРО. Это значит, что ваша судьба сплетается с судьбой того человека. Так, словно у вас одно сердце, одна кровеносная система. Если ему будет плохо — начнете страдать вы, если его покинет покой — вас истерзает бессонница. А последний день одного станет последним днем другого.

Марк подался вперед.

МАРК. И вы знаете этого человека?

МАЭСТРО. Вы тоже его знаете.

МАРК. То малоприметное существо, с которым мы познакомились на вокзале?

МАЭСТРО. Да.

МАРК. Вы предсказали тому человеку конец в сумасшедшем доме. Выходит, Властитель тоже должен сойти с ума?

МАЭСТРО. Я говорю только то, что вижу.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(вяло)*. Напрасно ты... затеял это... Марк... Шарлатанство... полный бред...

И закрыл глаза.

МАРК. Вы не ответили на мой последний вопрос, маэстро.

МАЭСТРО *(уклончиво)*. Линии их ладоней поразительно схожи. Это пока все.

Члены совета дружно смеются.

(С обидой.) Он спит. И, судя по всему, мне тут больше нечего делать. Я бы хотел уйти.

МАРК. Конечно. Вас сейчас отвезут. Двойной гонорар за предсказание получите завтра с нарочным.

МАЭСТРО. Двойной гонорар?

МАРК. Второй — лично от меня. Вы сослужили мне службу, и я хочу, чтобы мы подружились.

Маэстро вышел, сопровождаемый смехом членов совета. А Марк не сводит со спящего глаз.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Настоящее шарлатанство!.. В наш просвещенный век доверять ясновидцам?!.

4 ЧЛЕН СОВЕТА. Одно слово — артист. Но какой хорошенький...

2 ЧЛЕН СОВЕТА. А я что говорил?! Что я говорил, а?! Артистам на грош верить нельзя — что хотят, то и говорят,— народ дурят!

5 ЧЛЕН СОВЕТА. Обязательно расскажу эту историю дома. Пусть посмеются...

Веселье членов совета прервала Елена.

ЕЛЕНА. Властитель спит!

Мгновенная тишина. Члены совета гуськом вышли из комнаты. Марк перевел взгляд на женщину.

МАРК. Вы очаровательны, Елена... Любите его. Ваша любовь поможет ему перенести невзгоды.

ЕЛЕНА *(живо)*. Вы думаете, это правда?

Пауза.

Все это глупость, Марк! Совпадение линий, сплетение судеб, сумасшедший дом — все это глупость для легковерных!

МАРК. Это легко проверить; достаточно чуть прижать беднягу кассира.

Быстро подошел к Охраннику, все еще стоящему у входа.

Человека, о котором идет речь, зовут Самсон. Последнее время по пятницам он играет на вокзале в карты. Возьмите там всех подряд, чтобы не привлекать конкретно к нему внимания, и поместите в изолятор на несколько дней. Режим жесткий.

ЕЛЕНА *(с возникшей тревогой)*. Властителя возмутят аресты людей без оснований.

МАРК. Я ночи не сплю, не гнушаюсь черной работы, сам толкусь в очередях и транспорте, чтобы знать настроение масс. Но контроль лояльности населения — это лишь

часть моих обязанностей. На управлении правопорядком лежит забота о покое членов правительства и главы государства.

Марк возвратился к Елене и с нежностью поцеловал ей руку.

Согласитесь, что ради его покоя можно поступиться любым законом.

Елена улыбнулась.

(Охраннику.) Выполняйте!

Охранник вышел.
Затемнение.

Изолятор.
Довольно обширная камера с узким окошком под потолком. Одна стена камеры зарешечена, как клетки хищников в зоопарке.
Сделано это для удобства надзора за арестантами.
Сейчас в изоляторе все, кто был на вокзале (за исключением Марка). Люди расположились на нарах, стоящих вдоль стен.
И только Доктор устроился на полу — раскладывает пасьянс.
Где-то вдали слышится бой часов.

ПЕРВЫЙ. Бьет десять! Ночь позади, а к нам до сих пор не пришел следователь! Полное нарушение правил задержания. Возмутительно! Возмутительно!

ВТОРОЙ. Хоть бы пожевать чего дали. *(С гордостью.)* Кто хорошо кушает, тот хорошо работает.

САМСОН *(Марии)*. А в девять у моей кассы уже собрались клиенты. Представляю, какие у них возмущенные лица. И директор в затруднении. Такого еще не было, чтобы я не пришел на службу, не предупредив об этом заранее. Ему придется теперь посадить на кассу кого-то из счетчиков, в работе счетного отдела возникнет сбой... Ужасно.

МАРИЯ. Что верно, то верно, клиенты — народ привередливый. То им поза не та, то экстаза мало. За эти гроши им еще класс выдавай!

ПОДРУГА. А что я скажу мужу? Что? Где я ночевала? В изоляторе?!. На одних нарах с мужчиной?!.

ЖЕНЩИНА. Я скажу, что мы заночевали вдвоем у моей приятельницы. Заболтались и опоздали к последнему автобусу.

ПОДРУГА. Он не должен знать, что я ездила в город с тобой. Он считает тебя чересчур легкомысленной.

ЖЕНЩИНА. Он считает?!. Ну, пусть явится еще раз с бутылкой! Я ему живо покажу, где выход! Ишь — легкомысленная!..

Рыжий тут же сделал «козу» Подруге.

РЫЖИЙ. Идет коза рогатая, бодатая... Забодаю, забодаю...

ПОДРУГА. Это я рогатая? Я?

Подруга плачет.

РЫЖИЙ *(развеселившись)*. Между прочим, маэстро, у нас сегодня три концерта: два дневных и вечерний. Мы теряем деньги. Предпринимайте что-нибудь, вас же власти на лимузине катали.

МАЭСТРО. Перестаньте.

ПАССАЖИР *(зло)*. Я понимаю, те, кто резался в карты, нарушали общественный порядок! Но мы-то! Мы! Тир для того и поставлен, чтобы пассажиры культурно проводили время! Культурно!

ПЕРВЫЙ. Чего нам всем не хватает, так это культуры. Культуры быта, культуры взаимоотношений, нравственной и правовой культуры, наконец!

ВТОРОЙ. Сельскохозяйственных продуктов тоже всегда не хватает.

Доктор смеется.

ПЕРВЫЙ *(скосив глаза на Доктора)*. Ирония, неприязнь, насмешка — все это сейчас неуместно, все это вносит раскол. Перед лицом постигшего нас несчастья мы должны объединиться, сплотить усилия и тесным фронтом, плечо к плечу, отстоять свои попранные права. *(Сам увлекся речью.)* Долой произвол!

ПАССАЖИР. Точно! Долой произвол!

ПЕРВЫЙ *(ободрен поддержкой)*. Громче, граждане! Громче! Пусть от нашего гласа падут темницы! Ну-ка, вместе: три, четыре!..

ЖЕНЩИНА, ПАССАЖИР и ВТОРОЙ *(нестройно)*. Долой произвол!..

ПЕРВЫЙ. Да здравствует свобода! Увидите, нас услышат и выполнят наши требования! Бороться до конца!

ВТОРОЙ. Только без голодовок.

ПАССАЖИР. Эх, нам бы сюда оружие!..

ПЕРВЫЙ. Ни в коем случае! Все, чего мы добиваемся, мы добьемся мирной и дружной манифестацией. Мы не противники власти, наоборот, мы защищаем ее самое от произвола охраны.

Он повернулся к Самсону и Марии.

Присоединяйтесь.

САМСОН. Я ничего не смыслю в политике.

ДОКТОР *(весело)*. Давайте лучше распишем пульку.

ЖЕНЩИНА. Да ну их!.. *(Громко.)* Да здравствует свобода!

Перед камерой возник Охранник.

ОХРАННИК. В чем дело? Что за суета?

Пауза. Все уставились на Первого.

ПЕРВЫЙ *(дипломатично)*. Видите ли, нас арестовали еще вчера, но до сих пор не ведется следствие. А среди нас большинство невиновных. Презумпция невиновности!

МАРИЯ. И невинности!

ВТОРОЙ. Еще и не кормят.

ОХРАННИК. Придет время — накормят. Обязательно накормят. Вы живете в демократическом обществе, и на этот счет имеются четкие инструкции.

Доктор смеется.

Прекратить!.. Не сметь высмеивать демократию и инструкции! Самсон!..

Самсон встал.

Как я понимаю, весь этот бардак в камере затеяли вы.

САМСОН. Я?..

ОХРАННИК. Молчать! Сесть!.. Встать!.. Сесть!.. Встать!.. Сесть!.. Встать!.. Штрафом, как остальные, вы теперь не отделаетесь, срок я вам гарантирую. Сесть!.. Встать!.. Сесть!.. Встать!..

МАЭСТРО Прекратите издевательства!

Пауза. Охранник долгим взглядом обвел глазами присутствующих.

ОХРАННИК. Взываю к вашему благоразумию, законники. И прошу больше не нарушать тишину изолятора. У охраны тоже есть нервы, и они не железные.

Пока Охранник говорит, Пассажир отвернулся, достал бумажник, паспорт и вложил в паспорт несколько банкнот.

ПАССАЖИР. Я сам по себе — благоразумие. Можете справиться у меня на службе, вам каждый сотрудник скажет, что я — воплощенное благоразумие. Вот, проверьте документы. Это паспорт настоящего благоразумца. Там внутри моя визитная карточка.

Охранник взял паспорт, раскрыл, достал деньги и спрятал их в карман.

ОХРАННИК. Документы у вас действительно в образцовом состоянии. Вполне возможно, что вас задержали ошибочно. Пройдемте со мной, разберемся.

Открывает дверь камеры. Пассажир подмигнул арестантам.

ЖЕНЩИНА. А я?

Поймала Пассажира за рукав.

(Страстно.) Вы бросаете в беде женщину, которая была готова полюбить вас?!

Пассажир отстранил Женщину и вышел из камеры.

(Трясет решетку.) Вы обязаны за меня поручиться! Как честный человек — вы обязаны за меня поручиться!

ПАССАЖИР *(Охраннику)*. Очень темпераментная дама.

ОХРАННИК. Да?

ЖЕНЩИНА. Вы сможете сами убедиться в этом.

ОХРАННИК. Да? *(Игриво.)* Интересно. Выходите.

МАРИЯ. Говорят, порядочные дорого стоят. Оказывается, они бесплатны. А я, дура, еще на судьбу жалуюсь.

ЖЕНЩИНА. Ради свободы можно пожертвовать всем, даже телом!

Выскочила из камеры.

Да здравствует свобода, равенство, братство!

ПОДРУГА *(ревниво)*. У нее же все накладное! Все! В лифчике один поролон!

ОХРАННИК. Разберемся. В поролоне тоже кое-чего понимаем.

Запер дверь камеры и ушел. Женщина засеменила за ним.

ПАССАЖИР *(всем)*. Держитесь, други! Я всей душой с вами!

И тоже удалился.

ПЕРВЫЙ *(Подруге)*. Надо учиться вести дискуссии, милочка. Личные выпады и оскорбления не приведут ни к чему хорошему.

ПОДРУГА. Но я сказала чистую правду. Я всегда за правду!

Рыдает.

РЫЖИЙ. Других вы защищаете, маэстро, а близких? Почему вы ни слова о нас не сказали? Вы знаете, я вас уважаю. Но три концерта — это три концерта! Мне платят от сборов.

МАЭСТРО. Не все измеряется деньгами.

РЫЖИЙ. Ох-ах, ой-ой-ой! Скажите, какая щепетильность!

МАЭСТРО *(брезгливо)*. Перестаньте.

ВТОРОЙ. Но я так и не понял, дадут нам пайку или нет?

Доктор смеется.

САМСОН. А я еще хотел попросить его сообщить в банк, что скоро приду!.. Боже мой, срок!.. Когда коллеги услышат, что я подлежу суду, они начнут избегать меня! Знаете, как это выглядит? При встрече отводят глаза, а за спиной хохочут!..

МАРИЯ. Точь-в-точь как незаплативший клиент.

МАЭСТРО. Я хочу дать вам один совет, Самсон. Совет ясновидца. Никогда не меняйте свою жизнь, даже при самых невероятных обстоятельствах. Вас не случайно терзал охранник. Сохраните себя таким, каков вы сейчас.

САМСОН *(в слезах)*. Это от меня уже не зависит!.. Сколько мне дадут? Шесть месяцев? Год? Меня больше ни за что не подпустят к кассе! Сидевшему человеку нельзя доверять деньги!.. А за что? За что?

Он забился в истерике.

За что? За то, что я смотрел, как играют в карты?!. Господи!..

ДОКТОР. Это уже истерика.

Поднялся с пола и влепил Самсону пощечину.
Самсон обмяк. Доктор взял саквояж, достал какие-то капли, мензурку и протянул их Марии.

Накапайте ему сорок капель, они его успокоят.

Бросил взгляд на поскуливающего Самсона.

Слизняк...

И вновь уселся раскладывать пасьянс. Мария отсчитывает капли.

Затемнение.

Гостиная в загородном доме Властителя.
Властитель сидит в кресле возле камина и, на первый взгляд, дремлет.
Дверь бесшумно отворилась, и на пороге появились Марк и Елена. Властитель вскочил.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Кто? Кто здесь?

Разглядел в полутьме вошедших.

(Нервно.) Что за манера входить в комнату крадучись?! Что за манера, спрашиваю?

Пауза.

Простите. Все эти дни я сам не свой. Нервы натянуты как канаты. Ты уже кончил этот дурацкий эксперимент, Марк?

МАРК. Ваши немотивированные страхи, неуверенность, нервозность — все соответствует тому состоянию, в котором находится в камере ваш двойник. Будь здесь Маэстро, перед ним следовало бы извиниться.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Чушь! Бред! Я больше не желаю слышать об этом!..

Пауза.

Сам...сон...

МАРК. Да.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Какой-то кассир...

МАРК. Сейчас я вам его покажу. *(Вкрадчиво.)* И Елена примет его нежно и ласково, словно вашего родного брата.

ЕЛЕНА *(Властителю)*. Все будет хорошо, милый...

ВЛАСТИТЕЛЬ. Вы уже, кажется, решаете без меня?

МАРК. Ради вашего блага...

ВЛАСТИТЕЛЬ. Ради моего блага?! Ради моего блага устраиваются идиотские представления?! Ради моего блага на вокзале задерживают группу невинных людей?! Кстати, что с ними?

МАРК. Сидят пока. Все не так просто, как это выглядит с первого взгляда. Все не так просто.

За окном послышался шум подъехавшего автомобиля.

Самсона привезли. После его ухода я все объясню. *(Улыбается.)* Придется посвятить его в эту историю, а то, чего доброго, он в самом деле свихнется от своих приключений.

Властитель вздрогнул.

ЕЛЕНА. Марку можно довериться, дорогой.

Марк поцеловал руку Елене, направился к дверям и на выходе столкнулся с Горничной, вкатившей столик с напитками и бутербродами.

МАРК *(Окинул взглядом столик)*. Умница...

Марк вышел.

ЕЛЕНА *(Горничной)*. Спасибо.

ГОРНИЧНАЯ. Может быть, что-то нужно еще? Я могу приготовить коктейли.

ЕЛЕНА. Не нужно, я сама. Вы свободны.

Горничная откатила столик к стене, но не ушла, а присела у камина, вороша угли.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(раздраженно)*. Вам же сказали — в ваших услугах не нуждаются.

ГОРНИЧНАЯ. Перед уходом я всегда проверяю камин, это входит в мои обязанности.

Пауза.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Убирайтесь прочь!

Пауза. Горничная вышла.

Строптивая девица.

ЕЛЕНА *(нарочито весело)*. Те, кто числится за управлением Марка, всегда строптивы.

Пауза.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Черт возьми!.. Волнуюсь так, словно действительно встречусь с родным братом!

ЕЛЕНА. Честно говоря, я тоже волнуюсь.

Пауза.

(Нервно.) Ну где же они?

В этот миг Марк открыл двери.

МАРК. Здесь.

Пропустил в гостиную Самсона.

Вот наш герой. Прошу любить и жаловать.

Пауза. Все молча изучают друг друга. Елена прервала молчание первой.

ЕЛЕНА. У вас странное имя. Странное, но красивое.

САМСОН *(он в растерянности)*. Мои родители увлекались мифологией.

ЕЛЕНА. Садитесь, прошу вас.

Самсон сел.

Сок, коктейль, бутерброд?
САМСОН. Спасибо, не нужно.

Пауза.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Вас, кажется, что-то тревожит.
САМСОН. Нет-нет, ничего.
МАРК. Я ввел Самсона в курс событий.
ЕЛЕНА *(весело)*. И это вас встревожило? Какая чепуха! Я бы на вашем месте радовалась.

Подошла к роялю, заиграла какую-то веселую музыку.

Вы впечатлительны, Самсон. Так нельзя. Вы же сильный мужчина. Веселее, дружище, веселее! Это же подарок судьбы!
САМСОН. Все так неожиданно...
ВЛАСТИТЕЛЬ. Признаться, для меня тоже.

Внезапно Властитель рассмеялся.

Что поделаешь, подарок судьбы.

Через мгновение смеялись все. Так смеются люди, только что избежавшие большой опасности. Музыка Елены стала бравурной. Постепенно веселье стихает.

ЕЛЕНА. Вы должны отдохнуть, Самсон. Попутешествовать...
САМСОН *(со вздохом)*. Если бы я имел возможность...

Он уже освоился и сделался разговорчивым.

Когда я держу в руках большую пачку денег, я думаю, как мог бы распорядиться ими. В детстве я часами вертел глобус. Азорские острова, Монтевидео, Гималаи... Выучил эти названия еще крохой, они казались мне сделанными из музыки. Лагуны... кораллы... базальтовые скалы... *(Елене.)* Потом я стал старше, и мне виделись женщины из этих мест. Они были так же прекрасны, как вы. *(Помолчав; зло.)* Потом приходит вкладчик, и я вынужден отдать ему эту пачку. В такие минуты мне кажется, что он грабит меня; я почти готов убить его.
ЕЛЕНА. Вы говорите как поэт.
САМСОН. Ну что вы... *(Улыбаясь.)* Правда, я иногда сочиняю стихи для своих коллег к их юбилеям.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Мы поможем вам осуществить мечту — через пару дней отправим вас в круиз.
МАРК. Никаких круизов.

Властитель с изумлением взглянул на Марка.

(Доброжелательно.) На железных дорогах крушения, авиалайнеры взрываются, едва взлетев, суда горят и захлебываются в собственной нефти. Мир обезумел, Самсон. Не забывайте, на вас лежит ответственность за две жизни — свою и Властителя. И если вы истинный патриот и печетесь о благе отечества, вы обязаны беречь себя.
ЕЛЕНА *(живо)*. Только, ради бога, не огорчайтесь, мы создадим вам прекрасную жизнь и без путешествий.

Подошла к столику, наполнила бокалы.

Выпьем за ваше здоровье.
САМСОН *(смущенно)*. Я не пью.

Встал, покачнулся.

Голова кружится. В камере такой спертый воздух...
МАРК. Вам необходимо как следует выспаться. Идемте, я провожу вас.

Подхватил под руку опешившего Самсона и вывел его из гостиной.

ЕЛЕНА. Вот и познакомились.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Не похоже, чтобы этому человеку грозила болезнь. В нем здоровья еще лет на тридцать.
ЕЛЕНА. Я же говорила, все будет хорошо.

Обняла Властителя, прижалась к нему.

А я уже три ночи жду тебя. Жду, жду... Я соскучилась. Сегодня ты придешь, правда?
ВЛАСТИТЕЛЬ. Приду.

Их ласки прервал возвратившийся в гостиную Марк.

МАРК. Простите, я, видимо, помешал, но нужно немедленно решить, как поступить с этим человеком дальше.
ВЛАСТИТЕЛЬ *(резко)*. Не понимаю.
МАРК *(улыбаясь)*. Елена, когда вы находитесь рядом, ему трудно думать о чем-либо постороннем.

Елена возвратилась к столику с напитками.

(Властителю.) Я груб, но это необходимость. Знаете, сколько вы пробудете у власти, если он останется тем, чем есть? Максимум год. Слух об этой вашей зависимости уже завтра разнесется повсюду. Вы недавно верно заметили: Властитель с душой кассира — это социальный парадокс. Червяк, чернь, ничтожество — вот что такое кассир в нашем обществе! Уже завтра вы утратите авторитет, над вами начнут втихомолку смеяться, остряки сделают вас героем анекдотов. Вспомните своих предшественников. Закон об оскорблении личности Властителя фактически утратит силу. Глава государства может позволять массам только ненавидеть, бояться или уважать власть. Любые другие чувства должны пресекаться в самом зародыше.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Что же ты предлагаешь?
МАРК. Немедленно сделать из него гения. Властитель и гений — понятия совместимые.
ВЛАСТИТЕЛЬ *(усмехнулся)*. Мы можем позаботиться о его здоровье, можем создать ему райскую жизнь, но вдохнуть в человека талант под силу только всевышнему.
МАРК. Есть сферы, где талант не имеет значения. У нас в искусстве, к примеру, ценится преданность, а не талант.
ЕЛЕНА. Отлично, Марк! Тем более, что он говорил, что что-то рифмует.
МАРК. Я рад, что такая женщина, как вы, Елена, понимает меня.

Подошел к столику, взял один из бокалов.

За вас!.. *(Легко.)* Вот теперь можно отпустить его сокамерников. И отблагодарить их за поддержку, оказанную гению в тяжелую для него годину.

Пьет.
Затемнение.

Зал ожидания.
Бывшие сокамерники Самсона сидят на скамьях и читают газеты. Газета даже в руках у Маэстро. И только Доктор и Пассажир не проявляют интереса к газетам. Доктор разрисовывает лист бумаги под пульку, а Пассажир стреляет.
Выстрел. Одна из мишеней падает.

ПАССАЖИР. Есть!

Перезаряжает ружье.

(Всем.) Бросьте эту фигню! За те деньги, которые нам выплатили за заботу о нем в изоляторе, можно и дегенерата признать гением. Напрасно вы отказались от этих денег, маэстро.
РЫЖИЙ. Если б только от своих! Он и меня заставил отказаться.
МАЭСТРО *(просительно)*. Перестаньте.
ЖЕНЩИНА. Очаровательные стихи! В них есть что-то непостижимое, какая-то тайна.
ПОДРУГА *(с подозрением)*. Мне точно то же самое говорил муж.
ЖЕНЩИНА. Ну как ты можешь?! Я же тебе поклялась!
РЫЖИЙ *(зло)*. Бабушка козочку чаем поила. Чаем поила, кашкой кормила.
ПОДРУГА. Это ложь! Ложь! И муж, и она поклялись, что между ними ничего не было!
ЖЕНЩИНА. Рыжий шут гороховый! Мало ли что можно сказать в азарте! Я, между прочим, человек строгих правил и только в исключительных случаях позволяю себе связь с женатым мужчиной.

Доктор смеется.

ПЕРВЫЙ *(отложил газету)*. Кто бы мог подумать, что этот человек — гений? Вот что значит мнение профессионалов, специалистов! С виду никогда не скажешь.
ВТОРОЙ. От земли оторвались, пословицы позабыли. С лица воду не пьют.
ДОКТОР *(партнерам)*. Пулька готова.

Маэстро, Рыжий и Мария придвинулись к Доктору.

Вам сдавать, маэстро.

Первый направился к игрокам. Маэстро сдает карты.

МАЭСТРО. Тревожно на душе. Он ведь не поэт — Самсон; понимаете?
РЫЖИЙ. Вот-вот. Всегда вы больше всех знаете!
ПЕРВЫЙ. А скажите, он сегодня придет?
РЫЖИЙ. Он сюда больше никогда не придет. Гении обитают в салонах.
ПЕРВЫЙ. Жаль. Я бы хотел спросить его, как он относится к некоторым современным философским течениям. Фрейд, Кант, Гегель — ведь это все уже в прошлом...
ДОКТОР *(весело)*. Спросите меня, я скажу, как к ним относиться. Пошлите их к матери.

Повернулся к Первому лицом.

Познания наши — скорби наши. Так, кажется, сказано в Библии. Живите, пока живется.
ПЕРВЫЙ. Вульгарное мещанское отношение!
ДОКТОР. Я и есть мещанин. Использую своих пациенток, ем, пью, развлекаю себя преферансом — вот и вся моя философия. Остальное — просто дерьмо.
ПЕРВЫЙ *(возмущенно)*. Фуй! Здесь дамы!
ВТОРОЙ. Мы называем этот продукт органическим удобрением. Очень полезная вещь для огорода. Весной невозможно достать даже за деньги. Скажите, а где вы это берете, доктор?

Доктор смеется. В зале появился Самсон. За ним — Охранник.

ЖЕНЩИНА и ПОДРУГА *(вместе)*. Он!
РЫЖИЙ. Пришел...

Самсон подошел к игрокам. Охранник держится сзади.

САМСОН. А листья все сыпятся, сыпятся... И кажется, что осень уже длится целую вечность. И что уже целую вечность я не видел всех вас...
ЖЕНЩИНА *(Подруге)*. У него в лице тоже есть что-то непостижимое. Какая-то тайна!
ПОДРУГА. А как говорит!

Обе двинулись поближе к Самсону.

МАРИЯ *(встревоженно)*. Вы что, опять арестованы?
САМСОН. Арестован? *(Оглянулся на Охранника.)* А, нет, это моя личная охрана.
ОХРАННИК. Талант — народное достояние. Его нужно беречь.
МАРИЯ. Клиенты меня тоже считают талантливой. Но охрана меня бы только стесняла.
САМСОН. Первые дни меня это тоже стесняло. Потом привык.

Самсон заметно изменился: голос стал тверже, жесты увереннеи.

Я пришел пригласить вас всех на новоселье. В следующую пятницу.
ЖЕНЩИНА и ПОДРУГА *(вместе)*. Замечательно!
ДОКТОР. А пиво будет?
РЫЖИЙ *(с завистью)*. Видно, вам хорошо платят за строчку.
САМСОН. Не знаю. Правительство целиком взяло на себя мое обеспечение. Дом, машина, обслуга и все такое...
МАРИЯ. Поздравляю, Самсон.

К Самсону подошел Пассажир с ружьем в руках.

ПАССАЖИР. Я стихов не читаю, но у вас нет большего поклонника, чем я.

Поглаживает ствол ружья.

Если что — можете на меня положиться.
ПЕРВЫЙ. Да-да, можете на нас положиться, нас связывают нерушимые узы тюремного братства. *(Всем.)* Ну-ка, три, четыре: браво, Самсон!..
ВТОРОЙ, ПАССАЖИР, ОБЕ ЖЕНЩИНЫ и МАРИЯ *(нестройно)*. Браво, Самсон!

Аплодируют.

ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! Вечерний локомотив до переправы отправляется через двадцать минут. Просьба приготовиться к посадке.
ВТОРОЙ. Это наш.

Протянул Самсону газету.

Подпишите тут свою фотографию. А то мои не поверят, что я с вами знаком. Что с них возьмешь — деревня.

Самсон привычно дает автограф.

РЫЖИЙ. Мать твою!.. А тут всю жизнь упираешься, как баран рогами, и ни славы тебе, ни заработка!

Второй взял газету, подхватил вещи и направился к выходу.

ПЕРВЫЙ *(пожимая Самсону руку)*. Я обязательно буду у вас на новоселье. Общение принесет нам обоюдную пользу; мы, интеллектуалы, мозг нации!
ЖЕНЩИНА *(страстно)*. До свидания, мой Самсон!
ПОДРУГА. До пятницы. Я познакомлю вас с мужем.

Первый, Пассажир и обе женщины уходят.

МАРИЯ. Присаживайтесь.
САМСОН. Только на минутку. Дел по горло.
ОХРАННИК *(гордо)*. С тех пор, как начальник нашего управления собрал издателей и побеседовал с ними, у Самсона от заказов отбоя нету.

Самсон сел. Охранник стал за его спиной.

МАЭСТРО *(взволнованно)*. Скажите, Самсон, вы счастливы?
САМСОН. Счастлив?
МАЭСТРО. У вас теперь есть все, что нужно человеку. Все с лихвой, и даже гораздо больше. Вы должны быть счастливы.
САМСОН. Наивный вы человек, маэстро. Обычные блага не могут сделать счастливым.
МАЭСТРО. Что же вас мучает? *(Настойчиво.)* Что, Самсон?
САМСОН *(улыбаясь)*. Ну, допустим, женщина. Чем вы мне поможете?

Пауза.

Когда я ее увидел, у меня перехватило дыхание. Какое страшное чувство! И корежит, и корежит... Вся моя слава, вся эта шумиха вокруг моего имени не доставляет радости. И ничем не могу отвлечься. Тоска, маэстро. Тоска и мука. О такой женщине я мечтал еще в юности. Но она недосягаема.
ОХРАННИК. Корежиться вам нельзя. Я доложу о вашей тоске по инстанции. *(Ободряюще.)* Наше ведомство умеет убеждать самых несговорчивых женщин.
САМСОН. Елена не по зубам вашему ведомству.
ОХРАННИК *(опешил)*. Елена?!.
МАРИЯ. Не знаю, кто такая Елена, но мы, бабы, все одинаковы. Послушайте, Самсон,— за свою любовь надо драться. Женщинам это нравится. *(Весело.)* Первый парень изнасиловал меня в тринадцать лет на каком-то заброшенном чердаке. Но я его сразу простила, потому что он любил.
ОХРАННИК *(в панике)*. Елена!.. Подруга Властителя!..
МАРИЯ. А хоть бы самого дьявола! У Самсона счастливые звезды. *(Самсону.)* Деритесь, Самсон! Деритесь!
МАЭСТРО. Это уже беда. Беда.
РЫЖИЙ *(раздраженно)*. Мы не сеем и не пашем, и железо не куем. От любовных от страданий вес теряем с каждым днем. Это не ваши стихи, поэт? Будете сдавать, маэстро, или будете сюсюкать дальше?

Маэстро сдает карты.

МАЭСТРО *(глухо)*. Я, кажется, совершил преступную ошибку: сказал людям правду, но не объяснил, что нужно обращаться с ней осторожно.
ДОКТОР *(поднимая карты)*. Свои ошибки исправляйте сами. *(Смеется.)* А вот у меня ошибок больше не будет. Мизер без прикупа!
РЫЖИЙ *(развеселился)*. И без трех семерок! Я пас!

Игроки приступили к игре.

Затемнение.

Загородный дом Властителя.

Вечер. Члены совета с папками в руках сидят на банкетках. Елена обносит всех бутербродами. Кое-кто из членов совета использует папку как подставку под бутерброды, чтобы не крошить на пол.

ЕЛЕНА. Попробуйте бутерброды с ветчиной...
2 ЧЛЕН СОВЕТА *(отгоняя «чертиков»)*. Кыш!.. Кыш, ненасытные!.. *(Елене.)* Что вы сказали?
ЕЛЕНА. Отличная ветчина.

2 ЧЛЕН СОВЕТА. Кыш, мерзость!.. *(Всем.)* Отличная ветчина. А эти так и норовят на бутерброд влезть.

1 ЧЛЕН СОВЕТА *(Властителю).* Мы бы не рискнули нарушить ваш отдых, если бы не уйма неотложных вопросов. Чиновники канцелярий уже впали в депрессию из-за отсутствия указующих циркуляров.

5 ЧЛЕН СОВЕТА *(в отчаянии).* Резко снизилась культура делопроизводства!

ВЛАСТИТЕЛЬ. Вы ешьте, ешьте...

Пауза. Члены совета послушно жуют бутерброды.

МАРК *(иронично).* Ну чем не дружеская вечеринка...

2 ЧЛЕН СОВЕТА. Вечеринка?! *(Властителю.)* Вот при вашем предшественнике были вечеринки, это да! Как вспомню, так дух хватает!

4 ЧЛЕН СОВЕТА. Совсем стал заговариваться.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Возраст. Пора на пенсию.

2 ЧЛЕН СОВЕТА *(огрызаясь).* Я вырос на свежем воздухе, с пяти лет коров пас! Воздух, солнце и вода! У меня энергии еще на всех вас хватит!

1 ЧЛЕН СОВЕТА *(Властителю).* Коль мы уже заговорили об энергии, то позвольте обратить ваше внимание...

Раскрыл папку. Властитель смирился с необходимостью работать.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Ну, говорите.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Подготовлено постановление о переходе на осенне-зимний сезон. Давно глубокая осень, а промышленность все еще на летнем режиме.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Дальше.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Разработан план учений северных войск. Учения предполагается начать... *(Всем.)* Государственная тайна.

Члены совета отвернулись.

Начать в понедельник. Представители дружественных армий просят разрешения присутствовать.

2 ЧЛЕН СОВЕТА *(не поворачиваясь).* Фиг им!

1 ЧЛЕН СОВЕТА *(так же).* Я тоже категорически против!

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Вот саботажники, а?! *(Властителю.)* Все о вашем предшественнике тоскуют!

Это обвинение вызвало бурю негодования у остальных членов совета.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Вы пользуетесь недемократическим способом ведения дискуссий!

5 ЧЛЕН СОВЕТА. Клеветник!

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Наш генералитет вообще чересчур много себе позволяет! Идеологию ставит на службу своим амбициям!

4 ЧЛЕН СОВЕТА. Даже женщину, представляете, женщину называют фугаской!

2 ЧЛЕН СОВЕТА. А я по-простому, по-крестьянски! Долой!.. Перекуем танки на тракторы!

ВЛАСТИТЕЛЬ *(резко).* Достаточно. Оставьте бумаги, я потом посмотрю.

Члены совета стихли. Сложив папки стопкой, они покидают гостиную.

3 ЧЛЕН СОВЕТА *(целуя Елене руку).* Я прошу вас встретиться с воинами перед началом учений. Армия — дитя народа, и это дитя нуждается в материнской ласке.

Властитель, Марк и Елена остались втроем.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Опять не сумел сдержаться. Но их лица и речи наводят на меня уныние.

МАРК. Это заметно. Вы давно не занимаетесь делами.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Не хочу.

Он встал, прошелся по комнате.

Не хочу! Мне все ненавистно! К делам не лежит душа, от любой бумаги тошнит, а в голове неотступно вертится только пророчество Маэстро. Меня съедает тоска, Марк!

МАРК. Это не ваша тоска. Это тоска Самсона.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Да?

ЕЛЕНА. Господи! Чего ему еще не хватает?

МАРК. Об этом он поведает сам.

Дернул за шнур звонка, висящий над камином.

Он ждет в приемной.

В гостиную вошел Самсон. Пауза.

Елена, оставьте нас. Тут мужской разговор.

Елена взглянула на Властителя и вышла.

САМСОН. Не знаю, как начать...

МАРК. Говорите, как говорили со мной.

САМСОН. Мои друзья считают, что это любовь. Такого со мной никогда не случалось. Засыпая, я вижу ее лицо, просыпаюсь — слышу ее голос. Наяву и во сне болит сердце, я не нахожу себе места... До встречи с ней все было просто, я устраивался со случайными женщинами. Теперь все женщины вызывают во мне отвращение...

ВЛАСТИТЕЛЬ. При чем же тут мы?

МАРК. По-моему, все понятно. Правда, он не назвал объект своей любви...

ВЛАСТИТЕЛЬ. Объект любви?! *(И тут его осенило.)* Елена?!. Он говорит о Елене?!.

Бросился к Самсону, схватил его за грудки.

Ты!.. Ты смеешь?!. Ничтожество! Я сгною тебя в рудниках, мразь!

В ярости трясет Самсона. Самсон не сопротивляется.

САМСОН *(покорно).* Я не могу без нее жить...

МАРК *(нервно).* Отпустите его, он не лжет!

Властитель отшвырнул Самсона в сторону и повернулся к Марку. А Самсон упал на колени и закрыл лицо руками.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(в гневе; Марку).* Ты знал! Знал и ничего не предпринял!

МАРК. Я устроил вам встречу. Это все, что я мог предпринять.

ВЛАСТИТЕЛЬ. На тебя работают сотни шлюх — осведомительниц! Создал бы ему из этих тварей гарем!

МАРК. Вы же слышали! Он не лжет, он ваше отражение! И тоска по Елене изводит его больше любой каторги!

Марк и Властитель перевели дыхание.

(Спокойно.) Ваш уход от дел уже стал предметом домыслов в зарубежной прессе. Располагаются две версии: утрата реальной власти и болезнь. Консервируются внешнеэкономические связи, прогнозируются имена ваших преемников.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Меня не волнуют их домыслы!

МАРК. Кумиров чтут до тех пор, пока они проявляют волю. А у вас впереди избирательная кампания.

САМСОН *(раскачиваясь).* Я не могу жить без нее... Не могу...

МАРК. Вы не имеете права уподобляться кассиру.

Пауза.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(с тоской).* Елена...

МАРК. Да.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Нет, Марк! Нет!

САМСОН *(раскачиваясь).* Я не могу жить без нее... Не могу...

МАРК. Взгляните на него. Такая любовь может лишить рассудка. Я получаю донесения о его состоянии ежесуточно, он на грани душевного срыва.

Пауза.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Елена... *(Зовет.)* Елена!.. *(Кричит.)* Елена!

Вошла Елена и обвела гостиную взглядом.

ЕЛЕНА. Что случилось? И почему Самсон на коленях?

ВЛАСТИТЕЛЬ. Он просит отдать тебя.

ЕЛЕНА. Отдать меня?

ВЛАСТИТЕЛЬ. Да.

Пауза.

Помоги ему встать. *(С болью.)* Сейчас он поднимется, и ты уйдешь вместе с ним. Уйдешь навсегда. Он добрый человек, и тебе с ним будет хорошо и спокойно.

ЕЛЕНА. Не понимаю!.. Что все это значит? Что ты говоришь?

ВЛАСТИТЕЛЬ. Судьба сыграла с нами злую шутку — ты вошла в его сны. Этого можно было ожидать... *(Помолчав.)* Он страдает без тебя, он мучается. Ты должна уйти с ним.

ЕЛЕНА. Должна?

МАРК. Да, Елена.

ЕЛЕНА. А меня вы спросили? *(Кричит.)* Вы не смеете распоряжаться моими привязанностями, моим сердцем, моим телом, наконец! Не смеете!

Она бросилась к Властителю.

Я же люблю тебя!.. Я была твоим другом, твоей опорой!..

МАРК. Это в высших интересах, Елена. Властитель многим жертвует сам и просит жертвенности от вас.

Пауза. Елена отпустила Властителя. Самсон встал с колен.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(с усилием)*. Уходите. Вдвоем. *(Помолчав.)* Пожалуйста, уходите.

ЕЛЕНА. Прощай...

Самсон и Елена вышли. Пауза.

МАРК *(заботливо)*. Ничего... Время лечит любые раны. Ничего...

Властитель резко повернулся к Марку.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(кричит)*. Где?.. Где, черт тебя побери?!. Где стратегический план учений? Где указ о режиме дня? Где остальные документы? Где, спрашиваю? Где?

Марк быстро поднял папки, лежащие на банкетках, и вытянулся перед Властителем.

Затемнение.

Конец 1 действия

ДЕЙСТВИЕ 2

Дом Самсона.
Гостиная в отведенном Самсону доме напоминает гостиную в доме Властителя. Тут тоже есть камин и поблескивает в углу рояль.
Утро. Горничная возится у камина. У входа стоит Охранник.
Тишина.

ГОРНИЧНАЯ *(подняв голову)*. Ну что вы стоите, как пень. Говорите же, пока никого нет. Говорите!

ОХРАННИК. У меня нет для вас новых инструкций. Могу только сказать, что вас помнят и вашу работу ценят.

ГОРНИЧНАЯ *(живо)*. Во сколько?

ОХРАННИК *(назидательно)*. С нашим ведомством не торгуются. Прежде всего — идейность!

ГОРНИЧНАЯ. А материальная заинтересованность?

ОХРАННИК. Я зафиксирую ваши пожелания в рапорте.

В комнату вошла Елена.

ЕЛЕНА. Какое сырое утро...

ГОРНИЧНАЯ. Да. А дрова, как назло, не разгораются.

ЕЛЕНА. Попросите мужчину, он растопит.

ГОРНИЧНАЯ. Я привыкла сама выполнять свои обязанности.

Пауза. Елена подошла к окну и приподняла штору.

ЕЛЕНА. Неба не видно, одна пелена. Грязная пелена. *(Помолчав.)* Такое чувство, будто меня приговорили к пожизненному заключению. Не хватает только решеток на окнах.

ГОРНИЧНАЯ. Ну вот, разгорелись!..

Встала.

Это вы зря, ей-богу. Я девушка из провинции и, конечно, многого не понимаю. Но то, что здесь лучше, чем там, я поняла сразу. Как только меня сюда направили. *(Улыбаясь.)* Три года я разжигала камин в доме Властителя, а он так и не заметил этого. Самсон совершенно другой. Великий поэт, а не гнушается беседовать с простыми людьми.

ЕЛЕНА. У Властителя иные заботы.

ГОРНИЧНАЯ. Если бы Самсон оказался на его месте, он бы не изменился.

ЕЛЕНА. Самсон на месте Властителя?!

ГОРНИЧНАЯ. Так многие думают. Вечерами в людской мы часто говорим о политике. Народ тоже кое в чем разбирается.

Сделала книксен.

Простите, мне еще нужно проветрить столовую.

И быстро вышла из комнаты.

ЕЛЕНА. Поэт!.. Властитель!.. С ума сойти! *(Охраннику.)* Я хочу остаться одна.

Охранник вышел. Елена прошлась по комнате, подошла к роялю, села, небрежно перебирает клавиши.

(Смеется). Вечерами в людской мы говорим о политике...

В гостиной появился Самсон. Он в домашней одежде.

САМСОН *(радостно)*. Вы смеетесь, значит, будет хороший день.

ЕЛЕНА. А-а, великий поэт!

Повернулась на вертящемся стуле лицом к Самсону.

Скажите, вам не надоело слоняться по дому без толку?

САМСОН. Я работаю. Редакции требуют...

ЕЛЕНА *(перебивая)*. Вы же прекрасно знаете, что человечество проживет без вашей слюнявой лирики. Вспоминать о ней будут только домохозяйки.

САМСОН. Возможно. *(Глухо.)* Но что останется мне, если я перестану писать? Вы об этом подумали?

ЕЛЕНА. Все зависит от вас. Быть может, останусь я.

САМСОН. Вы?!. *(Помолчав; с обидой.)* Два месяца я дежурю у дверей вашей спальни, чтобы всего-навсего пожелать доброй ночи и увидеть в ответ надменный кивок.

ЕЛЕНА. Займите место Властителя, и я сама открою вам дверь своей спальни.

САМСОН. Что?

ЕЛЕНА. Я хочу видеть рядом с собой мужчину, а не существо, вымаливающее на коленях подачку. Мужчину! Чтобы быть защищенной от всякой случайности.

Пауза.

САМСОН. Вы так его любите...

ЕЛЕНА. Нет. *(Насмешливо.)* Как поэт вы должны лучше разбираться в человеческих чувствах.

Встала резко, порывисто.

Отбери у него власть, Самсон! Достаточно двух-трех позабытых лозунгов, и люди поверят, что смена режима ведет к прогрессу!

Обвила руками его шею.

Ну же! Ну! У тебя же есть друзья, почитатели! Начни с них!

САМСОН *(растерянно)*. Два-три позабытых лозунга...

ЕЛЕНА. Да, да, доходчивых и простых, проникающих в сердце каждого. Что-нибудь патриотичное о деньгах и духовности! Ну, к примеру: «Наша коммерция — маяк планеты!» или «Богатство отдельного гражданина — плоть и духовность нации!»

В глазах Самсона появился какой-то блеск.

САМСОН. Но я никогда не думал о власти...

ЕЛЕНА. А ты подумай! Ты объездишь весь мир — лагуны, кораллы, базальтовые скалы! Тысячные толпы стоя будут приветствовать твое появление! Каждое твое слово будет публиковаться в газетах, изучаться в школах, университетах, ученый мир заговорит о твоем вкладе в мировую поэзию!.. Ну, рискни! Рискни! Я верю, ты сможешь! Ты же сумел отобрать меня!

Пауза.

САМСОН. Власть и ты...

ЕЛЕНА. И я. *(Радостно.)* Я знала, что ты согласишься. Ты не мог не согласиться!

Поцеловала Самсона в лоб.

С богом!

Затемнение.

Зал ожидания. В зале все сподвижники Самсона, за исключением его самого и Рыжего. На лицах у всех — ожидание. Только Первый занят делом — что-то лихорадочно пишет.

ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! Имеются свободные места на экспресс до переправы! Повторяю: имеются свободные места до переправы.

ЖЕНЩИНА. Только бы Самсон успел до отправления. Всегда так нервно, когда не знаешь, что от нас требуется на той неделе.
ПОДРУГА. Вот именно!
ВТОРОЙ. Пахать всегда требуется.

В зале, насвистывая, появился Рыжий. У него в руках пачки бумаг.

РЫЖИЙ *(раздает пачки всем поочередно)*. Листовки для служащих... для сельских тружеников... для профсоюза проституток... для домашних хозяек...
МАРИЯ *(пытаясь прочесть написанное в листовке)*. Не могу. Так устала, что буквы в глазах скачут.
ДОКТОР *(насмешливо)*. Участие в заговоре предполагает повышенную утомленность.
МАРИЯ. Еще какую! Ни днем, ни ночью нет отдыха. И налог в партийную кассу девяносто процентов. Девяносто процентов партвзносов из честно отработанных денег! Я сутенерам платила меньше.
ПАССАЖИР. Терпите, Мария. Продавая себя, вы служите общему делу. Организация нуждается в средствах.

Доктор громко смеется.

ПЕРВЫЙ. Потише, пожалуйста, вы мешаете. Я хочу закончить статью до прихода Самсона.
РЫЖИЙ. Ой-ой-ой, подумаешь, какой мыслитель! Вы бы лучше писали без вывертов. В вашей прошлой мазне сам черт ногу сломит. Слова-то какие! Регион, автократия, еще хрен знает что, сразу не выговоришь! Вы же работаете для масс.
ПЕРВЫЙ. Массы нужно образовывать, поднимать до интеллектуального уровня.
РЫЖИЙ. Они вас об этом просят?
ПАССАЖИР *(Рыжему)*. Абсолютно с вами согласен. Любим заряжать родной язык иностранным порохом.

Доктор громко смеется.

Если вам все смешки, доктор, покиньте организацию! Мы никого насильно не держим!
ДОКТОР *(прервав смех)*. Позвольте мне самому выбирать себе развлечения.
ЖЕНЩИНА. Как можно наше движение назвать развлечением?! Мы же боремся за отечество, за счастье народа! Все прогрессивное человечество с надеждой взирает на нашу борьбу!

Пассажир что называется «завелся» от конфликта с Доктором.

ПАССАЖИР. Болтаем, а не боремся! Болтаем! Потому и развлечение для кой-кого! Вот все Самсону выложу! Как на духу выложу!
ПЕРВЫЙ. Не нужно эмоций. Нам, ветеранам, познавшим ад казематов, следует уважительнее относиться друг к другу.
ЖЕНЩИНА. И к Самсону!
ПОДРУГА. К Самсону в первую очередь! Друзья мужа и муж считают его выдающимся политическим деятелем.
МАЭСТРО. О, господи!.. Право же, когда ты хочешь наказать человека, ты лишаешь его разума...
РЫЖИЙ. Вы опять за свое, маэстро?! Ну хуже Доктора! Доктор хоть развлекается, а вы нагоняете уныние. С первого дня организации причитаете: и то не так, и это плохо! Предвидите что-то, так скажите! Лично я в идеях Самсона вижу только здравый смысл. Именно отделение нас от них! Именно очищение общества от инородцев и к ним примкнувших и возврат к исконным традициям! Только так мы сохранимся в первородной своей чистоте! *(Всем.)* Ему-то что?! Сел себе на стул в центре сцены, закрыл глаза и пророчит для избранных. А мне гораздо приятнее видеть в зале простые, доверчивые лица, понимающие народный юмор. Я тогда работаю с подъемом.
ВТОРОЙ. Оно конечно, к простым лицам доверия больше.
МАЭСТРО *(Рыжему)*. Перестаньте. Ваша глупость порой не имеет предела.
РЫЖИЙ. Ну, знаете!..

Стиснул кулаки. Но в этот момент в зале появился Самсон. За ним, чуть поотстав, следует Охранник.

МАРИЯ. Самсон.
ЖЕНЩИНА и ПОДРУГА *(выдохнув)*. Успел!..
САМСОН. Успел. Хоть это было непросто; пришлось побывать на трех встречах в разных концах города. *(Оглядел всех.)* Рад видеть, что вся десятка основоположников в сборе и в добром согласии.
ВТОРОЙ *(наушничая)*. Они тут спорили! Еще как! Все насчет новой статьи. Как ее писать, мол. *(Первому.)* К народу обратитесь! К народу! Народ подскажет!

ПЕРВЫЙ *(возмущенно)*. Помолчите, если не понимаете! *(Самсону.)* Некоторые разногласия по поводу терминологии.
САМСОН. Ну-ка дайте, я взгляну.

Взял у Первого статью, читает.

ПЕРВЫЙ. Осталось сделать несколько поправок...
САМСОН. Так.
ПЕРВЫЙ. Она появится завтра в утреннем выпуске.
САМСОН. Так.

Сложил лист и возвратил его Первому.

У меня нет претензий, все правильно. *(Всем.)* Правильно. Придет час, и мы простым арифметическим сложением сил заставим правительство подать в отставку. Нужно продолжать агитацию. Прошу всех продумать темы выступлений на очередном митинге.
ПАССАЖИР. Плевать на эти митинги и агитацию! Плевать!.. *(В сердцах.)* Нас десять тысяч, Самсон! Десять тысяч человек томится без настоящего дела! Люди устали ждать. Переходите к активным действиям: достаньте деньги, вооружите отряды! В противном случае мы выдвинем другого вождя!
ЖЕНЩИНА и ПОДРУГА *(в смятении)*. Другого вождя?!.
ПЕРВЫЙ. Говорите от своего имени.
ЖЕНЩИНА. Самсон объединил нас!

Самсон обвел глазами присутствующих.

САМСОН. Кто еще так думает?
РЫЖИЙ *(уклончиво)*. Другого — не другого, а действовать, пожалуй, пора. Это только Маэстро придется не по душе.
МАРИЯ. И мне бы полегче стало.
ВТОРОЙ. Оно конечно, сельчанину привычней действовать. Бывало, сбежишь с уроков, лопату в руки да на огороды.
САМСОН. Учтите, приобретая оружие, мы ставим под угрозу свободу наших людей и покой всего общества.
ПЕРВЫЙ *(поддерживая Самсона)*. Правительство тут же предпримет ответные меры.
ПАССАЖИР *(вошел в раж)*. Ни фига, надо будет — откупимся! *(Кивнул на Охранника.)* Кой-какой опыт уже имеется. *(Страстно.)* Десять тысяч верных людей сформированы в десятки и полусотни! В отрядах суровая дисциплина, жесткий порядок! Еженедельно по воскресеньям проводятся учебные стрельбы в тирах! С такими людьми можно своротить горы! Они вам верят, Самсон, они пойдут за вами в огонь и воду, они ждут вашего клича!

Возбуждение Пассажира передалось Самсону.

САМСОН. Хорошо, деньги будут. Нынче же ночью мы проведем акцию.
ПАССАЖИР. Вот это другое дело! Можете на меня положиться! *(Всем.)* А то куда ни глянь — митинги!
МАЭСТРО. Акция...
САМСОН. Нужны добровольцы.
ПЕРВЫЙ. Я бы с радостью, но боюсь, что тогда не успею к сроку статью.
РЫЖИЙ. У нас с Маэстро поздний концерт.
ОХРАННИК. А мне вмешиваться нельзя, я при исполнении. Вот после работы — другое дело. На этот счет имеются четкие инструкции.
ВТОРОЙ. И нашим и вашим, значит?!
ЖЕНЩИНА. Он и в интимной обстановке, как по инструкции. Всего-то одну ночку с ним проаела, а чуть не умерла от скуки!
САМСОН. Оставьте его в покое, ему платит правительство за мою безопасность.

Доктор смеется.

ДОКТОР. Не спрашиваю, в чем суть акции, но готов. Мне интересно.
САМСОН. Отлично.
МАЭСТРО. Как поживает Елена, Самсон?
САМСОН. Елена? Это умнейший человек. Ее советы помогают нам в нашей борьбе.
МАЭСТРО. Елена — очаровательная женщина. Женщина вашей мечты.
САМСОН. Какое это сейчас имеет значение? *(Доктору и Пассажиру.)* Вы пойдете со мной. Посетим одно учреждение. *(Усмехнулся.)* Мне там знакомы все ходы и выходы.

Пассажир сдернул с барьера тира ружье.

ПАССАЖИР. А я прихвачу эту штуку! На всякий случай!
МАЭСТРО. Не делайте этого, Самсон!

Маэстро вскочил и оказался лицом к лицу с Самсоном.

Вы не вняли словам ясновидца, так прислушайтесь к другу. Не делайте этого. Ваше воображение пленил вид застывших шеренг — пятки вместе, носки врозь! — и зачаровал рев толпы, оглохшей в своем патриотическом крике. Но толпа — это зверь, Самсон! Ее восторг питается человеческой кровью, ее патриотизм — прибежище насильников и убийц. Вы становитесь на преступный путь.

ВТОРОЙ. Предательство!

ЖЕНЩИНА и ПОДРУГА *(вместе)*. Предательство!

САМСОН *(усмехаясь)*. Нам пора, маэстро. *(Властно.)* И прошу вас отныне молчать! Иначе я буду вынужден применить силу. Отпустить вас с миром не получится, вы теперь слишком много знаете. И можете навредить нам.

Пауза.

Вам все понятно, дорогой друг?

ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! Вечерний экспресс до переправы отправляется через двадцать минут. Просьба приготовиться к посадке.

САМСОН. Это ваш! Расходимся! *(Доктору и Пассажиру.)* Ступайте за мной.

Самсон, Доктор, Пассажир и Охранник скрылись. Следом за ними, подхватив вещи, покинули зал обе женщины, Первый и Второй. Рядом с Маэстро остались Рыжий и Мария. Маэстро проводил всех удручающим взглядом.

РЫЖИЙ *(зло)*. И что это вам неймется, мастер? Чего вы все поперек лезете?

МАЭСТРО. Пытаюсь исправить свою ошибку.

МАРИЯ. Будто это возможно! Прошлое не вернешь. *(Весело.)* Все равно, что я захотела бы опять стать девицей.

РЫЖИЙ. Кто не с нами, тот против нас, маэстро. Простая вещь. Сидите лучше и помалкивайте, как Самсон советовал. А то, правда, беда случится. *(Смеется.)* Хоть я и не ясновидец...

МАЭСТРО *(с ожесточением)*. Хорошо, я буду молчать. Сидеть и молчать.

МАРИЯ. А я — работать.

Встала, вздернула платье.

(Со вздохом.) Организация нуждается в средствах.

Маэстро поудобнее устроился на скамье и замер.

Затемнение.

Загородный дом Властителя.
Властитель сидит в кресле у камина, члены совета — на банкетках. Марк по обыкновению стоит в стороне от всех, у рояля.
У входа застыл Охранник.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Этот налет на банк нельзя расценивать только как уголовное преступление. Прежде всего, это проверка сил его организации.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Не организации, а бунтовщиков. Называйте вещи своими словами.

4 и 5 ЧЛЕНЫ СОВЕТА *(вместе)*. Вот именно!

2 ЧЛЕН СОВЕТА. Кыш, кровососы!.. Кыш!.. *(Всем.)* Повторите, я прослушал, о чем речь.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Все о том же. Группа бунтовщиков совершила насилие.

2 ЧЛЕН СОВЕТА. Потому как волю всем дали! Наш климат не располагает людей к воле, на морозе от воли дуреют.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. На этот раз я согласен с предыдущим оратором.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Начальник управления правопорядком проинформировал членов совета, что на деньги, изъятые в банке, вооружаются отряды боевиков.

МАРК. К сожалению. *(С грустью.)* Мало нам нищеты, нужна еще кровь. А страдать будут ни в чем не повинные люди...

ВЛАСТИТЕЛЬ. Я хочу знать подробности налета.

Марк кивнул, и Охранник сделал шаг вперед.

ОХРАННИК. Люди Самсона привезли в банк директора прямо в нижнем белье.

5 ЧЛЕН СОВЕТА *(в стыдливом ужасе)*. В нижнем белье?!.

ОХРАННИК. Обычные такие подштанники, на трех пуговицах и с тесемками снизу.

4 ЧЛЕН СОВЕТА. Господи, что выпускает наша промышленность! Не мудрено, что столько разводов!

ВЛАСТИТЕЛЬ. Продолжайте.

ОХРАННИК. Сначала Самсон поговорил с директором о новых формах финансирования, затем они приставили к его лбу духовое ружье и потребовали ключи от сейфа. Из такого ружья можно выбить глаз, если не хуже.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Почему вы не помешали ограблению? Почему не вызвали по телефону наряд правозащиты?

ОХРАННИК. Я не имею права отлучаться от Самсона во время дежурства ни на минуту.

МАРК. Такова инструкция.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Черт возьми, кто кем владеет: мы инструкциями или они нами?

Смеется. В его смехе слышится горечь.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Тут смех неуместен.

4 ЧЛЕН СОВЕТА. Страшно подумать, какой опасности подвергался добропорядочный экономист.

5 ЧЛЕН СОВЕТА. И какой опасности подвергается народ, который мы представляем!

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Армия давно недовольна безнаказанностью Самсона. Не будь зависимости ваших судеб...

ВЛАСТИТЕЛЬ. До сих пор он не нарушал законов. *(Высокомерно.)* Но, кажется, вы осуждаете мои действия.

1 ЧЛЕН СОВЕТА. Боже упаси! Мы подвергаем их конструктивной критике. Наши свобода и равноправие под угрозой, и надо действовать.

2 ЧЛЕН СОВЕТА. Вот до чего довел ваш пруляризм! Каждый каждому могет в глаз ружьем ткнуть!

1 ЧЛЕН СОВЕТА. О господи! Не пруляризм, плюрализм! И может, может!..

2 ЧЛЕН СОВЕТА. А я что сказал?!.

4 и 5 ЧЛЕНЫ СОВЕТА *(вместе)*. Отечество в опасности!

ВЛАСТИТЕЛЬ. Полагаю, мы еще в силах защитить отечество от посягательств.

Он встал.

В связи с создавшимся положением Совет преобразуется в комитет государственной безопасности свободы. Всю полноту власти в комитете я беру на себя.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА. Замечательно!

ВЛАСТИТЕЛЬ. Немедленно установите комендантский час, введите пропускную систему на вход в правительственные здания и учреждения, назначьте цензуру для контроля средств массовой информации и проведите дискуссию о правах человека, с трансляцией по телевидению. К дискуссии подключите трудящихся активистов.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА. Слушаюсь!

ВЛАСТИТЕЛЬ. Марк! Организуйте бригады мгновенного захвата. Изолируйте Самсона от боевиков, отсеките все его связи, лишите крова.

По лицу Властителя пробежала судорога.

Только не смейте стрелять.

3 ЧЛЕН СОВЕТА. Давайте еще наглядно продемонстрируем наши мирные намерения. Поставим на площадях танки и зачехлим орудия.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Подобные вопросы решайте в комиссиях. Все. Все свободны.

Члены совета заторопились к выходу.

2 ЧЛЕН СОВЕТА *(в дверях)*. Кыш!!! Кыш!.. Не до вас сейчас — отечество в опасности!

С Властителем остался только Марк.

МАРК *(интимно)*. Не беспокойтесь, ни один волос не упадет с его головы.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Я сказал, все свободны, Марк.

МАРК. Слушаюсь.

И, усмехнувшись, вышел из гостиной.

Затемнение.

Зал ожидания.
Сейчас он стал лагерем осажденных. Здесь все сподвижники Самсона — десятка ветеранов. У мужчин в руках винтовки.
Самсон устроился на одной из скамей. Рядом Елена в наброшенной на плечи шубке. Мария, Женщина и Подруга скатывают бинты. Доктор наблюдает за их работой. Первый и Второй устроили у окон наблюдательные посты. Пасса-

жир прохаживается по залу. Рыжий раскачивается, опершись на винтовку. В центре зала сидит Маэстро. Так, словно и не покидал зал после предыдущей сцены.

ПЕРВЫЙ *(от окна)*. Они ведут себя так, словно мы их не интересуем.
ВТОРОЙ. Кружат себе и кружат. Одно слово — коршуны.
РЫЖИЙ *(монотонно)*. Обложили, сволочи... Обложили... Обложили, сволочи... Обложили...
ДОКТОР. Мария! Накапайте ему сорок капель.

Мария достала из докторского саквояжа микстуру, считает капли, затем поит Рыжего. Доктор подошел к Самсону.

ДОКТОР. Положение серьезное, Самсон.
САМСОН. Пока тихо.
ДОКТОР. Это тишина перед боем. Они вот-вот пойдут на штурм.
ЖЕНЩИНА. Они не посмеют стрелять в женщин!
ПАССАЖИР. Посмеют. Когда у тебя в руках винтовка, от выстрела не удержаться.

Похлопал по стволу.

Хорошо, что мы успели это приобрести.
МАРИЯ. Если бы они хотели стрелять, они бы давно стреляли. Запрут нас лет на пятнадцать по камерам, и делов!
ПОДРУГА. На пятнадцать?! Муж за это время умрет от тоски!
ДОКТОР. Не отвлекайтесь, девочки. Боюсь, что бинты нам все же понадобятся.
САМСОН *(Пассажиру)*. Осмотрите подвальные помещения. *(Всем.)* Попытаемся уйти через подземные коммуникации.
ПОДРУГА. Мы не должны уходить! Муж обещал привести свою полусотню на выручку!
САМСОН *(Пассажиру)*. Выполняйте, время не ждет.
ПАССАЖИР. Слушаюсь.

И скрылся за колоннами в глубине зала. Пауза.

МАРИЯ. Споем, что ли? Сидим, как на похоронах.
ДОКТОР *(живо)*. Давайте лучше распишем пульку.
МАРИЯ. У меня нет денег, доктор. Обеспеченные клиенты сидят эти дни по домам.
ПЕРВЫЙ. Их можно понять — комендантский час.

Пауза. Мария запела. Некоторое время все слушают песню.

САМСОН *(Елене; тихо)*. Это совсем не похоже на Эльдорадо, которое вы мне обещали.
ЕЛЕНА. Не ищите сочувствия, я очерствела. В конце концов, я тоже страдаю, меня тоже вышвырнули из дома.
САМСОН. Я не ищу сочувствия, я констатирую факт. *(Улыбнулся.)* Нам многое обещали. Все детство и юность мы жили надеждами на эти обещания. Но нас обманули. Это понимаешь не сразу, но когда понимаешь... Кто-то нас всех обманул. Я не о политике, я о жизни. Вообще о жизни. Ведь вы тоже обмануты. У нас с вами осталось одно — набраться мужества, чтобы продолжать жить.
ЕЛЕНА. Вот это мне нравится больше — жить! И если нас обманули, значит, жить ради себя.

В зал возвратился Пассажир.

ПАССАЖИР *(бодро)*. Все люки задраены, открыт один канализационный. Он наполнен до половины, но пройти можно.
ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! Вечерний рейс до переправы отменяется в связи с неприбытием аэробуса.
ПЕРВЫЙ. Они блокировали все пути к вокзалу. Никакая помощь к нам теперь не пробьется.
РЫЖИЙ *(встрепенулся)*. Обложили!.. Как волков в логове!.. И на кой хрен я с вами связался?!.
МАРИЯ. Микстура не помогает, доктор.
ДОКТОР. Других лекарств я не знаю, я рядовой врач, а не профессор *(Усмехнулся.)* Кроме того, по сути он прав.

Самсон встал.

САМСОН. Нужно идти через люк. *(Пассажиру.)* Ведите нас.
ЖЕНЩИНА. Нет! Только не через канализацию! Лучше умереть от пуль, чем от запаха!

ПЕРВЫЙ. Действительно, канализация — это слишком.
ВТОРОЙ. Оно конечно. К этому запаху привычка требуется.
ПОДРУГА. На крайний случай можно найти хорошего адвоката. У мужа есть...
САМСОН *(резко)*. Значит, вы предпочитаете сдаться?

Пауза. Все смущены столь прямым вопросом. Первый отвернулся к окну.

ДОКТОР. Дело такое...
ПЕРВЫЙ. Смотрите! В нашу сторону движется экипаж!
ВТОРОЙ. Большой черный экипаж с белым флагом спереди!
РЫЖИЙ *(восторженно)*. Переговоры!.. Переговоры!..
МАРИЯ *(легко)*. Что ж, надо уметь вовремя раздвинуть ноги.

Послышался цокот копыт, ржание. В зале появился Марк с белым флагом в руках.

ЕЛЕНА. Марк...

Марк прошел в центр зала.

МАРК. Не будем разводить церемоний. Вы живете в демократическом обществе и имеете право на собственное мнение о правительстве. Но согласитесь, что уважающая себя власть должна уметь защищаться.
ПЕРВЫЙ. Логично.
МАРК. Вокзал оцеплен войсками, готовыми открыть огонь. Во избежание кровопролития предлагаю следующее. Все вы будете прощены и сможете беспрепятственно покинуть здание при условии, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не станете встречаться с Самсоном.
РЫЖИЙ. И это все?
МАРК. С меня достаточно лично вашего честного слова.
РЫЖИЙ. Годится!

Бросился отбирать у своих товарищей оружие и складывать его в кучу. Марк подошел к Самсону и Елене.

МАРК. Вы останетесь в одиночестве, Самсон. *(Улыбаясь.)* Если, конечно, дирекция ограбленного вами банка не возьмет вас назад на работу. Я бы на вашем месте обратился за помилованием прямо к Властителю. В конце концов, ваша мистическая связь с ним дает вам на это право. *(Елене.)* Вы тоже должны оставить Самсона.
ЕЛЕНА. Опять должна? Опять высшие интересы?
МАРК. Ваши интересы. Такой женщине нужна драгоценная оправа. Вы же разбираетесь в людях, умеющих властвовать. Самсон проиграл свою партию. *(Ласково.)* Собирайтесь, я подожду вас в карете.

Марк направился к выходу и остановился возле Маэстро.

Что-то я позабыл, какой конец вы предсказали Самсону?..

Не дожидаясь ответа, вышел из зала, отшвырнув в сторону уже не нужный флажок. Пауза.

ЕЛЕНА *(встала; надевает шубку)*. Простите меня...
САМСОН. Елена!..
ЕЛЕНА. Я не могу прозябать в ночлежках, Самсон. У нас нет будущего. *(Весело.)* Жить, мой друг! Жить!..

Елена ушла. Самсон опустился на скамью и уронил голову на руки.

МАРИЯ. Ну, ушла и ушла! Подумаешь!
ВТОРОЙ. Оно конечно. Мы тоже сейчас уйдем. От этого не помирают.
ДОКТОР. И не сходят с ума.
ПЕРВЫЙ. Нужно отдать должное правительству, они поступили с нами гуманно.
ПАССАЖИР *(выбирая из кучи свое оружие)*. Даже оружие не отобрали!
РЫЖИЙ *(радостно)*. Все хорошо, что хорошо кончается! И-и-иэх!..

Пошел вприсядку по залу. Окружающие прихлопывают и подтанцовывают, увлекаясь танцем все больше и больше.

ПОДРУГА *(Женщине; в танце)*. Я так переволновалась за мужа. Он находился в такой опасности...

Самсон поднял голову и взглянул на своих веселящихся сподвижников.

САМСОН. Одиночество... Неприветливые окна домов, каменные лица прохожих... Никто не скажет тебе «здравствуй, Самсон», никто не подаст руки... Прямо к Властите-

лю!.. Кто же я теперь? Человек? Унижен, оскорблен, растоптан... Жить!.. И лично к Властителю!..

Он вскочил.

Стойте!

Все замерли. Перед людьми стоял властный, самоуверенный человек. Еще более властный и более самоуверенный, чем был. От его недавней растерянности не осталось и следа.

Стойте! Я нашел способ заставить их передать нам власть! Беспроигрышный способ! Власть принадлежит теперь нам! Партия кончилась в нашу пользу, даю вам слово! Властителю придется сейчас выбирать между жизнью и смертью! Сидите и ждите меня здесь!

Подхватил флажок Марка и выбежал из зала.
Затемнение.

Загородный дом Властителя.
Властитель стоит у окна, отдернув штору. Послышался шум подъехавшего автомобиля. Властитель опустил штору и отошел к камину.
В гостиной появился Марк.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Все кончено?
МАРК. Почти.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Точнее.
МАРК. Самсон настойчиво требует встречи с вами.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Требует?
МАРК. Так он выразился.
ВЛАСТИТЕЛЬ. А его люди?
МАРК. Люди как люди. Легко укрощаемое стадо. *(Улыбнулся.)* Он ждет в приемной.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Впусти.

Марк распахнул двери, и в комнате появился Самсон.

САМСОН. Мне бы хотелось поговорить с вами наедине.
ВЛАСТИТЕЛЬ *(высокомерно)*. Не ставьте условий. Марк останется.
САМСОН. Хорошо. Пусть так.

Он сделал несколько шагов вперед.

Вы сломали меня. Отняли все. Дали, а потом отобрали все, даже то немногое, что я имел до встречи с вами. Я жил спокойно и мирно, жил, как трава,— гнулся перед любым столоначальником, но не ломался. Вы породили во мне несбыточные надежды, одурманили роскошью, развратили иллюзией самостоятельности, а потом сломали. Так поступает ребенок с надоевшей игрушкой. И мне теперь терять нечего.

Достал из кармана перочинный нож и обнажил запястье.

Этим ножом я вскрою вены. И кровь, капля за каплей, унесет мою жизнь. И вашу тоже. Вы отберете нож, я найду веревку, вы закуете меня — уморю себя голодом. Единственное, что мне осталось,— это право распоряжаться собственной жизнью. И я распоряжусь ею. И вашей тоже.

ВЛАСТИТЕЛЬ. Чего вы хотите?
САМСОН. Смены режима. Вы пользовались благами власти, а я еще нет. Пора вам уступить место — у нас ведь одна судьба.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Одна...
САМСОН. Решайте. Моя смерть — не пустая угроза.

Резко повернулся и вышел из гостиной.

МАРК *(весело)*. Он никуда не денется, его уже ждет охрана.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Помолчи!

Пауза. Властитель прошелся по комнате.

Он угодил в десятку, Марк. Я боюсь смерти. Как все люди — боюсь. Знаю, вы возведете склеп, впряжете двенадцать коней в катафалк, рвущая душу мелодия будет сопровождать процессию. Но там, за мраморными камнями, не видно траурной мишуры, не слышно горестных звуков меди. Там холод, мрак, тишина... Молчи! Всю жизнь я возводил пирамиду, на вершине которой обоснуется мое «я», чтобы с высоты наблюдать, как копошатся муравьи у подножия. Власть, как хмельной напиток, разгоняет кровь и заставляет сильней биться сердце. И, как хмельного, ее всегда мало тому, кто сделал первый глоток. Ради

нее я поступился законом, совестью, близкой женщиной. Власть впиталась в мою плоть, мы с ней стали нерасторжимы! *(Смеется.)* Он предложил мне жизнь! Ну представь, как я хватаю за полы пиджаков прохожих, чтобы напомнить о своем существовании! Или как в пивной, с кружкой в руках рассказываю собутыльникам запрещенные анекдоты! *(Его смех переходит в хрип.)* Унижение — та же смерть, Марк! Унижение гнет к земле спину, туманит сознание, превращает в раба! Я не хочу жить с ощущением муравья, строящего свой маленький муравейник! Не хочу, чтобы кто-то диктовал мне условия жизни, объясняя насилие державной необходимостью! Не хочу, наконец, держать над собой зонтик, думая, что идет дождь, в то время как тот, кто на пирамиде, просто мочится на меня! Не хочу, это унизительно!.. Но я боюсь смерти. Он угодил в десятку, Марк!

МАРК. Я же сказал, на выходе его уже ждет охрана. Через двадцать минут его поместят в психлечебницу, и он уже ничего не успеет с собой сотворить. У наших врачей есть средства, лишающие людей воли.

Властитель замер.

ВЛАСТИТЕЛЬ. В психлечебницу?
МАРК. Его надо лечить. Немного успокоить и лечить.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Самсон совершенно нормален!
МАРК. Вы же сами всегда утверждали, что только умалишенный может в нашей стране стремиться к смене режима. К несчастью, народ знает о связанности ваших судеб, и его теперь трудно в чем-либо переубедить...

Дернул за шнур звонка, висящий над камином.

ВЛАСТИТЕЛЬ *(вне себя)*. Мерзавец!
МАРК *(улыбаясь)*. Но зато вы будете жить. И вам не придется хватать за полы пиджаков прохожих. К вам приставят целое подразделение нянечек и сиделок, вас будут осматривать лучшие медики континента...

Продолжает звонить. На пороге вырос вооруженный Охранник.
Затемнение.

Зал ожидания.
Зал залит каким-то синеватым вечерним светом. Все ждут Самсона. В центре по-прежнему неподвижно сидит Маэстро.
Пауза.

ЖЕНЩИНА. Терпеть не могу ждать! Ждешь, ждешь, а жизнь проходит мимо!
ПЕРВЫЙ. Спокойно! Нам теперь нужно сохранять силы для будущих великих свершений. Учтите, нам предстоит поднять экономику целого государства. *(С чувством достоинства.)* Наше движение теперь станет фактом истории. О нас напишут тома исследований, наши портреты отпечатают в энциклопедиях, а мы с гордостью скажем внукам: «Мы стояли у его истоков!»
ВТОРОЙ. Оно конечно. И документ получим, удостоверяющий деятельность. А в старости — персональную пенсию.
ДОКТОР *(весело)*. Я пока не ощущаю себя исторической личностью. Мария, по-моему, тоже.
МАРИЯ. Но от пенсии не откажусь. Нужно же думать о времени, когда прут морщины и теряется форма.
ПОДРУГА. Над такими вещами не шутят! Кто-кто, а мой муж имеет право занять свое место в истории!
РЫЖИЙ. Хорошо жить на свете, шут возьми! Хорошо!..
ПАССАЖИР *(потряхивая винтовкой)*. Жаль только, не довелось испробовать эту штуку.
ВТОРОЙ. Пожевать бы чего... *(С тоской.)* Скажите, доктор, почему от волнения пустеет в брюхе? Я как переволнуюсь, так прямо теленка готов схарчить.
ЖЕНЩИНА. В самом деле — поужинать бы!
РЫЖИЙ. Мать твою! Взяли мы власть в свои руки или нет?
ПЕРВЫЙ. После слов Самсона в этом нет никаких сомнений.
РЫЖИЙ. То-то и оно!

Вскочил, направился к киоску.

Ну-ка, мужики, подсобите! Тут вон добра на целый полк, а оно портится!

Пассажир и Второй уловили мысль Рыжего и бросились к нему на помощь.

Пассажир прикладом сбил замок с двери. И тотчас же в разграблении киоска приняли участие все, кроме Маэстро. Действия мародеров сопровождаются возбужденными возгласами.

ГОЛОСА.— Толково сообразил!
— Забирай все подряд, ребята!
— Осторожно, шампанское!
— Смотри, что есть! А на витрине одни консервы!
— Вали будку!.. Будку вали!
— Клади ее на бок!

Действие все с большей скоростью катится к хаосу и приобретает нереальный характер. Еще мгновение — и перевернутый на бок киоск превращен в стол, на котором устанавливают бутылки, стаканы, снедь. В этот миг в зал вошел Марк в сопровождении Елены и Охранника. У Марка в руках букет опавших листьев. Но их появления никто не заметил — возбуждение достигло предела.

ПАССАЖИР. Пируем, граждане! Разливай, Рыжий!
ПЕРВЫЙ. Я скажу тост! Я!
РЫЖИЙ. Подставляй тару!
МАЭСТРО. О, господи!.. Слепые ведут слепых, господи! А я молчал! Я тешил свою гордыню!..

Вскочил.

(Кричит.) Остановитесь! Это же безумие! Какая-то эпидемия безумия!
МАРК. Поздно, маэстро! Поздно!

Все замерли. И, узнав Марка, бросились в стороны от «стола».

Вы правы, это эпидемия. Но вспомните, кто выпустил на свободу вирус, кто толкнул их на первый шаг?! К сожалению, вы не всегда молчали, маэстро. Не всегда. Напрягитесь, взгляните сквозь стены дома скорбящих.

Пауза. И тут в дальнем углу зала возникли две фигуры в смирительных рубашках. И не ясно, видят ли их все, или это только видение Маэстро.

САМСОН. Все это дикий сон... Вы уже приняли лекарства?
ВЛАСТИТЕЛЬ. Целую горсть. *(Помолчав.)* Без сомнения, это сон. Я твердо помню, что уснул, когда прорицал Маэстро.
САМСОН. Я тоже тогда уснул. *(Убежденно.)* Вот проснемся, и все будет как было. Вы окажетесь в своем кабинете, а я — у окошка кассы. Нужно только проснуться.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Да-да, проснуться! Проснуться — проснуться — проснуться! Знаете что, ущипните меня.
САМСОН. Не могу, у меня связаны руки.
ВЛАСТИТЕЛЬ. Тогда укусите. Или вот что: укусим друг друга одновременно.

Кусают друг друга и оба вскрикивают от боли.

САМСОН. Больно!
ВЛАСТИТЕЛЬ. Это ничего не значит. В детстве в снах тоже случается больно. Вы помните детство?
САМСОН. Помню. Я мечтал стать взрослым и объездить весь мир с дрессированным котом... Мечты... Все говорили: расти быстрей и будешь счастливым. Нас всех обманули...

Самсон запел детскую песенку. Властитель начал подпевать ему. Видение ушло в темноту.

МАРК. Вот так-то, маэстро...

Протянул Маэстро букет опавших листьев.

Примите этот скромный знак моей благодарности и дружбы. Я сам собрал их по дороге сюда. Примите и не вините себя; от судьбы никому не уйти.
ЖЕНЩИНА *(Подруге; громко)*. Какой очаровательный букет!
РЫЖИЙ. Только в нашем отечестве такой красоты листопады.
ПЕРВЫЙ. Только в нашем отечестве!!. Это же выход! Букеты опавших листьев спасут экономику и дадут нам валюту! Нужно создать концессию по сбору и продаже их за рубеж!

Маэстро с яростью швырнул букет в толпу. Листья взметнулись вверх.

МАЭСТРО. Над вашими головами носится сталь, начиненная смертью, тучи изрыгают вместо дождя яд, власти используют ваши способности и ваши ошибки для издевательств

и травли людей, а вы задираете головы кверху и восторгаетесь: какой листопад! Кусок колбасы, глоток краденого вина превращают вас в сбесившихся тварей!

МАРК. Свяжите его! Привяжите к колонне и заткните чем-нибудь рот!
ОХРАННИК и ПАССАЖИР *(вместе)*. Слушаюсь!

Направляются к Маэстро, на ходу снимая с себя ремни. Миг — и Маэстро привязан к колонне.

МАРК. Простите, маэстро, но кто сейчас в самом деле взбесился?..
ОХРАННИК *(окружающим)*. Был приказ заткнуть ему рот!
РЫЖИЙ. Слушаюсь!

Скомкал платок и двинулся к Маэстро.

ЖЕНЩИНА и ПОДРУГА *(вместе)*. И поделом!
ВТОРОЙ. Потому как предатель — всегда предатель!
МАЭСТРО *(Рыжему)*. Что вы делаете? Вы же мой партнер. Защитите меня!
РЫЖИЙ *(оскалился)*. Неужто так трудно пострадать за правду-матку?! *(Зло.)* Нет уж, маэстро, хрен с ним, с партнерством! Пора сквитаться! Подсчитайте-ка сейчас на досуге, сколько лет вы помыкали рыжим? Рыжий — подай, рыжий — молчи, рыжий — перестань!..

Затолкал в рот Маэстро платок.

А этого не желаешь, мастер?!

И пошел, скоморошничая, вокруг колонны.

Что же это вы, ясновидящий, свою беду проглядели? Своя-то рубаха-холстинушка нужнее на собственном теле!..

Общий хохот. Марк поднял руку.

МАРК. В ружье!.. В одну шеренгу становись!..

Хохот прервался. Некоторая растерянность. Затем, беря пример со Второго и Пассажира, все разбирают оружие и выстраиваются в шеренгу. Охранник подравнивает строй, постукивая стоящих по животам.

ОХРАННИК. Равняйсь!.. Смир-на!..

Тем временем Марк наполнил стакан шампанским и поднял его.

МАРК. У нас общее горе: Властителя и Самсона настиг предсказанный недуг. И тот и другой разными путями вели нас к одной цели — к всеобщему счастью. Их жизни — это яркий пример служения своему народу. И мы с вами, создав новое правительство, будем следовать их примеру.
ВСЕ *(нестройно)*. Замечательно!..
МАРК. Прошу почтить память наших вождей троекратным залпом.

Люди вскинули винтовки. Прозвучало два беспорядочных залпа.

ПАССАЖИР *(в восторге)*. У этих штук превосходный бой!
ДОКТОР. Только с непривычки рука дрожит.
ПЕРВЫЙ *(многозначительно поглядывая на Марка)*. Нам всем не хватает твердой руки.
ЖЕНЩИНА *(страстно)*. Твердой мужской руки!
ПОДРУГА. Вот именно!
ОХРАННИК *(Марку)*. Согласно инструкции, беспорядочная стрельба залпом не является.
МАРК *(улыбаясь)*. Нам еще многому придется учиться. *(Резко.)* Чтобы не тратить зря дорогостоящие патроны и освоить четко команду, третий залп — по мишеням. К плечу!..

Строй выполнил команду. Прямо на глазах разношерстная группа превращается в военный отряд.

Целься... Пли!..

Залп. Несколько мишеней упало. И одновременно уронил голову Маэстро. Доктор первым заметил это.

ДОКТОР. Маэстро!..

Бросился к Маэстро, поднял его голову. По лбу ясновидца течет тонкая струйка крови.

(Профессионально.) Мертв. Смерть наступила мгновенно.

МАРК. Жаль. Он так много знал. Жаль... Однако не будем сентиментальничать, это обычный процент потерь при учениях.

ГОЛОС ДИКТОРА. К сведению пассажиров! Пригородный электропоезд номер 1661 до переправы отправляется через двадцать минут с третьей платформы, правая сторона. Просьба приготовиться к посадке.

МАРК. Вот так-то! Жизнь продолжается!.. *(Весело.)* Елена, возьми на себя роль хозяйки. *(Всем.)* Теперь к столу, сограждане! Прошу к столу!..

Марк занял место в торце опрокинутой будки. Присутствующие занимают места по обе стороны от начинающего диктатора.

Затемнение.

И уже в темноте звучит звон стаканов, хриплый мужской и визгливый женский смех, нечленораздельные восклицания, сквозь которые пробивается детская песенка. Та самая, которую пели Самсон и Властитель...

Конец

1987—1989 гг.



Борис Чичибабин

Борис Чичибабин — нынче «именинник»: редкий журнал обходится без его стихов. Но так было далеко не всегда. Чичибабин пишет более сорока лет, печататься же ему удавалось лишь урывками. К счастью, всегда существовали друзья, переписывавшие и распространявшие его стихи среди, может быть, не широкого, но благодарного круга читателей.

В 1961 году в мои руки попало несколько листков папиросной бумаги с переписанными на машинке стихотворениями Чичибабина. Это было мое первое знакомство с его поэзией, и с тех пор она — неизменный спутник моей жизни. Как всякий из моего поколения, я пережил немало страшного и подлого — наша эпоха была щедра на подобные вещи. В самые тяжкие минуты спасал «Новый мир» Твардовского, спасала самиздатская проза Солженицына, самиздатская поэзия Чичибабина.

Последняя была мне особенно близка. Я коллекционировал стихотворения Чичибабина, немало писал о них (кое-что опубликовано), даже составил в разное время две книги чичибабинской лирики — для себя и ближайших друзей. Знакомя людей с этими стихами, я с интересом наблюдал, какую реакцию они вызывают у разных читателей. Любители поэзии, так сказать, непрофессиональные, «голосовали» за Чичибабина увлажненными глазами. В среде литературной приходилось слышать как весьма хвалебные отзывы (В. Каверин, Е. Ржевская, Л. Пинский), так и довольно прохладные (А. Урбан). Самооценка Чичибабина колебалась от убежденного «И все-таки я был поэтом» до унылого «Одним стихам вовек не потускнеть, да сколько их останется, однако». Для меня же несомненно, и так было все эти тридцать лет, что творчество Чичибабина — явление в русской поэзии. И я счастлив, что сегодня все больше его стихов становится достоянием читателей и что поэзия его приобретает все больше друзей.

Верно говорится, что в России надо жить долго. Борис Чичибабин дожил до признания на седьмом десятке лет. Ему пришлось познать и тюрьму, и суму, и гнусную травлю, и творческую закупоренность. Читатели представленной здесь подборки новых стихотворений поэта убедятся в том, что, несмотря на возраст и все претерпенные муки, Чичибабин сохраняет юношеский темперамент и юношескую же расположенность к людям. Да будет так и впредь!

М. Санин

А. ВОЛОДИНУ

Я невызревший плод на урочное блюдо кладу,
я еще не пришел, и явиться меня не зовите,—
Александр Моисеевич, здравствуйте в Новом году,
и да будет он годом хороших вестей и событий.

Я не знаю, как где, а в российской беде в кой-то век
захотели сойтись государственность и человечность.
Александр Моисеевич, добрый вы мой человек,
может, счастье-то все, чтобы в жизни почувствовать Вечность.

Редакционный коллектив, редколлегия нашего журнала сердечно поздравляют Бориса Алексеевича Чичибабина с присуждением ему Государственной премии СССР 1990 года за книгу стихов «Колокол».

Как не верить в нее, когда сквозь тошноту бормотух
вечер, снег, Петербург ставят пьесу дворцов и каналов,
Александр Моисеевич, мудрый вы мой драматург,
неразгаданный брат неудачников и коммунаров.

Я еще не пришел, эти сроки еще не сбылись,
как заря за окном, несвершённа, робка, новогодня...
Александр Моисеевич, я — Чичибабин Борис,—
я люблю вас давно, еще больше люблю вас сегодня.

1986, декабрь

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ В ЛЕНИНГРАДЕ

Буддийский храм на берегах Невы
приснился ль вам или видали вы?

Ни то ни се — гадание годов.
Следы Басе меж пушкинских следов

найти нельзя на плане городском,—
поди не всякий здешний с ним знаком.

Бог весть когда, Бог ведает при ком
примерз ко льдам улыбчивый дракон.

Прожег звездой стогибельную тьму,
и Лев Толстой откликнулся ему...

Я смел понять, что жизни светел круг.
Когда опять приедем в Петербург,

ужель найдем, проникнув наугад,
молельный дом калмыков и бурят?

Откуда здесь, где холодно зимой,
как чудо, весть премудрости иной?

Я чудью был и лошадиным ртом,
ярмо судьбы клянущим под Петром.

На склоне лет и на исходе сил
Нирваны свет мой дух преобразил.

Поэтов лень — достоинство и щит.
Грядущий день нам не принадлежит.

Чтоб все любить, дай Бог мне на веку
подобным быть котенку и цветку.

Так мы с тобой из царства Сатаны
немой судьбой сюда приведены,

и близок нам, пока мы не мертвы,
Буддийский храм на берегах Невы.

НЕВЕ

Теки Нева прекрасная
сквозь веси и века
не белая не красная
а русская река

теки чрез дебри севера
меня с собой возьми
в поля что Русь засеяла
хлебами и костьми

теки Нева державная
в ночах которых жаль
текучая скрижаль моя
судьбы моей скрижаль

при городе невиданном
неслыханном как сон
что над тобой не выдуман
а въяве вознесен

теки пока не ринешься
в пределах городских
где век екатерининский
дворцы свои воздвиг

теки равно готовая
лелеять и ломать
как время то которое
нам не на что менять

не ветрена не вспенена
душой в гранит взята
теки чтоб город Ленина
смотрел в тебя всегда

всевидная всевестная
во весь Руси размах
теки Нева небесная
у Пушкина в глазах

МОЛИТВА ЗА МЫКОЛУ

Молюсь — и молитва в листве сохранится
без фальши оттенка —
О том, чтоб не смог улететь за границу
Мыкола Руденко.

Ему ли в безвестие тесное кануть,
пойти на измену?
Коль это случится, на сердце и память
я траур надену.

Мы вместе годами сгорали от жажды,
хоть не были рядом.
О, как мне мечталось обняться однажды
с поэтом и братом!

Ведь, как нам ни тяжко и как нам
ни тошно,
есть высшее нечто,
и дом наш не дом в Конче Заспе, а то, что
нетленно и вечно.

Для Бога несть эллина ни иудея,
все родины — майя,
но, людям о главном сказать не умея,
душа — как немая.

Молюсь, чтобы он до такого не дожил,
забыв свою мову,
а кто где родился, то там он и должен
взойти на Голгофу.

Что значили мы, то и станется с нами,
как стало сегодня,
а родина — это Господнее знамя
и воля Господня.

О близких молюсь, чтоб очнулись их души
от весточки братской,
что нету бездомья теснее и глуше
судьбы эмигрантской.

Я образ добра из отчаянья высек,
стал кротким и зрящим.
«О Боже,— молюсь,— вразуми и возвысь
их
над злом преходящим».

Пока не престану молиться о том я,
Мыкола с Раисой
не бросятся в неть из родного бездомья,
с земли украинской.

РИМ БЕЗ ТЕБЯ

Я в Риме, где время клюет свои крохи с камней
седой голубицей, где в прелесть отлились просторы,
а римские ночи потемок московских темней:
у них на всех окнах прибожно опущены шторы.

На улицах грязно, но Риму и сор не в урон,
а русскому глазу он тем еще более близок,
ведь надобна ж снедь для воробышков и для ворон.
Как набожен сон мой, весь в пиниях и кипарисах!

Но сетует совесть, что снится он мне одному:
все горе с тобой не делил ли я поровну разве,
и разве сейчас я один без тебя подниму
все бремя восторга в наполненном чудом пространстве?

Мне страшно и грустно, что здесь мне никто не родня,
что с кем я, ну с кем я аукнусь на улочках узких,—
нежданно-негаданно, да и всего на три дня
сюда я свалился в семерке писателей русских.

Тяжка наша участь, нам если не свой, то злодей,
а что у нас плохо, то всё чужаки насолили,
а в Риме весело, как всмотришься в лица людей,
никто и не помнит, что некогда был Муссолини.

Спешат работяги, и рот разевает чудак,
и ослик с тележкой хвостом говорит по-тбилисски,
и тянутся к небу на многих его площадях
египетские с иероглифами обелиски.

Я Рим императоров проклял с мальчишеских лет,
но дай мне, о Боже, как брата обнять итальянца.
Святые и гении высекли жертвенный свет,
и римским сияньем мильоны сердец утолятся.

Брожу и вбираю, обвитый с холмов синевой,
и русскому сердцу ответствует Дантова лира,
и вижу воочью, что разум прилежный с него
скопировал грады всего христианского мира.

Душой узнается, когда я брожу по нему,
то пушкинский Питер, то Вильнюс в Литве, то Одесса.
Я мрамор Бернини в молитвах святых помяну,
не молкнет во мне Микеланджело горняя месса.

И скорбная Пьетта в соборе святого Петра
светлеет в углу, отовсюду слышна и всезрима,—
но как эта вечность по-детски родна и щедра,
как было бы миру бессветно и немо без Рима.

Хранящий святыни, но не превращенный в музей,
он дышит мне в щеки своей добротой тыщелицей,
и что мне до цезарей, что мне до пап и князей?
В нем сердце любое Христовой любовью щемится.

О, если не всех, то хотя бы тебя привести
на холм Авентина, чтоб Рим оказался под нами
и стало нельзя нам пастушеских глаз отвести
от вечного стада с деревьями и куполами.

Нам ангел Мариин помашет на рынке рукой,
к нам дух Рафаэля с доверьем прильнет на вокзале,
а площади Рима, где каждая краше другой,
расплещут фонтаны, чтоб мы в них монетки бросали.

Моя там осталась — так, может быть, скоро с тобой
придем убедиться, что все наши ценности целы,
на улицах Рима смешаемся с доброй толпой
и Бога обрящем на фресках Сикстинской капеллы.

РОЖДЕСТВО 1990

Да ну и что с того —
в Москве или в Нью-Йорке?
Сегодня Рождество,
и мы с тобой на елке.

Вся в звездах и огнях,
вот-вот взлетит, живая,
счастливцев и бедняг
на праздник созывая...

От крови и от слез
я слышу и не внемлю:
их столько пролилось
в отеческую землю,

что с душ не ототрет
уже ни рай, ни ад их,—
а нищий патриот
все ищет виноватых.

Вишь, умник да еврей —
губители России,
и алчут их кровей
погромные витии...

Но им наперекор,
сойдя с небес по сходням,
поет незримый хор
о Рождестве Господнем.

Поет, дары неся,
с уверенностью детской,
что Тот, кто родился,
Сам крови иудейской.

Звучит хрустальный звон
для сбившихся с дороги;
уже родился Он,
и мы не одиноки.

Идем со всех концов
с надеждою вглядеться
в безгрешное лицо
вселенского младенца.

Когда земная власть
с неправдой по соседству,
спасение — припасть
к Божественному детству.

Не зная наших уз,
свободный без одежки,
в нас верует Исус
и хлопает в ладошки.

Рождественской порой,
как подобает людям,
мы Божьей детворой
хоть трошечки побудем.

Хрустальною вьюгой
мир выстиран и устлан,
и Диккенс и Гюго
родней, чем Джойс и Пруст, нам.

Творится явь из сна,
и, всматриваясь в лица,
Господняя весна
в нас теплится и длится.

В нас радуется Бог,
что детская пора есть,
от творческих тревог
взрослеть не собираясь.

Нам снова все друзья,
и брат горой за братца,
и нам никак нельзя
от елки оторваться.

Та хвойная весна,
священствуя и нравясь,
с Руси привезена,
а всей земле на радость.

Клубится пар от вод,
сияет мир от радуг...
А нищий патриот
все ищет виноватых.

* * *

О злые скрижали,
чей облик от крови румян!
Всегда обижали
и вновь обижают армян.

Звериные страсти
и пена вражды на губах.
Безглавые власти
на смерть обрекли Карабах.

Там дети без крова,
там села огнем спалены,
а доброго слова
ни с той, ни с другой стороны.

От зла содрогнулись
старинные храмы в горах.
Дрожа и сутулясь,
над жертвами плачет Аллах.

От пролитой крови
земля порыжела на треть.
Армянам не внове,
да как нам в глаза им смотреть?

С молитвой о чуде
чего мы все ждем, отстранясь?
Ужель мы не люди
и это возможно при нас?

Там души родные,
там лютого ада круги.
Спаси их, Россия,
и благом искупишь грехи.

Борис Рощин

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЮК В ПОТОЛКЕ

Роман

ГЛАВА 11

«Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедуйся неустанно. Греха своего не бойтесь, даже и осознав его, лишь бы покаяние было, но условий с Богом не делайте».
(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Лодырь — ударнику не попутчик».
(Советская пословица)

«Счастье с бессчастьем смешалось, а нам ничего не осталось».
(Русская пословица)

* * *

На лестничной площадке девятого этажа никогда не горела лампочка, а над входными дверьми Алевтининой квартиры темнел в потолке чердачный люк. К нему над лестничным пролетом тянулась пожарная металлическая лестница. На крышке люка висел замок. Всякий раз, когда Алевтина смотрела на люк, он тревожил ее. Однажды, возвращаясь домой поздно ночью, она ступила на полутемную площадку (свет горел только на нижних этажах), и вдруг над головой ее громыхнуло. Испугавшись, Алевтина глянула вверх — замок на люке покачивался.

С тех пор она стала бояться железного чердачного лаза. Бояться каким-то необъяснимым суеверным страхом. Даже днем, поворачивая ключ в замке, не могла оторвать взгляда от черного квадрата на потолке. Она никогда не видела люк открытым, но помнила, что замок на нем держится лишь на одной дужке. Алевтина трижды звонила в жилищный отдел и просила надежно запереть люк. Ей обещали и... все оставалось по-прежнему. Тогда она сама купила замок и попросила молодого соседа Игоря навесить его на крышку, а заодно ввернуть на площадке новую лампочку. Лампочка перегорела через несколько минут, а наутро замок вновь висел на одной дужке. Алевтина принесла со стройки самодельную стремянку и стала перед уходом на работу вворачивать на площадке лампочки. Но все они к вечеру гасли. «С проводкой что-то»,— говорил сосед Игорь, но Алевтина не могла успокоиться. Она понимала, что все ее страхи — от одиночества, от непроходящей душевной усталости, от многолетних квартирных мытарств и передряг. Конечно же, ей надо было хорошенько отдохнуть. Взять отпуск за свой счет, а если не дадут — уйти со стройки, уехать с Настей в деревню к тетке на целое лето. Черт с ним — с непрерывным стажем! Деньги на черный день у нее есть, на лето хватит, а наработаться еще успеет, до пенсии далеко. Бояться ей теперь нечего, с очереди на квартиру не снимут.

Но легко сказать: уйти с работы! Алевтина, несмотря на независимый и даже резкий характер, была человеком в себе неуверенным. Работая на подмостях, не раз думала: «Грохнусь сейчас вниз, стану калекой, кому буду нужна? Как тогда жить, растить Настю?» Раньше Алевтине казалось, что, будь у нее собственный угол, только обязательно отдельный, все страхи ее снимет, как рукой. Но вот у нее отдельные хоромы, а тревоги все те же. Права тетка, замуж бы ей...

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 1.

При этой мысли Алевтине вспоминался обычно Вениамин Тимофеевич. Неужели не проведает в новой квартире, неужели предчувствие подводит? Нет, приедет обязательно. Ночью, просыпаясь, прислушивалась к шуму машин, к шагам за дверью, голосам. Ловила себя на том, что из всех мужчин хочет видеть лишь одного своего благодетеля — Вениамина Тимофеевича, совсем не похожего на других, наделенных властью. Алевтина понимала, что такие встречи ничего не сулят им в будущем. Куда ей до его жены-музыкантши. Кому-то за роялем сидеть, кому-то надо и кистью играть, каждый сверчок знай свой шесток. Но иногда Алевтина успокаивала себя — все в ее жизни идет к лучшему. Что раньше-то было? Одна работа да пьяные матюги. Теперь и дочь, и квартира отдельная, и человек, которого ждет. Разве мало?

И Алевтина дождалась.

Только-только заснула Настя, как в прихожей раздался короткий, совсем короткий звонок. Босая, в одной рубашке, Алевтина бросилась к двери и распахнула ее, не спрашивая, кто за ней стоит. В полумраке (лампочка на площадке, как всегда, не горела) переминался Вениамин Тимофеевич — в черном кожаном пальто, в модной клетчатой кепке, с портфелем в руке. Он смотрел на Алевтину слегка смущенно и улыбался. Алевтина схватила гостя за руку, втащила в прихожую, повисла у него на шее.

— Ты одна дома? — шепнул Вениамин Тимофеевич, зарываясь лицом в ее волосы.

— Настя спит,— отозвалась Алевтина,— ты откуда взялся?

— Из отпуска еду, из Трускавца.— Вениамин Тимофеевич не переставал улыбаться.— Камни гнал...

— Я думала, ты забыл меня.

— Не забыл.

— Не бойся, Настю до утра пушкой не разбудишь,— успокоила Алевтина гостя, приметив, что он посматривает в комнату.— Ты надолго?

— Надо бы завтра пораньше...

— Раздевайся. Да сбрасывай свою кожу,— прошептала Алевтина, целуя Вениамина Тимофеевича,— ты же к себе пришел...

Встречи их были редки, не чаще одного-двух раз в месяц. Вениамин Тимофеевич обычно заранее предупреждал Алевтину и приезжал из Ленинграда на своей машине ближе к полуночи. Уходил рано утром, пока не проснулась Настя. Алевтина не надеялась, что в ее судьбе что-то переменится. Вениамин Тимофеевич становился с ней все более сдержанным, все реже улыбался, все чаще она слышала от него слово «перестройка». При этом в медвежьих глазах-пуговках Вениамина Тимофеевича появлялось столько затаенной тревоги, что Алевтина не выдерживала.

— Тебе-то чего пугаться? — спрашивала она, положив голову на теплую мягкую грудь Вениамина Тимофеевича.— Ну, поговорят, наобещают коммунизм или всем отдельные квартиры. А потом повысят цены, новое словечко придумают. Преобразование, например. И станем мы с тобой жить не в эпоху «Перестройки», а в эпоху «Преобразования». Господи, сколько всего такого на одном моем веку было.

— Нет, сейчас другое,— раздумчиво отвечал Вениамин Тимофеевич, гладя ее волосы.— Это крушение всего...

— Чего крушение-то, Веня, чего? — недоумевала Алевтина.

— Все разваливается, как карточный домик,— не слушая ее, продолжал Вениамин Тимофеевич.

— Чему еще рушиться? — начинала заводиться Алевтина, хотя знала, что споров на эту тему Вениамин Тимофеевич не любит.— Ты посмотри, какой бардак у нас на стройках. Телевизор смотришь — волосы дыбом. Министры воруют! Хоть говорят об этом — и то хорошо, и то спасибо.

— Самое поразительное, что и фундамент трясут, и на крышу давят. Если рухнет — прихлопнет всех. Те останутся, которые в подвалах живут. И превратятся в крыс... Тебе этого, Аля, не понять.

— Куда уж мне понять,— обижалась Алевтина.— Только я, пока работать могу, никакой перестройки не боюсь. И чего ты тревожишься, не пойму. Ты же строитель! Неужели так важно, где ты будешь сидеть — в Смольном или где-нибудь на улице Строителей? Разве в этом суть?

Вениамин Тимофеевич вдруг вспыхивал, снимал голову Алевтины со своей груди и холодно говорил:

— Мы еще посмотрим, где я буду сидеть...

Все реже и реже появлялся Вениамин Тимофеевич в ее квартире. Алевтина не упрекала его ни в чем, никогда не старалась задержать на лишний час. Надо ехать — езжай! Заедешь когда — буду рада.

Все чаще Алевтина оставалась на стройке после работы с бездомно-бессемейными друзьями-приятелями, возвращалась домой под хмельком. Понимала, что присмотра за дочерью нет, все пущено на самотек. Ругала себя, кляла, в который раз давала слово взяться за Настино воспитание.

В один из таких поздних послеработных вечеров Алевтина медленно поднималась по лестнице к себе на этаж — лифт опять застрял. Непонятная тревога и предчувствие беды давили на нее. На полутемной площадке с трудом вставила ключ в замочную скважину, всем телом ощущая на себе чей-то пристальный взгляд. Отворив дверь, не выдержала, резко запрокинула голову и... едва не закричала от ужаса — в приоткрытый люк на нее смотрели безумные человеческие глаза.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«...мыслю: „Что есть ад?". Рассуждаю так: „Страдания о том, что нельзя уже более любить"».

Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

ГЛАВА 1

«По данным Госкомстата СССР, к началу 1988 года на учете в лечебных учреждениях страны состояло 10,2 миллиона психических больных. Только в течение одного 1987 года госпитализировано 2,1 миллиона таких больных».

(Журнал «Огонек»)

«На месте застрял — от жизни отстал».

(Советская пословица)

«По раздумью, что по болоту: поколь не выбредешь, все зыбко».

(Русская пословица)

* * *

Настенька проснулась, когда солнце заглянуло в комнату через балконную дверь. Раньше в старой коммунальной квартире ее будили по утрам голоса соседей на кухне и громкий неумолчный кашель дяди Кости, пьяницы и заядлого курильщика, который курил в туалете даже по ночам. Дядя Костя жил в комнате рядом один, но у него часто ночевали приятели, они ругались и кашляли так же громко, как он. В новой их тихой квартире Настенька просыпалась от звона будильника — мама ставила его на тумбочку к ее изголовью, чтобы не проспала в школу. Иногда, вот как сейчас, она просыпалась и без будильника, пораньше.

Настенька лежала в кровати, укрывшись до подбородка теплым стеганым одеялом, и прислушивалась к голосам, доносящимся с улицы. Неожиданно внимание ее привлек странный звук, идущий не с улицы, а из кухни. Настенька вытянула шейку. Шуршание на кухне прекратилось, но тонкий курносый носик ее уловил чужой — не мамин запах, напомнивший ей парикмахерскую. «Наверное, Вениамин Тимофеевич приезжал ночью и спал с мамой»,— подумала Настенька. И, чтобы окончательно убедиться в своих предположениях, она выскользнула из-под одеяла, на цыпочках подбежала к маминой кровати; приподняв кружевную накидку, понюхала подушку. Резкий запах одеколона и ароматного незнакомого мыла так сильно шибанул ей в нос, что Настенька поморщилась. Значит, Вениамин Тимофеевич был ночью, а она не слышала. В общем-то, Настенька ничего не имела против Вениамина Тимофеевича. Она всего один раз видела его днем, тогда-то мама и познакомила их. Но иногда Настенька просыпалась ночью и слышала, как скрипит мамина кровать и тихий мужской голос шепчет: «Милая моя, хорошая...» Настенька, замирая, делала вид, что спит, и не раз мама успокаивала Вениамина Тимофеевича, говоря, что Настю не разбудишь и пушкой. Настенька внутренне усмехалась и терпеливо ждала, когда утихнут скрип и шепот на маминой кровати. Иногда, когда мама начинала громко стонать, на Настеньку нападал страх, и она, чтобы прекратить эти стоны, принималась ворочаться под одеялом и кашлять.

Вновь что-то хлопнуло за стеной, зашуршало. Настенька встревожилась. Она никогда не считала себя трусихой, но, похоже, в кухне кто-то есть... Мысленно сказав себе, что ей совсем не страшно, она босиком — неслышно — направилась к кухне. Дверь была приоткрыта, и Настенька, прежде чем распахнуть ее, заглянула в щелку. Никого. Тихо гудел холодильник, из крана капала вода, на столе стоял ее завтрак, прикрытый вафельным полотенцем. Но лишь тщательно осмотрев все кухонные закоулки, Настенька полностью успокоилась. В мусорном ведре под бумагами она обнаружила пустую бутылку из-под вина, это лишний раз доказывало, что ночью приезжал Вениамин Тимофеевич. Такую же бутылку, но опорожненную наполовину, приметила она и в нижнем дальнем углу холодильника. «Старый замок»,— прочитала Настенька надпись на красивой наклейке и неодобрительно покачала головой. Вениамин Тимофеевич пускай приезжает, но зачем же всякий раз привозить вино и пить его с мамой? Мама не раз говорила ей, что пить вино нехорошо, а сама... Нет, Настенька не осуждала маму, просто тревожилась за ее здоровье. Если вино вредно, зачем же его пить? Она хорошо помнила, какие ужасно некрасивые и грубые женщины приходили иногда в гости к их соседу по квартире дяде Косте. Они так ругались за стеной и скандалили, что мама порой не выдерживала и вызывала милицию. Но и милиции непросто было увести тех женщин от дяди Кости. Они кричали и царапались, а одна женщина сорвала с себя всю одежду, и милиционеры потащили ее к машине совершенно голую. Мама сказала тогда: «Привыкнешь пить — станешь такой же». Настенька хорошо запомнила те мамины слова и потому тревожилась, когда от мамы пахло вином.

Настенька доедала кашу, когда за спиной ее вдруг что-то пискнуло и завозилось. Едва не подавившись, она вскочила со стула и судорожно обернулась. Никого! Писк повторился, Настенька посмотрела на потолок — из вентиляционной трубы торчала голова! Птичья. Моргала на нее круглым глазом и трепыхалась. Настенька пришла в себя, передвинула в угол стол, поставила на него табуретку и взобралась на нее. Принялась рассматривать птицу. Как она попала сюда, Настенька не могла сообразить, но потом догадалась, что труба, наверное, выходит на чердак или на крышу. Голубь сунулся в нее из любопытства или просто спал на краю и упал. И теперь ему не выбраться из ловушки. Выход из трубы перекрывала толстая проволока крест-накрест. Голубь перестал трепыхаться, лежал грудью на проволочном кресте недвижимо, моргал. Настенька погладила птицу по клюву, голубь не шелохнулся. Она просунула пальцы между проволокой и попыталась помочь птице. Ей удалось высвободить лишь одно крыло голубя, как вдруг он встрепенулся, вырвал назад крыло и долго бился в трубе, а потом на белую эмаль раковины упала большая красная капля — кровь! Настеньке сделалось нехорошо — закружилась голова. Она спрыгнула на пол и выскочила из кухни. Стоя в прихожей, размышляла: как быть? Хотела позвать на помощь дядю Игоря, но, посмотрев на будильник, поняла, что он уже на работе. Пора было и ей собираться в школу, оставалось всего десять минут. «Может быть, голубь потерпит до вечера? — подумала Настенька.— Придет мама, и мы вытащим его». Но тут она вспомнила про кровь, и у нее вновь закружилась голова. Настенька привалилась к выходной двери и вдруг услышала за нею шорох, потом на лестничной площадке заскрипело, как будто открывали ржавую немазаную дверь. Настенька щелкнула замком, просунула голову в щель. И увидела перед своим носом на железном пруте пожарной лестницы два стоптанных и очень грязных ботинка. Она подняла голову — на лестнице стоял, упираясь головой в приоткрытый железный люк, человек. С первого взгляда он показался Настеньке очень большим и диким — заросшее черно-белой бородой лицо, всклокоченные седые волосы над морщинистым лбом и глубокие, в черных ямах глаза, смотрящие на нее пронзительно. Любой на месте Настеньки, наверное, испугался бы, но не она. Она привыкла общаться с такими людьми — приятелями дяди Кости, мама звала их «пьющими». В отличие от женщин, «пьющие» мужчины никогда не спорили с милиционерами и покорно выполняли все их требования. Иногда, когда милиционеры были слишком грубы, Настенька даже вступалась за пьющих. Никто из гостей дяди Кости ее никогда не обижал.

— Здравствуйте, дяденька! — проговорила Настенька, глядя на незнакомца.

Он не ответил на ее приветствие, держался одной рукой за лестницу, другой за ручку люка, висел над девочкой, как громадный лохматый паук.

— Вы не могли бы мне помочь,— продолжала Настенька вежливым тоном,— у нас случилась беда.

Человек на лестнице продолжал молча смотреть на нее.

— Я могла бы за работу угостить вас вином,— предложила Настенька, вспомнив, что мама часто говорила: пьющий за водку сделает все.

Слово «вино» оживило человека на лестнице. Он присел, приблизил бороду к лицу Настеньки, прохрипел:

— Что делать?

— Голубь в трубу провалился,— пояснила Настенька,— кровь капает. Надо его достать и выпустить.

Грязные ботинки перед носом Настеньки задергались и один за другим опустились по лестнице на площадку.

— У тебя кто дома? — тихо спросил старик.

— Никого, я одна,— ответила Настенька,— мама на работе.

— Сделаю,— сказал человек,— показывай.— И, прежде чем прикрыть за собой дверь, оглянулся и посмотрел вниз, в лестничный пролет. Настороженно, совсем по-звериному, прислушался.

На лестничных маршах стояла тишина.

ГЛАВА 2

«С 1989 по 2010 год в СССР от СПИДа может погибнуть до 20 миллионов человек... В первую очередь он будет поражать молодежь и детей. После 2010 года станет реальной угроза вымирания до 40 процентов молодого поколения страны».

(Из обращения благотворительного общества «ОГОНЕК» — АНТИСПИД» к Верховному Совету СССР и правительству страны)

«Нынче и пастух в почете живет».
(Советская пословица)

«В человеке душа, что в кремне огонь».
(Русская пословица)

* * *

Мысль поменять квартиру и избавиться от проклятого железного люка пришла Алевтине в голову неожиданно. Она докрашивала декоративную панель балкона нового дома, думала о дочери, и вдруг на нее навалилась тревога. Тут-то Алевтина впервые спросила себя, почему бы ей не поменять квартиру? Тогда не будет над головой никакого люка, исчезнут и ее страхи. Это так захватило Алевтину, что она решила немедленно посоветоваться с кем-нибудь. Напарницы поблизости не было, за стеной слышался голос Пузыря, и Алевтина, не утерпев, крикнула:

— Анатолий Николаевич, зайди на минутку!

По характеру Алевтина была отходчивой и потому не держала на прораба зла. В конце концов, чего не бывает среди своих. За болтовню Пузырь от нее получил сполна.

— Чего тебе? — спросил Пузырь, появляясь в дверях.

— Надумала, Анатолий Николаевич, свою квартиру поменять,— прогозорила Алевтина,— на двухкомнатную.

— Поменяй,— поддержал Пузырь,— только новоселье не зажми, как в прошлый раз.

— А что, в самом деле,— Алевтина загорелась,— года бегут, Настя растет. Не успеешь оглянуться — замуж выскочит. Кто знает, как у нее жизнь сложится, свой угол никогда не помешает. Дам-ка я объявление в газете, авось кто и отзовется. Мало ли одиноких людей, которым не нужна двухкомнатная.

— Без доплаты не обойдется,— возразил прораб,— а она нынче серьезная. Вот если ты из своей квартиры игрушку сделаешь, тогда и без доплаты можно. Паркет вьетнамский настелить, ванную и туалет голубой чешской отделать, кухню под белую гэдээровскую пустить. Ну и двери, конечно, рамы заменить. Тогда твоя квартира заиграет, тогда у нее появится шанс.

— Такой ремонт мне не потянуть,— вздохнула Алевтина,— на одну Настю денег не хватает. То одно ей купи, то другое. В школу полтинников не напастись.

— Сама сапожник, а ходишь босиком,— проворчал Пузырь, усаживаясь на подоконник.— Ты меня, Алевтина, конечно, извини, но так скажу: зря ты своей честностью людям в глаза тычешь. И меня попрекаешь, и подруг, будто мы в твой карман залезали. Ты что — слепая? Не видишь, что вокруг творится? Телевизор не смотришь, газет не читаешь? Министры воруют, добром квартиры набивают. Партийные люди! Дачи, машины, золото, б...во! Всю Россию пропивают, на части рвут. Черную икру в банках заместо селедки за границу отправляют, а миллионы — в швейцарский банк! Детишкам на молочишко. А ты своей Насте что оставишь? Сама полжизни по углам мыкалась со своей честностью, теперь и дочке тот же путь.

— Заткнулся бы ты, Анатолий Николаевич, не травил душу...

— Вот я и говорю: перестройка! Все открылось, кто как живет. А живут все, Алевтина, лучше нас с тобой. За границу ездят, коньяки пьют, пузо на Золотых песках чешут. А ты свою квартиру своей же краской отделать не можешь. Тьфу! Вот ты говорила, что под меня наши бабы ложились, а приставал я к тебе? Приставал?

— Я тебе пристану...

— Упаси меня Бог! Меня от тебя как от женщины — воротит. Потому и не приставал.

— Ты скажешь, Анатолий Николаевич...

— Ей-богу, Алевтина! Ты баба всем хороша, все твое при тебе, но как мужика меня к тебе не тянет.

— Как же тебя ко мне тянет?

— Как к человеку, дура! И тебе мой совет: отделай квартиру. Дочка у тебя на подходе, дочка! Я вчера белую получил три бидона и олифу приличную. В каптерке все. Ключи сама знаешь где. Полбидона краски можешь отлить и банку олифы. Если плитка нужна — есть розовая. Три ящика можешь взять.

На эти слова Пузыря Алевтина не ответила. Присев на корточки, красила балконную панель.

— Смотри, Алевтина, дело твое,— продолжал Пузырь.— Это министрам трудно живется, им и воровать не грех, миллионов на прожитье не хватает. А тебе и сэкономленная своим горбом краска не нужна, ты ее в магазине на зарплату купишь. Только и в магазине ее не купить за просто так, на лапу дать надо.

— Если ты от чистого сердца, Анатолий Николаевич, спасибо! — примирительно проговорила Алевтина.— Может, и вправду на этаже выкрою. Ты на меня камень не держи, знаешь — заводная я...

— Твой характер известен,— миролюбиво произнес Пузырь и, оглянувшись, тихо добавил: — С краской и плиткой не тяни. Из каптерки сегодня же вынеси и у забора припрячь. Когда дядя Петя дежурить будет, Колю Храпченко попроси добро домой подбросить. Коля свое дело знает.

И вновь Алевтина ничего не ответила прорабу, промолчала.

ГЛАВА 3

«Во время Олимпийских игр в Москве на Красной площади состоялась демонстрация протеста. Количество демонстрантов было... один человек. Демонстрант нес плакат, на котором написано: „Свободу педерастам". Подоспевшие люди в штатском отобрали плакат».

(Радиостанция Би-би-си — на русском языке)

«В деле видно, чем человек живет».
(Советская пословица)

«На старости две радости: один сын вор, другой пьяница».
(Русская пословица)

* * *

«Француженка» в ягодице журналиста Смирнова-Сокольского творила чудеса. Роман Александрович как бы и не знал никогда вкуса «горькой». Из-под пера его вылетали материалы один лучше другого. По предложению Смирнова-Сокольского на страницах появилось несколько новых интересных рубрик: «Грани Перестройки», «Береги рабочую честь», «Почему нет в магазине». Правда, за эту рубрику Роману Александровичу пришлось всерьез повоевать. Лев Юрьевич и в период дозволенной сверху гласности робел перед столь откровенным разговором с читателями, мотивируя свою нерешительность тем, что районная газета не может давать компетентные ответы на все вопросы. Роман Александрович решительно возразил, заявив, что предоставит исчерпывающий ответ на любой вопрос трудящихся. Тут же на летучке сотрудники редакции забросали Романа Александровича пробными вопросами: почему нет сахара, чая, мыла, зубной пасты, стирального порошка, телевизоров, холодильников, автомобилей и прочего, и прочего. Роман Александрович щелкал эти вопросы, как орехи, отвечал коротко, убедительно, с полным знанием дела. Редактор, не удержавшись, и сам задал вопрос:

— Почему, так сказать, исчезло из магазина «детское питание»? Ведь детей, так сказать, не стало появляться больше?

— Совсем несложный вопрос, Лев Юрьевич,— отозвался Смирнов-Сокольский.— У нас в городе открылся клуб культуристов. Они для наращивания мускулов употребляют с пищей и «детское питание». Всю страну охватила эта заморская мода на культуризм, повсюду скупают «детское питание». Наша промышленность оказалась неподготовленной к подобному буму.

— А почему нет презервативов? — задал вопрос посложнее заместитель редактора

Ольшанский.— У меня дочка третьего незапланированно рожает только по этой причине.

— Разве вы не знаете, что с Африканского континента на нас надвигается эпидемия СПИДа? — удивился Роман Александрович.— Вся наша легкая резиновая промышленность работает только на Черный континент. Во избежание распространения СПИДа.

— Куда им столько? — не унимался Ольшанский.— И капитализм им шлет, и социализм на них работает.

— У них обезьяны приучены к презервативам,— и тут нашелся с ответом Роман Александрович.— Правда, они японские «терочные» предпочитают, но и нашими иногда пользуются...

Заведующий отделом писем проявил столь блестящее остроумие в ответах на «почему нет?», что Лев Юрьевич согласился ввести новую рубрику, хотя в несколько иной редакции. Она стала называться «Почему временно отсутствуют в магазине». И шла в разделе «Сатира и юмор».

Проявил Смирнов-Сокольский и недюжинные организаторские способности, неожиданно для многих став во главе городского Общества по охране памятников истории и культуры. Разношерстное и до крикливости капризное, оно влачило жалкое существование, собираясь от случая к случаю в приемной редакции. Прежний председатель его художник Башмаков использовал свое звание как трибуну для пропаганды своего творчества, мало уделяя внимания безвестным мастерам минувших веков. Роман Александрович организовал перевыборы председателя, предварительно побеседовав персонально с активистами общества, нацелив их внимание на свою кандидатуру. К этому времени, по инициативе Смирнова-Сокольского, газета объявила конкурс на лучший проект восстановления городского храма — той самой церкви, которая во многих жизненных ситуациях служила Роману Александровичу ориентиром, а выражаясь поэтически — путеводной звездой. В газете сообщалось, что председателем жюри конкурса по восстановлению исторического памятника культуры является известный районный журналист Смирнов-Сокольский. Там же была напечатана и статья Романа Александровича под заголовком «Да, было и такое!». В статье журналист, по примеру известных московских коллег, как бы очищался перед читателями публичным самобичеванием. Отбросив английский джентльменский снобизм, когда любой неэтичный поступок вменяется человеку в вину на всю его жизнь, Роман Александрович поистине в духе времени рванул перед читателями рубаху на груди, печатно заявив, что да, было время, когда и он делал то, что делали все. И он был тем, кем были все. И он был готов на то, на что готовы были все. Но теперь иные времена и теперь все не так, а иначе. Нынче уже никто, в том числе и он, не может пройти равнодушно мимо поросшего кустами чуда, коим является храм в центре города — стойкий памятник их великого народа. Да, он был среди тех, кто пытался снести его, искренне полагая, что церковь не представляет исторической ценности, и даже являлся лауреатом небезызвестного конкурсного проекта. Перестройка сняла пелену и розовые очки с их глаз, все увиделось в ином свете. Именно в этом свете предстоит им теперь жить и работать. Необходимо проникнуться важностью исторического момента, научиться смотреть на все, в том числе и на себя, иными глазами, подходить ко всему с иными мерками, с иными оценками и критериями.

Победителем конкурса по восстановлению архитектурного памятника стал коллектив соавторов, куда вошел и Роман Александрович. Именно им была найдена смелая мысль смонтировать недостающие детали храма (луковицу главного купола, перекрытие звонницы, малые боковые луковицы и др.) на земле, а вознести их на стены храма и установить на своих местах с помощью вертолета. Экономический эффект этого проекта, в отличие от остальных, оказался столь высоким, что в преддверии тысячелетия Крещения Руси незамедлительно был принят городскими властями к практическому рассмотрению. И скоро весь город стоял, задрав в небо головы. Над стенами старого храма, еще поросшего кое-где молодыми березками, висел зеленый винтокрылый фургон, а под ним на длинном тросе болталась голубая луковица церковного купола. Журналист Смирнов-Сокольский стоял в окружении зевак и со свойственной ему откровенностью рассказывал, что в небе — его друг, военный летчик первого класса Коля Яблочкин, афганец, замечательный парень и командир отдельного вертолетного звена, которому он два года помогал списывать даже в жаркую погоду полетов антиобледенительную жидкость, проще — спирт.

На конкурсе Смирнов-Сокольский нажил достаточный общественно-политический капитал и легко выковырнул художника Башмакова из председательского кресла общества. Раздавались, правда, одинокие голоса, вопрошавшие: «Как же так? Вначале звание лауреата за проект сноса памятника, теперь то же звание за его восстановление? Как совместить такое с идеями Перестройки, с главным ее нравственным стержнем?» На подобные реплики в свой адрес Роман Александрович отвечал обычно лишь одним примером. «Гимн! Вспомните,— говорил журналист,— кто написал слова сталинского Гимна и кто переиначил их на нынешний манер. Те же ребята».

И все же для журналиста Смирнова-Сокольского главным оставалась не общественно-политическая деятельность и борьба, а профессиональная творческая работа. Особенно ему удавались очерки на морально-этические темы, на темы людской доброты и внимания к человеку. К великой досаде Романа Александровича, его опередил известный ленинградский литератор, выступивший в печати с развернутым призывом к милосердию. Именно эту тему разрабатывал и углублял теперь Смирнов-Сокольский, именно с этим призывом готовился он выступить в своей газете.

С каждым новым трезвым днем Роман Александрович становился все более нетерпимо-яростным ко всему, что мешало человеку наполнять жизнь иным содержанием и расцвечивать ее иными — нужными красками.

ГЛАВА 4

«Свыше сорока миллионов советских людей живут за чертой бедности».
(Из печати)

«Свет советского маяка виден издалека».
(Советская пословица)

«Кому лежа работать, кому стоя дремать».
(Русская пословица)

* * *

Прежде чем провести незнакомого человека на кухню, Настенька спросила его:

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

— Бомжем,— ответил старик после некоторого раздумья.

— А отчество?

— Отца звали Иваном.

— Значит, вы Бомж Иванович? А меня зовут Настей.

— Показывай, девочка, что делать,— проговорил человек.

Настя провела Бомжа Ивановича на кухню и указала на трубу в потолке, из которой торчала птичья голова.

— Достанем,— сказал старик, посмотрев на птицу,— налей...

— Вначале вытащите голубя,— возразила Настенька,— у него кровь.

Бомж Иванович придвинул табуретку к столу, взобрался на нее тяжело и принялся дергать голубя за голову.

— Нет, нет,— запротестовала Настенька,— так нельзя! Вы переломаете ему кости.

— Иначе не достать,— возразил Бомж Иванович.

— Тогда я не дам вам вина,— пригрозила Настенька и строго приказала: — Достаньте его обязательно живым!

Угроза подействовала. Старик вздохнул, потребовал:

— Тогда давай молоток и зубило.

Настенька нашла под ванной лишь молоток. Бомж Иванович попросил еще ложку. Приподнял ложкой голубя и принялся колотить молотком по проволоке. Настенька внимательно следила за действиями старика и всякий раз вскрикивала, когда птица в трубе начинала дергаться и колотить крыльями. Проволока поддавалась туго, и очень быстро Бомж Иванович выбился из сил. Молоток вырвался из его рук и едва не попал в Настеньку. Бомж Иванович опустился на стол, прохрипел:

— Налей, девочка, а то не вытяну.

Настенька достала из холодильника початую бутылку «Старого замка» и налила вина в чайную чашку. Бомж Иаанович сделал большой глоток и, не допив, отставил чашку в сторону. Сидел на столе, опустив голову, и по черным морщинам его лица стекали капли пота. Видимо, он чувствовал себя не слишком хорошо.

— Вы где живете, Бомж Иванович? — спросила Настенька, чтобы прервать молчание.

— Этажом выше,— ответил старик.

— Но твм же чердак! — удивилась Настенька.

— Это ничего,— возразил Бомж Иванович,— чердак сухой, хотя не без сквозняков.

— А как же зимой, когда холодно?

— Зимой я обычно живу в Ленинграде, в дурдоме.

— В дурдоме?!

— Да, в доме для сумасшедших.

— Вы сумасшедший? — с тревогой спросила Настенька.

— Отчасти, наверное. Как и все.
— А в чем вы сумасшедший? — заинтересовалась Настенька.— К примеру?
— К примеру, я могу читать газету, держа ее вверх ногами.
— Неужели? — изумилась Настенька.— Вы не могли бы показать?
— Налей еще, девочка,— попросил Бомж Иванович.— Я давно не занимался физическим трудом. Глоток подкрепит меня, и мы освободим птицу, даруем ей Главное право.
— Какое? — переспросила Настенька.
— Главное право — право на Смерть,— пояснил Бомж Иванович.
— А вы можете читать газету, как все люди? — спросила Настенька, выждав, пока старик отопьет из чашки вино.— Не вверх ногами, а вниз?
— Могу, но не хочу,— ответил Бомж Иванович.
— Почему?
— Потому что читаю так с детства. Брат в шутку научил меня, и я привык. Если я читаю и понимаю не хуже, а даже лучше тех, кто читает обычным способом, зачем мне подстраиваться под них? Зачем?
— Не знаю,— смутилась Настенька.
— Я читаю иначе.— Бомж Иванович поднял обрывок газетного листа со стола, повернул его, чтобы Настенька видела, вверх ногами, медленно прочитал: — «квартире отдельной в проживать будет семья советская каждан году двухтысячному к, Итак». Ну, девочка, поняла что-нибудь?
— Ничего не поняла,— призналась Настенька.
— Теперь по общепринятому: «Итак, к двухтысячному году каждая советская семья будет проживать в отдельной квартире». Улавливаешь, насколько мой прием выгодно отличается от твоего?
— Нет, не улавливаю.
— Читая статью, как ты, к сути добираешься через многие, никому не нужные фразы. Я же с первого слова улавливаю смысл. Нам обещают всем отдельные квартиры и называют при этом конкретный срок. В этом, по моему мнению, первая ошибка. Опытные политики не должны называть, когда именно сбудутся их обещания. Коммунизм был объявлен конечной целью нашего общества, и никто не возражал против этого символа. Но вот политик безответственно назвал конкретный срок построения коммунизма, и доверие к символу тотчас пошатнулось. Заметь, девочка, тотчас, люди знают жизнь и предвидят события лучше всех политиков мира. С другой стороны, назначенное время говорит об искренности. Но, увы, одного желания политика, даже искреннего, недостаточно, чтобы накормить людей досыта, одеть их и дать всем жилье.
— А что же, по-вашему, нужно? — спросила Настенька.— У нас в школе...
— Вещи начинают называть своими именами, это то, к чему я стремился всю жизнь,— перебил ее Бомж Иванович.— Только гласность может высветить проблемы общества. На месте руководителей я не давал бы никаких обещаний и заверений в скорой райской жизни. Нельзя рисковать. Особенно трудно пробивается гласность у нас в дурдоме. Прошлой зимой я дважды держал голодовку, протестуя против...
Бомж Иванович замолчал на полуслове, блеснул из бороды на девочку глазами и принялся рассматривать ее, словно видел впервые. Настенька спокойно и ожидающе смотрела в глаза гостя.
— Я давно не пил вина и потерял нить нашей беседы, девочка,— проговорил наконец Бомж Иванович.— Я постоянно веду беседы сам с собой, но с людьми общаюсь редко. О чем мы?..
— Вы читаете вверх ногами,— подсказала Настенька,— и вас считают сумасшедшим.
— Да, да, я так читаю. Разве можно на основании этого сделать заключение, что я сумасшедший?
— Нельзя,— не совсем уверенно проговорила Настенька,— скорее — странный.
— Многое кажется людям странным. Только свобода индивидуальных мнений может разрушить песчаные, но затвердевшие во времени догмы. Я, девочка, есть конечный продукт своей перестройки, которую начал проводить с юных лет.— Бомж Иванович нахмурился, опустил голову на грудь.
— Совсем не похожи на пьяницу,— польстила Настенька.
— Нет, я не пьяница,— подтвердил Бомж Иванович,— хотя в моей жизни были периоды, когда меня так называли. У меня к тебе, девочка, просьба,— Бомж Иванович круто изменил тему разговора,— не рассказывай обо мне никому, даже маме. Я не люблю, когда в мою судьбу вторгаются люди.
— Хорошо, никому не скажу,— пообещала Настенька.— А можно мне вас навестить? Вдруг вы заболеете или вам что-нибудь понадобится?
— В крайнем случае, девочка! В самом крайнем. Когда речь пойдет о Главном праве!
С этими словами Бомж Иванович взял в руки молоток, поднялся и принялся колотить

им по проволочному кресту с неожиданной для Настеньки энергией. И через минуту передал ей в руки голубя.
— Вынеси его на балкон и оставь.— Бомж Иванович слез со стола.
Настенька, прижимая недвижимую птицу к груди, целуя ее в клюв, вынесла голубя на балкон и посадила в цветочный ящик. Грудь птицы была окрашена кровью, голубь сидел с закрытыми глазами, вялый, ко всему безразличный. Настенька гладила птицу, шептала ей что-то и на какое-то время забыла про старика. А когда вспомнила и побежала на кухню, бородатого человека там уже не было. На столе стояла бутылка «Старого замка», и в ней оставалось еще вино. Настенька вспомнила слова мамы: «Пьяница никогда не уйдет, пока не допьет», и окончательно уверовала в то, что странный человек с чердака не пьяница.
Она вернулась на балкон и обнаружила, что голубя в ящике нет. Улетел. Слегка опечаленная, Настенька посмотрела на часы и едва не расплакалась — она опаздывала в школу уже на целый урок.

ГЛАВА 5

«В венской городской больнице „Лайнц“ четыре медицинские сестры убили сорок девять человек. Убивали, в основном, пожилых больных. Душили их подушками, зажимали руками рот и нос, заливали в легкие воду, вводили в кровь повышенные дозы сильнодействующих медицинских препаратов.
На следствии медсестры объясняли свои действия чувством милосердия, стремлением помочь пожилым людям избавиться от страданий. Журналисты же объясняли их действия раздражением, которое испытывали медсестры от стонов и жалоб стариков».

(Из газет)

«Были бы братья, будет и братство».

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Работа и урода молодцом сделает».

(Советская пословица)

«Придет ночь, так скажет, каков был день».

(Русская пословица)

* * *

— Что, женщины-бабы, обижал я вас когда-нибудь? — спросил маляров Пузырь.
— Нам на тебя, Анатолий Николаевич, обижаться грех,— отозвалась первой старейшина бригады Мария Филипповна Богомолова, с могучим бюстом и могучим задом женщина.
— Даю я вам заработать? — продолжал Пузырь.
— Даешь, Анатолий Николаевич, даешь! — теперь уже в голос загудели маляры.
— Краску, олифу, кисти, обои, растворители и прочее для себя в магазине не покупаете?
— Не покупаем! — хором отозвались бригадные.
— Какого же... извиняюсь, женщины-бабы, позволяете вы меня оскорблять? Той же Алевтине Захаровой. Или вам нужен другой прораб?
— Не нужен!
— Не нужен!
— Не нужен!
— Перестройка у нас, женщины-бабы, или не перестройка?
— Перестройка, Анатолий Николаевич! Перестройка!
— А ежели перестройка, это значит — дружно! Чтобы против коллектива — никто! Тогда почему Алевтина Захарова нам всем в лицо плюет? По Алевтине получается, что мы с вами воры, а она одна честная. Меня дачей попрекает! Да что у вас глаз нету? Мария Филипповна, ты дачу нашего управляющего видела, работала на ней?
— Работала.
— С моей можно сравнить?

— Чего там говорить, Анатолий Николаевич...

— А вот парторг наш Василий Олегович, который у нас заместо иконы по честности идет, сыну своему в совхозе «Мичуринский» домик деревенский купил. У Надежды поинтересуйтесь, она ему веранду отделывала. Как, Надежда, домишко у Василия Олеговича?

— Дай бог каждому такой домишко.

— Каждому бог не даст, только начальству. И знаете, женщины-бабы, за сколько он его купил? За два рубля пятьдесят копеек! Да, да, закройте рты. Оформили в совхозе как пять кубометров гнилых дров, по полтиннику за кубик. Да что я вам рассказываю, завтра об этом сами в нашей «районке» прочитаете. А верха возьмите — министров, секретарей! Читаете газеты, телевизор смотрите? Икру в черных банках заместо селедки за границу отправляют, а миллионы — в швейцарский банк! За границу ездят, столетние коньяки жрут, пузо на Золотых песках чешут! А мы с вами вкалываем день и ночь за одну зарплату. А если свою же кроху подберем, Алевтина нам в глаза плюет.

— Верно, бабы,— поддержала Пузыря Мария Филипповна,— ноне перестройка, а Алька Захарова нам честностью своей в рожу тычет. А сама квартиру без очереди получила.

— Распустилась Алевтина, никто ей не указ.

— Проучить ее надо, чтобы не высовывалась.

— Правильно,— подхватил Пузырь,— Захарову давно пора приструнить, поставить на место. Перестройка сейчас и не таких взнуздывает. Мы с вами люди простые, маленькие, нас переделывать нехрен. Перестройка, как я понимаю, чтобы таких, как Алевтина Захарова, на чистую воду выводить, которые из себя честных перед коллективом разыгрывают. А я вам так скажу: Захарова ворует!

После этих слов Пузыря на этаже повисла тишина.

— Да,— подтвердил Пузырь,— ворует. Мы с вами берем иногда крохи, что сами на своем горбу экономим, а она ворует! Потому как скрывает это от нас.

— Эдак ты, Анатолий Николаевич, на Алевтину зря,— возразила Мария Филипповна,— эдак-то зачем... Мы Алевтину знаем.

— Ни хрена вы не знаете,— отрезал Пузырь.— Знаете ли вы, к примеру, что Захарова надумала свою царскую квартиру на двухкомнатную менять?

— На двухкомнатную?! — ахнули маляры.— Только получила и уже на двухкомнатную!

— А может, и на трехкомнатную. Конечно, с доплатой. Вот ты, Дербенева, литр краски домой унесла,— продолжал Пузырь взвинчивать маляров,— ты, Марин Филипповна, зятю в машину мешок цемента бросила, ты, Зинчинко, свои же собственные обои на государственные поменяла — и уже вам от Захаровой упрек. А мне в морду кисть бросила! Упрек, что я вам наряды лишним рублем закрываю. Или я с вас, женщины-бабы, взятки беру? Коррупцию тут у вас развожу? Если и купите когда, так вместе и разопьем. Сами знаете, за мной не ржавеет.

— Верно говоришь, Анатолий Николаевич, чего там!

— Захарова, чтобы свою квартиру выгодно поменять, игрушку из нее делать будет. Краску, плитку, олифу — все к себе грести станет. А вам морали читать.

— Анатолий Николаевич, ты давай-ка не темни с нами,— подала голос Мария Филипповна,— сам же говорил — мы люди простые. Чего ты от нас хочешь?

— Захарову на чистую воду вывести.

— Ну?

— Сегодня каптерку затарил. За Алевтиной нужен глаз.

— Не возьмет она,— возразила Мария Филипповна под молчаливую поддержку подруг,— мы ее знаем.

— А если не возьмет,— Пузырь вдруг соскочил с подоконника, покраснел, надулся, проговорил с надрывом: — в лицо мне плюньте! Все разом, при Захаровой. А ей в ноги поклонюсь и перед всеми вами прощения попрошу.

— Да что же это такое, бабы? Неужто Алька и впрямь... Неужто ворует?

— Николаич зря говорить не станет.

— Людей попрекает, а сама с квартирой...

— У нас дети от мужьев законных, а ей каким ветром надуло?

— Раз такое дело, можно и приглядеть,— проговорила Мария Филипповна раздумчиво.— В жизни всякое может быть.

— Господи, а парторг-то наш, Василий Олегович! Дом за два пятьдесят купил!

— Значит, договорились,— проговорил Пузырь и тоном приказа добавил: — За Алевтиной приглядите. Чуть что — сразу мне. А я ей по носу щелкну, помнить будет. От всего коллектива щелкну. Не те нынче времена, чтобы молчать.

ГЛАВА 6

«Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!»

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Что завоевано революцией, то подтверждено Конституцией».

(Советская пословица)

«На брюхо лег, спиной укрылся».

(Русская пословица)

* * *

Настенька вернулась из школы и, войдя в прихожую, услышала на кухне шорохи, уже знакомые. И тотчас поняла, что в западню на потолке вновь попал голубь. На этот раз из трубы торчала серая птичья голова, крупнее голубиной, а тело птицы было черным. Решив, что в беде вороненок, Настенька придвинула к стене стол и попыталась высвободить птицу: для этого достаточно было отогнуть проволочный крест на трубе, сбитый Бомжем Ивановичем. Но вороненок, в отличие от покорного вялого голубя, защищался — вертел головой и хватал клювом Настенькины пальцы. Девочка ойкала, отдергивала пальцы и никак не могла вытащить птицу из трубы. А может быть, и не слишком старалась это сделать. Ей хотелось навестить на чердаке человека, такого непохожего на остальных взрослых людей. Он, единственный, разговаривал с нею как равный с равной. Остальные все: мама, рабочие на стройке, прораб Анатолий Николаевич, учительница Екатерина Алексеевна, сосед дядя Игорь — Настенька тонко чувствовала это — видели в ней прежде всего ребенка. Никому не приходило в голову, что она давно уже понимает многое, что ее интересуют вопросы, на которые и они вряд ли смогут дать ей ответ. Все, что они говорили «по-взрослому», было как нарисованный на картине огонь. У старика же с чердака каждое слово обжигало, ни в чем Настенька не чувствовала фальши. У Бомжа Ивановича, наверное, нет никого. Он не произносит плохих слов и говорит грамотно, как по радио, но только совсем иное. Правда, он бывал в сумасшедшем доме... Все в этом человеке для Настеньки интересно, загадочно и таинственно-жутковато. Ей хотелось продолжить знакомство с Бомжем Ивановичем, и теперь такая возможность у нее появилась. Бомж Иванович ведь сказал: «Только в крайнем случае». В трубу вновь попала птица, и ее надо спасать.

Настенька поспешно скинула с себя школьное платье, натянула старенький тренировочный костюм и, сунув ноги в мягкие домашние тапочки, вышла на лестничную площадку. На площадке было пустынно и тихо, лишь где-то внизу разговаривали. Запрокинув голову, Настенька посмотрела на потолок — на темном люке висел большой круглый замок. Она была достаточно ловкой девочкой, но все же ей не удалось сразу добраться до пожарной лестницы, повисшей над перилами. Пришлось принести из кухни табурет, и только с него Настенька дотянулась до железного прута и, рискуя сорваться в пролет, принялась карабкаться к потолку. Приблизившись, она увидела, что замок висит на одной дужке, а вторая свободна. Настенька уперлась головой в люк, крышка неожиданно легко подалась вверх. Настенька поднатужилась и отбросила головой крышку в сторону. Выбралась на чердак.

Поначалу чердак показался ей очень большим, даже громадным. Из окон в крыше пробивались яркие косые столбы света, но они не могли разогнать чердачный полумрак. А в закоулках под самой крышей было и вовсе темно. Над головой Настеньки ворковали голуби, скрежетали лапами по железу. Оглядевшись, она негромко позвала:

— Бомж Иванович!

Никто не отозвался. Только наверху раздался вдруг шумный всплеск, и, вздрогнув, Настенька догадалась, что это взлетела с крыши стая голубей. Преодолевая робость, она прошла из конца в конец весь пыльный чердак и никого не обнаружила. Нигде не было и намека на присутствие здесь человека.

Вскоре Настенька освоилась на чердаке настолько, что решила выбраться на крышу, чтобы посмотреть на город. Окно в крыше было слишком высоким для нее. Подпрыгнув, она ухватилась за край жести, но не смогла подтянуться и, повисев на вытянутых руках, сорвалась вниз. И, уже сидя, увидела в дальнем темном углу невысокий дощатый щит, из-за которого торчало что-то, похожее на ботинок. Вновь оробев, Настенька, тем не менее, добралась, пригнувшись, до щита и заглянула за доски. Там, на черном матрасе, из которого выпирали ржавые железные пружины, лежал бородатый человек. Рядом с ним на перевернутом посылочном ящике стоял старый, в трещинах приемник, перекрученный проволокой, из него торчала блестящая антенна. Еще бросилась в глаза большая черная

бутылка возле головы человека, заткнутая белой пробкой,— бутылка из-под шампанского. Больше возле лежащего ничего не было.

— Бомж Иванович! — окликнула Настенька человека.

— Да, девочка, слушаю тебя,— четко отозвался Бомж Иванович, оставаясь недвижимым.

— У нас в трубе опять птица,— Настенька забыла поздороваться,— вы поможете ее достать? Только вина у меня больше нет.

— Жаль, что у тебя нет вина,— Бомж Иванович продолжал лежать,— мне не мешало бы согреться.

— Неужели вам холодно? — удивилась Настенька.— А я вся мокрая.

— Сквозняки, девочка. Мучают сквозняки.

— Вы здесь и живете?

— Да, это мой дом.

— Может быть, вы хотите чаю с малиной? — спросила Настенька, помолчав.— Он очень согревает. У нас есть целая банка.

— Чай с малиной? Это, пожалуй, излишне. Я много лет уже не пью чай с малиной.

— Может быть, вы хотите супу?

— Супу? Нет, я отвык от супа. Я не испытываю никакой тяги к еде и питаюсь скорее по необходимости, чем из желания. А впрочем, я, наверное, поел бы супа. Горячего супа. Когда-то я очень любил горячую чечевичную похлебку с постным маслом и мелко накрошенным репчатым луком. Теперь же мне достаточно ложки каши и куска хлеба в день.

— Вы ходите в столовую? — спросила Настенька.

— Да, все я получаю в железнодорожной столовой, там у низшего кухонного персонала прекрасное ко мне отношение.

— А где вы умываетесь, чистите зубы? Где ваша одежда?

— Видишь ли, девочка, я научился обходиться самым необходимым. Зубов у меня практически нет, таким образом, я избавлен от необходимости чистить их. Модником я не был и в молодые годы, и потому пара брюк и пиджак, которые подарил мне знакомый прессовщик макулатуры со склада райпо, надолго обеспечили меня. Кроме того, я имею вполне приличное пальто, которое заменяет мне и одеяло, и прекрасную шерстяную шапочку, очень теплую.

— Вам не бывает скучно одному?

— Одиночество я ощущаю только среди людей, особенно находясь в шумной праздничной толпе.— Бомж Иванович приподнялся — из разных мест под ним выглянули из матраса пружины.— Один на один с собой я постоянно в раздумьях, воспоминаниях. К тому же я неутомимый путешественник.

— Вы?

— Путешественник по эфиру.— Бомж Иванович вытянул руку и похлопал ладонью скрученный проволокой приемник.— Вот мой ковер-самолет. Стоит признать, девочка, что радио — величайшее достижение человеческой мысли. И будь моя воля, я ограничил бы технический прогресс этим изобретением. Благодаря ему я ежедневно путешествую по странам мира, знаю земные новости.

— А мне одной всегда тоскливо,— призналась Настенька,— особенно когда мамы нет дома ночью.

— Естественное чувство,— успокоил Бомж Иванович,— оно в большей мере свойственно детям и юношеству. У молодых нет за спиной опыта прожитых лет, впереди полная неизвестность, и оттого возникает неуверенность в себе. Мне хорошо знакома твоя тревога, девочка. Никогда не был я так одинок, как в детстве. Сейчас же, оглядываясь на прошлое, я забываю про одиночество. Я нахожу в своей жизни массу занимательных моментов, прокручиваю их в своей памяти и как бы заново переживаю их. Трагичное в моей жизни соседствует с забавным. Иногда я не выдерживаю и принимаюсь смеяться, и так долго, что вынужден порой вылезать на крышу, чтобы успокоиться. В последние дни я несколько ослаб физически и потому редко выхожу на воздух. Прежде я проводил там целые ночи. Люблю наблюдать спящий город, находясь выше всех людей. В такие минуты ко мне приходят очень интересные мысли.

— Никогда не бывала на крыше,— призналась Настенька,— вы не могли бы взять меня с собой? Мама часто работает в ночную смену, и я остаюсь дома одна.

На просьбу Настеньки Бомж Иванович не отозвался. Сполз с черного матраса и на четвереньках выбрался из укрытия. Отряхнулся, расчесал скрюченными пальцами помятую бороду, пробормотал:

— Да, девочка... Хотел просить тебя, хотел просить...— Бомж Иванович потерял, видимо, мысль и стоял перед Настенькой задумчивый, ушедший в себя.— О чем я?..

— В трубе птица,— напомнила Настенька.

— Да, да,— согласился Бомж Иванович.

— Она не похожа на голубя,— продолжала Настенька,— тело черное, а голова большая и серая. Она клюется.

— Она защищается,— возразил Бомж Иванович, натягивая на голову что-то, похожее

на громадный серый чулок.— Наверное, это галка. Голубь покорен любой судьбе, галка отстаивает свое Главное право. Так и человек.

— Вы достанете ее, Бомж Иванович?

— Конечно же, я освобожу птицу. Даровать свободу живому существу одно из высших наслаждений. Как, впрочем, и лишать его этой свободы. Кому что дано. Я освободил из западни птицу, девочка, и теперь постоянно вспоминаю тебя. У меня даже возникло давно забытое желание к общению. Хотел просить...— старик вновь задумался, потер виски пальцами,— хотел просить... Вот! — воскликнул вдруг Бомж Иванович и указал рукой на приемник.— Мой ковер-самолет! В батарейках кончается заряд, и я не могу путешествовать. Слушаю теперь только последние известия, но скоро буду лишен и этой возможности. У меня есть денежный запас для батареек, но их негде купить.

— Постараюсь помочь вам,— пообещала Настенька,— а сейчас пойдемте скорее. Надо освободить птицу.

ГЛАВА 7

«Наша Родина, как роза, вся цветет, как маков цвет. Окромя одно́го счастья, никакой заботы нет».

«Голодною толпою ворвемся в коммунизм...»

(Из стихов местных поэтов разных жизненных убеждений)

«Партийная правда — всем правдам правда».

(Советская пословица)

«Не ищи правды в других, коли в тебе ее нет».

(Русская пословица)

* * *

Накануне кампании по выдвижению кандидатов в народные депутаты на Первый съезд политическая борьба в городе предельно обострилась, журналист Смирнов-Сокольский находился в эпицентре ее. Роман Александрович прекрасно ориентировался в бесчисленных противоборствующих группировках «крайних», «умеренных», «правых», «левых», сталинистов, славянофилов, западников и прочее, и прочее. Откровенные сторонники Нины Андреевой, подавленные мощными атаками прессы, выжидательно-зловеще помалкивали; противники их трубили во все трубы, требуя законодательных гарантий того, чтобы История не повторялась. А колесо ее, Истории, крутилось и крутилось каждодневными буднями в судьбах людей...

Секретарь по идеологии Кислов позвонил в редакцию и в непринужденно-доверительной форме, какая вошла в моду в период перестройки, высказал редактору одобрение газетной рубрике «Почему временно отсутствуют в магазине», но тут же дал понять, что не следует мельчить, стрелять из пушки по воробьям, а неплохо бы дать свою и принципиальную концепцию постоянной нехватки товаров в магазинах. Понятно, что она должна быть увязана с сегодняшним морально-политическим климатом в районе и городе и освещена предстоящим эпохальным событием, к которому готовится страна.

Лев Юрьевич тут же вызвал к себе Смирнова-Сокольского и передал ему свой разговор с Кисловым почти дословно, откровенно признавшись (такое случалось с ним крайне редко), что он совершенно, так сказать, не понял направления, которое указывал газете Кислов, не разобрался в установке горкома.

— Вы, Роман Александрович, породили эту рубрику, вам, так сказать, и карты в руки,— проговорил редактор.— Создавайте концепцию. Сколько вам на это потребуется времени?

— На концепцию?

— Да, так сказать.

— Не меньше «чистой» недели, Лев Юрьевич, быстрее не смогу.

— Шутите, Роман Александрович.— Редактор нахмурился.— У нас газета, а не редакция, так сказать, научно-философского журнала. Могу дать на статью только один день.

— Два! — воскликнул Роман Александрович.— Один день разбираюсь в направлении, второй пишу. Это предел моих возможностей. Иначе пишите сами.

— Хорошо — два дня,— не стал упрямиться редактор.— Но в понедельник утром ваша статья должна, так сказать, быть у меня на столе.

Журналист Смирнов-Сокольский, как всегда, успешно справился с редакционным

заданием. Основная мысль его серьезной статьи, помещенной на этот раз не под рубрикой «Почему временно отсутствуют в магазине», а на первой странице в качестве передовицы, заключалась в том, что некие силы в городе и районе искусственно пытаются создать дефицит товаров, дабы сосредоточить все помыслы избирателей на экономических трудностях и отвлечь их внимание от тонкостей политической борьбы за власть...

Смириов-Сокольский затронул больной вопрос экономики столь глубоко и масштабно, что горком в лице Николаи Николаевича Кислова не подавал голоса, зато в редакцию посыпались гневные письма трудящихся с требованием немедленно указать те силы, которые создают дефицит, высветить их печатно, а уж они, читатели, сами знают, что делать дальше.

Перед редакцией вставала серьезнан дилемма: на кого нацелить народный гнев с возможным его рукоприкладством? Редактор склонялся к тому, чтобы направить народный гнев на единомышленников Нины Андреевой, Роман Александрович решительно возражал, понимая, что этот перст Кислов ему не простит. И предлагал обратить стихию в глубь истории страны, в период разгула сталинщины или даже царизма. Неожиданно очнулась от спячки заведующая партийным отделом Лелина и вместо того, чтобы заявить свое обычное: «скоро пенсия» и «гори все синим огнем», безапелляционно потребовала, что основной удар газета обязана нанести по заготконторе райпотребсоюза. Там окопался со своими сподвижниками Архипов, председатель районного общества кролиководов и единственный в городе открытый сторонник Нипы Андреевой. Это заявление Лелиной вызвало на многих лицах присутствующих сдержанные улыбки, ибо гнев ее был всем хорошо понятен. С недавних пор заготконтору возглавил Петр Петрович Федюнин — давний друг-недруг Ольги Евстратовны, заставивший ее три дня сидеть на бюллетене, а себя три года в ссылке на отстающем хозяйстве района. Когда Ольга Евстратовна наливалась гневом, редко кто пробовал перечить ей, но сейчас вопрос был слишком серьезным, и Роман Александрович возразил:

— Архипов — болтун, мелкая сошка. Что же касается всей заготконторы, то наши политические взгляды не должны основываться на личных симпатиях и антипатиях.

— Каких таких симпатиях?! — взвилась Ольга Евстратовна.— На что вы намекаете?

— Я хочу сказать, что мы должны быть корректными в борьбе со своими политическими противникамп,— твердо произнес Роман Александрович,— и не уподобляться столичным писателям, у которых накопилось столько дерьма, что они несколько лет размазывают его в своих газетах друг другу на лицах.

— Роман Александрович! — воскликнула Лелина, задыхаясь от гнева.— Кто не знает, что Архипов ваш приятель?!

— Собутыльник, Ольга Евстратовна! Бывший собутыльник в свободное от работы время. Согласитесь, что это не одно и то же. Что касается нового директора заготконторы Петра Петровича Федюнина...— здесь Роман Александрович сделал многозначительную паузу,— то, надеюсь, у вас нет оснований причислять его к моим приятелям? Статья «Куда текут „Волги"?» была, как-никак, подписана моей фамилией.

— Вы слышали, что заявил недавно Архипов? — подал голос Ольшанский.— На собрании пайщиков райпо он принародно сказал, что на Торжественном будет петь не «Интернационал», а гимн старыми словами. Как там: «Нас вырастил Сталин. На верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Каково?

— Разве все мы не пели гимн старыми словами? — не сдавался Роман Александрович.— Почему же теперь так легко осуждаем тех, кто остался верен своим принципам? Не беспринципно ли это? Давайте, уважаемые коллеги, смотреть в корень экономических проблем и двигаться в своих политических устремлениях в фарватере Перестройки. А гимн, в конце концов, можно петь и без слов.

— Да ваш Архипов фашист! — выкрикнула Лелина.— Сама слышала, как он говорил: надо всех евреев — кого к стенке поставить, кого за границу выслать. А квартиры их отдать народу — и жилищная проблема решена.

— Не от вас ли, Ольга Евстратовна, все мы слышали в свое время такие слова: «Лучше атомная война, чем жить без квартиры!»? — спросил Роман Александрович.— По-моему, это ваше жизненное кредо ничуть не лучше «жилищной программы» Архипова.

— Вы что, шутки не понимаете?! — фыркнула Лелина.

— Архипов тоже любит юмор. Он человек своего времени, и шутки его соответствующие. Не стоит заострять внимание на пустопорожней болтовне, давайте сообща решать проблемы, которые ставит перед нами время.

— Так сказать, прошу конкретнее, Роман Александрович,— проговорил редактор.— Что вы предлагаете?

— Если мы не можем прийти к единству в теоретическом решении проблемы нехватки товаров для народа, то давайте решать ее практически. Предлагаю крупный проверочный рейд по магазинам города и района с включением в него широкого представительства от рабочих и сельских коллективов. Не сомневаюсь, что заначки дефицита продавцами окажутся на серьезные суммы. Лично я обязуюсь изыскать припрятанных от народа товаров на сумму не менее ста тысяч рублей. Итоги рейда суммируем, помножим на города и веси

страны, цифра получится впечатляющей. Опубликуем итоги проверки, дадим номера магазинов и фамилии нечестных продавцов, подробный перечень изысканных товаров... Вполне приличный и, главное, действенный ответ на вопрос трудящихся.

— Так сказать, ваше мнение, товарищи? Какие еще будут предложения?

Иных конструктивных предложений не оказалось. Ольга Евстратовна, у которой давно уже прохудились зимние сапоги, быстрее всех оценила замысел Романа Александровича. Сегодня же вечером она намекнет по телефону директору городского универмага Миронычеву о предстоящем рейде, и считай, что сапоги к зиме у нее есть. Кое-чем можно будет разговеться и у сельских торгашей...

— Рейд так рейд! — воскликнула Ольга Евстратовна, как бы подводя итоги дискуссии. И тише, уже для себя, добавила: — С паршивой овцы хоть шерсти клок.

ГЛАВА 8

«В Голландии выведен новый сорт тюльпанов, названный „Перестройкой"».
(Ленинградское телевидение)

«Ленинская правда — светлее солнца».
(Советская пословица)

«Правдой жить, что огород городить: что за день нагородишь, то ночью растащат».
(Русская пословвца)

* * *

— Мама, про тебя в школе говорят...

— Что говорят? Кто? — спросила Алевтина, я сердце ее вдруг заныло, предчувствуя неладное.

— Боря Морозов из первого подъезда, он в пашем классе учится. У которого папа редактор газеты.

— Что он говорит? — как можно спокойнее спросила Алевтина.

— Что журналист Смирнов получил от редактора задание про тебя написать...— Настенька испытующе посмотрела на мать.

— Пускай пишет, он за это деньги получает,— буркнула Алевтина, давая понять дочери, что на эту тему она разговаривать не желает.— Ты сделала уроки?

— Сделала.

— Тогда иди гуляй.

Выпроводив дочь на улицу, Алевтина плюхнулась на диван и принялась обдумывать услышанное от Насти. Никогда не предполагала она, что разговор о газете может так ее взволновать. Прямо ноги отнялись от худых мыслей, и голова кругом пошла. Неужто ее прославят за пять литров краски? Господи! Да другие дачи воруют — и как с гусей вода. Ну, задержали, составили акт, пускай наказывают, коль виновата. Все знают, что раньше она со стройки ничего не брала. Хоть штраф, хоть суд, но зачем через газету-то на весь мир позорить? Перед дочерью, перед теткой Галиной, и до Вениамина Тимофеевича может дойти...

Чем больше размышляла Алевтина о газете, тем более ей становилось не по себе. Она догадывалась, что с краской ее подкузьмил Пузырь, простить не мог кисть, которую она швырнула ему в рожу. Неужто ему мало ОБХСС и он натравил на нее своего приятеля Смирнова?

На следующий день на работе Алевтина спросила прораба в упор:

— Анатолий Николаевич, с газетой про меня твоя работа?

— О чем ты, Алевтина? — Пузырь заюлил глазами.

— Значит, твоя,— определила Алевтина.— Гнида же ты, Николаич...

— Ты тоже хороша,— огрызнулся Пузырь.— Сама знаешь, какое сейчас время. Перестройка! А ты против коллектива залупаться начала.

— Может, поговоришь со Смирновым, чтобы не писал про меня? — попросила Алевтина через силу.— Люди же мы...

— Сама и попроси.— Пузырь вдруг хихикнул.— Ты с ним быстрее договоришься. Он мужик к бабам добрый и до баньки деревенской охочий.

Алевтина смолчала. Вялость какая-то ломала тело и душу, даже разозлиться по-настоящему на Пузыря не смогла. Подумала только вдруг: «Как просто можно убить человека. Схватить сейчас этот лом в углу, размахнуться... На первый удар Пузырь успеет руки подставить, второй не отобьет. Что муха человек, только пакости в нем больше».

В обеденный перерыв Алевтина, как была в заляпанном краской комбинезоне, попросила знакомого шофера панелевоза подбросить ее до конторы стройтреста. В кабинет управляющего вошла смело, решительно отстранив рукой с пути возникшую секретаршу

Аллу Борисовну. Чуев сидел за столом и разговаривал по телефону. Дождавшись, пока он кончит, Алевтина залпом выложила все, что накопилось у нее на душе. С трудом сдерживая слезы, попросила:

— Помогите, Андрей Афанасьевич! Ведь в первый раз у меня такое! Пускай лучше под суд отдают.

— Плохо ты, Захарова, обстановку в городе знаешь, если с таким вопросом ко мне пришла. Настало время газетных щелкоперов. Этот рыжий, как его?..

— Смирнов,— подсказала Алевтина.

— Смирнов,— подтвердил Чуев.— Как шавка на мне повис. Все копает что-то в тресте, вынюхивает, работать мешает. Читала, что он обо мне накропал?

— Не читала, Андрей Афанасьевич, только краем уха слышала.

— Вот. А ты хочешь, чтобы я в редакцию за тебя обратился. Да меня, Захарова, к стенке ставить будут, я к ним за помощью не пойду. Я нашу «районку» принципиально заместо туалетной бумаги употребляю. Задница от краски огнем горит, а употребляю.

— Мне-то как быть? — спросила Алевтина.

— Мы тебя, Захарова, знаем и ценим. Квартира у тебя есть, радуйся! Ребенок живздоров, подрастает — радуйся! Здоровьице твое при тебе — радуйся! Возьми вечерком бутылочку, мужичка приличного в отдельную квартиру пригласи... Эх, Захарова, мне бы твои заботы! А на газету плюнь. Плюнь и разотри. Иди, Захарова, иди работай!

После разговора с управляющим с души Алевтины немного отлегло. «Может, и впрямь плюнуть на все,— думала она,— чего переполошилась? Начну таскать в свою нору все, что подвернется под руку, хоть не обидно будет. Зачем, в самом деле, белой вороной среди своих быть? Вот и проучили подруги, и правильно сделали...» Но тут Алевтина вновь вспомнила Настеньку.

— Господи,— шептала Алевтина,— дура растет. Как ей втолковать?.. Ведь изведется вся из-за проклятой газетенки.

В тот же день вечером Алевтина решила поговорить с самим редактором Морозовым. Жил он в соседнем подъезде их дома на третьем этаже, и Алевтина частенько наблюдала за ним со своего балкона. Она даже здоровалась, когда встречались во дворе, и удивлялась: внизу Морозов выглядел совсем иначе, чем сверху. На земле у него была черная борода лопатой и проницательные умные глаза под приподнятыми слегка бровями-крыльями, а голова всегда прикрыта шляпой. Когда же Алевтина наблюдала редактора на балконе, он был без шляпы, и голова его походила на белый электрический плафон, к которому подвязана черная тряпица-борода. Морозов, как и Алевтина, любил после работы сидеть на пороге своего балкона, и у него была привычка грызть ногти. Сидеть он мог часами, попеременно запуская в бороду то правый, то левый кулак. Иногда поднимался, брал в руки крошечную красную лейку и поливал балконные цветы. Или уходил в комнату, возвращался с записной книжкой и что-то записывал в нее. Думал, грыз ногти. Настя как-то упомянула, что сын редактора Борн проговорился в классе: его папа пишет стихи и печатает их в своей газете под псевдонимом. А соседка как-то сказала Алевтине, что жена редактора больна раком груди и доживает последние дни. Наверное, так оно и было, потому что жену Морозова Алевтина видела на балконе всего раза два-три — с измученным серым лицом.

Алевтина не решилась пойти к ним домой, а дождалась «мусорной» машины и, приметив внизу шляпу Морозова, схватила ведро. Возле машины она, не раздумывая, подошла к редактору и попросила:

— Можно с вами поговорить?

Морозов вывалил мусор, и они отошли в сторону от людей. По тому, как настороженно и отчужденно посматривали на нее умные глаза редактора, Алевтина догадалась: знает, о чем она станет просить, и уже приготовил ответ. Едва Алевтина заикнулась о своем деле, как Морозов поспешно проговорил:

— Ничем не могу помочь, так сказать...

— Неужто у нас настоящие воры перевелись? — тихо спросила Алевтина, наперед чувствуя, что ничего путного из разговора ее с редактором не получится и зря она затеяла его.

— В данном случае вопрос, так сказать, принципиальный,— пояснил Морозов, поправляя шляпу и постукивая пустым ведром по коленке.— В народе так говорят: что подкову украсть, что лошадь.

— В народе ведь тоже дураков много,— возразила Алевтина,— умный так не скажет. Если лошадь имеется, зачем подкову воровать? А если нет лошади — зачем подкова? Разве только на дверь повесить на счастье.

— Не могу с вами согласиться,— возразил редактор, вдруг оживляясь,— Моральные ценности девальвируются у нас на глазах, и задача печати всеми силами способствовать их возрождению. Наше общество погрязло, так сказать, и молчать уже нельзя. Иначе впереди нас ждет пропасть.

— А недавно еще вы писали, что впереди нас ждет коммунизм.— Алевтина усмехнулась.

— Времена, так сказать, меняются.— Редактор несколько стушевался.— Требуется новое осмысление и понимание, так сказать, действительности.

Алевтина вернулась в квартиру злая, в сердцах швырнула в угол кухни мусорное ведро, проговорила:

— Чего осмысления?! Чего понимания?! Все осмыслено давно у людей и понято. Господи, да он совсем дурак!

Алевтина уселась на пороге балконной двери и принялась раздумывать, как быть дальше? Куда пойти, к кому еще обратиться? Она слышала, как с улицы вернулась Настя и гремит на кухне сковородой, что-то готовит. Потом Настя позвала ее ужинать, но Алевтина отказалась. Подумала, что Настя, наверное, завела собаку и прячет ее где-нибудь в старых сараях. Иначе откуда у нее такой аппетит на бутерброды? Да и каша теперь не залеживается в кастрюле. Ну и пускай! У нее в детстве тоже был Верный. А теперь? Теперь все о пропасти впереди толкуют, а того не замечают, что пропасть давно вокруг. Всяк на своем балконе живет...

ГЛАВА 9

«Из трех миллионов населения Кампучии полпотовцы уничтожили миллион. Людей убивали за их политические убеждения, за образование, за то, что умеют читать и писать, за то, что носят очки, за умный взгляд...»

(Из печати)

«Сталина слово не забудется: что сказал, то и сбудется».

(Советская пословица)

«Трижды человек дивен бывает: родится, женится, помирает».

(Русская пословица)

* * *

— Бомж Иванович! — позвала Настенька, выбравшись на чердак.— Бомж Иванович, вы спите?

— Нет, девочка, не сплю,— донеслось из-под крыши,— жду тебя.

— Здесь так темно, я ничего не вижу.

— Ты боишься темноты?

— Боюсь. У меня есть фонарик, только он сейчас без батарейки. Я подарю его вам.

— Нет, нет, фонарик не нужен! — неожиданно живо вскричал Бомж Иванович, добавив тише: — Не выношу, когда в лицо человеку светят фонарем.

— Я не стану светить фонарем в лицо,— возразила Настенька, пробираясь на голос старика,— я буду только освещать дорогу в темноте.

— В темноте очень легко ошибиться,— решительно возразил Бомж Иванович,— и потому лучше обходиться без фонаря.

— Хорошо, если вы так хотите...

— Да, я так хочу!

По тону старика Настенька определила, что Бомж Иванович чем-то раздражен. И потому, добравшись до щита-жилища, поспешила обрадовать его:

— Бомж Иванович, я принесла вам чуть-чуть коньяка. Мама выпивала с Вениамином Тимофеевичем, и у них осталось в бутылке.

— Глоток коньяка — то, что мне сейчас не хватает.— Голос старика потеплел.— Давай сюда. Уже поздно, мама не хватится тебя?

— Мама уехала с Вениамином Тимофеевичем в деревню до завтрашнего дня,— невесело пояснила Настенька.— Я сама себе хозяйка,— добавила она, усаживаясь в темноте на посылочный ящик.

— Это меняет дело,— согласился старик и сделал в темноте шумный глоток из бутылки.— Прекрасный коньяк, девочка. Прекрасный.

— Бомж Иванович, почему вы живете на чердаке? — спросила Настенька.— Если бы мне пришлось жить, как вам, я выбрала бы подвал. У нас очень глубокий сухой подвал. Там паровое отопление, электричество, там можно сделать комнату из досок. Хотите, я помогу вам сколотить комнату? Там многие сколачивают сарайчики, а мы — комнату. Напишем на ней номер нашей квартиры и повесим замок. Там никто не будет вам мешать.

— Ты затронула очень важный для меня вопрос, девочка. Иметь теплый угол — об этом можно только мечтать. Но, к сожалению, я не могу жить в подвалах. Более того, я не могу жить на нижних этажах. Даже если это не самый высокий этаж в городе, я плохо сплю. По ночам мне кажется, что все люди смотрят на меня... Я теряю сон, начинаю не-

рвничать, хотя и понимаю, что это, наверное, болезнь. Я смеюсь над собой, но страх не пропадает. Самое ужасное чувство, девочка, это страх. Никакая физическая боль, ничто не сравнится с ним. Я говорю не о страхе за жизнь, за преступление, а о страхе необъяснимом. Когда тело уже не ощущает боли и ты лишен своего Главного права, и приближаешься к черте, за которой безумие.

— Я вас очень понимаю, Бомж Иванович,— проговорила Настенька.— Однажды я видела сон, что падаю в колодец. Ой, как мне было страшно! До сих пор помню.

— Это другое.— Бомж Иванович снисходительно усмехнулся.— Твой страх, как и телесная боль,— защитная реакция организма. Дай бог тебе знать только этот страх.

— Вы давно не можете жить на нижних этажах? — поинтересовалась Настенька.

— Нет, такое у меня после тюрьмы.

— Вы сидели в тюрьме?!

— Сидел. А точнее — работал.

— За что вы попали в тюрьму?

— Нарушил указ об абортах.

— Абортах?

— Да, это когда женщина хочет избавиться от ребенка. Я был тогда врачом.

— Вы — врачом?!

— После войны я ковчил в Ленинграде Первый медицинский институт. Мечтал стать хирургом, но, увы, случай изменил мою жизнь. У нас в больнице работала немолодая уже женщина, уборщица. Однажды она пришла ко мне домой и сказала, что беременна, но не хочет иметь ребенка. И попросила меня помочь ей. В ту пору действовал указ, строго запрещающий аборты, за нарушение его грозила тюрьма. Вот почему я отказал женщине. На следующий день она пришла вновь, она рыдала и каталась по полу у меня в ногах. Но я снова отказал ей. Тогда женщина заявила, что уйдет из жизни... То была не просто угроза, я знал, что она так и поступит. Я дал ей таблетки, растолковав, как и в квкой последовательности принимать их. Но она решила ускорить дело и приняла все разом. Спасти ее не удалось, она умерла. Хотя меня никто не подозревал, я добровольно признал свою вину и получил девять лет.

— Девять лет! — воскликнула Настенька.— Вы так долго сидели в тюрьме?!

— Работал, девочка, работал! Не все девять лет, после смерти Сталина я попал под амнистию. Надо сказать, что заключение сильно подействовало на меня. Именно в лагере я начал познавать, что такое страх... Очень трудно давались первые годы. Мальчишкой я пережил блокаду в Ленинграде, затем голодные студенческие годы, физически я был слишком слаб, а меня направили на лесоповал. Условия там были тяжкими, но главное заключалось не в этом. В бригаде мне досаждал один человек... Да, очень досаждал. Когда нам выдавали топоры, он первым делом спешил ко мне и грозился отрубить голову. Не знаю, почему он так невзлюбил меня, но он испытывал ко мне необъяснимую ненависть. Я видел это в его глазах. Когда он появлялся с топором, лицо его принимало безумное выражение, он оскаливал черные зубы и замахивался на меня. Все вокруг смеялись, хватали его за руки и отводили в сторону, но всю смену я ощущал на себе его взгляд. Видимо, его раздражала моя физическая беспомощность.

— Больше всего я боюсь таких людей,— поеживаясь, проговорила Настенька.— У нас был один сосед, его звали Эдиком. Он, когда напивался пьяный, хватал топор и все вокруг рубил и страшно ругался. Однажды он сказал моей маме, что будет с ней спать, а мама схватила горячий утюг и ткнула ему в лицо. Только у Эдика все зубы были не черные, а серебряные.

— У меня другой случай,— возразил Бомж Иванович.— Угрозы Эдика можно понять. Мне же они шли от слепой ненависти. Я был одинок, в бригаде все морально поддерживали того человека. Они смеялись, видели в нем шутника, но я-то знал, что он не шутит.

— Как страшно, Бомж Иванович.

— Я вынужден был пойти на крайнюю меру. К тому времени я уже приспособился и выполнял свою дневную норму, потому отношение ко мне начало улучшаться. За исключением моего ненавистника. И вот однажды, когда он замахнулся на меня, грозя зарубить, я сказал ему: «Давайте наконец решим этот вопрос. Жизнь приняла для меня невыносимую форму, и если вы хотите отрубить мне голову, я готов склонить ее на плаху».

— Господи! — воскликнула Настенька.— Бомж Иванович! Разве можно так?! Саму, добровольно? Какой вы странный человек.

— Как показало время, я нашел единственно правильный выход из создавшегося положения. Я поставил на карту все, что у меня было,— свое Главное право. Это было единственный раз. Но я выиграл!

— А дальше что?! — вскричала Настенька.

— Мой ненавистник согласился со мной, сказав, что и он видит один лишь выход из положения — отрубить мне голову. И приказал готовиться к казни. Уже выпал снег, но я разделся до пояса, опустился на колени и положил голову на хлыст.

— На хлыст?

— На спиленное дерево, с которого обрублены сучья.

— А где же были ваши товарищи?

— Они стояли вокруг и с нездоровым интересом наблюдали. Хотя почему нездоровым, то был здоровый интерес, тот самый, который и рождал вопль в древнем Риме: «Хлеба и зрелищ!». Все смеялись и даже охранник, хотя по долгу службы не имел права допускать подобное. Итак, я положил голову на хлыст — подбородком вниз, как клали ее на плаху гильотины короли Франции. И закрыл глаза.

— Ой, Бомж Иванович, ой!..

— Мой палач потребовал, чтобы я открыл глаза и наблюдал за приготовлением к казни. Я вынужден был подчиниться. Я видел, как он протирал шапкой топор, пробовал пальцем лезвие, перекидывал топор с руки на руку. Наконец я почувствовал — топор взлетел над моей головой, и, скажу откровенно, у меня оборвалось сердце. Я слышал, как свистнул топор под всеобщий людской вздох. Лезвие вонзилось в дерево, слегка коснувшись моей шеи. Я отделался легкой ссадиной. Палач не смог сделать того, чего хотел, моя пассивная воля оказалась сильнее его ненависти. С этого момента он перестал преследовать меня.

— И никогда к вам больше не приставал? — удивилась Настенька.

— Позже он попытался занять мое место на верхнем ярусе нар, сказав, что будет сверху наблюдать за мной, но я воспротивился и оказал ему физическое сопротивление. Он был намного сильнее и сбил меня с ног первым же ударом кулака, но, к моему удивлению, на мою сторону стала бригада. Они заявили палачу, чтобы он больше не трогал меня. Верхние нары остались за мной. С тех пор, девочка, у меня и появилась привычка спать выше остальных людей. Если я знаю, что кто-то живет выше, я чувствую на себе чужой взгляд. И теряю сон. К сожалению, в дурдоме приходится спать вровень со всеми, и оттого я мучаюсь бессонницей. Зимой меня перевели на этаж ниже, и мне пришлось держать голодовку, чтобы вернуть себе право на прежнее место.

— А что вы делаете, когда не можете заснуть?

— Гуляю, девочка. Гуляю по крыше. А в сумасшедшем доме пью снотворное.

— Я тоже хочу на крышу,— просительным тоном произнесла Настенька.

Но Бомж Иванович, казалось, не слышал ее слов.

— Хороший коньяк, девочка,— вновь похвалил он,— согрелся от одного глотка.

— Его привозит Вениамин Тимофеевич.

— Прекрасный вкус у Вениамина Тимофеевича. Прекрасный.

— Скажите, Бомж Иванович, как вы считаете: это нехорошо, когда к маме при эжает Вениамин Тимофеевич? У него в Ленинграде есть жена и сын. Он пьет с моей мамой вино, они целуются, потом они вместе спят. Это нехорошо?

— Ты задала чрезвычайно сложный вопрос. Один из немногих, на который я, пожалуй, не решусь ответить. Мне не дано знать, что происходит в душах людей, а по внешним поступкам не всегда можно судить их. На подобные вещи у каждого свой взгляд. Тебе лучше самой ответить на этот вопрос. Для твоего возраста и жизненного опыта твоя оценка может оказаться вернее.

— Я думаю, что это обман,— жестко проговорила Настенька,— но не могу поверить, что мама обманщица. А Вениамин Тимофеевич еще больший обманщик.

— Может быть, и так. Хотя на твоем месте я не спешил бы осуждать мать. Если она и обманывает, то только себя. Самая горькая доля, девочка.

— А если она не обманывает? — с надеждой спросила Настенька.

— Тогда ее тем более нельзя осуждать. По крайней мере — тебе.

— Я тоже иногда так думаю,— тихо проговорила Настенька,— мне невозможно представить, что мама такая. Спасибо вам, Бомж Иванович, вы хороший человек.

— Просто я давно уже никого не обманываю,— отозвался из темноты старик,— и прежде всего самого себя.

— Многие считают, что я смелая,— продолжала Настенька,— а я всего боюсь: крови, когда ребята смеются надо мной в школе, боюсь становиться взрослой. Но больше всего я боюсь одиночества. Иногда, даже когда дома мама, мне кажется, что я одна на всем белом свете. Тогда я вспоминаю о вас и прихожу.

— Меня пугает одно: что мое Главное право будет кем-то нарушено.

— Главное право? — рассеянно переспросила Настенька.

— Право на смерть. Обрати внимание, девочка, никто не отбирает у человека его Главного права. Оно лишь нарушается. Степень нарушения его называется демократией.

— Разве так важно, когда нарушается право на смерть? — возразила Настенька.— Мне всегда казалось, что право на жизнь важнее.

— Ты заблуждаешься. Вспомни из сказок, как восточные тираны избавлялись иногда от неугодных — посылали им в подарок шелковый шнурок. Но получивший его оставался волен в своем Главном праве и сам избирал способ и время. Вот где милосердие — доставить на дом шелковый шнурок, а не призвать жертву к себе. Запомни, девочка, это и есть гуманность. Самые милосердные — те палачи, которые дают возможность приговоренному к лишению Главного права самому распорядиться своей смертью. Запомни, девочка, это самые милосердные люди!

ГЛАВА 10

«После призыва в Ленинграде к милосердию в квартирах пожилых беспомощных людей стала появляться молодая девушка. Связав старика, она аставляла ему в задний проход паяльник и грозила включить его а сеть, если жертва не пожелает расстаться со своими денежными сбережениями. Ленинградское телевидение любезно предоставило деаушке аозможность выступить в программе „600 секунд", и та, мило улыбаясь, поведала зрителям, что ее прием „милосердия" действовал безотказно».

(Примечание автора)

«Женщина раньше рабыней была, а теперь мужчине равна».

(Советская пословица)

«Надел пальтишко на пиджачишко и думает, что не дурак».

(Русская пословица)

* * *

Приближалось торжественное общегородское собрание, на котором намечалось выдвижение кандидатов на Первый съезд народных депутатов. К этому времени журналист Смирнов-Сокольский был уже заметной фигурой на политическом небосклоне своего города и района. Роман Александрович столь энергично и напористо сражался за руководящую линию горкома, что вначале в редакции, а затем и в городе начали поговаривать: на торжественном будет выдвинут Кислов, а Смирнов-Сокольский станет его доверенным лицом. Правда, слухи эти в народе не получили распространения, всему городу было известно, что сып Кислова вне очереди поменял свою хорошую квартиру на лучшую, а такое в условиях Перестройки народом уже не прощалось. Тем не менее, и «правые» и «левые» группировки проявляли к Смирнову-Сокольскому повышенный интерес с намерением заразить его своими идеями и повлиять на его политические вэгляды, а в конечном итоге склонить его на сторону своих единомышленников. Однако Роман Александрович проявлял поразительное политическое чутье, умело лавируя между твердой линией власть имущего Кислова и гибкими линиями неутомимых и напористых неформалов, реальной власти пока не имущих. Но тонкая политическая игра журналиста, по всей видимости, не устраивала Кислова. Ребята из «смешного дома» уже намекали Роману Александроаичу, что репутацию его в глазах Кислова серьезно подмочила псевдонимная добавка к фамилии и печатный газетный призыв к созданию в городе отделений «Милосердия» и «Мемориала» с левацким душком. Слова ребят подтверждал тот факт, что близился назначенный Кисловым срок — год трезвой жизни журналиста, но разговора о редакторстве секретарь не возобновлял. Более того, встретившись с Романом Александровичем на улице, поздоровался с ним лишь кивком головы и полушутя-полусерьезно проговорил: «Что-то у тебя, братец, нос стал вроде бы модельный и фамилия космополитическая. Смотри...»

Стоит ли говорить, что подобное к себе отношение журналист переживал тяжело и у него порой мелькала мысль досадить Кислову и переметнуться в стан его противников, но... слишком сложной становилась обстановка в городе и стране, слишком накалялись страсти, необходимо было держать ухо востро и не метаться между противоборствующими сторонами, иначе очень легко можно было попасть под колесо Истории.

На заигрывание с ним «левых» сил Роман Александрович отвечал взаимностью. Одним из ярких представителей их являлась поэтесса Ирина Архангельская, поддерживающая «левые» группировки города извне — из кипящего предвыборными политическими страстями Ленинграда. Роман Александрович уже дважды возил поэтессу на своей вихревой «казанке» в длительные прогулки по реке. Однако серьезное мужское чувство к поэтессе, сдерживаемое, видимо, «французенкой», так и не проклюнулось в его груди. Журналист понимал, что утонченная ленинградская штучка отметила его своим вниманием отнюдь не из симпатии к нему и даже не из желания включить его в свою коллекцию мужчин, а единственно из стремления досадить редактору Льау Юрьевичу, который после разоблачительных угроз своего сотрудника стал с поэтессой официально холоден, на творческий контакт с ней не шел, разговоры о клюкве не поддерживал и подборки стихов ее в газете не давал. При таком положении Архангельская могла лишиться и литобъединения при газете, а с ним и платных выступлений, которые редакция в качестве материального вознаграждения помогала организовывать ей в хозяйствах района и предприятиях города. Поэтессе просто необходимо было иметь своих людей в редакции, и выбор ее пал на Смирнова-Сокольского.

Роман Александрович хорошо уяснил все эти нюансы, но, к своему удивлению, быстро попал под идеологическое влияние ленинградской поэтессы. Едва он намекнул ей, что задумал написать книгу о нравах районной провинции, как она тотчас набросила на его мечту удавку, заявив, что публикация будущей книги зависит от того, каковы его идейные убеждения а настоящее время. А они должны соответствовать самым смелым идеям и первую серьезную проверку пройдут на торжественном...

Так Роман Александрович апервые узнал о крупной политической акции, которую готовились провести на торжественном собрании левые силы. Они вознамерились, ни много ни мало, сломать устоявшуюся традицию победившего социализма — отказаться подняться с кресел и запеть «Интернационал». «Левые» не слишком даже скрывали своего замысла. Архангельская, выступая на платных встречах с читателями, откровенно заяаляла свою программу, призывала слушателей включиться в активную борьбу за идею, которая напраалена не протиа международного гимна трудящихся как такового, а против традиции тоталитаризма, которую прежде, чем победить, необходимо сломать.

Роман Александрович, узнав о предстоящем выступлении «леаых», позвонил из «автомата» Кислову и сообщил ему о заговоре экстремистов.

— Сам-то ты будешь петь «Интернационал»? — спросил Кислоа, хмыкнув.

— А как же?! — отозвался Роман Александрович и с обидой добавил: — Я своих убеждений, Николай Николаевич, так быстро не меняю.

— Ну, ну...— неопределенно произнес Кислов.— Подучи слова, если подзабыл. Как там: «Кто был никем, тот станет всем...»

Так журналист Смирнов-Сокольский оказался между двух огней. С одной стороны — Кислов с его обещанием редакторского кресла, с другой — Архангельская, своя в литературном мире и способная очень легко шлепнуть на него печатку Нины Андреевой или общества «Память». В сложившемся общественном климате это значило, что книга его и впрямь могла долго не увидеть сает. Правда, в руках Кислова находился мощный рычаг, который мог обеспечить на торжественном большинство из своих людей,— пригласительные билеты. Кислов едва ли не лично расписал каждый билет по кандидатурам. В то же время журналист понимал, что Ирина Архангельская и ее сторонники пройдут сквозь стены, но будут сидеть на собрании. Не исключено, что Архангельская, будь она неладна, устроится рядом с ним. Тогда его положение предельно осложнится.

ГЛАВА 11

«...посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, трвака нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красе своей, обнимемся мы и заплачем...»

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Женщине дорога широкая стала: ей Советская власть путь указала».

(Советская пословица)

«Ты его за апостола, а он хуже кобеля пестрого».

(Русская пословица)

* * *

Здание, в котором располагались горком и горисполком, звали в народе «Дом советов». Оно было размашисто-приземистым, бетонно-серым. Громадные двухпролетные окна в центре придавали ему величественно-убогий аид. Название пошло гулять с легкой руки строителей, для которых этот дом в свое время был негласно объявлен общегородской ударной стройкой. Алеатине Захаровой с бригадой тоже пришлось немало помахать там кистью. Туда она теперь и напраалялась.

Площадь перед зданием была ааасфальтирована и аккуратно расчерчена жирными белыми линиями. Широкие некрутые ступеньки вели к стеклянным дверям, перед ними прогуливался милиционер. Ни души вокруг не было, лишь через дорогу рядом с черными легковыми машинами стояли, переговариааясь, даа человека, наверное, шофера. С непривычной для себя робостью вступила Алевтина на эту территорию. Поднялась на площадку и приблизилась к милиционеру. Ей казалось, что он сейчас окликнет, остановит, спросит, к кому идет и зачем. Но молоденький милиционер лишь покосился на нее и продолжал гулять. В прошлом, когда эти учреждения находились в разных зданиях — старых, сохранившихся еще с довоенных лет, милиционеры возле них не дежурили. Вот только к первомайским и ноябрьским праздникам перед галереей двухметроаых портретоа членов Политбюро у здания горкома временно круглосуточно действовал милицейский пост. И то лишь с тех пор, как какой-то шутник-хулиган подрисовал самому ответстаенному члену Политбюро могучие «буденовские» усы. У входа же в «Дом советов» страж порядка прохаживался постоянно, настораживая горожан и охлаждая слишком горячие желания

нести свои беды и болести в этот хмурый районный дворец из стекла и бетона. На это решались только, когда нужда припирала вплотную, как Алевтину Захарову.

Миновав охраняемую зону, Алевтина принялась торкаться в высоченные стеклянные двери с метровыми деревянными ручками. Все оказались запертыми. Но вот одна медленно приоткрылась, из нее вышел неторопливый пожилой мужчина с портфелем в руке. Не давая двери захлопнуться, Алевтина шустро прошмыгнула в нее и оказалась в просторном сумрачном вестибюле. Прямо перед собой она увидела гардероб с пустыми вешалками, за барьером сидел седенький старичок-гардеробщик. Слева, на невысокой лестничной площадке, стоял стол с горящей на нем настольной зеленой лампой. За ним высилась осанистая женщина со старомодным «пучком» на голове, что-то писала. По вестибюлю прохаживался плотный немолодой милиционер. Сообразив, что среди этой троицы главной является дама за столом, Алевтина, тем не менее, направилась к старичку-гардеробщику. Поздоровавшись, спросила:

— Дедушка, мне надо к Валентину Михайловичу Стеблову, к первому секретарю...

Старичок не успел ответить, Алевтину окликнул голос:

— Вы к кому, гражданка?!

Алевтина оставила старичка и подошла к столу.

— Мне надо к Стеблову.

— Он вызывал вас?

— Нет, я хотела... У меня такое дело...

— Вы записывались на прием? — Теперь дама смотрела на Алевтину большими ненакрашенными глазами предельно строго.

— А что, надо записываться? — Алевтина невольно почувствовала наивность своего вопроса.

— Запись на прием в понедельник с десяти до двенадцати.

— А когда он меня сможет принять?

— По личным вопросам секретарь принимает граждан один раз в месяц — второй четверг с девяти часов. Но если вы по жилищному, вам необходимо прежде обратиться к Матвееву, комната двадцать два, второй этаж.

— Нет, я не по жилищному,— успокоила даму Алевтина,— у меня другое. Срочное у меня. У меня дело, с редакцией связанное. Очень срочное.

— Тогда вам лучше к третьему секретарю, Кислову Николаю Николаевичу,— подсказала дама.— Редакция в его ведении.

— И он может решить — печатать или не печатать? — с надеждой спросила Алевтина.

— Сможет,— не скрывая усмешки, ответила дама.

— К нему тоже надо записываться или можно сейчас?

Алевтина уловила в глазах дамы нерешительность и, умоляюще прижав руки к груди, принялась упрашивать:

— Очень прошу вас! Пожалуйста, мне очень, очень надо! Разрешите пройти. Молиться за вас стану.

— Да пропусти ты ее, Сергеевна! — крикнул из-за барьера старичок-гардеробщик.— Пущай сходить! Мобуть, Кислов без дела сидить.

— Второй этаж, кабинет номер двенадцать,— сдалась дама и повелительно указала пальцем на лестницу.— Пожалуйста!

Поднимаясь, Алевтина лихорадочно вспоминала все, что слышала о Кислове. Кажется, он из отставников, из военных. Зимой в проруби купается и париться любит. Сын у него на заводе железобетонных изделий работает конструктором, в прошлом году в точечном доме квартиру без очереди получил. Да, еще Пузырь говорил: Кислов на охоте, неподалеку от его дачи лебедя убил, деревенские видели... Алевтина замедлила шаги, пытаясь выловить из памяти что-нибудь хорошее о Кислове. И ничего припомнить не могла.

Алевтина, наверное, не ко времени побеспокоила секретаря.

— Слушаю вас,— сухо произнес Кислов, не предлагая ей сесть.

У секретаря были светлые навыкате глаза, на черном пиджаке разноцветно светился квадрат орденских планок. Над головой Кислова висел портрет Ленина. «Три ряда по три в каждом — девять орденов и медалей,— отметила про себя Алевтина и вдруг подумала: — А у меня за пятнадцать лет на стройке ни одной медали». Она перевела взгляд с груди Кислова на портрет: строгие с прищуром глаза Ленина смотрели на нее неодобрительно, однако не были подернуты мутным стеклянным наплывом, как у секретаря.

— Слушаю вас,— повторил Кислов.

Алевтина, не дожидаясь больше приглашения, сделала несколько шагов к стене, присела на стул. И еще не начиная разговора, уже знала: ничего хорошего от встречи с этим человеком у нее не выйдет. Она внутренне напряглась, ощетинилась и теперь боялась только одного — как бы не подвели бабьи слезы, только бы не закапали.

— Моя фамилия Захарова,— представилась Алевтина,— работаю на стройке маляром. Была задержана ОБХСС с краской. Хотела квартиру подновить. Пять литров белил и банка олифы...

— Что хотите от меня? — Ничто не изменилось на лице Кислова.

— В газете надумали меня пропечатать. А я первый раз задержанная. И у меня дочь школьница. Зачем же сразу в газету? Пускай администрацией накажут, высчитают из зарплаты, что положено, пускай хоть в суд! Только не в газету, зачем же меня перед дочкой на весь мир позорить? Ей-то каково будет?

— О чем вы думали раньше? — спросил секретарь.— О дочери своей думали?

— Думала,— тихо отозвалась Алевтина и опустила голову.

— Вы читаете газеты? — продолжал Кислов.— Слушаете радио, смотрите телевизор? Вы хоть знаете, что происходит у нас в стране?

— Знаю,— так же тихо ответила Алевтина.

— У нас в стране — Перестройка! Это значит — беспощадный бой всему, что мешает нам жить. Беспощадный. Вы согласны со мной?

— Не знаю... По-человечески всегда надо и ко всем.

— Ко всем? — Могучие брови Кислова приподнялись.— И к таким, как вы?

— И к таким, как я,— не поднимая головы, но твердо произнесла Алевтина. И вдруг добавила: — Я-то чем мешаю вам жить?

После этих ее слов секретарь пришел в возбуждение.

— Это черт знает что такое! — воскликнул он, хватая в руки карандаш.— Она ворует, ее хватает за руку ОБХСС, она недовольна, приходит в комитет партии, стучит кулаком по столу на секретаря и требует к себе заботливого отношения. Какая наглость! Таким, как вы, дай волю, они всю Россию растащат, по миру пустят!

— Я Россию по миру пускаю?!.— Алевтина выпрямилась на стуле и с вызовом посмотрела в глаза Кислова.— У меня с детства мозоли с рук не сходят, тринадцать лет квартиру ждала, с ребенком по чужим углам мыкалась. И грехов-то — всего пять литров краски! А вы?! На нашей шее сидите да еще ордена-медали получаете!

Кислов онемел. Лицо его побагровело, затем приняло синюшный оттенок. Понимая, что терять ей теперь уже нечего, Алевтина сбросила тормоза.

— Россию я по миру пускаю, жить я ему мешаю... Лебедей, что ли, стрелять мешаю? В бане на турбазе со шлюхами мешаю париться? Или мешаю вашему сыну квартиру без очереди получать? Я этот кабинет, в котором вы штаны протираете, своими руками отделывала. Вам спасибо мне надо сказать, а вы мне сесть не предложите. Россию я по миру пускаю...

Алевтина входила в раж и уже не говорила — кричала на Кислова, махала перед его носом кулаками. Кто-то мягкий навалился на нее сзади, подхватил под мышки и вытолкал за дверь. И только в коридоре у Алевтины хлынули слезы. Градом хлынули и, пролившись, уже на лестничном пролете высохли. Однако гнев-обида в ее душе продолжали клокотать. Спустившись в вестибюль, она остановилась перед дамой, сидящей за столом с прежним строгим выражением на лице, и, подбоченясь, выдала ей:

— Сидишь, кикимора?! Тебе небось тоже жить мешаю? Ты Россию хранишь, а я ее растаскиваю? Ты за нее, родимую, геморрой высиживаешь, а я на стройке прохлаждаюсь?

Дама непонимающе и ошалело таращилась на Алевтину, та не унималась:

— Ты-то не воруешь? Али нечего? Небось бумагу и кнопки в магазине не покупаешь для себя? Одних чернил, наверное, домой перетаскала — утопиться хватит!

Здесь Алевтина почувствовала, как кисть руки ее сжала чья-то железная лапа. Повернув голову, она увидела перед собой мужское лицо под милицейской фуражкой. Алевтина попыталась дернуться, вывернуть руку, но милицейская лапа вдруг с такой силой сдавила ей кисть, что Алевтина вскрикнула и удивленно попросила:

— Полегче, медведь! Накопил силы-то от безделья! — И пошла с милиционером рука в руке к выходу.

На улице милиционер тотчас отпустил ее и без слов скрылся назад за стеклянную дверь. Но возле Алевтины вырос второй милиционер, уличный, совсем молоденький, румяный.

— Проходите, гражданка! — проговорил он и отдал Алевтине честь, под козырек взял.— Проходите, пожалуйста!

Весь свой оставшийся гнев Алевтина выплеснула на него. Стройный был парень, видный, и тоже, наверное, накопил в лапах немало силы.

— Хватай меня, хватай! — подбодрила Алевтина.— Защищай от меня Россию! Наган-то доставай, доставай наган! Что краснеешь? На стройке-то работать не хочешь, лучше груши возле начальства околачивать. Поди мать-старуху в деревне бросил, а город подался красивую жизнь искать?

— Успокойтесь, гражданка, не скандальте,— вконец смутился милиционер,— проходите...

— Тьфу! — Алевтина вдруг с ненавистью плюнула в юное безусое лицо. И с отчаянным, с каким-то утробным хрюканьем повторила плевок: — Тьфу!

Милиционер побледнел. Утер рукавом лицо. Потом достал из кармана брюк носовой платок и принялся протирать глаза. И вдруг, совсем неожиданно для Алевтины, проговорил миролюбивым тоном:

— Зря вы так, гражданка, на людей бросаетесь. У меня самого квартиры нет, мы с сестрой вместе с матерью в одной комнате всю жизнь живем. Сестра замуж выходит, теперь вчетвером придется. Что же мне — тоже на людей бросаться? Сейчас вам отказали, потом получите. Не звери же мы, люди!

ГЛАВА 12

«Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат,— стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод».

(Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя»)

«Раньше церковь да вино, теперь клуб да кино».

(Советская пословица)

«Каково семя, таково и племя».

(Русская пословица)

* * *

— Бомж Иванович, мама очень не любит пьяниц и говорит, что они — не люди,— сказала Настенька.

— По твоим рассказам, девочка, у меня сложилось неплохое мнение о твоей маме, но в данном вопросе не могу согласиться с ней,— ответил Бомж Иванович, как всегда, предварительно обдумав вопрос Настеньки.— По моему мнению, пьяницей может быть лишь тот, у которого алкоголь включился в обмен веществ. Такому человеку не употреблять спиртное так же трудно, как нам с тобой не пить воды. Его не остановит и угроза смертной казни за глоток вина. Все разговоры о борьбе с этим злом кажутся мне абсурдными, фарисейскими, как — «всеобщее здоровье», «всеобщее благоденствие», «всеобщее счастье». С пьяницами нельзя бороться, их не надо лечить. Я противник всего принудительного. В свое время я несколько злоупотреблял алкоголем и меня тоже пытались лечить вопреки моей воле.

— И вас?!

— Ты понимаешь, какое это надругательство над личностью? Представь себе: наш Генеральный с Председателем сидят в креслах и потягивают столетний коньяк. В это время меня за то же самое действие (только пил я другие марки спиртного) два санитара скручивают. Ты никогда не видела, как скручивают руки простыней?

— Никогда,— призналась Настенька.

— Простыня должна быть прочной и длинной. При высокой квалификации санитаров используют и обычную. Она накручивается на руки от плеча, как армейские обмотки на ноги солдат. Руки в обмотках заламываются за спину и завязываются концами простыни в тугой узел. А потом в тебя входит игла... Отвратительное чувство, девочка, ты превращаешься в животное. Конечно же, как человек я еще сопротивляюсь, кричу нехорошие слова в адрес Генерального и Председателя — а в чей адрес мне кричать, ведь у меня нет Бога? Мои руки в обмотках, я чувствую себя солдатом, которого привязали к жерлу пушки за преступление, мною не совершенное. После укола я не сопротивляюсь и прошу освободить. Санитары, в зависимости от опыта, тотчас развязывают меня или медлят.

— Почему медлят?

— Опасаются, что вновь начну борьбу. Надо сказать, что среди санитаров встречаются иногда и проницательные люди. Одному из таких удается уже много лет шантажировать меня. Он узнал мою тайну и каждый год вынуждает давать ему взятку. И я, вопреки своим принципам, плачу ему десять рублей. К нынешней зиме он собирался уйти на пенсию, но не знаю, не знаю... Собрать такую сумму нелегко, у меня нет постоянных источников дохода.

— Не давайте ему денег,— посоветовала Настенька,— он и отвяжется. Мама рассказывала: к ней один прораб привязывался, тоже хотел, чтобы она давала ему деньги. Мама пошла в профком и все рассказала. Прораб от нее и отвязался, стал к другим привязываться.

— Подобная мысль приходила мне, но я боюсь... Постоянный, необъяснимый страх, девочка. Не могу с уверенностью сказать, кто из нас сумасшедший — человечество или я? Но от большинства людей меня отличает этот страх... Извини, я потерял нить разговора. О чем мы?

— Как вас привязали к пушке...

— Да. Пушка выстрелила — в твое тело вошла игла. Самое, пожалуй, отвратительное ощущение из всех на земле, когда в твое тело входит игла и ты понимаешь, что люди делают из тебя нечто, отличное от себе подобных. Причем делают это вслепую, имея весьма смутное представление о препарате, который вводят в твою кровь, о последствиях. А они могут быть ужасны не только для меня, но и для последующих поколений. Препарат может нарушить иммунную систему, вторгнуться в гены. После антиалкогольного лечения, девочка, я превратился в импотента.

— В кого?

— В человека, который уже не нуждается в человеке другого пола, не может иметь детей. И сделал это со мной не столько антиалкогольный препарат, сколько страх, что дети мои перестанут походить на людей и я дам ветвь новому людскому уродству. Вот почему я считаю, что даже пьяниц (каковым я никогда не был) нельзя насильно лечить, а необходимо просто-напросто удовлетворять их потребности. В этом — высший акт гуманизма!

— Удовлетворять потребности пьяниц? — изумилась Настенька.

— Общество допустило их появление, оно обязано заботиться о них.

— Как это сделать?

— Для начала необходимо построить хотя бы один Пьющий Город,— пояснил Бомж Иванович,— с домами казарменного типа. В центре города — завод по производству спирта, от него система трубопроводов к казармам. В них никакой лишней обстановки, все подчинено главному. Столы, алюминиевые кружки, над столами краны, разведенный до нормы спирт. Сиди и пей, беседуй. Спать тут же на полу или на откидных топчанах. Все бесплатно, за счет государства. Попасть в такой город можно только по справке врача, удостоверяющей, что ты пьяница. При полном удовлетворении потребностей людей средняя продолжительность жизни в таком городе составляет, по моим подсчетам, около шести месяцев. Пьяница вволю и бесплатно пьет, государство освобождается от обузы годами лечить, перевоспитывать, трудоустраивать, обеспечивать благами и пенсией того, кто уже не приносит пользы обществу. Полное совпадение интересов пьющего и государства, которое породило этого человека.

— А если кто-нибудь захочет уехать из Пьющего Города, вернуться в нормальный? — спросила Настенька.

— Как ты наивна, девочка,— Бомж Иванович вздохнул,— кто захочет уезжать из такого города? Ну, допустим, ежели таковые объявятся — пожалуйста! Для них устанавливается, скажем, двухдневный испытательный срок. Если за это время в Пьющем Городе ты не взял в рот спиртного — волен идти на все четыре стороны. Обслуживание таких городов стоило бы государству недорого: пьющие люди неприхотливы. Им вполне подойдут дурдомовские халаты и телогрейки, из пищи — хлеб и капуста, по праздникам — картошка. Государство могло бы получать с таких городов неплохой доход, включая их в туристические маршруты. Маршрут «Пьющий Город» пользовался бы успехом у туристов. Кто откажется посмотреть место, где собрано все, что может сделать с человеком алкоголь.

— Я не хотела бы смотреть,— возразила Настенька.

— Ты каждодневно наблюдаешь пьянство в своем городе. Когда же будут созданы Пьющие Города или даже Пьющие Республики, пьяниц на виду в нашей стране не останется. В этом я тебя уверяю. Может быть, я и сам пожелаю использовать свое Главное право в Пьющем Городе, может быть.

— Но вы не пьяница, Бомж Иванович,— со скрытой тревогой спросила Настенька,— и вас не могут принять в Пьющий Город?

— Кто знает, что может произойти с нами даже в недалеком будущем? О причинах пьянства много говорят и спорят, и любую серьезную теорию по борьбе с пьянством основывают на социальных причинах, словно забывая, что ликвидировать пьянство можно, только уничтожив жизнь.

— Значит, нет смысла бороться? — спросила Настенька.

— Достаточно Пьющих Городов. А бороться необходимо. Любое государство заинтересовано в том, чтобы его граждане меньше пили и больше работали. Я много путешествую на своем ковре-самолете (спасибо тебе, девочка, за батарейки) и хорошо знаю, что ни в одном развитом обществе не сражаются с пьянством так, как у нас. Государство никогда не должно ставить перед своими подданными цель — искоренить пьянство. Здравый человек, даже непьющий, понимает, что для общества это нереальная задача. Как, к примеру, поиски бессмертия или желание человека летать.

— А что предлагаете вы?

— Может быть только одна цель: сдержать! Бороться под этим лозунгом государству необходимо постоянно и с полным напряжением. Именно с полным напряжением всех государственных сил. Главная сила — армия. Она у нас, в отличие от других, никогда не подключена к борьбе с пьянством или наркоманией. Мы не удивляемся, видя ее в страдную пору на колхозных полях. Но нам покажется странным узреть армию в школах, защищающую трезвый образ жизни, или наблюдать ее в наступлении на самогоноварение. И совсем дико покажется привлечение ее к работе вытрезвителей. Вряд ли боеготов-

ность армии практически понизится. Скорее наоборот. Она плоть от плоти дитя народа, и все общественные язвы и недуги передаются и впитываются ею. Взять вытрезвитель. Я на горьком опыте знаю, девочка, насколько запущен у нас этот антиалкогольный государственный институт, насколько работа его пущена на самотек. В вытрезвителе я потерял последнего своего друга...

— Как потеряли? — спросила Настенька.

— Он погиб. Он тоже был бомж... Мой тезка, Бомж Андреевич. Мы выпили с ним, находясь в крайне стесненных финансовых отношениях. И потому выпили то, на что, пожалуй, никто не решится из современных молодых людей. Мы выпили, и нам стало очень плохо. Нас привезли в вытрезвитель. Поскольку я всегда соблюдал и соблюдаю умеренность во всем, в том числе и в выпивке, я предельно корректно потребовал от руководства вытрезвителя предоставить моему другу Бомжу Андреевичу врача, напомнив, что в прошлом я сам врач. Заметь, девочка, потребовал предельно корректно то, что положено нам по Конституции. Но меня бросили на пол и принялись бить ногами. Естественно, как человек я стал сопротивляться, кричать нехорошие слова в адрес Генерального и Председателя. Кому мне кричать: я не знал фамилии начальника вытрезвителя. Я сопротивлялся отчаянно, в ту пору я был еще достаточно силен. К сожалению, Бомж Андреевич не мог поддержать мое сопротивление нарушителям Конституции — был слишком слаб. Он лишь стонал и смеялся...

— Какой ужас,— сказала Настенька,— больше всего я боюсь, когда взрослые бьют друг друга. Они всегда такие безжалостные. Я видела однажды, как били Эдика, того, которому мама ткнула в лицо утюгом. Его били по голове бутылкой, и все лицо его залила кровь.

— Любому злу необходимо сопротивляться, девочка. Я сопротивлялся до конца. Сопротивлялся так, что с меня не удалось стащить пиджак, и это спасло мне жизнь.

— Пиджак спас вам жизнь?

— Плотный, «под кожу» пиджак. Уже по тому, как меня били, я понял, что бьют меня нетрезвые люди. По опыту я знал, что, когда в вытрезвителе дежурят нетрезвые люди, это всегда опасно.

— А ваш друг Бомж Андреевич?

— С моего друга сорвали одежду донага, я не мог помочь ему, я сопротивлялся из последних сил. Наконец, нас вдвоем втолкнули в одну душевую кабину и... включили душ. Увы, мои опасения оказались не напрасными. Пьяный милиционер ошибся вентилем и вместо холодного душа включил горячий. И запер дверь снаружи.

— Господи! — воскликнула Настенька.

— Надо сказать, что я достаточно быстро осознал, в какую критическую ситуацию попали мы с другом. За те несколько секунд, когда душ из просто горячего превратился в парной кипяток, я успел скинуть пиджак и прикрыл им голову и грудь...

— А Бомж Андреевич? — прошептала Настенька.

— Какие-то попытки помочь ему я делал, но... Поначалу под горячей водой он принялся хохотать, но потом... Он дико кричал — до сих пор по ночам я слышу его голос. Он так сильно, так мощно бился у моих ног. Никогда не подумал бы, что в щуплом человеческом теле может быть заключено столько предсмертной энергии.

— Он умер?

— Когда я вышел из больницы, никто не мог сказать, где похоронен Бомж Андреевич. У него не было близких, вернее, он не хотел их иметь. В последние годы им владела одна мечта: Пьющий Город. Я заразил его своей фантазией, он всячески развивал и разрабатывал ее. Он излагал свои соображения о Пьющих Городах на бумагу и отсылал предложения в Президиум Верховного Совета, требуя учредить шестнадцатую Республику — Пьющую. И наделить ее особыми правами. Я убеждал его бросить это бесполезное занятие, не тратить понапрасну силы и средства. Наше общество еще не созрело, чтобы взглянуть на себя трезвыми глазами. Оно боится прижигать язвы каленым железом, предпочитая лечить их слюной от словоблудия, кишащей микробами.

— Бомж Иванович, вам иногда не хочется умереть?

— Умереть? — переспросил Бомж Иванович и загадочно усмехнулся.— Ты любишь сладкий компот, девочка?

— Люблю.

— Самую вкусную ягодку ты съедаешь сразу или оставляешь на последнее?

— Оставляю.

— Живи человек двести-триста лет, он не расстался бы так быстро с надеждой что-то исправить в жизни, наверстать, узнать, полюбить, создать семью. Иначе жизнь теряет смысл. Сильные люди уходят из нее, слабые подаются в пьянство, трусливые стараются ничего не замечать. Это одна из формул, выведенная мною на основе познания бытия. Я оставляю Главное право на последнее, как самую вкусную ягодку своего жизненного компота, весьма несладкого, но уже выпитого. Я еще любуюсь на свою ягодку, девочка! Любуюсь!

ГЛАВА 13

«О гордости же сатанинской мыслю так: трудно нам на земле ее постичь, а потому столь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем».

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Советский народ смотрит всегда вперед».
(Советская пословица)

«На Руси дураков, слава Богу, на сто лет запасено».
(Русская пословица)

* * *

Надолго ли хватит человеку творческих соков, если он оторвался от родных корней? Не прошло и года трезвой, в профессиональном плане напряженной жизни, и журналист Смирнов-Сокольский, как принято говорить в кругу литераторов, исписался. Если раньше ему без труда удавалось сходиться с людьми и легко узнавать их мысли и чаяния, еще легче — производственные и бытовые секреты, то теперь все изменилось. Посуху, как говорят в народе, и ложка рот дерет; с известным и трезвым журналистом люди вели себя настороженно-застенчиво и занимательных фактов ни про себя, ни про друзей не рассказывали. Газетные материалы Романа Александровича преснели и ничем уже почти не отличались от газетных работ Льва Юрьевича или Лелиной. Все чаще и чаще он, по примеру Ольги Евстратовны, обращался к старым газетным подшивкам, выискивая в них задумки для новых своих тем, памятуя, что новое — это хорошо забытое старое.

Для талантливой личности, как известно, нет ничего страшнее творческого застоя, а тем паче кризиса. А если у нее, талантливой личности, еще и обрублены корни, дар неизбежно хиреет и зачастую погибает. Роман Александрович, понимая это, чрезвычайно болезненно переживал свое новое состояние. С каждым новым трезвым днем он становился все более раздражительным и нетерпимым к чужим недостаткам. Дошло до того, что угнетенная психика начала отражаться не только на его потенции творческой, но и на самой что ни есть прямой и главной. Последний его выезд с Ириной Архангельской на лодке опять оказался неудачным, и поэтесса, вдохновленная его позором, сочинила вполне приличные строчки: «Не разжигай костра, коли огонь держать не можешь...» Роман Александрович от чистого сердца похвалил стихи Ирины и даже порекомендовал их Льву Юрьевичу для газетной подборки как несомненную удачу поэтессы.

Ослабление духа Смирнова-Сокольского начало сказываться и на его общественно-политической деятельности, внося в нее элементы нигилизма и декадентства, вплоть до лелинского «гори все синим огнем». Особенно усилились его упаднические настроения после торжественного собрания.

Вопреки всеобщим ожиданиям, серьезной политической борьбы на торжественном не получилось. Кислову удалось созвать в актовом зале Дворца культуры большинство своих сторонников, а первый секретарь горкома Стеблов, прирожденный оратор, в конце доклада заключительными здравицами сумел-таки поднять зал с кресел и укрепить традицию с «Интернационалом».

У Романа Александровича поначалу все складывалось хорошо. В толчее фойе ему удалось оторваться от Архангельской и ее людей, уже в зале он сумел увернуться от подвыпившего Архипова с компанией и наконец устроился с супругой во втором ряду с краю — напротив открытых дверей в вестибюль, где остались сидеть со своими инстру-
25 ментами военные музыканты духового оркестра. Внимая докладу Стеблова, Роман Александрович почувствовал вдруг на себе чей-то пристальный взгляд. Не поворачивая головы — боковым зрением обнаружил, что рядом с его женой сидит не кто иной, как агроном Струева из совхоза «Заря коммунизма». Роман Александрович, делая вид, что продолжает не узнавать соседку, лихорадочно соображал: как бы, не привлекая внимание этой агрессивной особы, увести подальше от нее свою жену. Докладчик начал называть коллективы и отдельных представителей, которые в условиях перестройки сумели добиться наилучших показателей в работе. После каждого имени в фойе гремел туш. В этот момент в дверях возникла директриса Дворца культуры, в прошлом миловидная и хорошо знакомая Роману Александровичу женщина, чрезвычайно взволнованная. Наткнувшись на взгляд журналиста, она бросилась к нему и, наклонившись, достаточно громко зашептала:

— Ромочка, дорогой, выручай! Музыканты одурели. Дуют так, что птицы в вольере кверху лапами лежат. Только два кенаря в живых и осталось, надо спасать. Помоги приструнить музыкантов.

Журналисту представился Его Величество Случай. Роман Александрович потянул жену за руку с кресла, и, пригнувшись, они выскочили в дверь. В фойе он коротко приказал супруге:

— Иди в буфет и жди меня там. Возьми лимонада.

Пожилой майор-дирижер даже не взглянул на журналистское удостоверение Смирнова-Сокольского, отмахнулся от него, как от мухи. Щекастые военные музыканты грохнули очередной туш так, что оглушенный журналист поспешил прочь. Услышав первую здравицу Стеблова, усиленную в фойе репродукторами, Роман Александрович понял: наступает кульминационный момент многомесячной политической борьбы, и, недолго думая, скатился по лестнице вниз, к туалету, решив переждать опасный момент в образцово-показательном для города уголке. И надо же такому случиться, что возле писсуара столкнулся он с... Николаем Николаевичем Кисловым! Так и стояли они некоторое время рядышком — плечо к плечу, струя к струе, а над головами их звучало могучее, сотрясающее дворец пение зала, в котором Роман Александрович отчетливо различал слова: «Кто был никем, тот станет всем»...

Тогда Роман Александрович и ощутил мощь, несокрушимость всего созданного вокруг и заложенного в нем самом и посмеялся над собой и над Архангельской, которая замахнулась поэтической юбкой на традицию отлаженного общественного механизма. Именно это запомнилось Роману Александровичу возле писсуара, а не те нехорошие слова, которые говорил ему Кислов.

На следующий день в редакции, сдавая на машинку свой материал, Роман Александрович строго предупредил машинистку:

— Дуся, моя фамилия Смирнов, без «Сокольского». Не ошибись.

— Что так, Рома? — спросила разбитная Дуся, смоля сигарету.— Псевдонимы нынче уже не в моде?

— Не твое дело,— раздраженно отозвался журналист,— ты знай стучи.

— Стучал бы сам за сто рублей,— вяло огрызнулась Дуся.— Погодите, пригляжу местечко в кооперативе, тогда попомните меня. Эх, Рома, Рома, как раньше-то мы с тобой жили! Может, рискнешь? У Толи-шофера вчера день рождения был, в гараже много чего осталось.

В свою комнатуху от машинистки Роман Александрович вернулся в настроении самом мрачном. Уселся за стол напротив Лелиной, с отвращением оттолкнул от себя стопку бумаг, проговорил:

— Обрыдла такая жизнь, Ольга! Чего-то такого хочется... Может, попробовать?

— Решай сам,— рассеянно отвечала Лелина, листая подшивку.— Тебе не попадалась тема «Партработа в тракторной бригаде на уборочной»?

— Все не то, Ольга, все не то... Ради чего живем? У Толи-шофера вчера, говорят, день рождения был, в гараже что-то осталось...

— Не знаю, за что зацепиться с темой, все подшивки перелистала. Хоть сама садись и выдумывай эту партработу!

— Пивком для начала «француженку» мою стебануть? — продолжал Роман Александрович.— Авось не такая она и серьезная? А, Ольга?

— Окочуришься.

— Пойду, пожалуй, рискну. Душа чего-то сегодня изболелась. Ты минут через десять загляни в гараж. В случае чего «скорую» вызови, объясни им что к чему.

— Была нужда объяснять! — фыркнула Ольга Евстратовна, раздражаясь.— Еще чего! Полдня не могу тему начать, а тут еще ты!

— Да найду я тебе тему, найду. Ну, на всякий случай, бывай здорова, Ольга! Не поминай лихом.

— Неужели и вправду решился? — Ольга Евстратовна отложила в сторону подшивку.— Тогда сам и позвони в «скорую» дружку своему. Так-то будет надежнее.

— Верно,— обрадовался Роман Александрович,— предупрежу-ка Серегу...

Набрав номер, журналист проговорил:

— Алле, «скорая»? Мне главврача Николина... Это ты, Сережа? Что-то не узнал голоса. Смирнов, из редакции. Да нет, уже не Сокольский, хватит... Ну чего ты скалишься, у меня серьезное дело. Я тут «француженку» свою решил проверить... Нет, Сережа, не уговаривай, с меня хватит. Я тоже человек. Пан или пропал. Иду в гараж, там что-то есть. У тебя «скорая» под рукой? Тогда через десять минут подскочи. Ну все, прощай! — И Роман Александрович повесил трубку.

Вот так просто распорядился журналист Смирнов своей судьбой. Поставил, по сути дела, на кон свою жизнь и... выиграл!

Уже через несколько минут в редакции стало известно всем, вплоть до уборщицы тети Нины, что Смирнов «стебанул» «француженку» не только бутылочкой пивка, но и стопочкой водочки, и та никак на столь дерзкий вызов не отреагировала. Главврач «скорой» Николин, находящийся уже во дворе редакции, оглушил журналиста предположением, что в дурдоме его просто-напросто взяли на испуг, зашив в ягодицу не «эспераль», а обыкновенную таблетку глюкозы. Стоит ли говорить, что Роман Александрович был потрясен.

Да и вся редакция, высыпавшая во двор, как-то возбужденно-радостно взволновалась за своего товарища и на какое-то время морально сплотилась, единодушно решив, что да, нельзя быть в обществе изгоем. Хотя бы иногда, хотя бы изредка — но надо! Чтобы и у газетчиков было все — как у живых людей. Роман Александрович тут же со слезами на глазах воскликнул:

— Коллеги! Ребята! Родные мои! Айда все на природу! Все вместе по-человечески, по-братски! У Толи-шофера еще осталось, а Сережа на «скорой» до реки подкинет. А, ребята?!

Ко всеобщему изумлению, первым на этот призыв откликнулся редактор Лев Юрьевич. Тряхнув бородой, он шагнул к машине «скорой» со словами:

— Так сказать, за мной! Послушаем совет Руссо: «Назад к природе!»

ГЛАВА 14

«Иностранным туристам рекомендуется приезжать в Ленинград со своей питьевой водой».

(Из газет)

«В Кремле побывать — ума понабраться».
(Советская пословица)

«Без беды друга не узнаешь».
(Русская пословица)

* * *

С утра сидела Алевтина на скамейке в сквере напротив главного входа в Смольный и не находила в себе решимости войти в здание. Ознобное волнение от предстоящей встречи с Вениамином Тимофеевичем ускоряло, подгоняло время. Мелькал час за часом, Алевтина не поднималась со скамейки. Никогда прежде не доводилось ей не только бывать в Смольном, но и видеть его. Только на картинах, в кинофильмах да на почтовых открытках, хотя в Ленинграде она бывала не раз и даже раскатывала однажды с Настей по городу на автобусной экскурсии. А может, и подъезжали они тогда к Смольному, что-то знакомое есть вокруг. Этот бело-желтый дворец с красным флагом на куполе, темный памятник Ленину в сером слякотном дне за высокой железной оградой, скуксившийся фотограф с фотоаппаратом на груди и поднятым воротником модной кооперативной «варенки», поджидающий экскурсантов. Вот только милиционеры, парами стоящие у ограды и на углах сквера, напоминали Алевтине родной ее «Дом советов». Кто-то из бригадных, помнится, рассказывал, что в этом самом сквере перед памятником Ленину повесился человек. Допекла, видно, жизнь, а может быть, и чокнутый... Алевтина невольно разглядывала низкорослые деревья, выискивая, на каком нашел несчастный подходящий для себя сук.

Во всем многомиллионном городе у Алевтины был лишь один близкий человек. Она могла бы позвонить ему по телефону, но ей хотелось встретиться с ним и поговорить. Она понимала, что эта их встреча будет последней, независимо от того, выполнит он ее просьбу или нет. Он сидит сейчас в трехстах метрах в этом скромно-величественном здании, известном во всем мире, и, возможно, видит на скамейке Алевтину. Человек этот целовал ее глаза и тело, щипал губами мочку ее уха и шептал, что она красивая, не похожая на всех остальных, иногда он даже шептал, что она единственная для него и самые лучшие его минуты — когда она рядом с ним...

Алевтина вспоминала, и губы ее невольно кривились в горькой усмешке. Слишком слаб духом добрый Вениамин Тимофеевич, чтобы круто изменить личную жизнь. Да и зачем ему? Чтобы поменять свою жену-музыкантшу на жену-маляра, фигуру которой сохранила ежедневная физическая работа? Но женщины стареют быстро, а их души мужчин не интересуют. Мало ли в чем признается своей любовнице разгоревшийся в кровати мужик. В сорок лет жизнь не кажется ему бесконечной, и горячие угольки быстро покрываются пеплом. О чем он сейчас думает? О работе? О семье или о камне в почке, который в любую минуту может причинить ему адскую боль? Или раздумывает о своей карьере, ищет ходы, как подняться еще на одну ступеньку? Тогда он будет сидеть в кабинете не с одним окном, а с двумя или даже с тремя. На столе у него появятся два-три лишних телефона, и по ним он будет решать, что и где строить, куда и сколько отправлять, и кому в первую очередь. Но у него останется плохой сон, больной желудок, и вместо жареного шашлыка он вынужден будет глотать в смольнинской столовой протертый овощной суп. Только когда его напугает камень в почке, он вспомнит ее — Алевтину. И помечтает:

хорошо бы сейчас забыть обо всем и пролететь с ней на моторке, ублажиться пивком, а потом пропотеть в парной деревенской бане. И избавиться от хвори. Тогда не надо ехать в Трускавец, хлебать там целый месяц минеральную воду. После баньки встретить рассвет у костра — голова у нее на коленях, над ними дым, искры на ветру и ее песня...

Алевтина сидела перед зданием обкома, и такое вот мельтешило в ее возбужденном мозгу. Никак не могла представить, как отнесется Вениамин Тимофеевич к ее приезду? Как встретит, что скажет? Неужели откажет в просьбе, не поможет? Ведь даже чужие, незнакомые люди, бывает, поддерживают друг друга. Вступаются иногда во вред себе. Ему и делов-то: снять трубку и позвонить редактору газеты или секретарю Кислову. Сразу бы изменилась ее судьба. Или посчитает ее воровкой, перечеркнет пятью литрами краски их встречи. Может, не стоит идти, пускай останется хоть воспоминание. Зачем последнюю-то теплыньку в сердце терять? Если бы не дочка, никогда сюда не пришла.

Мысли о Насте придали Алевтине смелости. Она поднялась со скамьи, решительно направилась к главному входу. Смело прошла мимо двух розовощеких милиционеров, мимо памятника Ленину и даже в редкостную крутящуюся дверь вошла так, словно не привыкать ей было. В вестибюле Алевтине преградили дорогу молодой солдат и немолодой прапорщик («прапор» похаживал на стройку к ее напарнице Аннушке, и потому Алевтина хорошо различала по погонам это звание).

— Вы к кому? — спросил прапорщик.

— Мне к Пантюхову Вениамину Тимофеевичу,— пояснила Алевтина,— строительный отдел.

— Пройдите в бюро пропусков.— Прапорщик указал рукой на высокие боковые двери.— Вы заказывали пропуск?

— Нет, не заказывала.

— Тогда вам придется позвонить в отдел. Пройдите, пожалуйста.

В узкой проходной комнате возле настенных телефонных аппаратов стояли под прозрачными колпаками люди с трубками в руках. «Значит, все же придется беседовать по телефону»,— невесело подумала Алевтина и принялась рыться в сумочке, выискивая монету. Нужных не оказалось, и она обратилась к упитанной пожилой женщине с просьбой разменять пятак. Та любезно разъяснила, что телефоны здесь для внутреннего пользования, бесплатные. Звонить по автомату без монеты было для Алевтины столь непривычно, что она несколько раз пýтала цифры номера, пока набирала.

— Да,— раздалось в трубке, и Алевтина обмерла — голос она узнала тотчас.

— Мне Пантюхова Вениамина Тимофеевича,— проговорила Алевтина, откашливаясь.

— Слушаю вас. Пантюхов,— отозвалось в трубке.

— Здравствуй! — проговорила Алевтина и тут же поправилась: — Здравствуйте! Это Захарова...

— Захарова? — переспросил голос.

— Да, Алевтина...

— Здравствуй! Вот неожиданность,— голос ожил,— а я только что вспоминал тебя.

«Все-таки вспоминал»,— удовлетворенно отметила Алевтина.

— Ты в Ленинграде? По делу или так?

— Тебя захотела увидеть.

— Откуда звони́шь?

— Отсюда, снизу. Из бюро пропусков.

Алевтина отчетливо уловила замешательство Вениамина Тимофеевича. Пауза затягивалась, и она не старалась ее прервать.

— У тебя что-то случилось? — спросил наконец он.— Серьезное?

— Для меня серьезное.

— Я могу тебе помочь?

— Наверное. Если захочешь.

— Можешь в двух словах...

— Нет,— перебила Алевтина,— хотелось бы не по телефону.

И вновь повисла пауза. Потом Вениамин Тимофеевич о чем-то спрашивал ее еще. Она отвечала. Но уже понимала, что встреча их не состоится. Что-то очень насторожило и даже испугало Вениамина Тимофеевича в ее неожиданном появлении в Смольном. На работе, наверное, напряженка с Перестройкой, а натура у него слишком впечатлительная.

— Ты выйдешь ко мне? — спросила Алевтина.

— Могла бы предупредить заранее,— укоризненно произнес голос,— через несколько минут у меня совещание. А потом я уезжаю.

— Надолго?

— На две недели. В Штаты.

— Куда? — машинально переспросила Алевтина.

— В Америку. Оттуда в Канаду. Вернусь после праздников.

Наступила очередная пауза, и Алевтина молча слушала едва различимое в трубке дыхание.

— Але, Алевтина? — проговорил он.

— Да.

— Значит, так. Сейчас к тебе спустится человек. Ты расскажи ему суть дела. Он сделает все, чтобы тебе помочь. Договорились?

— Договорились...

— А увидеться нам надо обязательно.

— Наверное, камни беспокоят?

— И кое-что другое.

— Ты сегодня будешь плохо спать, Веня,— тихо проговорила Алевтина, прикрывая трубку ладонью.— И еще несколько ночей у тебя не будет хорошего сна. Но ты не пугайся, это пройдет. Помнишь, я давала тебе сухой колючей травы — пустырник? Если он сохранился у тебя, заваривай на ночь и пей. Прощай! — и повесила трубку.

В вестибюль Алевтина вышла спокойной и уверенной в себе женщиной. Не обращая ни на кого внимания, с ходу попала в клетку двери, и та, легонько поддав Алевтине в спину дубовой доской, вытолкнула ее на улицу — в серый слякотный день. Смеркалось.

ГЛАВА 15

«Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили».

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Счастливые под советской звездой родятся».

(Советская пословица)

«Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая».

(Русская пословица)

* * *

— Бомж Иванович, вас так долго не было, я боялась, что уже не увижу.

— Ездил в Ленинград, девочка, по пути у меня возникли кое-какие трудности...

— Большие?

— Попасть в дурдом становится все сложнее. С трудом через санитара-взяточника (я рассказывал тебе о нем) мне удалось встретиться и поговорить с новым главврачом отделения Борисом Семеновичем. Он так и сказал мне: «У нас, милейший, тоже Перестройка». И далее выразился в том смысле, что, если я читаю газету с конца и вверх ногами, но понимаю смысл, в дурдоме мне делать нечего.

— Он отказал вам? — спросила Настенька.

— Мне удалось убедить Бориса Семеновича принять меня к зиме на отделение как ветерана. Но возникло новое препятствие.

— Какое?

— Санитар-взяточник заявил, что время приводит в соответствие цены на услуги, и потому теперь мне надо платить ему не десять рублей, а двадцать. Плюс пять рублей за встречу с главврачом. Итого — двадцать пять. Признаюсь, девочка, подобной суммы я давно не держал в руках.

— Какой мерзавец! — возмутилась Настенька.

— Я тоже сказал ему в глаза что-то такое. И объявил, что отказываюсь от оброка. В конце концов, я свободный член общества и имею право на сумасшедший дом.

— А он? — спросила Настенька.

— Он очень долго и пристально смотрел на меня. Потом тихо напомнил, что меня станут искать. Он подскажет, где я живу — на чердаке самого высокого дома. Проклятье, откуда он знает мою тайну! Я понимаю, что меня шантажируют, но мне стало страшно. Если я добьюсь своего и попаду в сумасшедший дом без взятки, санитар устроит мне чудовищную пытку. Ночью, когда он останется в палате с нами один, он скрутит мне полотенцем руки и уложит на пол. А сам будет сидеть на моей кровати и смотреть сверху вниз. Он знает, что это для меня невыносимо. Две-три ночи такой пытки — и я на грани безумства, я готов отказаться от своего Главного права. Если же я нахожу в себе силы и упорствую, он скручивает полотенце жгутом, мочит его холодной водой и со словами: «Руби дуракам головы!» — бьет полотенцем по шее. И всякий раз после удара мне кажется, что я уже мертв и голова моя отсечена.

— Какой ужас! — проговорила Настенька.

— Вот почему я даю ему взятку. Теперь мои мысли заняты одним: где взять двадцать пять рублей? У меня имеются сбережения на черный день — молочные бутылки, несколько майонезных банок и бутылок из-под вина. Этого слишком мало.

— Может быть, мне попросить у мамы? — спросила Настенька.

— Нет, девочка, это не выход. Деньги трудно достаются твоей маме, она знает им цену. Величайшая людская условность: познааать цену денег раньше, чем познаешь все другие ценности. Из-за этой условности я отвергаю любую работу ради денег. Помню, однажды на овощной базе за две недели я заработал тяжелым физическим трудом несколько десятков рублей. И когда один из товарищей попросил помочь ему, мне стало жаль тех денег, и я отказал. Потом мне стало стыдно. Я долго анализировал свой поступок и пришел к выводу, что работать ради денег нельзя, иначе меня обуяет скупость и лишусь одного из самых замечательных человеческих качеств — щедрости.

— Вы пробовали работать бесплатно? — спросила Настенька.

— Предлагал свои услуги, но от них отказывались. Однажды меня приняли санитаром в больницу с моим условием, что за труд станут лишь кормить. Я работал не менее месяца, и мною были довольны — и врачи, и больные. Я выносил за лежачими горшки, мыл урны и унитазы, протирал кровати и тумбочки, таскал грязное белье. Я тоже был доволен собой и получал от работы моральное удовлетаорение. Но через некоторое время меня позвали к кассе и попросили расписаться в ведомости. Когда же я отказался это сделать, надо мной стали смеяться, отношение ко мне изменилось к худшему двже со стороны тех, за кем я выносил горшки. И я должен был уйти из больницы.

— Значит, вы думаете, что мама не даст денег для вас?

— Уаы, девочка, именно так.

— Я объясню ей, и она поймет.

— Кому тяжело достаются деньги, тот никогда не поймет того, кто их не ценит и не стремится сберечь на черный день. Ты не знаешь, какой это страшный и безнадежный груз — работа ради денег. Вот почему нить, связывающая тебя сейчас с мамой, очень тонка и может порваться в любой момент от одного неловкого движения — твоего или маминого. Когда ты начнешь зарабатывать свой нелегкий хлеб, ты поймешь маму и многое простишь ей. Наша с тобой дружба пробудила во мне чувство, которое я потерял с того мгновения, когда мой сын дал мне пощечину. С тех пор вперые ао мне появилось беспокойство за чужое Главное право — за твое. Ты стоишь на земле так же неуаеренно, как стоял в таои годы я. У тебя цепкая память и незамутненный интерес к жизни, мне приятно беседовать с тобой. Ты единственная, кто внутренне не противится моему жизненному опыту и миропониманию. В прошлом я иногда встречал внимательных слушателей, но всегда ощущал внутреннее сопротивление с их стороны. В твоей душе его нет. Я испытываю удивительное чуаство творца, словно переливаю в тебя самого себя. И жизнь, уже переполнившая меня впечатлениями, от которых я вот-вот захлебнусь, позволяет вновь сделать свободный вздох.

— У вас была мама? — спросила вдруг Настенька и тут же поправилась: — Вы вспоминаете свою маму, Бомж Иванович?

— Вспоминаю. Когда борюсь с тщеслаавием.

— Тщеславие — что это?

— Высшая форма тщеславия — когда после смерти хочется того же, что и при жизни.

— Неужели того же?

— Представь себе, девочка, иногда.

— Вы говорили, что после смерти не будет ничего.

— Да. Но иногда я вдруг думаю, а что ежели после моей смерти у меня появятся последователи?.. Они станут приходить ко мне на могилу, станут вспоминать меня, организуют клуб имени Бомжа Ивановича. Они станут пользоваться на моей могиле своим Главным правом. Происходило же такое на могиле поэта Сергея Есенина. Ему удалось из бесчисленного сочетания слов вывести несколько условных стихотворных формул, и они потрясали людей. У его могилы был выставлен охранный пост против самоубийц. Я же вывожу формулы не из слов, а из мыслей. Улавливаешь, девочка, насколько это серьезнее и глубже? Иногда мне хочется, чтобы люди узнали обо мне и вспомнили как о зачинателе формульной мысли. Теперь ты понимаешь, какое это сильное чувство — тщеславие?

— Что больше всего мешает человеку? — спросила Настенька.

— Зависть. По одной из моих формул, первое условие очищения себя от скверны — освободиться от зависти. Мне это далось легко, еще в юные годы, видимо, имелись природные данные, как сейчас говорят, талант. Но я хорошо знаю, как это трудно другим. Редко кому удается выполнить даже это первое условие моей формулы, и они навсегда чернеют от скверны, как от морилки.

— Морилки?

— Самая низкосортная марка спиртного, до которой я никогда не опускался. Мой последний друг Бомж Андреевич, которого сварили в вытрезвителе — я рассказывал тебе о нем,— почернел в свое время от морилки, как негр. О чем я?..

— О зависти,— подсказала Настенька.

— Да. От зависти я избавился легко. Сложнее было со мстительностью, но я обуздал и ее. Трудно подавить злобу, а еще труднее — ненависть. Всех их я одолел, и только тщеславие не вырвать из себя полностью. Но и настойчиво борюсь с ним.

— Как боретесь? — поинтересовалась Настенька.

— Придется, видимо, пересмотреть свой взгляд на захоронение. Зачем мне могила?

— Не знаю,— призналась Настенька.

— Я многого добился: у меня нет фамилии, нет документов, нет привязки моей личности к определенному месту, так называемой прописки. Я завоевал себе право не работать. Эти права у меня могут и отобрать, но Главного своего права я постараюсь никому не отдать. И здесь я, кажется, допускаю ошибку. Постоянно представляю свою могилу, к которой приходят люди, именно это подогревает мое тщеславие. Могилы не должно быть! Этот пункт я выношу во главу своей формулы. У индусов есть прекрасный обычай — рано утром сжигать на кострах телесную оболочку на берегах Ганга и рассыпать пепел по ветру. Кое-что мы переняли у них — крематорий. Но чтобы попасть туда, мне необходимо расстаться со всеми правами, которых и добился. У моей мамы была прописка, и я проаодил ее в крематорий. Я ждал очереди больше недели, вернее, ждала мамина оболочка. Пришлось дать взятку должностному лицу, и тогда мне предоставили малый ритуальный зал. Я не мог попрощаться с мамой, так как по инструкции вскрывать гроб, ждавший очереди свыше трех дней, было нельзя. Тогда я прямо в зале под звуки траурной музыки опустил в карман молодого распорядителя десять рублей (так мне подсказали). Он тут же отодрал крышку, и я в последний раз взглянул иа маму. Позднее в крематории была разоблачена группа мародеров. Маме, прежде чем она попала в печь, еще выламывали зубы: на ее несчастье, один зуб у нее был золотой.

— Как страшно,— прошептала Настенька.

— Что делать, такова жизнь. Позднее, когда я пришел получать урну с прахом, у женщины, выдававшей урны, было плохое настроенив. Возможно, она поссорилась с мужем, или от нее ушел любовник, или она не достала в магазине того, чего хотела, только она швырнула мне из ниши урну так, что та опрокинулась. Вот когда, девочка, я впервые в жизни отчетливо понял: все люди на земле живут каждый сам по себе, в одиночку. Их ничто не связывает, разве что инстинкт размножения.

— Я это очень ощущаю,— подтвердила Настенька,— иногда у менн появляется чувство, будто я никому-никому не нужна. Даже мамв. Особенно, когда приезжает Венивмин Тимофеевич. Если бы на месте его были вы...

Бомж Иванович ничего не ответил, и Настенька продолжала:

— Я почти уверена, что вы и мама самые подходящие друг для друга люди. Было бы хорошо, если бы вы встретились раньше. Я часто об этом думаю...

— Увы, девочка, подобные мысли меня уже не посещают.

— Я хочу познакомить вас с мамой.

— Зачем?

— Просто так. Ведь вы же люди. А люди знакомятся. И помогают друг другу.

— Чем же я могу быть полезен твоей маме? А впрочем... Я мог бы дать ей совет. Это единственный совет, на который я могу решиться.

— Какой? — с интересом спросила Настенька.

— Никогда не давать тебе пощечины.

ГЛАВА 16

«...все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и, что имеет, прячет, и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам от себя отталкивает».

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«В труде рождаются герои».

(Советская пословица)

«Река не опоганится, коли пес полакал».

(Русская пословица)

* * *

Алевтина набрала номер редакции газеты, попросила:

— Позовите, пожалуйста, Смирнова. Журналиста Смирнова.

Она сама удивлялась своему спокойствию.

— Да,— прозвучало в трубке.

— Говорит Захарова Алевтина, маляр. Я слышала, вы про меня статью пишете?

— А... Здравствуйте! Ну, статья — это слишком громко. Скорее корреспонденция или даже заметка.

— Я в таких тонкостях не разбираюсь,— призналась Алевтина,— только так понимаю: чтобы о человеке интересно написать, его хорошо надо знать.
— Пожалуй,— в голосе журналиста Алевтина уловила настороженность.
— Вот и узнайте меня получше,— предложила она.— Есть желание?
— Одну минутку,— взволнованно отозвалось в трубке,— вы можете перезвонить по другому телефону?
— Могу.
— Три двойки, две четверки. Звоните!
Едва Алевтина набрала новый номер, как ее оглушил совсем другой голос — восторженный:
— Алечка, как я рад твоему звонку!
— Ты можешь «это» не писать? — без обиняков спросила Алевтина, переходя на «ты».
— Алечка, лапушка, своя рука владыка. Только прикажи — и я сломаю перо о свою грудь! Что ты предлагаешь? И когда?
— Когда тебе удобнее?
— Практически в любое время дня и ночи.
— Тогда давай в субботу на твоей лодке в мою деревню. Лучше с утра. Пораньше.
— Алечка, деревня — моя мечта! Жду у моста в девять часов. Только извини, с заначкой у меня нынче худо, ничего серьезного взять не могу. Разве бутылочку сухонького.
— То моя забота,— успокоила Алевтина.— Будь здоров!
Повесив трубку, она подумала: «Как все просто, а сколько вокруг наворочено... И „моральные ценности“, и „коммунизм“, и „пропасть“, и „перестройка“. Господи, когда перестанем болтать?»

ГЛАВА 17

«В „накопитель бомжей“ пришла пожилая ленинградка и заявила, что хочет взять „бомжа“ в мужья, чтобы заботиться о нем и дать ему дом».
(Ленинградское телевидение)

«Лодыря не держи в секрете, тяни его а газету».
(Советская пословица)

«Живешь не оглянешься, помрешь не спохватишься».
(Русская пословица)

* * *

— Мама, ты можешь дать мне двадцать пять рублей? — спросила Настенька.
— Двадцать пять рублей?! — Алевтина удивленно посмотрела на дочь.— Зачем тебе столько денег?
— Они мне очень нужны.
— А луна тебе не нужна? — подобным шутливым вопросом Алевтина частенько отделывалась от магазинных просьб дочери.— Может быть, кусочек луны?
— Мама, я не шучу. Мне обязательно нужны деньги.
— Ладно, хватит болтать.— Алевтина нахмурилась.— Если очень надо, скажи — зачем?
— Ты не откажешь?
— Там видно будет.
— Мне надо помочь одному человеку.
— Какому человеку? — Алевтина насторожилась.
— Этого я не могу сказать.
— Ты не можешь рассказать матери того, о чем говоришь с чужим? — Алевтина уже встревоженно посмотрела на дочь.— Настенька?
— Я не могу тебе сказать всего...
— Ну хорошо, о чем можешь. Зачем ему деньги?
— Ему надо дать взятку одному нехорошему человеку.
— Взятку?! Кому взятку? От кого взятку? Чего ты мелешь, Настя! — Алевтина подошла к дочери, присела перед ней и крепко сжала ее острые плечи.— Рассказывай!
— Не могу.— Настенька твердо посмотрела в глаза матери.— Я обещала. Ты не хочешь, чтобы я нарушила слово?
— Нарушать слово нехорошо, но и давать взятку не лучше. Взятка — то же воровство, ты понимаешь?
— Понимаю. Мне нужны двадцать пять рублей,— упрямо повторила Настенька.— Мне они очень нужны, мама.

— Хорошо.— Алевтина погладила голову дочери, расправила на лбу челку.— Скажи тогда: зачем твой хороший человек хочет дать взятку нехорошему человеку?
— Чтобы попасть в сумасшедший дом.
— Что?! — Алевтина опешила.— Куда? Он что, сумасшедший?
— Если бы он был сумасшедший, его взяли бы туда без взятки.
— Тогда зачем ему в сумасшедший дом?
— Ему негде жить зимой.
— Негде жить зимой... А летом где он живет? Где он работает? Кто он такой, черт возьми! Настя! — Алевтина с силой тряхнула дочь за плечи.— Отвечай, тебя мать спрашивает!
— Он не может работать, мама. Он старый и слабый. Раньше он немного был пьяницей, а теперь...
— А-а,— протянула Алевтина с некоторым облегчением, отпуская плечи дочери,— вот оно что! Значит, к тебе привязался один из этой бездомной рвани...
— Я к нему привязалась.— Глаза Настеньки налились слезами.— Помнишь, нам с тобой тоже негде было жить? Помнишь, как тебя бил ночью ногами дядя Женя, а потом мы убежали и ночевали в подвале? Там было много крыс, и ты плакала. Помнишь, мама, как нам было страшно?
— Но я никогда не хотела в сумасшедший дом! — закричала Алевтина, распаляясь.— Я вкалывала на стройке день и ночь, и не моя вина, что вокруг столько скотов, от которых никуда не деться. Зато теперь мы с тобой живем в отдельной квартире, и пускай попробуют они сюда сунуться! Ты одета, обута, накормлена. Мы не побираемся, не клянчим двадцать пять рублей на взятку.
— Он не просил у меня, мама, я сама...
— Сама. А знаешь ты, как достаются деньги? Как они мне достаются?
— Он говорил, что ты не дашь,— Настенька опустила голову,— он так и сказал: они тебе трудно достаются, и ты не дашь.
— Скажи, какой догадливый! — Алевтина пришла в ярость.— С какой стати я обязана давать каждому бродяге такие деньги. Да если бы у меня был миллион, и то бы не дала, пускай работает.
— И это он говорил.
— Мне чихать, что он говорил! — взвыла Алевтина.— Я еще разберусь, что за тип к тебе привязался, выведу его на чистую воду. Он у меня не в сумасшедшем доме груши околачивать будет, а на «химии» вкалывать. Уж я его найду!
— Ты не посмеешь,— Настенька подошла к матери,— иначе...
— Что иначе?! — закричала Алевтина.— Что иначе?!
— ...я тебе никогда не прощу.
— Не простишь? Своей матери? За то, что я не дала деньги какому-то бродяге, которые заработала собственным горбом?
— Он не какой-то, мама. Он мой друг.
— Бездомный забулдыга — твой друг? И он дороже тебе родной матери?
— Зачем ты так говоришь? И ты сама пьешь иногда вино. Ты самый родной мой человек, а он просто близкий. Ведь может у меня быть такой человек? Тебе, наверное, это трудно понять, но самая большая моя мечта...
— Твоя большая мечта...— повторила Алевтина.
— ...чтобы мой близкий человек стал и твоим другом.
— Ты хочешь сказать, что твой бродяга может стать моим другом?
— Хочу, очень хочу. Если бы Бомж Иванович...
— Как ты сказала? — перебила Алевтина.— Бомж Иванович?
— Я познакомлю вас.
— С Бомжем Ивановичем? Который просил у тебя двадцать пять рублей?
— Он не просил, я сама.
— Господи, бомж! — воскликнула Алевтина.— Бомж! Бомж Иванович! Ха-ха-ха! Настя! Ой, уморила! Бомж Иванович! Маменька моя родная — бомж, да еще Иванович!
Насмеявшись, Алевтина обняла дочь. Проговорила:
— Глупая моя девочка. Знаешь ли ты, что такое бомж? Без определенного места жительства — вот что такое твой бомж. Их так в милиции окрестили. Он обманывал тебя.
— Нет, мама, не обманывал. Он назвался Бомжем, как есть. А отчество его и вправду Иванович. Он обязательно понравится тебе. Он столько много знает, он много разного пережил.
— С таким, конечно, интересно познакомиться.— Алевтина, успокоившись, улыбнулась.— Может быть, стоит даже прописать его у нас. А когда обменяем квартиру на двухкомнатную, одну комнату отдать ему.
— Мама, ты это серьезно или шутишь? — Настенька испытующе посмотрела на мать.— Когда вы познакомитесь, ты поймешь, какой это удивительный человек. Может быть, вы даже поженитесь.
— Что?!

— А почему бы нет? Правда, Бомж Иванович говорил, что ему не нужны женщины, он ито... ипо... Забыла слово?
— Импотент,— подсказала Алевтина.
— Да, да, им-по-тент. Он не может иметь детей. Ты тоже говорила, что больше не хочешь детей, и я подумала: почему бы тебе не жить с ним, если он хороший человек? Представляешь, мама, у нас — двух родных людей — будет один общий близкий!
— Представляю.
— Только надо менять квартиру на самый последний этаж и в самом высоком доме.
— Это еще почему?
— Бомж Иванович не может заснуть, когда выше его живут люди.
— Я смотрю, твой Бомж Иванович интересный тип... Где он живет?
— У нас...— Настенька осеклась и растерянно уставилась на мать.— Мама, я дала слово, что никому не скажу.
— Ну, если обещала... Надо как можно скорее с ним познакомиться. Он здесь недалеко?
— Недалеко, мамочка, совсем рядом.
— Ну, хорошо.— Алевтина вдруг жестко усмехнулась.— Скажи мне, Настя: если Бомж Иванович будет жить у нас, кто его станет кормить? Наверняка он не любит работать. Ведь негоже бабе работать на стройке, а мужику сидеть у нее на шее? Если он тебя так любит, может, и кормить нас будет? Ты спроси у него. Если он согласится, пускай приходит, познакомимся.
— Он не согласится.
— Тогда кто его будет кормить? Я? Ты?
— Если бы я могла... Он кушает мало, совсем как воробей. Ты же кормишь меня и синичек, которые прилетают к нам на окно, накорми и Бомжа Ивановича. Иначе у нас с тобой никогда не будет близкого человека.

ГЛАВА 18

«Мария Федоровна Масленко, немолодая (приближается к 80 годам) глава многодетной семьи. Ее супруг Масленко Антон Митрофанович, пенсионер. Их дочери — Мацибора Нина Антоновна и Иванютина Тамара Антоновна. Все четверо, то в сговоре, то поодиночке, травили людей: в напитки, всяческие угощения подмешивали высокотоксичный раствор.
На совести Иванютиной 8 жизней, среди них детские...»

(Газета «Труд»)

«Красна песня складом, а Советский Союз — ладом».

(Советская пословица)

«То не беда, что во двор вошла, а то беда, что со двора нейдет».

(Русская пословица)

* * *

— Что, женщины-бабы, прав я оказался насчет Алевтины Захаровой или не прав? — спросил Пузырь маляров.
— Прав-то прав, Анатолий Николаевич...
— Вот такая у нас российская честность,— продолжал Пузырь,— покуда петушок не клюнул. А клюнул жареный, куда она девается, честность-то. И нужда вся у Алевтины была квартиру отделать, на большую поменять. А ну как всерьез нужда? Тогда, женщины-бабы, кто из вас чем похвастается?
— Мы, Анатолий Николаевич, не хвастаем,— возразила Мария Филипповна,— мы — какие есть. А с Захаровой эдак-то зря. Сами могли бы...
— Сами! — фыркнул Пузырь.— Плевать она хотела на ваше «сами». Она, вон, перед ОБХСС, перед редакцией гордость разыгрывала. У самой душа в пятках, а «попрошу не тыкать!», «что сделала — за то отвечу!»,— передразнил Пузырь.— Гонору в ней много. А гонор сбивать надо всем коллективом.
— Правильно Анатолий Николаевич говорит, чего там! — поддержала прораба самая молодая из бригады — Аннушка.— Алевтина в своем глазу бревна не видит. Сами знаете, у нас с Анатолием Николаевичем ничего такого и не было, зачем же говорить? Выпили тогда лишнее, вот и спали на полу.

— Посмотрим, с кем теперь Алевтина Захарова спать будет,— Пузырь повысил голос,— под кем она будет грехи свои замаливать. Под редакцию лечь она уже согласилась...
Бригадные притихли, смотрели на прораба ожидающе, лишь одна Мария Филипповна возразила:
— Ты, Анатолий Николаевич, на Альку в таких делах особо не греши.
— Вы ее знаете! — Пузырь вновь фыркнул.— Я вам уже доказал, как вы ее знаете. В субботу она с редакцией на выгул поедет. Желающих убедиться прошу поутру, часикам эдак к восьми подойти к мосту. Честнейшая наша Захарова с Рыжим из редакции на моторке к ее деревне пойдут. С тем самым, который ее с обэхээсэсом задержал. А теперь вот, чтобы в газете про то не писали, сговорила в баньке вместе попариться. Он нашей Алевтине спинку мочалкой потрет, а потом веничком ее по крутой попке. И в пруд купаться побегут.
— А ты, Анатолий Николаевич, откуда знаешь про баньку? — в упор спросила прораба Мария Филипповна.
— Мне сам Рыжий рассказал, мы с ним в одном доме живем. Приходила, говорит, ко мне в редакцию одна ваша со стройки — Захарова. Просила, чтобы не писали про нее в газете. Намекнула, что может и переспать.
— Господи, Алька...
— Я Рыжему говорю: давай, если есть желание, дело полюбовное.
— Анатолий Николаевич, а может, ты с Алькой все организовал? — со скрытой угрозой проговорила Мария Филипповна.— Мы эдак-то не любим...
— Да уж не знаю, дражайшая Мария Филипповна, как вы любите: с банькой или без,— Пузырь шаркнул стоптанным сапогом и отвесил малярше полупоклон,— а подруга ваша по бригаде предпочитает с веничком. Если вы намекаете, что это я предложил нашей целомудрой Алевтине схлестнуться с Рыжей редакцией, то, допустим, я. С ее стороны отказа не последовало. Есть еще вопросы?
— Поговорить бы надо с Алевтиной,— раздумчиво произнесла Мария Филипповна,— что-то здесь неладно.
— Поговори,— поддержал Пузырь,— только глаза побереги, а то выцарапает. Или растворителем в морду плеснет. Она ведь у нас гордая.
— Анатолий Николаевич верно говорит,— поддержала прораба Аннушка.— Алевтина на других указывает, а сама из себя строит. У нас с Анатолием Николаевичем и не было ничего такого, зачем же говорить?
— Удивляюсь я на вас, женщины-бабы,— Пузырь сокрушенно покачал головой,— смотрю и удивляюсь. Вы что, не понимаете, а какое время мы живем? Перестройка! Можно сказать — НЭП! Частник со всех сторон кооперативами прет, во все щели лезет. На Золотых песках пузо чешут, столетние коньяки жрут. Я недавно в Ленинграде был, в кооперативном кафе пообедал. Солянка рыбная — два пятьдесят, мясо тушеное в горшочке — семь рублей, салат фирменный — рупь пятьдесят! На червонец наел без пива и без граммульки. На червонец! Скоро на стройках, женщины-бабы, только мы с вами и останемся. С одной нашей зарплаты по кооперативам не забегаешь. Вот почему Перестройка для нас — единство! Чтобы плечо к плечу и дружно, как никогда! Захарова мне в морду кисть бросает; лишним рублем вам наряды закрыл. Государственный рубль для подруг-трудяг пожалела, а частник червонец за обед рвет. Это справедливо? Вот почему я говорю: нечего нам Алевтину Захарову жалеть. Изгнать ее надо из коллектива, чтобы не мутила воду. Аввакумы нам сейчас не нужны!
— Кто это, Аввакумы? — спросила Аннушка.
— Был такой один на Руси,— пояснил Пузырь,— поп. Так он за свою веру и честность в яме сидел и не вылазил. А потом на костер пошел. Вот ты, Анна, пойдешь на костер? Сгореть за свою веру согласна?
— Во что веру-то, Анатолий Николаевич?
— Как — во что,— удивился Пузырь,— в коммунизм! Нас всех в одной этой вере с люльки воспитывали. Так сгорим за нее? Молчите. Вот и я говорю: перевелись нынче Аввакумы. Никто не желает сидеть в яме, все хотят в отдельной квартире. Ну, женщины-бабы, кончай перекур, а я пошел в контору.
Пузырь исчез, бригадир маляров Мария Филипповна первой поднялась с ящика. Потирая поясницу ладонью, проворчала:
— Ох и баламут Пузырь. Заплетет вечно мозги черной икрой и Золотыми песками, напустит страхов, полдня потом не отойти. И боязно чего-то становится. Жизнь-то и впрямь дорожает.
— Однако и верно, бабы, не повысили бы цены. Сахар-то вон, пропал. Стиральный порошок хватают, мыло, спички, соль.
— Бог с ними, подружки, со спичками. Переживем. За угольками друг к дружке ходить будем, только бы войны проклятущей не было.
— Атомная-то ноне без мучений — разом всех и прихлопнет. Чем впятером в одной комнате мучиться, лучше в могиле лежать. Матушке моей коммунизм обещали, а дали

комнату в старом фонде полным метражом. Теперь из нее и не выбраться. Вот к двухтысячному квартиры всем обещают. Поди-ка доживи.

— Ты с Алевтины пример бери,— хихикнула Аннушка.— Поиграй подолом перед кем надо, глядишь, и отвалится тебе квартира.

— Мой никому уже не нужен. Разве только Женьке моему. Сколько лет со стариками моими в одной комнате мается, удивляюсь на мужика. Говорила уже ему: брось меня, уходи, еще устроишь свою жизнь-то по-человечески. Не уходит. Эй, бабы, Алевтина идет!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны...»
(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

ГЛАВА 1

«Стяжи мир в душе своей, и вокруг тебя спасутся тысячи».
(Преподобный старец Серафим Саровский)

«Единолично жить — только слезы лить».
(Советская пословица)

«Человека на два горя не хватает».
(Русская пословица)

* * *

«Казанка», вздымаемая из воды мощным «Вихрем», летела по утренней реке. Журналист Смирнов, обнаженный до пояса, загорелый, с нерельефной уже, но еще играющей мускулатурой, сидел на руле. Алевтина полулежала на носу лодки. На ней был ее любимый открытый сарафан, на запястье левой руки красовалась единственная фамильная драгоценность — старинный серебряный браслет, подарок бабушки. Волосы Алевтины были стянуты на затылке в пучок и украшены «черепашьим» гребнем-заколкой, глаза подсинены, губы слегка тронуты дефицитной перламутровой помадой. Короче, Алевтина была при полном параде, и даже в позе, в какой она возлежала перед журналистом, просматривалось извечное женское стремление подать себя мужскому взгляду в наилучшем ракурсе. Роман Александрович, надо отдать ему должное, как многоопытный мужчина, знающий, что от него не уйдет, не пожирал Алевтину глазами и даже не смотрел на нее. Весь отдался азарту стремительной гонки по узкой извилистой реке. Умело обходил препятствия, утренних пловцов, не сбавляя скорости, входил в крутые виражи. От бортов лодки веером взлетали брызги, подсвеченные солнцем; над загорелой лысиной журналиста висела радуга, золотила и без того огненные останки его кудрей.

С каждым новым речным поворотом настроение Алевтины падало. Собираясь на эту прогулку, она и представить себе не могла, что будет так смурно на душе, так тошно. Насмотрелась, кажется, и натерпелась в бесквартирной своей молодости всякого. Редкую ночь не отбивалась от пьяных рож, которые ползли на нее из всех нор, рыгали, чмокали, жаждали обслюнявить. Сопротивлялась как могла. Воем поднимала ночные дома на ноги, хваталась за кухонные ножи и даже вилки, не пугаясь угроз, бегала в милицию жаловаться. Знакомая милиция встречала ее приветливо и с интересом, но для «дела» требовала медицинскую справку, подтверждающую побои, показания свидетелей, подробное письменное заявление и многое другое, чего душа Алевтины не принимала. Смотрели на нее со скрытой мужской заинтересованностью, порой намекали о милицейской охране, которую можно было бы временно и неофициально установить в ее коммуналке. Конечно же, при условии, что гражданка Захарова сама пожелает иметь таковую для защиты своей женской чести от несознательных граждан. Алевтина материла розовощекую милицию, многих из которой знала по работе на стройке. На нее не обижались и отвечали жизнелюбивым гоготом.

Всякое было в ее жизни, и вот теперь, кажется, чего бы возникать? На катере персональном мчится, музычка магнитофонная звучит, коньяк в сумке, известный всему городу журналист-воздыхатель на руле. И делов-то — провести весело денек на природе, постегать веником в теткиной бане рыжую задницу этого молодца. Отчего же тоска напала?

Алевтина вдруг застонала и потерла виски ладонями.

— Что, Алечка?! — заботливо прокричал журналист, уловив ее стон.— Головка бо-бо? Потерпи, лапушка, скоро поправим!

— Ружье бы сюда...— пробормотала Алевтина.

— Ружье? Это идея! В следующий раз обязательно прихватим. Читала весной мой очерк о браконьерах? Я с ними всю зиму лосей и кабанов в Серебрянском заказнике бил — входил в образ. Держись меня, лапушка, и будешь кушать изюм!

Алевтина приподнялась, запустила руку в носовой «бардачок» лодки и вытащила свою хозяйственную сумку со снедью. Разворошила бумагу, достала коньяк. Зубами сорвала пробку и выплюнула ее в искрящую воду. Запрокинула бутылку в рот и единым глотком опорожнила на треть.

— Молодец, лапушка! — азартно прокричал журналист Смирнов, креня лодку на повороте.— Живи, пока живется! Да здравствует свобода!

Алевтина сделала еще глоток и передала бутылку Роману, вновь откинулась на железный нос лодки. Стала смотреть в летящие облака и ждать опьянения. Но оно не шло, нос лодки подбрасывало, колотило о воду, на руле громко ржал журналист. Алевтина вдруг усмехнулась: как-то там Вениамин Тимофеевич?.. И вдруг поймала себя на мысли, что испытывает вроде бы даже вину перед ним. Это надо же... Алевтина прекрасно помнила, как, прощаясь, Вениамин Тимофеевич не сказал, когда думает приехать в следующий раз. И она сердцем почувствовала, что эта их встреча последняя. Она подошла тогда к нему вплотную, сжала ладонями одутловатые его щеки и поцеловала в глаза. Прошептала, успокаивая: «Не расстраивайся, Веня, всему приходит конец. Я рада, что встретила тебя. Правда, очень. Если ты вдруг надумаешь заглянуть, я всегда приму. Всегда!» Больше Алевтина тогда сказать ничего не могла и отвернулась. А Вениамин Тимофеевич, не оправдываясь и не обещая ничего, смотрел на нее грустно и слегка виновато, как ручной нашкодивший медвежонок. Потом поцеловал ее и молча, без единого слова ушел. Алевтина была благодарна ему, что ушел от нее в общем-то по-человечески, без обмана.

Алевтина успела несколько раз приложиться к бутылке, прежде чем показался песчаный берег Качинки. Изрядко захмелевшая, она повелительным жестом указала рулевому место, где пристать. Вывалилась из лодки на берег, хохоча, и развалилась на холодном еще песке, крикнув:

— Музычку! Высоцкого!

И вдруг подумала о том, что она, умеющая предчувствовать и предугадывать события более серьезные, еще не знает, как поступит сегодня — сделает то, ради чего приехала сюда, или не сделает. Похоже, что до самого последнего мгновения так и не решит этот вопрос. Ну и пускай, будь что будет...

Высоцкого у журналиста в записях не нашлось, и вместо Володиного, хрипловатого, из черной коробки заблеяло что-то козлиное, с пристуком, с поросячьим повизгиванием, с чмоканьем.

— Тьфу! — сказала Алевтина.— Выключи! Не могу слушать.

Пока журналист Смирнов суетился, расстилая перед Алевтиной кусок целлофана и выкладывая на него снедь из ее сумки, она, пригретая утренним солнцем, задремала.

Очнулась от далеких глухих звуков, которые то затихали, то наплывали на нее, и не сразу поняла, что слышит колокольный звон. Открыла глаза — на ее груди шевелились пальцы, покрытые густыми белесыми волосами.

— Ты чего? — спросила Алевтина.

— Позагораем, Алечка,— пробормотал журналист, продолжая расстегивать пуговицы ее сарафана,— позагораем...

— Убери руки,— не повышая голоса, приказала Алевтина и, приподнявшись на локте, прижала палец к губам: — Тссс...

По реке со стороны теткиной деревни плыл мелодичный колокольный перезвон.

— Дмитрич играет,— проговорила Алевтина, вслушиваясь.

— Выпьем, лапушка,— предложил Смирнов, протягивая ей стакан.

— Я девчонкой по осени с грибами заплутала,— Алевтина приняла стакан,— так старик всю ночь трезвонил, чтобы не завернула в Малевское болото. Теперь и болота нет — осушили. А землю мео... ме-лио-риро-вали,— по слогам выговорила Алевтина.— Что росло — с корнями вырвали, верхний слой плугом вниз, наверх песок выворотили. Говорят, теперь на этой земле сто лет ничего расти не будет.

— Лапушка, ты же мою статью пересказываешь! — Журналист Смирнов польщенно хохотнул.— Помнишь, там у меня — как мелиораторы план по укладке дренажа перевыполнили? Мы тогда с директором мелиоративной на рыбалку с подругами собрались, а он все стонет: план по укладке, план по укладке! Господи, говорю, вот у тебя яма, а вот бульдозер. Плюхни эти прицепы с дренажной трубкой в яму и закопай. Вот и будет тебе план! Ну, директор мигнул бульдозеристу, тот за полчаса один с планом управился. Я потом ту яму с народными контролерами раскопал, в областную статью дал — пальчики оближешь. Директор мелиоративной станции выговор партийный схлопотал, а со мной встретится, одно талдычит: сволочь! сволочь! Брось, говорю, Иваныч, у тебя план и у меня план. У меня принцип в работе такой: служба — дружба, табачок врозь! А если бы я тебе, гово-

рю, посоветовал жену с дренажной трубкой закопать, тоже бы уши развесил? Жепа у него стерва. Чуть клюнул мужик — в партком бежит жаловаться. Но я к ней подход знал...

— Удивляюсь асегда,— перебила Алевтина,— на одной земле живем, на одном языке говорим, а все разные. Будто из других миров нас надергали, а в одну кисть не связали. Всяк сам по себе — кто блуждает, кто блудит...

— Ты о ком? — Журналист насторожился.

— Про всех, Рома. И про себя, и про тебя, и про Дмитрича... У меня крестная еще жива, ей за девяносто. В церковном доме с Дмитричем квартирует. Муж ее священником Маякоаской церкаи был — отец Михаил. Пятьдесят три года на одном месте прослужил — каждый день с людьми, в любой просьбе без отказа. А знаешь, какую он пенсию получал? Сто шесть рублей — по два рубля за каждый год службы. Теперь вместо него шестой год отец Василий. Тридцать три года мужику, красавец парень. Не пьет, не курит, ночью к умирающему позовут — в любую грязь, в любой мороз за десятки верст потопает. Мебель сам себе из жердей сколотил и живет... Не женатый...

— Выпьем, Алечка!

— Все мы, Рома, кто добро творит и кто зло, в одной бочке, как сельди, тремся. Друг от друга вроде бы и не отличаемся. А на самом деле, если присмотреться...— Алевтина помолчала и, не чокаясь с журналистом, залпом опорожнила стакан.

Перебрала Алевтиял. Покачиваться начал берег, крениться из стороны в сторону, как жиблый плот на воде. Слепило солнце, парила земля, хотелось прилечь куда-нибудь в холодок.

— Идем в тенек, Алечка,— ворковал журналист, придерживая одной рукой Алевтину за грудь, другой высвобождая от сарафанного прикрытия крутые сахарные ягодицы,— идем в тенек...

В зто мгновение над серебристой гладью реки отчетливо прозвучал удар колокола и смолк. Алевтина, словно бы проснувшись, попыталась оторвать от груди лапу журналиста:

— Погоди, Рома, да погоди же ты!..

— Хорошая лапушка, добрая лапушка,— урчал журналист, закидывая ей подол сарафана яа голову и по-собачьи пристраиваясь сзади, и хватка его становилась асе жестче.

Алевтина поймала палец журналиста и, рванувшись, изо всей силы крутанула его. Роман, охнув, присел от боли. Вырвавшись из объятий, Алевтина с хохотом побежала к реке. Швырнула сумку в лодку, крикнула:

— Кончай приаал, Рома, поехали!

Журналист Смирнов, с лицом слегка обиженным, взобрался в лодку, предварительно прихватив магнитофон и надежно обмотав его своей рубахой. Опробуя мотор, предложил:

— Может, аеники свежие для баньки наломаем?

— Без баньки хорош! — пробормотала Алевтина, упираясь руками в нос «казаяки» и отталкивая лодку от берега.— Плывн домой, Рома! — И, распрямившись, уперлась кулаками в бока.

— Алечка, что такое?! — асполошился журналист.— Что ты... Куда ты? А как же?..

— Плыви, плыви,— Алевтина махнула рукой,— надоел!

— Лапушка, погоди! — вскричал журналист и, схватив весло, принялся знергично подгребать назад к берегу.

Но Алевтина уже шла прочь от реки и, прежде чем скрыться в зарослях, крикнула:

— Отвали, Рома! Не хочу! Все!

Каким-то чутьем угадав тропу, по которой бегала к реке в детстве, она рвалась скаозь заросли хмеля и ежевики аверх, к Качинке. Внизу матерился журналист Смирнов, посылая ей вслед проклятия и угрозы:

— Уж я тебя распишу, стерва! — ревел он.— Уж ты меня попомнишь, лапушка...

— А пошел ты...— только и хватало у Алевтины сил для отаета.

В мертвую Качинку Алевтина ввалилась вдрызг пьяная. Со словами: «Матушка! Бабушка!» — через бурьян, обжигаясь крапивой, добралась до останков своего дома. Ухватилась за хрупкий куст бузины и, не удержавшись, сорвалась в заросшую яму, больно ударилась головой о камень фундамента. Пытаясь подняться, наткнулась руками на что-то жестко-упругое. Не без труда разобрала — перед ней ржавая панцирная сетка от кровати, сквозь которую проросла трава. Алевтина попыталась вырвать сетку из зарослей — сил не хватило. Босыми ногами (босоножки свои потеряла где-то) растоптала она на кровати траву и улеглась на зеленой подстилке лицом вверх...

Проснулась Алевтина от страшного зуда, тело горело, словно ошпаренное кипятком. С трудом разомкнула аеки — на голубом вечернем небе висели тучи комаров. Молча выбралась из фундаментной ямы и, простоволосая, в пятнах черной запекшейся крови, с заплывшими от укусов глазами, побрела прямиком к теткиной деревне, держа направление на белую колокольню Дмитрича, безголосую.

Возле кладбища, неподалеку от церкви наткнулась Алевтина на Степу-гармониста, который дремал на пеньке в окружении белых коз.

— Дядя Степа! — обрадовалась Алевтина и рухнула старику на плечо.— Дядя Степа, родненький...

Степа-гармонист пе сразу признал Алевтину. А когда признал, восхитился:

— Хороша, девка, етит твою мать!

Предчувствуя удачу, он по-быстрому сбивал, покрикивая, коз в кучу, пояснял:

— Александроана твоя сегодня баню топила, етит ее мать! А у меня весь день нос часался. Не зря, видать, часался, етит его мать!

Через несколько минут Алевтина со Степой-гармонистом, со стадом а дюжину коз уже входили в Маякоао.

— Споем с «картинками», дядя Степа? — предложила Алевтина, все еще хмельная и раззадоренная осуждающими взглядами деревенских бабок, сидящих на скамейках возле калиток.

— Не идеть песня посуху, етит ее мать! — виновато отказался старик.

Однако возле дома Ленв-цыгана, когда из оконца выглянула голова тетки Галины, Степа-гармонист не удержался и сипло выдал свою любимую:

Погуляно, попито,
Похожено в кабак!
Попытаво у девок,
Попрошено у баб!

Алевтина сорвала придорожный лопух в, размахивая им над головой, как платочком, во все свое луженое горло отозвалась «с картинками»:

Я, бывало, всем давала
По четыре раза в день,
А теперь моя п.....нь
Получила билютень!

От теткиного дома тянуло банным дымом.

ГЛАВА 2

«В коммунизм церковь мы с собой не возьмем. И в восьмидесятом году я покажу вам по телевизору последнего соаетского попа».

(Из выступления Н. С. Хрущева)

«В июле 1988 года в честь тысячелетия Крещения Руси в Москве заложен первый за годы Советской власти храм».

(Из газет)

«Чем к попу ндти, лучше в клуб зайти».

(Советская пословица)

«Кому кистень, а кому четки».

(Русская пословица)

* * *

Ночью в доме тетки Галины приснился Алевтине сон, страшнее, пожалуй, и не придумаешь. Будто бредет она по топкому Малевскому болоту, а на плече у нее гроб с телом умершей матушки. Вязнут ноги в болоте, тонут, из сил выбилась, направление, куда идти, потеряла, и лишь одна мысль в голове: на сухо выбраться и гроб земле предать. Ночь наступила, луна выползла, болото все зыбче, все глубже ноги в трясину проваливаются, а впереди и по сторонам серебристые «окна», кувшинками затянутые. Остановилась она без сил уже и в отчаянии огляделась в который раз, прислушалась. И вдруг уловила позади себя далекий колокольный звон — частый, тревожный. Видно, Дмитрич с колокольни своей направление ей дает, подбадривает. Только собралась Алевтияа повернуть на колокольный звон, как открылось ее глазам видение. Впереди за болотными «окнами» высился красивый город, освещенный разноцветными огнями. Музыка гремела — рок, возле каждого дома на невысокой площадке-сцене извивались перед микрофонами обнаженные фигуры со странными инструментами в руках. Завывали, повизгиаали, стонали на разные голоса, а пониже их, на земле, мельтешили голые разноцветные люди. Поначалу Алевтина понять не могла, что за клубки из голых человеческих тел катаются с утроб-

ным поросячьим хрюканьем, а когда сообразила, едва гроб не уронила. Пузырь недавно про такое рассказывал — групповой секс называется. Из Индии, говорил, такое идет. В Ленинграде будто бы кооператив один облицовочную плитку для ванн с такими картинками выпускает — по десять рублей за штуку.

Стояла Алевтина по колено в болотной трясине и не ощущала под ногами никакой уже тверди. Куда идти и зачем — не знала. Ледeнея от ужаса, подняла глаза в небо — перед ней на суку существо сидит, похожее на черную комлатую козу, но без хвоста. Оскалило белые зубы, рассмеялось скрипуче и говорит: «Один у тебя выбор, Алевтина, чтобы спастись. Переворачивай гроб, вытряхивай мать из ящика, а сама плыви на нем, как на лодке. Все у тебя будет — и жизнь, и квартира, и деньги. И никакой смуты на душе, никаких забот». Сказало так, указало черной козлиной лапой на город и сгинуло.

Погружалась Алевтина медленно в трясину перед сияющим городом, но матушкин гроб не выпускала, седьмым чувством улавливая, что он — ее последняя опора и надежда, ее соломинка. Кричать уже не могла, хрипела. И когда болотная жижа хлынула в рот, почувствовала вдруг, как гроб упруго сопротивляется трясине. Собралась Алевтина с последними силами, вкарабкалась на матушкин «тулуп» и распласталась на его крышке. И, покачиваясь, как в колыбели, забылась глубоким спокойным сном.

Наутро Алевтина рассказала о ночных своих кошмарных видениях тетке — мастерице толковать сны.

— Мать выпихнуть из гроба подумывала, когда топула? — спросила тетка Галина и пристально посмотрела в глаза племяннице.

— И в мыслях не было,— твердо ответила Алевтина.

— Тогда нутро у тебя крепкое,— успокоила тетка,— но если мелькала мыслишка, к болезни сон.

— Нет, тетушка, не мелькала, зачем я тебе врать-то стану? А вот свечку Богу поставить, если спасусь, вроде бы обещала.

— Поставь, коли обещала,— отозвалась тетка, позевывая.

«В самом деле, почему бы не сходить в церковь? — подумала Алевтина.— Куда я только не торкалась — в газету, горисполком, обком... Что я — умнее других? Может, церковь поможет камень с души спихнуть? Иначе зачем туда умные-то люди ходят?»

— Теть Галь, ты вправду верующая или так, на всякий случай? Для вида?

— Для вида я давно уже ничего не делаю.

— Значит, вправду?

— Стараюсь...

— А как мне быть, если я неверующая? С чего начать?

— С гордыни всяк начинает. Пока гордыню из себя не изгонишь, к вере не приблизишься.

— Вроде я и не гордая...

— Знаем мы, какая ты,— проворчала тетка.— Тебе легче грех на душу взять — руки на себя наложить, чем в Божьем храме покаяться, на колени перед образами опуститься. С чего вы нынче в гордыню-то все ударились, чего вас всех от нее распирает...

Тетка Галя продолжала ворчать, но Алевтина уже не слушала ее. Вспомнила вдруг, как несколько лет назад она впервые увидела на Маяковском кладбище отца Василия, совсем еще молодого, присланного на Маяковский приход вместо умершего отца Михаила. Когда столкнулась она с ненахальными участливыми глазами молодого священника, смотрящими на нее с чистого светлобородого лица, разомлела... Алевтина усмехнулась своим воспоминаниям и даже головой тряхнула, как бы осуждая свою бабскую дурь. Хотя почему дурь? Отец Василий был живой человек, неженатый, шел ему тогда, по слухам, тридцать третий год, и, что главное, успела поймать Алевтина в его скромном взгляде мужской к себе интерес. Чего-чего, а интерес этот она читала в глазах мужиков безошибочно, будь они с крестом на шее или без креста. Она так увлеклась молодым священником, что уговорила тетку Галину намекнуть отцу Василию о своей к нему симпатии, разведать его настрой на семейную жизнь. Тетке не удалось ничего толком добиться от отца Василия, а у Алевтины семь пятниц на неделе. Вспыхнула, остыла, закрутилась в городском муравейнике и думать забыла о своем желании стать попадьей, нарожать Василию кучу ребятишек и отдаться тихой семейной жизни в прикладбищенском уголке.

— Как там отец Василий поживает? — спросила Алевтина, поднимаясь с кровати.— Не женился еще?

— Крестная твоя сказывала: отцу Василию жениться нельзя. Ему еще в семинарии надо было жениться, а сан принял — запрет.

— Выходит, любую хватай, иначе на всю жизнь холостяк? — удивилась Алевтина.

— Не успел в семинарии, не принимай сана, пока не женишься. Зарабатывай на хлеб, как все — своими руками.

— Значит, отец Василий по женской части теперь ни-ни? Или в пушку рыльце?

— Упаси Бог, сан блюдет. Народ им доволен. Живет скромно, к людям уважительный. И службу правит исправно. Поминальную записку отдашь, никого не забудет. За крестной твоей присматривает, ухаживает. И дрова ей носит, и воду, и покушать сготовит. Я и сама к ней хожу, да в иные разы лень затирает или болячки. Проведала бы крестную, еле теплится старуха. И матери могилу прибрала бы, ограду покрасить надо.

— Схожу,— виновато отозвалась Алевтина, расчесывая волосы,— сегодня же сбегаю. Может, и в церковь зайти? — неожиданно спросила Алевтина.— Отцу Василию исповедаться? Отпустит мои грехи...

— Покайся,— согласилась тетка,— только гордыню у порога оставь. Вам, молодым, ноне легче перед прощелыгой согнуться, который в казенном кресле сидит, чем перед Богом.

Давно Алевтина не была на могиле матушки. Так давно, что стыдобушка заполонила всю, когда увидела за облезлым штакетником бугорок, заросший травой. Пожухлый деревянный крест с ржавым железным венком на перекладине да развалившийся цветочный горшок украшали могилу.

— Мамушка, прости меня, окаянную,— проговорила Алевтина, утирая глаза и открывая сорванную с одной петли калитку,— в кого я такая уродилась, не знаю. Сейчас я у тебя приберу, мамушка...

Торопливо, сдирая с пальцев кожу, рвала она на могильном холме жесткую неподатливую осоку, невесть как забравшуюся сюда на высокий глинистый холм из болотной низины. Полонили глаза слезы, разрастался в горле ком, мешал дышать. И сердце колотилось в груди птицей, попавшей в сеть. Волнами наплывала слабость. Не понимая, что с ней происходит, Алевтина прилегла возле могилы, продолжая выщипывать траву. В какое-то мгновение ей вдруг показалось, что жуткий ночной сон ее продолжается — она лежит возле открытого гроба и рвет не траву, а чьи-то волосы. С нарастающим и уже земным страхом Алевтина поднялась на ноги и присела на гнилую скамейку. Огляделась по сторонам, потерла виски, пробормотала:

— Господи, что такое со мной творится...

Отсюда, сверху, ей хорошо была видна небольшая белая церковь с неровными линиями углов и вмятинами на стенах, словно слепленная из крутого теста, и рядом оштукатуренный дом под зеленой крышей — церковный, где проживали отец Василий, звонарь Дмитрич, пономарь Толя — в прошлом монах Печорского монастыря, выгнанный оттуда настоятелем за то, что, по словам самого Толи, слишком истово молился и постился, а не только работал. Доживала в церковном доме и крестная Алевтины — матушка Мария, жена покойного отца Михаила.

Вспомнив крестную, Алевтина с досадой покрутила головой — вновь забыла прихватить из города гостинец. Надо проведать старуху, но как появиться с пустыми руками? Стыдобушка!

«Вермишели пачку могла привезти или мапки,— вяло подумала Алевтина,— ну что я за человек...»

Невозможность встретиться с крестной была для Алевтины тем более огорчительной, что у нее созрело уже решение повидаться со священником в церковном доме. О чем она станет говорить с отцом Василием и зачем, Алевтина толком не знала. В одном была твердо уверена: лишь ему она сможет открыться до конца, поплакаться, излить, что накопилось на душе. Права, тысячу раз права тетка Галина — гордыня мешает ей жить, рвет губы, душит за горло при каждом повороте головы, словно удила, невесть кем навешанные на нее. Гордыня не позволяет ей сберечь и укрепить ниточку, которая еще соединяет ее с Настенькой. Сейчас она готова сбросить удила и преклонить голову перед посредником между людьми и Богом, в которого никогда не верила и о котором говорила с дочерью всегда со злостью, непонятной даже для себя. И вот, кажется, нет в сердце неприятия. Созрела.

Покачивалось все в глазах Алевтины, туманилось, слезилось. То ли со вчерашнего перепоя, то ли от смуты душевной накатывала дурнота, а с нею и страх. Стошнило Алевтину. Едва-едва увернула струю от мамушкиной могилы. Заплакать хотелось — не смогла, не шли слезы. Показалось, что на тропинке среди кустов мелькнуло что-то темное. Тотчас вспомнился давешний сон — существо на суку, похожее на черную комлатую козу, скалит на нее белые зубы. Поднялась Алевтина со скамейки, протерла глаза кулаками и вдруг, узнав, простонала:

— Отец Василий! Родненький! — И, не разбирая среди могил дороги, бросилась прямиком к светлобородой фигуре в черной рясе.

Она подбежала к священнику, словно спасаясь от кого-то, кто гнался за нею. Отец Василий замедлил шаги, затем и вовсе остановился, но Алевтину не узнавал — голубые умные глазки смотрели на нее из светлой бороды настороженно-вопрошающе.

— Алька я,— проговорила Алевтина,— племянница тетки Галины из Маяково — жены Лени-цыгана,— и по глазам священника поняла: признал-таки!

И вдруг (сама от себя такого не ожидала) метнулась она к отцу Василию, обхватила его руками за острые плечи и прижалась щекой к неширокой мужской груди. На какое-то мгновение прикрыла глаза, ощущая себя испуганной, беззащитной девчонкой на груди у мамушки, где даже запах был ее — смесь горелого свечного воска с ладаном. Показалось даже Алевтине, что теплая ладонь коснулась ее головы и, пробежав по волосам, опусти-

лась на мокрый ее лоб. Словно бы оторвалась Алевтина от земли и, забывшись, где она и что с ней, прошептала едва слышно:

— Ой, худо мне...

Отец Василий стоял перед Алевтиной с опущенными руками — столбом. Он улааливал отвратительный для себя запах винного перегара и с опаской поглядывал по сторонам — не приведи Господь, увидит кто такое из прихожан, пересудов не оберешься...

Когда же Алевтина оторвала голову от груди священника, отстранилась и глянула ему в лицо — словно ледяной водой плеснули на нее. Пустые глаза были у отца Василия, совсем пустые и мертвые. Это явилось столь неожиданным, что Алевтина растерялась и принялась прикрываться крылом «зеленого змия»:

— Извиняйте, отец Василий, перебрала я вчера, совсем одурела. Что с нами делает отрава-то, Господи! Хлебаем ее, а потом на людей бросаемся. Уж вы извиняйте меня, глупую...

Отец Василий что-то отвечал Алевтине и даже успокаивал — она плохо понимала его слова. Как во сне, спустилась следом за священником по широким ступеням из камня-плитняка вниз и, задержавшись немного, неуверенно вошла в церковь. Долго стояла возле дверей, наблюдая горящие свечи, тихо молящихся старух; не отводя глаз, смотрела в лики святых, печально рассматривающих ее со стен храма. Не сразу признала она в сгорбленной фигурке под черным платком свою крестную. Рядом с ней стоял белый как лунь старичок, и Алевтина догадалась — звонарь Дмитрич. Отец Василий в золоченом уже одеянии вышел из царских врат и затянул нараспев:

— Господу помолимся...

— Господи, помилуй!..— неожиданно звонко, но голосами тонкими и дрожащими подхватили крестная с Дмитричем. Алевтина поняла, что пара эта представляет собой церковный хор. В тот момент, когда голоса их готовы были вот-вот угаснуть, в них влился сильный мужской бас, от которого в церкви, казалось, вздрогнуло все и ожило. «Пономарь Толя поет,— решила Алевтина,— чудо-голос».

Чья-то тяжелая рука легла на плечо ее, и женский голос произнес:

— Возьми платок, прикрой лохмы-то!

Алевтина оглянулась и увидела незнакомое губастое лицо — молодое и глупое. Вылупленные водянистые глаза зло таращились на нее. Алевтина оттолкнула руку с черной тряпкой, проговорила громко:

— Отвали!

— Не гневи Господа, прикрой голову! — Лицо зашлепало губами.

— Отвали! — повторила Алевтина, да так громко, что все в церкви прекратили молиться, и повернулись к ней, и загудели осуждающе. Лишь отец Василий, словно не замечая ничего и не слыша, распевно и неразборчиво читал скороговоркой молитву, размахивал дымящим кадилом. Ропот старух становился все явственнее, Алевтина разбирала уже слова: «Кто такая?» — «Племянница жены Лени-цыгана из Маяково».— «Матушка Мария, так ить то крестница ваша, Алька!» — «Экая безбожница, все они такие ноне, городские».

Алевтина распрямилась. Вскинула голову, вызывающе оглядела всех. Хотела отпустить что-нибудь крепкое, соленое, но ради крестной сдержалась. Повернулась резко и, шибанув кулаком дверь, вышла на улицу.

Поднимаясь вверх по тропе, Алевтина до крови кусала губы, рыча от стыда и досады. Как могла она, вдоволь понюхавшая жизни в строительных общежитиях, поддаться на такой дешевый прием и поверить, что ее здесь ждали? Каким надо быть олухом, чтобы в который уже раз поддаться сладкой людской болтовне о христианской любви и распахнуться перед светлобородым молодцом с крестом на шее. Откуда любви проклюнуться-то в нем? Ни лопаты в руках отроду не держал, ни лома, спина солью не покрывалась ради куска хлеба. Эвон как устроился — ни жена ему не нужна, ни дети. Помахивает кадилом перед старухами, стишки над покойниками мурлычет, живет «на дурачка» в тиши и благодати. Пудрят таким, как она, головы — с одной стороны телевизор с бесстыжими голыми девками, которые, чтобы кирпичи на стройке не таскать, готовы своей задницей весь мир заполонить, с другой — эдакие тихие церковные певуны. Всего и надо было ей от отца Василия — чтобы несколько ободряющих слов сказал. Так ли много у нее грехов? Не врала, не обманывала, не завидовала особенно никому.

Алевтина распаляла себя все больше и больше. И лишь когда поравнялась с могилой матери, отхлынули разом все обиды, улеглись, словно пыль под дождем.

— Прости меня, мамушка, негодницу! — вслух произнесла Алевтина, проходя мимо заросшей травой ограды с покосившейся калиткой.— Приедем с Настей, краски привезем, наведем здесь у тебя порядок и красоту.

Дома Алевтина рассказала тетке Галине все, что было с ней на кладбище и в церкви.

— Ты говорила, теть Галь, оставь гордость! Ну, оставила, а что взамен получила? И в церкви то же, что и везде. Все одним миром мазаны.

— Тебе сразу и подавай...— усмехнулась тетка.— Ты к людям торкаешься, а я тебе про Бога толкую. На хлеб получить хочешь — работай, богатство нажить желаешь —

кистень в руки бери и на большую дорогу выходи, а ежели приобщиться... Тогда награды не жди — новые заботы на себя бери за все людские грехи и страдания. Здесь Вера.

— Нет уж, спасибочко! — вскинулась Алевтина.— Я за чужие грехи не ответчица, мне и своих забот хватает. Это отец Василий, что ли, на себя все людские грехи взвалил? С эдакой-то рожей? Не похоже, что пуп рвет.

— Не о том ведь разговор — о душе,— с укоризной возразила тетка.— Эх, гордыня, гордыня людская!

ГЛАВА 3

«Мать продала двухгодовалого ребенка незнакомому собутыльнику за десять рублей».
(Ленинградское телевидение)

«Народу служить — и на полюсе можно жить».
(Советская пословица)

«Если б молодость знала, если б старость могла».
(Русская пословица)

* * *

— Бомж Иванович, иногда мне кажется, что все вокруг, даже мама, обманывают меня и только вы один говорите правду.

— Наверное, девочка, так оно и есть. Когда-то в юности, когда Главное право являлось для меня лишь простым звуком, я тоже обманывал себя и своих близких. Конечно же, из благих побуждений. Я искал в себе, в людях и в государстве, в котором живу, только то, что будило бы во мне высокие чувства и мысли. Я постигал жизнь и начинал осознавать свое Главное право...

— Бомж Иванович,— перебила Настенька,— я вам скажу... Моя мать — воровка! О ней написали в газете.

Бомж Иванович помолчал, осмысливая услышанное, затем со скрытой усмешкой произнес:

— Это не самое худшее в жизни, девочка.

— Вчера в классе Боря Морозов сказал при всех: «Захарова, твоя мать воровка. Завтра про это напечатает наша газета». Я крикнула ему, что он мерзкий лгун и завтра он извинится перед всем классом за мою маму, иначе получит от меня пощечину при Екатерине Алексеевне. Он только засмеялся в ответ. Вечером я спросила про газету маму, и она... Бомж Иванович, как она ругалась! От нее пахло водкой, и она кричала, что станет теперь воровать каждый день, как все. И мне надо привыкать к тому, что я дочь воровки, а не ударницы коммунистического труда. Сегодня утром, когда мама ушла на работу, я купила газету. Вот она, почитайте.

Настенька протянула сложенный в гармошку газетный лист Бомжу Ивановичу. Старик развернул «гармошку», уткнулся бородой в газету.

— Вы не могли бы прочитать про маму не с конца, а с начала? — неожиданно попросила Настенька.— И не вверх ногами?

— Зачем? —отозвался Бомж Иванович, не отрываясь от газеты.— Ты же знаешь — я читаю так с детства. И скорее дохожу до сути. В чем обвиняют твою маму?

— Она украла со стройки краску. И олифу. И еще что-то.

— Суть дела мне ясна. Посмотрим, какой вывод делает из этого журналист? Читаю последнюю фразу: «Таким, как Алевтина Захарова, нет места в трудовых коллективах!» — Бомж Иванович внимательно посмотрел на Настеньку и спросил: — А где им место?

— Не знаю,— ответила Настенька.

— Я много слышал от тебя о твоей маме и уверен: она никогда не станет покушаться на Главное право других людей. Ей же нет места даже в трудовом коллективе, и автор вряд ли сам знает, какое место ей определить. По крайней мере, в сумасшедшем доме ей делать нечего. Хотя, надо признать, там большинство с «тихого» отделения рассуждают куда разумнее автора данной статьи. Все, девочка, читать дальше у меня нет желания, это писал неумный человек.

— Прочитайте еще немного,— попросила Настенька.

— Хорошо, еще одну фразу. Вот... «Перестройка должна сметать со своего пути все отжившее, что мешает динамичному развитию нашего общества в новых условиях».

Старик отбросил газету в сторону, впился глазами в девочку и резко спросил:

— Что считать отжившим и куда его сметать?
— Я не знаю,— пожала плечами Настенька.
— Отжившее по законам природы и так уйдет,— возбужденно продолжал Бомж Иванович,— его незачем сметать. Вот я, например. Я скоро уйду сам. Никто не смеет меня подгонять! Ты улавливаешь, девочка, призывы автора лишать человека его Главного права? Кого и что считать отжившим? Нет, в мое время все было проще. Действовала главная формула вождя: «Лес рубят — щепки летят». Теперь же вокруг сплошной туман и словоблудие. Отвратительная статья, девочка. Отвратительная!
— Вы сказали про лес и щепки, я не поняла.
— Это сказал не я. Я противник насилия,— хмуро отозвался Бомж Иванович,— у автора, видать, другой взгляд. Каждый человек отличается тем, что имеет собственное мнение. А эпохи различаются по тому — позволяют они гражданам высказывать вслух свое мнение, основанное на опыте жизни, или заставляют держать его при себе.
— Кто же прав?
— Чтобы разобраться в этом, необходимо прожить жизнь.
— Но я еще не успела прожить жизнь, Бомж Иванович!
— Знаю одно, девочка: был лес, и были щепки. У кого есть острый топор, тот легко может срубить самое крепкое и красивое дерево. Был дровосек, и были строители. Я — щепка. Из деревьев строили бараки, закладывали фундаменты, щепками топили бочки.
— Бочки?
— Так называли у нас в лагере печки. Сбоку бочки пробивались дырки для тяги. Бочки топились в бараке круглосуточно, дым уходил в крышу. Мы грелись возле них, возвращаясь с работы, и сушили одежду. Но не все щепки горели. Однажды бочки погасли, и в бараке стало очень холодно. Я хотел раздуть огонь, но бригада сказала: не работаем, лежим на нарах. Если слезешь, сожгем в бочке. И я лежал, как все, много дней в ледяном холоде.
— Почему вы не топили бочки? — удивилась Настенька.
— Бригада отказалась работать, у нас был очень скудный рацион.
— Рацион?
— Дневное питание. На десять человек выдавали одну буханку хлеба, и больше ничего. Но только на живых. Вода была в достатке. Чтобы запах разложения не выдавал умерших, мы и не топили бочки. Нас пересчитывали на нарах по ногам и на десять пар ног бросали буханку. И потому с каждым днем моя пайка увеличивалась. С тех пор, девочка, я не могу согреться. Я мерзну даже летом под этой раскаленной крышей. Если меня не возьмут в сумасшедший дом, я вряд ли одолею эту зиму.
— У нас есть старое теплое одеяло, Бомж Иванович, я принесу его вам,— пообещала Настенька.— Если начнутся морозы, вы можете днем, когда мама на работе, спать у нас.
— Вряд ли я засну в квартире этажом ниже,— высказал сомнение Бомж Иванович.
— Вы спите под потолком,— предложила Настенька,— у нас в коридоре высокая антресоль из сухих досок.
— Заманчивое предложение, девочка. В холодные ночи мечтаешь именно об этом. Возможно, и соглашусь.
— Я стану заботиться о вас,— заверила Настенька.— Очень важно о ком-то заботиться.
— Это важно для молодости,— возразил Бомж Иванович.

ГЛАВА 4

«Заключено перемирие между Ираном и Ираком. Число убитых в конфликте составило около миллиона человек».

(Из газет)

«Колхоз — сила наша, что дом — полная чаша».

(Советская пословица)

«Увидим, сказал слепой, услышим, поправил глухой, а покойник, на столе лежа, добавил: до всего доживем».

(Русская пословица)

* * *

Алевтина из телефона-автомата набрала номер редакции. Попросила:
— Мне Романа Александровича Смирнова.
— Я вас слушаю,— отозвался голос.

— С вами говорит Алевтина Захаровна,— официально представилась она журналисту,— маляр, герой вашей статьи «Не торговать рабочей совестью». Здравствуйте!
— Здравствуйте! — сдержанно отозвался Роман Александрович.
— Спасибо вам за статью. Вразумили.
— Пожалуйста.
— Я вот по какому вопросу. У меня есть для вас дело, как это... тема. Можно интересно написать.
— Слушаю.
— На чердаке нашего дома живет бомж.
— Кто живет?
— Бомж. Без определенного места жительства. Бомж.
— Так.
— У нас в стране Перестройка, а он живет... Годами нигде не работает. На что живет? Я пять литров краски себе отлила за пятнадцать лет на стройке, на весь город ославили. А тут бомж на чердаке, и никому дела нет. Разве это газете не интересно?
— Так. Чем, скажите,— журналист тоже держал официальный тон,— этот бомж вам мешает? Лично вам?
— Мне? — Алевтина несколько растерялась.— Лично мне он ничем не мешает.
— Извините, Алевтина Захаровна, но мне необходимо понять мотивы, которые заставили вас позвонить в редакцию. Тогда мне легче браться за материал. Что побудило вас позвонить нам?
— Побудило...— Алевтина усмехнулась.— А что побудило вас написать про меня? Я же не спрашиваю об этом. И не упрекаю. Бог с вами, зачем копаться... в мотивах. Позвонила, и все. Беретесь или не беретесь? Сколько у нас этих бомжей болтается. Целый колхоз из них можно набрать и заставить работать. Вот вам и резерв Перестройки. Небось ищете там у себя резервы-то?
— А вы политически грамотная женщина.— Роман Александрович перешел на игривый тон.— Может быть, обсудим этот вопрос при личной встрече,— журналист понизил голос,— в неофициальной обстановке?
С языка Алевтины готовы были сорваться слова, каких Роман Александрович, может быть, и не слышал. Но она сдержалась. Осадила себя, проговорила как можно спокойнее:
— Беретесь или нет?
— Что ж, стоит подумать. Но мне нужны точные сведения по вашему бомжу и кое-какие детали.
— Подумайте,— согласилась Алевтина,— через пару дней вам позвоню. Разузнаю про бомжа подробнее и позвоню. До свидания!
— До встречи, Алечка,— проворковал Роман Александрович.

ГЛАВА 5

«...нужна чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно».

(В. И. Ленин. Апрель 1921 г.)

«Чтобы не хоронить расстрелянных, в подвале была установлена мясорубка, в которой перемалывались трупы. Фарш в мешках ночью вывозился и сбрасывался в Неву».

(Из выступления внука революционера Петра Смородина в Ленинградском Доме писателя им. Маяковского)

«Победили на войне, победим и в поле».

(Советская пословица)

«Святая душа на костылях».

(Русская пословица)

* * *

— Уже поздно,— напомнил Бомж Иванович,— мама не хватится тебя?
— Мама спит пьяная,— отозвалась Настенька и, прижавшись к плечу старика, прошептала: — Я давно хотела спросить... о любви. Есть она или ее придумывают? О ней так много говорят, поют песни, пишут в книгах, а я никогда не видела ее у людей. Скажите мне, Бомж Иванович, скажите!
— Не могу ответить на твой вопрос, девочка. Мне незнакомо это чувство.

— Вы жили совсем без любви? — почти со страхом прошептала Настенька.— К чему же тогда столько страданий?
— Твои вопросы становятся с каждым днем все сложнее для меня, девочка. Наверное, ради надежды.
— На что надежды? — живо спросила Настенька.— На любовь?
— Может быть.
— Значит, она существует?
— Когда-то я рассчитывал на нее. Людям помогает жить надежда. Как твоей маме.
— Вы, кажется, правы,— поразилась Настенька,— маме помогает надежда — Вениамин Тимофеевич. Бедная мама... А сейчас у вас есть надежда?
— Нет,— резко ответил Бомж Иванович,— у меня осталось только Главное право.
— А желания?
— Наиболее постоянным желанием, которое навещало меня иногда, иметь в душе веру.
— Во что, в Бога? — спросила Настенька.
— Называй так.
— Но, говорят, Бога нет,— возразила Настенька.
— У других есть.
— Екатерина Алексеевна сказала нам: «Религия — опиум для народа». Так написал Ленин.
— Ленин всего-навсего человек. Как мы с тобой.
— Ленин — как мы? Как вы?
— Я часто думал: если у Ленина была вера в человека, когда он начинал свое дело (такая вера, какая была у меня в юности), нам было бы о чем поговорить с ним. Эта вера — наивна, но она свойственна людям и встречается чаще, чем мы думаем. С годами она блекнет или исчезает вовсе. А когда мысли начинают сосредоточиваться на Главном праве, все остальное уже мало значит. В этот момент может вспыхнуть только одно желание — иметь в душе Высшую веру, которая давала бы хоть какую-то надежду... Но мы с Лениным атеисты, хотя я все чаще думаю о том, что и Ленин ждал «опиума» в свои последние дни.
— Бомж Иванович,— Настенька понизила голос,— а что если Ленин никогда не верил людям?
— В таком случае не стоит и огород городить, и он — обычный нарушитель Главного права, каких много. Разница лишь в масштабе.
— Вы видели когда-нибудь, как нарушается Право? — шепотом спросила Настенька и поплотнее прижалась к боку старика.
— Не только видел, я работал... Работал рука об руку с исполнителем.
— С исполнителем? Кто это?
— Я, кажется, говорил тебе, что начинал как врач. Но, увы! В жизни большое всегда соседствует с малым и переплетается с ним фантастически. В то время я очень любил пиво с раками, и у нас во дворе был пивной ларек, даже два. Там было все — в розлив и с бутербродом. Красная и черная икра. Крабы в банках, как сейчас килька. Копченая колбаса. Гастрономические контрасты времен. Да... О чем я?
— Как вы работали с исполнителем.
— Да. Я познакомился с ним возле ларька. Его звали, как сейчас помню, Сергей Миронович — полный тезка Кирова, любимца моей мамы.
— У вашей мамы тоже был любовник?
— Любимец, девочка, любимец! Это не одно и то же. Ты никогда не слышала о Кирове? Его убили в Смольном в тридцать четвертом году.
— В Смольном, где работает Вениамин Тимофеевич?
— Там.
— Как странно,— прошептала Настенька,— как все перепутано.
— Да,— согласился Бомж Иванович.— И меня, помнится, такое всегда поражало. Сергей Миронович жил неподалеку от нас и тоже любил пиво с раками. Не знаю, откуда мальчишки добывали у нас на Васильевском острове раков, но часто они продавали их возле ларьков. Я был стеснен в средствах, а в ту пору заканчивал институт и подрабатывал по ночам в «скорой» фельдшером. Сергей Миронович угощал меня, и я задолжал ему изрядную сумму. Я до сих пор щепетилен в денежных отношениях, тогда же долг простонапросто угнетал меня. Оставалась одна надежда на скорый диплом, о котором мечтала мама. Перед самым выпуском Сергей Миронович намекнул мне о своей профессии и сообщил о вакансии врача у них в организации.
— Вакансии?
— Свободной должности. С окладом намного больше, чем у врача «скорой». Он заверил, что работа моя будет несложной и привыкнуть к ней так же легко, как к работе в анатомическом театре.
— В театре? Вы работали и в театре?
— В анатомическом, девочка. Где препарируют трупы.

— Ой!..
— Я не сразу согласился. С обещанной зарплаты я мог бы расплатиться с Сергеем Мироновичем. Мама тяжело болела и чувствовала себя все хуже. Мы жили с ней в полуподвале неподалеку от ларька, и любители пива постоянно справляли у нашего окна свою нужду. Мама пыталась отгонять их криком, но у нее был ревматизм, и она не могла без моей помощи выбраться на улицу. Целыми днями она кричала в окно на пьяных и задыхалась. Она надеялась выбраться в сухую солнечную комнату. Сергей Миронович такую комнату пообещал мне, и я решился. Не скрою, какой-то нездоровый интерес искушал меня. Тянуло заглянуть в область деятельности, которую мы предпочитаем не замечать.
— Меня тоже тянет,— призналась Настенька.
— Сергей Миронович был человеком обширных познаний в своем деле. Я многое постиг рядом с ним. Какое разнообразие всего, сколько выдумки, девочка! С чего начинал человек? С дубины, которой крушил всякого, кто пытался опередить его и завладеть лучшим куском мяса. Он сбрасывал соперника в пропасть, топил в воде, закапывал в землю, вешал на кишках умерших мамонтов, сжигал на кострах. Но вот появился железный меч, и — как упростилось дело! В Китае казни с отрубанием головы мечом принимают массовый характер, из голов складываются пирамиды. Но простота приемов быстро приедается. Толпа уже скучает, наблюдая сжигаемого на костре. И изобретают железного быка.
— Быка?
— В чрево его через люк помещают лишаемого Главного права и разводят под быком огонь. И чем громче кричит человек в чреве, тем страшнее мычит железный бык.
Во Франции появляется гильотина — передвижной театр для любителей зрелищ, на подмостки которого выходит и короли.
А вот в Японии, девочка, неверную жену сажали на горшок, в котором находилась крыса, и начинали нагревать горшок огнем. И крыса, спасаясь от жара, входила в несчастную.
— Господи,— прошептала Настенька,— Бомж Иванович, откуда вы все это знаете?
— Сергей Миронович давал мне читать книгу по истории смертной казни. Впечатлительное чтение! Область истории человечества, скрытая от многих глаз. Человеку заливают в рот расплавленный металл, с него сдирают кожу, его коптят на медленном огне, подвешивают за ребро, четвертуют, колесуют, распинают, разрывают лошадьми, сажают на кол. Моя память ослаблена, и я много упускаю из того, что знал. Это все способы цивилизованных стран, а сколько еще было нетрадиционного, национального, самобытного. В лесных странах жертву привязывали к дереву и оставляли на съедение диким зверям, в жарких — выставляли насекомым. В Индии ее растаптывали или разрывали слоны.
— А как у нас? — спросила Настенька.— У вас? — поправилась она.
— У нас было проще, девочка, и я бы сказал, гуманнее. С появлением огнестрельного оружия Главное право отнималось чрезвычайно быстро. Хотя по-прежнему появлялись новинки, вроде немецких газовых камер. Но круг замкнулся на электрическом стуле — венце человеческой мысли. Хотя, по отзывам Сергея Мироновича, электрический стул скверная, ненадежная штука. Сейчас, конечно, его усовершенствовали, но поначалу работать с ним было не легче, чем с виселицей. На стул давали ток такой силы, от которой тело человека начинало гореть, но сердце продолжало биться.
— Почему же — венец мысли?
— Для исполнителей, девочка, для исполнителей. Современная цивилизация делает все, чтобы облегчить их труд и снять психологическую нагрузку. В отличие от минувших времен, когда палача приходилось искать среди самых отъявленных и безжалостных разбойников, многие из которых предпочитали должности палача смерть, теперь многое изменилось. Недавно я слушал передачу (еще раз спасибо тебе за батарейки) про американский электрический стул. Надо отдать должное этой стране, она достигла почти первобытной девственности в своем изобретении. Наши пещерные предки в общем-то ничем не отличались от нас. Разве что головы их были забиты информацией меньше наших. Они отбирали Главное право сообща, забрасывая несчастного камнями. Никто не знал, чей камень окажется смертельным. Спустя миллионы лет подобное удалось и американцам. Они вынесли управление электрическим стулом в отдельную комнату, расположили на нем свыше десяти разноцветных кнопок. Каждый из исполнителей, не видя осужденного, нажимает только одну кнопку своего цвета. Если добавить к этому жареную индейку, которую в Америке предлагают осужденному накануне, то это — венец! Правда, уже говорят о новых способах, о каких-то лучах... Но мне думается, девочка, здесь человеческая мысль пошла на второй круг. Первый замкнулся на электрическом стуле.
— Я так боюсь машины, которой сверлят зубы. Электрический стул, наверное, похож на нее?
— Мы живем и умираем, девочка, так и не познав самих себя. Я многое видел и испытал, но даже я не могу сказать, как поведу себя в последний миг, хватит ли у меня сил... Ты, наверное, не знаешь, во все времена люди предпочитают казнить собратьев поздно ночью или на рассвете, до восхода солнца. Днем приговоренный порой находит в себе силы достойно расстаться со своим Главным правом, но ночью... Когда в камере неземная тиши-

на и тускло горит свет и вдруг раздаются шаги по коридору и лязг металла, все похожи на послушных боязливых детей. Они не сопротивляются и не могут громко кричать. Лишь верещат, как зайцы, попавшие в петлю. Ты когда-нибудь слышала, девочка, как верещат зайцы? Или скулит во сне человек, увидевший страшный сон?

— Мама иногда скулит во сне. И даже Вениамин Тимофеевич.

— И тогда, чтобы они не верещали, им заталкивают в рот мягкий резиновый шарик и набрасывают на голову мешок.

— Зачем мешок?

— Чтобы не видеть глаз... В такие мгновения, девочка, вся сила человека собирается в его глазах. Это его последний, не существующий уже шанс, его соломинка. Такой взгляд не всегда может вынести даже палач-садист. Современные исполнители-интеллигенты боятся его, как кролики взгляда удава. И потому набрасывают на голову мешок.

— Сергей Миронович тоже был интеллигентом?

— В этом деле, девочка, нет однообразия. Всегда много выдумки, рацпредложений. Не знаю, может быть, сейчас оно приведено в единую систему, у нас было по-простому, я бы сказал — по-домашнему. Смена наша начиналась за час до полуночи. Мы рассаживались в камере за столом вчетвером: начальник тюрьмы, прокурор, я — врач и еще один молодой человек, у ног которого стоял большой прожектор. Говорили, что это списанный сигнальный прожектор с крейсера «Аврора». Начальник тюрьмы нажимал кнопку на столе, и в дверь входил лишаемый.

— А где же был Сергей Миронович?

— Сергей Миронович стоял возле дверей за фанерной перегородкой, в которой было проделано небольшое оконце. Любимым его инструментом был солдатский револьвер. Я никогда не разбирался в марках оружия, но разницу между револьвером солдатским и офицерским уяснил. По внешнему виду они почти не различаются, но из солдатского нельзя стрелять автоматически. Необходимо перед каждым выстрелом взводить курок. Зато солдатский более надежен, как говорил Сергей Миронович. Хотя ему никогда не требовался второй выстрел, стрелял безупречно. Да...

— Говорите, Бомж Иванович, говорите,— поторопила Настенька.

— В главном вопросе наше общество гуманнее других. Оно оставляет человеку надежду до самой последней минуты. Трудно представить себе состояние увидевшего электрический стул. А ведь его еще надо усадить, пристегнуть, надеть шлем. У нас человек входил в камеру с надеждой. Мы поднимались из-за стола, и прокурор кратко зачитывал бумагу с отказом о помиловании. Успеть осмыслить эти слова невозможно — молодой человек за столом на мгновение включал прожектор. Вспышка была ослепительной, все в камере зажмуривали глаза. В этот момент звучал выстрел Сергея Мироновича. Когда кончались конвульсии, я осматривал труп, ставил свою подпись на акте, и на этом обычно наша смена заканчивалась. Лишенного Главного права уносили санитары, в камере включался душ — смывалась кровь с каменного пола и мозги с деревянного щита...

— Я больше не могу,— простонала Настенька,— меня тошнит.

— Я тоже не смог долго выносить такие нагрузки, девочка, хотя дел у меня как у врача было немного. Главная причина моего ухода с работы заключалась даже не в том, что я засомневался в государственном праве на убийство.

— Разве есть причина важнее? — спросила Настенька.

— Есть! Пивной ларек в нашем дворе открывался рано, и мы шли с Сергеем Мироновичем на Васильевский остров пешком, стараясь подгадать к его открытию. Мы брали по двести граммов водки с бутербродом, по две кружки пива — нашу утреннюю норму. Выпив, я начинал ощущать, что со мной творится что-то странное. Никогда не был я льстецом или подхалимом, но тут принимался заглядывать Сергею Мироновичу в глаза и восхищаться его умением работать без брака. Я чистил ему воблу, отливал из кружки пива и был счастлив, поймав на его лице благосклонную к себе усмешку. Я видел, как из окна полуподвала мама машет рукой — зовет меня домой. Я не мог расстаться с Сергеем Мироновичем и даже старался приблизиться к нему, дотронуться до его плеча. И почти физически ощущал, как в меня вливается какая-то дьявольская сила, превращая в иное существо. У пивного ларька терял я в себе человеческое, а не тогда, когда осматривал труп.

— А ваша мама? Она догадывалась?..

— Моя добрая мама не выносила всего, что было связано с именем Сергея Мироновича. При виде его она ощетинивалась, как кошка. Я и сам иногда, оставаясь наедине с мамой, спрашивал себя: что со мной, ради чего? Почему человек, отбирающий у других Главное право, становится мне дороже всех? Не иначе как я схожу с ума?

— Наверное, Сергей Миронович был гипнотизером? — высказала предположение Настенька.

— Нет, то совсем другое,— возразил Бомж Иванович,— Сергей Миронович излучал громадную бесовскую силу, о которой люди пока еще ничего не знают. С каждым новым днем, с каждым часом, а затем и с каждой секундой я пытался решиться на что-то. И вот, наконец, настал день получки. Я понял: если приму сейчас деньги, я погиб! Превращусь в «нечто», чему не придумано название. Собрал воедино свою волю, на глазах Сергея Мироновича разорвал диплом врача и отказался от денег. Только совершив этот акт, я вновь почувствовал себя в человеческом обличии. Но напряжение, с каким я рвал сети Сергея Мироновича, оказалось слишком велико для меня, и я впервые попал в сумасшедший дом.

— И больше не работали там?

— После выхода из дурдома я достал дубликат диплома, но работать врачом почти не довелось. По моей вине погибла женщина, не хотевшая иметь ребенка, и я попал в тюрьму. Кажется, я рассказывал тебе эту историю?

— Да. Вы не встречались потом с силой, какая была у Сергея Мироновича? — тихо спросила Настенька.— Сейчас такое часто показывают по телевизору. Я иногда смотрю Кашпировского.

— Никогда. Но я много размышлял о ней, пытался проникнуть разумом в ее суть, облечь в форму реальной мысли, но не смог. Порой разум мой терял опору в этом вопросе, проваливался в бездну, и я приходил в себя только в дурдоме. Несомненно одно, девочка, то мое чувство к исполнителю можно было назвать любовью. Любовью, замешанной на безбрежном вселенском страхе и потому не поддающейся осмыслению. Я до сих пор уверен: доведись Сергею Мироновичу отобрать от меня Главное право, в последние мои минуты вся моя огромная любовь к людям сосредоточилась бы на нем. Ведь чем сильнее любовь, тем меньше страх смерти.

— А что если...— пораженная своей догадкой, Настенька на мгновение смолкла.— Что если и к другим палачам такая же любовь?! Бомж Иванович?!

— Признаюсь, девочка, ты очень интересный и думающий собеседник. Сколько чуши слушаю я о великих тиранах мира, путешествуя ночами по Вселенной. Все пытаются разгадать и объяснить их только по формуле страха, начисто исключая формулу неразгаданной любви, которую лишь отчасти познал я. Представь, девочка, что подобная сила исходила не только от Сергея Мироновича. Он был всего-навсего рядовым исполнителем, каких тысячи. А если этот повелитель — Владыка народа? Помножить хотя бы мою любовь и мой страх на миллионы его жертв и можно частично представить силу всеобщей любви. Любви, девочка, а не страха, как утверждают недалекие писатели и ограниченные мыслители. Думаю, что именно в ней и таится главная формула бытия, разгадав которую люди познают самих себя. И тогда перед ними останется лишь одна загадка...

— Какая, Бомж Иванович?

— Я устал. Иди домой. Слишком натянуты нервы.

— Чем помочь вам?

— Глоток водки, девочка. Или одеколона. Это иногда снимает напряжение.

— Я принесу, у мамы осталось. Я сейчас...

— Поторопись. Если услышишь мои крики, на чердак уже не поднимайся. Говорят, когда я теряю память, я очень страшно кричу. Очень страшно, девочка.

ГЛАВА 6

«В Индии установлены рекорды, которые пока не занесены в книгу рекордов Гиннесса.

Выращены самые длинные усы — два с половиной метра — за 13 лет.

Человек прополз по земле на животе — 1400 километров».

(Сообщение по радио)

«На благо Отчизны идет твой труд — не трать без толку рабочих минут».

(Советская пословица)

«Кабы волк заодно с собакой, так человеку и житья не было».

(Русская пословица)

* * *

— Товарищи, хватит, так сказать, пикироваться, начинаем работу. Прошу планы на неделю по отделам. Первое слово отделу писем. Пожалуйста, Роман Александрович!

— У нас нынче работы много, Лев Юрьевич,— отозвался журналист Смирнов.— Во-первых, мы решили скооперироваться с партийным отделом и взять одну тему на двоих.

— Да, да,— поощрительно произнес редактор.

— Сделать рейд под условным названием «Бомж».

— Бомж? — Лев Юрьевич вопросительно приподнял брови.

— Лицо без определенного места жительства — бомж,— пояснил Роман Александрович.— Социальное зло нашего общества, можно сказать — бич. Порождение застойного периода.

— А в «кукурузный» период разве их не было, бомжей? — возразил заведующий сельхозотделом Денисьев.

— В «кукурузный» их было значительно меньше. Если желаете знать...

— Товарищи, товарищи, прошу не отвлекаться, так сказать. Давайте по «Бомжу», Роман Александрович. Объясните вкратце цель вашего рейда и как он практически будет решаться.

— Конкретно «Бомжа» намечаем на вечер пятницы, Лев Юрьевич. С милицией предварительно я переговорил. От них будет дежурный «газик», от нас «Волга» с Толей-шофером и фотокорреспондентом. И мы с Лелиной.

— Где вы намерены, так сказать, искать этих... бомжей? У вас имеются точные адреса?

— Как же, Лев Юрьевич! — искренне удивился Смирнов.— Имею конкретные адреса трех «своих» бомжей. Один живет в заготконторе райпо в картофельном бункере, за ним постоянно следит мой человек с овощной базы. Второй прописался на чердаке девятиэтажного дома по проспекту Ленина, он также под моим постоянным контролем. Да, Лев Юрьевич, вы же в этом доме живете.

— А третий обитает в топке старой котельни! — с восторгом выкрикнула Лелина.— В топке!

— Да, третий «наш» проживает в законсервированной городской котельне,— подтвердил Роман Александрович.— Это наиболее интересный и агрессивный экземпляр. Основная же масса бомжей — перекати-поле: нынче здесь, завтра там. Их будем отлавливать по ходу рейда в разных местах города, у милиции свои сведения. Я же хорошо знаю их гнездо в железнодорожной столовой.

— А таких у вас нет, которые в бочках живут? — спросил Денисьев.

— При чем здесь бочки?! — вспыхнула Лелина.— Идет серьезный разговор, а вы вечно со своими шуточками.

— Я к тому, что Диоген в бочке жил,— возразил Денисьев,— и Александр Македонский не гнушался с ним беседовать. Может, и нам не тратить столько сил — людских и автомобильных, а просто побеседовать с бомжами, взять у них интервью? «Волга» на пятницу мне нужна, в «Сельхозтехнике» слет механизаторов.

— Нет, нет, товарищи, идея рейда, так сказать, актуальна,— вступился за предложение Смирнова сам редактор,— но следовало бы точнее сформулировать цель.

— Цель одна,— откликнулся Ольшанский,— чтобы после статьи Смирнова с Лелиной бомжам захотелось жить в общежитии и работать на кожзаводе.

— Да, если хотите, эта наша высшая цель,— проговорила Ольга Евстратовна, наливаясь гневом,— чтобы все люди трудились и были полезны нашему обществу.

— А неполезных куда девать? — спросил Ольшанский.

— Вы старый циник! — Лелина фыркнула.

— Еще Маркс сказал: подвергай все сомнению...

— Товарищи, товарищи! — Редактор постучал карандашом о стол.— У нас разговор идет о планах на неделю. Давайте не отвлекаться, так сказать. С рейдом «Бомж» решаем положительно. В пятницу вечером «Волга» в распоряжении Лелиной и Смирнова. Фотокорреспонденту Толе быть с вами. Продолжайте по плану на неделю, Роман Александрович. Пожалуйста, покороче, по существу дела, так сказать.

ГЛАВА 7

«В 1965 году от самоубийств погибло 39 550 человек. Самый тяжелый год — 1984-й — погибло 81 417 человек. Затем произошло снижение: в 1985 году — 68 073, в 1986-м — 52 830, в 1987-м — 54 105».

(Журнал «Огонек»)

«Счастье в воздухе не вьется, а руками достается».

(Советская пословица)

«Что прожили, то и отжили».

(Русская пословица)

* * *

— Бомж Иванович, я все меньше и меньше боюсь темноты,— проговорила Настенька, усаживаясь у входа в жилище старика.

— Зато ты станешь бояться в ней яркого света,— отозвался старик, приподнимаясь на матрасе.— Свет в темноте вспыхивает так внезапно.

— Я принесла вам каши.

— Удивительно, девочка, но сегодня я в прекрасном настроении. Хочу предложить тебе прогуляться со мной по крыше, я так много раз отказывал тебе.

— Извините, Бомж Иванович, но мне не хочется. Сейчас у меня одно желание — побыть с вами в темноте.

— Странно, девочка,— пробормотал старик,— твои желания гаснут быстрее моих. Меня же влечет на крышу. Если я долго и пристально смотрю оттуда на окна домов, в которых спят люди — в объятиях друг друга или порознь, я начинаю ощущать себя на вершине земного шара. Все человечество, не только живущее, но и минувших веков,— подо мной. Все, которых я знал или знаю, которые обижали друг друга и доставляли один другому мучения, превращаются вдруг в пепел и опадают на землю мягким черным снегом и студят ее. Через тысячи лет этот пепел завалит землю, и тогда прекратится жизнь.

— Екатерина Алексеевна говорила нам, что человечество погубит себя раньше,— вяло возразила Настенька.— Войной или своим отношением к природе.

— Твоя учительница права лишь отчасти. Я смотрю вперед намного дальше. Уничтожив все созданное природой на Земле, выбрав ее богатства, которые Земля накапливала миллиарды лет, человек погубит так называемую цивилизацию. Отдельные же экземпляры выживут, как выживают в катаклизмах обескровленные клопы. Они будут ютиться в горных пещерах, в торосах льда, в песчаных норах пустынь. Приспособятся подолгу обходиться без воды и пищи и станут искать себе подобных особей. Может быть, природа смилуется и отпустит им для размножения не девять месяцев, а пять или четыре. Возможно, наоборот, увеличит время на человека и уменьшит его для других тварей.

— Что же потом? — равнодушно спросила Настенька.

— Природа станет отдыхать тысячи и тысячи лет. Пока не придут в себя и не вернутся на привычные орбиты электроны, пока более мелкие структуры материи, до которых человек не успел доконаться, но сумел разрушить самоуверенным невежеством и безоглядным цинизмом, не восстановят себя. Все это время огненное ядро Земли будет вздымать пепельные горы на своей поверхности и поглощать следы пребывания на ней человека, переваривать их, переплавлять в своем чреве. И выдавать наверх обновленную плоть, годную для нового рода. Человек вновь долгие миллионы лет будет осваивать каменный топор и согреваться шкурой убитых зверей. Потом он изобретет радио и почувствует себя хозяином природы, ее творцом. Он вновь станет самоуверенным и беспощадным.

— Как хорошо в темноте,— прошептала Настенька.

— Все повторится, девочка. Природа начнет очищать свою земную оболочку, и так будет до тех пор, пока не погаснет внутренний земной огонь. Тогда люди выпадут в пепел навсегда.

— Бомж Иванович, вы всегда говорите со мной откровенно, как со взрослой. Позвольте и мне сказать вам?

— Слушаю тебя, девочка.

— У меня такое чувство, Бомж Иванович, будто я иду по земле одна и никого нет рядом. Даже мамы. Единственное, что меня заставляет идти вперед, это надежда на любовь, на моих будущих детей. Но все это так далеко впереди и так неясно, а у меня уже нет сил. У меня есть только вы. Но после каждой встречи с вами, Бомж Иванович, я становлюсь старше на несколько лет. Часто ночью мне снится сон: я сползла по крутой скользкой крыше на самый край и держусь на ней из последних сил. Внизу ходят люди, знакомятся, целуются, ссорятся, рожают детей, поют песни, но мне уже никогда не вернуться к ним. Мне не подняться к окну, из которого я вылезла, скоро я упаду и разобьюсь. Люди на земле поднимают вверх лица и смотрят на меня, мне хочется крикнуть им, чтобы помогли, но нет сил и нет веры, что они помогут. Они же, наверное, думают, что я сижу на краю бездны просто так, из озорства. Я уже боюсь этого сна.

— Ты устала от общения со мной, девочка, понимаю тебя. Я рублю твои корни своей страшной правдой. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы осознать жестокую правду, ты выпила эту правду из моих рук одним глотком. Я не рассчитал сосуда и перелил... Как ни странно, девочка, но я привязался к тебе. Подобное чувство я испытывал лишь в далекой юности и никак не ожидал, что оно вновь навестит меня. Именно оно, это чувство, заставляет меня обратиться к тебе с просьбой: не спеши воспользоваться Главным правом раньше меня. Кощунство с моей стороны, но прошу: ограничь свое желание моей просьбой. Когда я исчезну из твоей жизни, ты почувствуешь себя еще более одинокой.

— Да,— согласилась Настенька,— без вас мне будет еще хуже.

— Значит, сейчас у тебя не самый трудный час. Я не могу быть реальной опорой для тебя, потому что я уже не человек. Я не могу накормить тебя, защитить, не могу дать полезный житейский совет, потому что понятия «полезный» и «бесполезный» размыты в моем сознании. Но я постараюсь не расставаться с тобой, девочка, и принимаю решение не ехать в Ленинград. Попробую обойтись без сумасшедшего дома и перезимовать здесь на чердаке, рядом с тобой. Авось мороз пощадит меня, ведь ты подарила мне такое теплое одеяло, какого я не припомню. Садись ближе, я укрою тебя.

Настенька придвинулась к старику, Бомж Иванович набросил ей на плечи одеяло. На чердаке было темно, тихо, лишь где-то рядом над их головами бормотали на крыше сонные голуби, скребли когтями по железу. В слуховое окно пробивался столб лунного света.

ГЛАВА 8

«На Камчатке, в Приморье беспощадно вырубаются леса. На Амуре затевается крупный химкомбинат. По-прежнему в опасности Байкал, вокруг Усолья кочуют ядовитые туманы. В Кузбассе смог калечит детей. Сгущаются энергетические тучи над Горным Алтаем, гибнет кедровое ожерелье Телецкого озера. Тюмень отдана в жертву нефтецентризму. Над городами Урала небо без птиц. Великие беды обрушились на Волгу. Над Севером еще витает призрак поворота рек. На юге быстро истощаются черноземы...»

(«Литературная Россия»)

«Берегите природу — мать вашу!»

(Надпись на лесном плакате)

«Трудись с упорством боевым, чтоб стал колхоз передовым».

(Советская пословица)

«Правда не на миру стоит, а по миру ходит».

(Русская пословица)

* * *

В один из дней сентября, в двадцать часов ровно во двор высотного дома по проспекту имени Ленина въехали две машины — патрульный милицейский «газик» с синей «мигалкой» наверху и бежевого цвета «Волга» со скромной неброской надписью на дверце — «Пресса». Промчавшись по двору, «газик» с киношным визгом тормознул у первого подъезда, «Волга» с детективным шелестом подкатила к последнему.

Вечер стоял на редкость безветренный и теплый — один из последних промелькнувшего «бабьего лета». Двери многих балконов дома были распахнуты, где-то на этаже громко и задушевно пел Окуджава:

А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.

Дверцы машин распахнулись, из них выскочили люди в милицейской форме и в штатском. Мигающий синий свет рвал в клочья дворовые сумерки.

— Павлов к первому подъезду, Варенников ко второму, Остапчук к третьему! — раздалась команда.— С бородой никого не выпускать!

На балконах стали появляться люди. Принялись перегибаться через перила, заглядывать вниз, переговариваться.

— Прекратить музыку! — раздался громовой мегафонный голос от милицейской машины.

Окуджава послушно смолк.

— Брать только живым! — хмельно крикнул кто-то с верхнего балкона.

— Живым не дамся! — тонкоголосо откликнулись с соседнего.

Люди на балконах засмеялись.

Журналист Смирнов, первым выскочивший из «Волги», опережая милиционеров, метнулся в подъезд, бросив на ходу:

— Толя, не отставай!

Грузный фотокорреспондент, придерживая на груди фотоаппарат, а на боку «вспышку», поспешил за журналистом.

Услышав шум во дворе, Алевтина вышла на балкон. Рядом с ней из окна выглядывала голова соседа Игоря. Увидев Алевтину, сосед проговорил:

— Кого-то ловят...

— Да этих... бомжей,— пояснила Алевтина, вглядываясь во двор,— расплодились бездельники. Один у нас на чердаке живет. Моя дуреха повадилась к нему лазить. Недавно деньги для него просила — двадцать пять рублей! Мне за эти деньги три дня — задница в мыле — вкалывать. А ему принеси на блюдечке.

— Публика темная,— согласился сосед Алевтины,— лучше от них подальше.

— Черт знает, что за государство у нас,— Алевтина начала заводиться,— не может заставить работать бездельников! Все на нашей шее сидят, всех кормим.

— Диалектика,— неопределенно отозвался Игорь.

— И я говорю: бардак! — подтвердила Алевтина.— Попробуй я завтра на работу не выйди, все поднимутся — и профком, и партком, и разные товарищеские. А тут годами мужики по чердакам валяются, а газеты про коммунизм толкуют.

— Теперь уже не толкуют,— возразил Игорь.— Теперь каждый живи по способности, одним инвалидам и пенсионерам определяют по потребности.

— Я за пятнадцать лет на стройке банку краски прихватила — в газете пропечатали, на весь город опозорили,— пожаловалась Алевтина.— Где справедливость?

— Нет, я с завода выйти не могу, чтобы чего-нибудь не прихватить,— признался Игорь.— Хоть отвертку или ключ гаечный, а суну за пазуху. Иной раз иду через проходную, а вдруг, думаю, у вахтера дяди Коли ОБХСС сидит? На кой, думаю, мне это железо, вся квартира завалена? И перед домом уже железо в речку выброшу. А на другой день все по новой — хоть горсть шурупов, да суну в карман. А чем я хуже?

— Белой вороной на стройке была,— проговорила Алевтина,— свои же и вымазали дегтем. И правильно: ежели ворона — каркай со всеми вместе. А ежели не ворона — лети к жар-птицам. Куда уж мне к жар-птицам...

— У нас на заводе народ квелый,— продолжал Игорь.— Правда, поначалу, как Перестройку объявили, тоже раскаркались. На всех собраниях — сплошной балдеж, все — Цицероны! А потом пригляделись да принюхались, по магазинам побегали, по мозгам «пьянством» и сахарными талонами получили, так снова на собраниях одно начальство слышно. Вот на Западе, говорят, никто с работы гвоздя не унесет. Поработать бы у них месячишко на заводе, посмотреть, что за порядки такие. Таскал бы я у них домой железо или не таскал?

— Люди везде люди,— отозвалась Алевтина, прислушиваясь к голосам на лестничной площадке,— как все, так и ты.

— Не скажи,— возразил словоохотливый Игорь,— у нас на заводе все заглохло, потому как вокруг одно железо. А на мясокомбинате до сих пор мужики со своим директором воюют. У меня брат двоюродный на мясокомбинате работает. У них в колбасном цехе участок имеется, который колбасу сервелат для питерских «высоких» выпускает. Так в сервелатный фарш по инструкции коньяк надо заливать.

— Заливают? — равнодушно спросила Алевтина, все еще настороженно прислушиваясь к голосам на улице и за входной дверью своей квартиры. Ей показалось, что она различает рыкающий басок журналиста Смирнова...

— Каждое утро заливают. Начальник колбасного цеха лично из сейфа бутыль с коньяком достает и несет ее на участок. За ним — комиссия: директор, парторг и главный инженер. За закрытыми дверями проверяют-дегустируют, а потом, что осталось, в котел выливают. Брат рассказывал: как Перестройку на мясокомбинате объявили, мужики первым делом на собрании потребовали вывести из «коньячной» комиссии начальство и включить рабочий класс. И всех попеременно, чтобы не бюрократились. Ну, конечно, директор на дыбы, а мужики на собрании единогласно постановили: если в «коньячной» комиссии ничего не изменится, сервелат с комбината не выпускать. Поскольку, дескать, у коллектива имеются подозрения, что нарушается технология производства высококачественного изделия.

— Господи,— вздохнула Алевтина, вполуха слушая болтовню соседа,— и смех и грех...

— Это точно,— согласился Игорь.— Директор мясокомбината так и сказал своим работягам: не комиссия вам будет, а кузькина мама. А у директора, братан говорил, начальник ОБХСС — муж его сестры, свояк, значит. И началось! Кто насчет коньячной комиссии заикнется, того через день-два на проходной или около дома с куском колбасы за пазухой засекают. И без промашки, видать, свой стукач имелся. Залютовал директор. В убойном цехе мужики повозмущались, директор их «ширпотреб» разнес. Они испокон веков на собаках подрабатывали. Шавки к ним со всего города на кишки сбегаются, они и бьют их на хоздворе. Шкуры прямо на конвейере снимают, как с баранов. Выделывают и продают частникам на машины для сидений, на шапки, на пояса от радикулита. Директор «ширпотреб» через газету прихлопнул, поименно на каждом печать поставил. У него в нашей газете приятель имеется, Смирнов.

— Смирнов? — переспросила Алевтина.

— Да, верно, ты его знаешь,— подтвердил Игорь,— который о тебе написал.

— Как не знать,— усмехнулась Алевтина,— это он сейчас у нас на чердаке бомжа ловит. Шустрый...

— Шустрый,— согласился Игорь,— говорят, бабник великий и выпить не дурак. А насчет написать — из дерьма конфетку сделает. Я его в нашей «сплетнице» одного только и читаю.

— И что Смирнов? — спросила Алевтина, слегка заинтересованная.

— На мясокомбинате директор так дело поставил, что против него и выступать некому

стало, один Гриша Чокнутый без «печати» остался, он единственный на мясокомбинате не берет, про это весь город знает. Гриша когда-то прокурором был, невиновного по ошибке на десять лет посадил. Тот и отсидел от звонка до звонка. А когда дело выяснилось, Гриша от переживаний вроде как завернулся. На мясокомбинате в обвалочном цехе простым работягой устроился. Так с тех пор и работает, мужик башковитый, его сам директор побаивается. Ну, такое дело, мужики к Грише Чокнутому пришли и говорят: на тебя вся надежда. Если не отстоим права на «коньячную», считай, что нам конец. Теперь или никогда! Гриша отвечает: сообразим! Директор прознал, что Гриша думает, и бегом в редакцию к Смирнову. Выручай, мол,— Гриша Чокнутый на меня думает и попытается дискре-ди-ти-ровать руководство.

— Этот выручит.— Алевтина вновь усмехнулась, теперь уже зло.

— Смирнов на мясокомбинате, брат рассказывал, свой человек. Он в «коньячной» комиссии чуть ли не официально оформлен. Люди говорят, это он в убойный цех мысль подбросил насчет собачьего «ширпотреба». Смирнов и подсказал директору, что необходимо Гришу Чокнутого с дискре-ди-тацией опередить.

— Этот сам себя опередит,— подтвердила Алевтина.

— С Гришей, когда он из прокуроров ушел, жена разошлась. Гриша к матери в дом перебрался. После ее смерти живет один, неподалеку от комбината. Собачонка у него имеется, редкостной породы, приметная собачка. Когда Гриша на работе, она по мясокомбинату бегает, ее все знают и не трогают. И вдруг появляется Гришина собака в нашей «сплетнице», а на шее у нее вязанка сарделек висит. Под снимком фамилия хозяина указана, где работает и подпись: «Что бы это значило?» Ну, конечно, на весь город и район смех. Вот, смотрите, как приспособился бывший прокурор на мясокомбинате, не зря прижился там. Мэр наш, Прокофьев, говорят, про эту фотографию на собрании партийного актива упоминал. Вот, мол, до чего дошли на мясокомбинате, собак воровать приучили.

— Чья бы корова мычала...— проворчала Алевтина.— У мэра дочка завлабораторией на мясокомбинате, весь спирт у нее. А замужем она за сыном нашего прораба Пузыря.

— Гришу Чокнутого голыми руками и журналисту Смирнову взять трудно. Пошептался Гриша с комбинатскими мужиками, и через несколько дней в газету такую фотокарточку прислали: прокофьевского дога морда, а на шее у него два круга «краковской» висят. И подпись на обратной стороне — чья собака и такая приписка: «Где социальная справедливость — откуда „краковская"?» Пошла фотография мэровского дога по городу гулять, народ за животы держится. Ай да Гриша, говорят, утер Прокофьеву нос. Председатель горисполкома лично на мясокомбинат приезжал, допытывался, как удалось догу на шею колбасы навесить? Пес у него — зверь, чужих к себе не допускает. И жрет, говорят, два ведра в день супу, и обязательно с мясом. А ты, соседка, помнишь, когда в последний раз мясо в магазине видела?

— Помню.— Алевтина усмехнулась.

— А тут подошло время директора мясокомбината в депутаты выдвигать. Ну и Гриша Чокнутый завелся, баламутит народ. Откажем, дескать, в доверии. Ему: куда нам, мы все воры, Гриша, ты один не берешь. А Чокнутый: так не бывает, чтобы все — воры, а руководитель честный. Надо на собрание областную газету пригласить и всем коллективом выступить. Такое, мол, сейчас сделать можно, такое пока разрешено. А народ: нам, Гриша, многое разрешали и обещали. Помнишь небось: «Партия торжественно провозглашает...» На коммунизм мы, конечно, и тогда не рассчитывали, а вот на ларек мясной веры хватало. Где этот ларек, Гриша? Что в кармане через проходную пронесешь — то твое. А директору домой на машине привозят, у него весь ОБХСС на комбинате кормится. Если он за «коньячную» комиссию на нас клеймо поставил, то за «депутата» живьем сожрет.

— Мне иной раз на все плюнуть хочется, уехать в деревню,— проговорила Алевтина, придвигая ногой крошечную балконную скамейку.— Будь я мужик — работала бы на земле. Дом бы на берегу озера построила, детей нарожала, сад вырастила. И чтобы цветы всегда под окном.— Алевтина уселась на скамейку и продолжала: — Бабе без мужика в деревне делать нечего. За самого некрасивого пойду, только бы надежный был. Пускай не меня любил — детей. За это никогда бы его не подвела, ничем не обидела, безрукого-безногого, случись,— не бросила. Где найдешь? Нынешний мужик только и может иногда решиться — от жены на ночку сбежать, в чужой постели поблудничать.

— Меня в деревню не тянет,— признался Игорь,— все ненадежно сейчас, вроде бы не всерьез. Уверенности в завтрашнем дне нет, вот что. Мы в колхозе от завода каждое лето вкалываем, насмотрелись и наслушались. Сейчас в деревне разрешили все, чего не запретили. Землю в аренду бери, подряд семейный, дом строй без ограничения этажей, трактор в хозяйстве имей, грузовик. Работай, богатей и государство обогащай. Думали, не сдержать будет деревенских, все в фермеры попрут, в капитализм. Ан нет! Никто покуда не торопится наживать, чтобы не отобрали. Не объяснили еще народу, за что ликвидировали деревенский класс, у которого кровавые мозоли с рук не сходили. Сколько лет прошло, деревня очухаться не может, Россию накормить. И не накормит, пока мужик землю не получит. До тех пор на мясокомбинате ларька не откроют и народ вором считаться будет...— Игорь замолчал на полуслове и, свесив голову вниз, высунулся из окна.

— Никак поймали? — спросила Алевтина, наваливаясь на перила балкона.

— Ведут,— подтвердил сосед.

В мигающем свете «вертушки» Алевтине никак не удавалось рассмотреть человека, которого вывели из подъезда, держа под руки, два милиционера. И только когда они принялись заталкивать его в машину и человек что-то выкрикнул, запрокинув голову, Алевтина увидела в блике фотовспышки белую бороду и лишь теперь поняла, что Настин бомж — старик. Хорошее настроение ее мгновенно вытеснила серая тягучая тоска. Алевтина плюхнулась на скамейку и подумала о Насте: «Где же шляется девчонка? Совсем отбилась от рук...»

Внизу во дворе галдели голоса, гудели моторы машин, синий мигающий свет пополз по стенам домов прочь от подъезда. Вновь на полную мощность включили магнитофон, и келейный голос Окуджавы заполонил все:

А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она...

— Игорь! — крикнула Алевтина исчезнувшему соседу.— У тебя выпить чего не найдется? В долг?

— Откуда,— отозвался Игорь, вновь появляясь в окне,— Вчера хотел взять бутылочку — полдня в очереди отстоял, все пуговицы на пиджаке пообрывали. Наш Прокофьев двух милиционеров у входа в магазин поставил с овчаркой. Мужики как поднанерли, овчарка и цапнула одного за ногу. Мама родная, что было! В магазине все окна вылетели, а собаку мужики в клочья разорвали. Первый раз видел, как милиционеров бьют. Так и не удалось с бутылочкой, оцепили магазин милицией, еле ноги унес от приключений.

Сосед еще что-то говорил, Алевтина не слушала его. Ничего плохого она не совершила, убрав с чердака бездельника. Если ты немощен — твое место в доме престарелых, у нас, как-никак, социализм. Умей Настя разговаривать с матерью, она сама бы похлопотала за ее бомжа...

На душе Алевтины было как-то слякотно. Словно она только что отрубила голову курице и безголовая тушка еще трепещет в ее руках. И ничего не остается, как сжимать несчастную и ждать, когда она успокоится.

«...справедливей, милосерднее и праведней она»,— не унимался Окуджава.

ГЛАВА 9

«Чернобыль по степени загрязнения земли самыми страшными радиационными элементами равен 90 Хиросимам.

В Чернобыльской зоне поражения начинают происходить чудеса. Куры нападают на лис, ели перерождаются в сосны, начали появляться невиданные доселе растения с гигантскими листьями. Похоже, что природа сходит с ума».

(Из выступления социолога и юриста Б. А. Куркина)

«1665 женщин осознанно убили своих детей».

(Из выступления председателя правления Детского фонда СССР на съезде народных депутатов)

«Нарушен озонный слой Земли. Уже через десять-пятнадцать лет может произойти резкое повышение температуры и изменение климата на Земле. Последствия непредсказуемы».

(Из газет)

«Что сделал советский человек, не забудется вовек».

(Советская пословица)

«Темна Божья ночь, черны дела людские».

(Русская пословица)

* * *

— Мама, зачем ты это сделала? — спросила Настенька.— Зачем ты рассказала про Бомжа Ивановича? Его схватили и увезли. Чем он мешал тебе?

— Разве это жизнь — по чердакам? Как бездомная собака,— устало отозвалась Алевтина, развешивая на балконе белье.— Ты же понимать должна.

— Что понимать?
— Жизнь.
— Разве ее можно понять?
— Нужно. Если хочешь жить по-человечески, а не как твой бомж.
— А если я хочу, как он? Чтобы все, что происходит с нами и в нас, называть по правде?
— Вот как! — Алевтина с мокрым полотенцем на плече вошла в комнату, подбоченясь, уставилась на дочь, которая стояла перед ней бледная, немигающая, чужая.— Выходит, он жил всю жизнь бездельником — это по правде, а я нет?
— Не знаю...
— Чем же тебе, позволь спросить, не нравится моя жизнь? — Алевтина начала заводиться.— С каких пор бездомный бродяга стал для тебя дороже родной матери, которая поит тебя, кормит, одевает? Ты в своем уме, Настя?!
— В своем.— На слове «своем» Настя сделала упор.— Я рано стала жить в своем уме. С тобой можно поговорить откровенно, ты не обидишься?
— Давай, поговори,— отозвалась Алевтина, с трудом сдерживаясь.— Выкладывай свои откровения. Давно мечтаю послушать.
— Послушай. Во-первых, в школу я больше не пойду...
— Что? Не пойдешь в школу? Это еще почему?
— Мне стыдно... Мне стыдно, что у меня мать воровка.
Раз! — Алевтина, не раздумывая, со всего плеча хлестнула дочь по лицу мокрым полотенцем. Удар получился настолько неожиданным и сильным, что Настенька, отшатнувшись, споткнулась о стул и повалилась на пол.
— Еще что? — прорычала Алевтина, скручивая полотенце жгутом.— Что еще?
— Еще мне не нравится, что ты предательница...
Раз! — удар скрученным полотенцем получился тяжелее первого. Из носа Настеньки выскользнула тонкая струйка крови и разбежалась по ее крепко сжатым губам. В какое-то мгновение Алевтина хотела сдержать себя, остановиться, прижать ее голову к своей груди, но вид окровавленного Настиного рта, ее чужие ненавидящие глаза привели вдруг Алевтину в ярость. И, сатанея, принялась она хлестать дочь мокрым полотенцем, не разбирая — по лицу, плечам, острым дергающимся лопаткам.

ГЛАВА 10

«В ФРГ в несгораемых сейфах в глубоких подземных бункерах хранятся семена трав и деревьев Земли. На случай атомной войны. Для послеатомного возрождения жизни».

(Из газет)

«Нарушена иммунная система человека. В Чернобыльской зоне поражения радиацией родился ребенок о восьми ногах».

(Западное радио)

«Мы дети ленинской мечты!»

(Плакат в Ленинградском специнтернате для слабоумных детей)

«Труд — дело чести, будь на первом месте!»

(Советская пословица)

«За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое».

(Русская пословица)

* * *

Утром, наскоро приготовив Насте завтрак, Алевтина, опаздывая на автобус, выскочила на лестничную площадку, даже не поглядев на дочь. Не успев захлопнуть за собой дверь, бросила случайный взгляд на потолок и не увидела на железном люке привычного круглого замка. Крышка люка была приоткрыта и срезана черной чердачной щелью. Что-то заставило Алевтину остановиться в нерешительности. Помедлив, она на цыпочках вернулась в прихожую и через застекленную дверь осторожно заглянула в комнату. Настенька не спала. Лежала на спине, вытянувшись,— тонкие ручки плетьми поверх одеяла,— не мигая смотрела в потолок. У Алевтины защемило сердце от жалости, и вновь

с трудом сдержалась она, чтобы не броситься к дочери. Но выдержала характер. В конце концов, мать она или не мать?

Всю дорогу до стройки, стиснутая в автобусе знакомыми и незнакомыми людьми с примелькавшимися лицами, Алевтина думала о дочери. Вспоминала о вчерашнем «разговоре» с Настей, струйку крови на ее губах, глаза, голос — и на душе Алевтины было паршиво, как никогда. Она редко задавала себе вопросы, которые мешали ей, беспокоили, заставляли анализировать поступки. Ей хватало забот и без вопросов. Где-то Алевтина чувствовала правоту Настеньки, но не могла признаться в этом. Гордыня, наверное, мешала ей поставить себя вровень с дочерью. Стараясь как-то оправдаться, припоминала Алевтина свои детские думы и обиды. В Настины годы она уже куда как разбиралась в жизни. Всех насквозь видела, цену хлеба знала и никогда не укорила бы мать за пять литров краски, ее же руками сэкономленной и потом разбавленной. Как повернулся язык назвать мать предательницей? Такое услышать от дочери — из-за пьянчуги, дряни подзаборной, какие всю жизнь преследовали ее хмельным перегаром. Настя и сама с люльки натерпелась страху, насмотрелась драк, наслушалась матерщины, нанюхалась блевотной вони. И вот, поди же,— из-за какого-то бездомного бомжа такое сказать матери!

Алевтина взвинчивала себя, пыталась растравить, разбередить душу, чтобы хоть как-то отогнать худые мысли о дочери. Но отогнать не удавалось. Таяла ее гордыня, оседала, как тонкая горящая свеча. Впору было возвращаться домой от тревоги.

Никогда еще не работалось ей так тяжело, никогда так медленно не тянулось время. Валик с краской, словно намазанный смолой, прилипал к стене, а стрелки часов, на которые поминутно поглядывала Алевтина, не двигались. По пути на работу и сейчас, стоя на подмостях, она не могла сказать, что царапнуло ее утром в Насте? За что зацепился, обо что споткнулся ее материнский глаз? Алевтине очень важно было вспомнить, очень важно... В какой-то момент ей показалось вдруг, что на стене под серой краской проступили темно-бурые пятна, похожие на кровь. И тут Алевтина дрогнула! Утром из-за подушки Насти выглядывал красный шнур скакалки. Она подарила ее дочери в прошлом году, но та очень редко брала скакалку в руки...

Готовая застыть от страха, Алевтина сползла с подмостьев и, распахнув окно, навалилась грудью на подоконник. Отдыхала так некоторое время, потом, не поднимая головы, позвала:

— Аннушка!
— Чего тебе? — откликнулась из соседней комнаты напарница.
— Иди сюда.
— Чего тебе? — повторила Аннушка, появляясь в дверях.
— Просьба,— проговорила Алевтина, продолжая полулежать на подоконнике,— сбегай в бытовку, позвони в школу. Узнай, была сегодня Настя в школе?
— Сама-то чего...— фыркнула Аннушка и, посмотрев на подругу, осеклась.
— Сбегай позвони,— вновь попросила Алевтина.— Двадцать пять и три тройки. Это учительская. Спроси про Настю.

Пока Аннушка бегала в бытовку, Алевтина смотрела вниз. В строительном дворе торкался взад-вперед панелевоз, пытаясь стать под разгрузку, возле него метался Пузырь, кричал что-то крановщику, матерился. Но вот из дверей бытовки показалась Аннушка и, посмотрев вверх на Алевтину, отрицательно покачала головой.

Алевтина отпрянула от окна. Оборвалось у нее сердце, провалилось куда-то — ни вздохнуть, ни шевельнуться. По-настоящему почуяла беду. Глянула в сторону своего дома — там вдали, за унылыми хрущевскими домами-коробками, словно в вечернем солнечном закате, алело небо. В чем была — в заляпанном краской комбинезоне — Алевтина, подвывая, выбежала во двор и вскочила на подножку панелевоза. Прижимая руки к груди, попросила шофера:

— Коля, родненький, скорей вези! Беда у меня, дочка у меня...— И, зажимая ладонями лицо, завыла в полный голос по-звериному, как волчица.

Молодой парень-шофер, не расспрашивая ни о чем, махнул рукой крановщику башенного крана и, не дожидаясь, пока с прицепа снимут панели, дал машине газ.

Только возле своего дома Алевтина перестала выть. Выпрыгнула из кабины. В холодном полутемном подъезде на мгновение вспыхнула надежда. Может быть, дома Настенька, ждет мать, хочет вновь вызвать ее на откровенность, на разговор по душам. Только бы ждала ее девочка, только бы не спешила никуда...

Лифт не работал, все пролеты Алевтина одолела бегом. Лишь на последнем перешла на шаг, пытаясь отдышаться. Не доходя несколько ступенек до своей лестничной площадки, остановилась и посмотрела наверх. Железный люк в потолке был открыт. Пошатнулась Алевтина и, чтобы не упасть, прислонилась к стене. Стояла так долгое время, в ушах, не переставая, бухали колокола. Ничего не видела она перед собой — один распахнутый в черное небо люк да узкую железную лестницу, висящую под ним. О квартире своей, перед дверью которой стояла и в которой её, может быть, ждала Настенька, Алевтина забыла. Словно и не было у нее никогда своего отдельного благоустроенного гнезда.

Вновь в груди Алевтины трепыхнулась надежда. Сдерживая вой, она приблизилась к лестнице и, вытянув руки, ухватилась бесчувственными пальцами за тонкий прут-перекладину. С трудом, цепляясь ногами за перила ограждения, взобралась на лестницу. Сделала к люку один шаг — закружилась голова, затошнило. Рискуя сорваться в пролет, Алевтина просунула между прутьями голову и так затихла, пережидая слабость. Когда отпустило, сделала еще несколько шагов вверх и наконец по грудь протиснулась в лаз люка.

Пожалуй, никто не разглядел бы вот так сразу в чердачном полумраке то, что оглушило Алевтину,— черный шнур в углу чердака, свисающий с крыши. Она еще не определила, что на конце шнура, но знала, что шнур этот не черный, а красный — ее подарок Настеньке, скакалка. Последние крохи надежды заставили Алевтину протиснуться в люк повыше, чтобы увидеть все. И увидев, она закричала тихо и страшно и, сорвавшись с лестницы, уже без крика — мешком полетела вниз — в каменный лестничный колодец. Ее спасло ограждение. Ударившись боком о деревянную перекладину перил, тело Алевтины замерло, словно на весах «жизнь-смерть», и... перевесило на «жизнь». Мягко и глухо упала она на лестничную площадку возле дверей своей квартиры. И голова ее гулко ударила о холодный цементный пол.

ГЛАВА 11

«Но горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам! Мыслю, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех, рекут нам, о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос».

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Прежде счастье на одночасье, а теперь — навек».

(Советская пословица)

«Помрешь, так прощай белый свет и наша деревня».

(Русская пословица)

* * *

Алевтина лежала в больнице с сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами больше месяца. Настеньку похоронили без нее.

С похоронами Насти Захаровой в городе сложилась напряженная обстановка. Самоубийство школьницы взбудоражило общественность и поставило школу в щекотливое положение: как быть с погребением? Конечно же, в отсутствие матери и ближайших родственников этим вопросом надлежало заняться школе, но... Будь то обычная смерть, школа не ударила бы лицом в грязь и похоронила свою воспитанницу по высшему разряду — с оркестром, с венками из живых и железных цветов, с пионерско-комсомольскими речами и салютом поднятых рук. Но самоубийство?! Это непривычное для школы слово, повторяемое на разные лады в классах и учительской, накачало гнетущую атмосферу. Напрасно Екатерина Алексеевна — Настина учительница — пыталась ослабить напряжение, рассказывая в учительской о том, что в Японии, например, самоубийства школьников в начале учебного года принимают порой массовый характер и причина их — боязнь ответственности за не выполненное на каникулах домашнее задание.

Рассказы рассказами, но на вопрос «как быть с похоронами?» не могла ответить и Екатерина Алексеевна. Бациллы неформальных объединений и несанкционированных митингов уже начали проникать в школьную среду, и кто знает, какой рецидив они могли дать в неокрепших детских душах в самый напряженный момент.

Директор школы Анастасия Федоровна позвонила в стройтрест управляющему Чуеву и, ссылаясь на тонкости педагогических нюансов, предложила взять все хлопоты по похоронам дочери работницы треста на себя. Чуев не возражал. Но тут пришло известие: отыскалась родственница Захаровых и уже увезла покойницу в свою деревню Маяково, где и решила похоронить.

Главная забота свалилась с плеч школы, но оставалось еще немало щекотливых вопросов, которые предстояло решить педагогическому коллективу. Основной из них — надо или не надо выделять кого-нибудь от школы на похороны самоубийцы? Мнения учителей разделились. Одни предлагали выделить представителя лишь от педагогического совета школы, другие — от комсомольской и пионерской организаций, раздался даже голос (физрук) отправиться на прощание с Настей Захаровой всем школьным миром.

Директор школы оказалась не способной принимать самостоятельные решения в экстремальной ситуации. Вела нескончаемые телефонные переговоры с гороно (городской отдел народного образования) — как быть?! Выделять на похороны самоубийцы представителя от школы или не выделять? А венок? Если нужен венок, то что написать на траурной ленте, какой текст? И как быть ей, директору? Если присутствовать, то нужна ли с ее стороны речь? Что конкретно отразить в речи, на какие моменты сделать упор? Высказать ли осуждение поступку Насти Захаровой или не заострять на этом внимание?..

В общем, вопросы со стороны школьного руководства возникали самые неожиданные, гороно же не спешило с конкретными ответами, воздерживалось и от советов. Оно было лучше информировано и потому знало то, чего еще не знала школа: редакция районной газеты внимательно наблюдает за событием, взволновавшим город, и поручила осветить его самому остроперому своему сотруднику — Смирнову. Этот журналист и в застойные времена покалывал иногда гороно своим пером довольно скандально, с приходом же печатной гласности от него можно ожидать непредсказуемого. С давних времен раздраженное газетными уколами Смирнова гороно исподволь собирало на него «компромат». Касался он, главным образом, амурных дел журналиста, но теперь подобные сведения выглядели как-то несерьезно и выходить с ними на редакцию, чтобы несколько остудить ее, гороно не решалось. Тем более что вездесущий Смирнов уже пронюхал про все и через свою старую пассию в гороно дал понять этой чопорной организации, что сам расскажет о «компромате» и методах его сбора на газетных страницах. Конечно же, со своими комментариями. Таким образом, консервативно-неразворотливое гороно, защищенное до недавних пор от нападок прессы исполкомовским «табу», в новых условиях оказалось, по сути дела, беспомощным в защите. Ему оставалось лишь пассивно ожидать, что скажет газета о самоубийстве школьницы, в каком свете представит лучшую школу города и само «народное образование». Вот почему школа была брошена на произвол судьбы, и от всех ее отчаянных телефонных запросов гороно отбивалось главной перестроечной фразой: «Решайте сами!»

В эту трудную минуту из деревни Маяково прилетела в город весть: деревенская тетка решила похоронить бывшую школьницу и пионерку по христианскому обычаю — со всеми церковными атрибутами и каноническими действиями, вплоть до отпевания.

Школа воспрянула. Религия и ее обряды оставались одной из немногих областей общественного бытия, до которой Перестройка еще всерьез не добралась, доброжелательно высветив лишь вершину вопроса — тысячелетие Крещения Руси. Она еще не успела убедить школу и гороно пересмотреть свое отношение к Религии. И потому Анастасия Федоровна, узнав о решении деревенской тетки совершить над телом усопшей акт религиозного культа, обрела прежнюю в себе уверенность и со всей твердостью заявила педагогическому коллективу: «Ноги нашей не будет возле могилы! Не позволим дурить головы учеников проклятым опиумом! Хватит с нас и одной жертвы этого дурмана!» С таким постановлением педагогический коллектив согласился почти единогласно (воздержался физрук). Тогда же было решено: в пику религиозному пессимизму заново перечитать в классах «Как закалялась сталь» Островского и провести в ближайшее время общешкольный диспут на тему «Жизнь дается один только раз...».

По собственной инициативе в школу позвонило гороно и, узнав о решении коллектива не иметь ничего общего с религиозными похоронными обрядами, безоговорочно одобрило его. Согласилось и с темой диспута, порекомендовав, однако, усилить жизнеутверждающую сущность темы и назвать так: «Мы — жизнелюбы!».

Развивая антирелигиозные мысли и соображения директора школы Анастасии Федоровны, гороно вошло в контакт с редакцией и недвусмысленно намекнуло газете печатно возложить вину за самоубийство школьницы на религиозные предрассудки, еще бытующие в сознании отдельных граждан. Редакция, уже вкусившая сладость собственного мнения, от подобного предложения отказалась, резонно возразив, что не все верующие и их родственники кончают жизнь самоубийством. На то должны быть более весомые причины, и журналисты эти причины найдут, вскроют и всесторонне рассмотрят на газетных страницах. В заключение редакция с оттенком гнева воскликнула: «Хватит, так сказать, компромиссов!»

Однако редакция, конечно же, понимала, что теперь этот двойственный союз, укрывшийся за атеистическим щитом, голыми руками не возьмешь. Лучше всех, пожалуй, понимал это журналист Смирнов и потому давно уже находился в эпицентре похоронных событий.

Похоронить Настю Захарову решено было возле могилы бабушки ее, матери Алевтины. Тетка Галина договорилась со Степой-гармонистом насчет ямы, и тот убедительно заверил, что с ямой не подведет, и для полной гарантии дела потребовал «в поддержку

сил». Но то ли Степа переоценил свои возможности, то ли «поддержка» оказалась слабоватой, только за первый день работы углубился он в землю едва на пол-лопаты.

На следующий день Степу выручили Алевтинины друзья-маляры, приехавшие в Маяково рейсовым автобусом всей бригадой с прорабом Пузырем во главе. С ними же прибыл и журналист Смирнов, которого прораб представил женщинам-бабам как своего друга и давнишнего приятеля Алевтины. Поначалу новый человек стеснял коллектив, создавая в разговорах и поедении некоторую натяжку. Но понемногу общительный журналист растопил ледок настороженности, перезнакомился с женщинами персонально, перешел с ними на «ты» и, наконец, передал из своего портфеля бригадиру Марии Филипповне «в общий фонд» бутылку немарочного рислинга.

Но полностью Роман Александрович расположил к себе всех тогда, когда прыгнул в Степин задел и принялся копать могилу. На работе журналиста, несомненно, сказывался далекий шахтерский опыт — умел Смирнов держать в руках и лопату, и лом, и кирку. Вынослив был. Двухметровой глубины яму, считая полуметровый Степин задел, выкопал один и в считанные часы. Прораб Пузырь лишь изредка помогал ему, отгребая песок и глину от края ямы. Женщин же Роман Александрович к работе не допускал, а Степа-гармонист так и вовсе ушел, когда убедился, что в этой компании ему по-быстрому ничего не перепадет, хотя нутром чуял: у городских с собой взято. Рассудив, что синица в руках сподручнее журавля в небе, Степан отправился в деревню упредить тетку Галину с известием, что могила выкопана — как и было обещано.

Смирнов же копал и копал, изредка вылезая из ямы перекурить. Сидел на куче песка в расстегнутой до пупа белоснежной рубашке, и от мокрой спины его валил пар. Дышал журналист тяжело и часто, венчик коротких рыжих волос над заплатой-лысиной стоял дыбом. Докурив папиросу, Роман Александрович молча прыгал в яму и вновь брался за кирку или лопату. «Шахтерский мужик!» — пояснял Пузырь женщинам, не без гордости.

Стоит ли говорить, что женщины-бабы, не привыкшие сидеть сложа руки, когда другие работают, прониклись к Роману Александровичу самыми теплыми чувствами и уже переживали за него: не простыл бы мокрый на ветру! Мария Филипповна выпотрошила свою хозяйственную сумку и скорехонько разложила на ней все, что раскладывают в подобных случаях у могилы люди, желающие снять напряжение и привести в какой-то порядок чувства, расстроенные уходом из жизни близкого человека. Вся бригада знала Настеньку и любила ее и потрясена была ее смертью — такой неожиданной и дикой.

Получилось так, что женщины с прорабом свое эмоциональное напряжение сняли, журналист же отказался и продолжал копать. «Шахтерский характер,— пояснил женщинам-бабам Пузырь, похрустывая маринованным чесноком,— работать так работать, гулять так гулять! Он еще свое возьмет...» Однако, когда Пузырь с женщинами, перекусив, отправились к ручью напиться и возле ямы осталась одна лишь Аннушка — самая молодая и заботливо-внимательная к Роману Александровичу, тот прекратил работу, распрямился в яме и тихо, но с твердостью в голосе позвал:

— Иди сюда, помоги сгребать.

Аннушка в расстегнутом пальто сползла в яму прямо на грудь Роману Александровичу, и он бережно поставил ее на дно, а ладонь журналиста задержалась на том месте женской фигуры, где ладонь мужчины больше всего любит задерживаться...

Когда же компания во главе с Пузырем возвратилась к могиле, Аннушка стояла наверху румяная, взволнованная и слегка растерянная, а журналист, по-прежнему не обращая ни на кого внимания, копал и копал.

Наконец могила была отрыта, и Роман Александрович, ухватившись за лопату, протянутую ему Пузырем, выбрался. Мария Филипповна тотчас поднесла ему доверху наполненный стакан, и журналист просто, не жеманничая, со словами «За Настеньку!» разом опрокинул его в рот. После этого Мария Филипповна по-матерински стащила мокрую рубаху с вислых, но еще крепких плеч журналиста, обтерла спину Романа Александровича, поросшую рыжими кудряшками, и, покопавшись в сумке, отыскала в ней просторную шерстяную кофту. Журналист против кофты не возражал и, облачившись в нее, вызвал тем восторг женщин. Кто-то из них поспешил с его рубахой к ручью — полоскать, кто-то принялся счищать с пиджака глину, и лишь одна Аннушка, которую Роман Александрович не замечал, посматривала на него слегка обиженно и как бы с недоумением.

Вскоре журналист принял из рук Марии Филипповны еще полстаканчика, потом еще, и вдруг во всеуслышание объявил: он не друг Алевтины Захаровой и даже не приятель ее, а подлый газетчик! Тот самый негодяй Смирнов, автор гнусной статьи «Дорожить рабочей совестью», может быть, подлинный виновник в смерти дочери Алевтины, и нет ему за это прощения! После таких слов из-под рыжих ресниц Романа Александровича покатились слезы, он уронил голову на грудь и зажал лицо ладонями.

Какую вину нельзя простить плачущему мужчине! Тем более, если в чем-то разделяешь с ним эту вину. Женщины-бабы, за исключением одной лишь Аннушки, принялись успокаивать журналиста и винить во всем случившемся себя. В ответ Роман Александрович так мощно и громко всхлипнул, что кто-то не выдержал и завыл в голос, другие принялись причитать. На кладбище поднялся бедлам. В этот момент Пузырь обнаружил, что все, взятое в городе, кончилось. Смеркалось, пора было отправляться в деревню на ночлег. Назавтра всех их ждал трудный день. Поддерживая друг друга, ободряя уставшего Романа Александровича и поникшего Пузыря, бригада, взявшись под руки, двинулась к деревне. Уже на подходе к Маяково журналист Смирнов пришел в себя и попытался затянуть песню, но Пузырь его не поддержал, а женщины-бабы даже одернули.

Ничего, кроме горячего чая, друзьям Алевтины тетка Галина на стол в тот вечер не выставила. Для ночлега отвела баню, застелив пол в предбаннике и парном отделении чистыми домоткаными половиками. Ночь прошла на редкость спокойно, храпел лишь один Роман Александрович, брыкался, вертелся, сбивал половики. Бригада же Алевтины замертво лежала на полу.

На следующее утро похоронные хлопоты начались с конфликта. Священник Маяковской церкви отец Василий паотрез отказался отпевать самоубийцу. Напрасно тетка Галина и Алевтинина бригада, ведомая теперь уже не столько прорабом Пузырем, сколько журналистом Смирновым, просили сделать исключение для Настеньки, уломать священника-формалиста не удалось. Более того, отец Василий попытался даже воспротивиться захоронению Настеньки рядом с бабушкой, а потребовал вынести ее могилу за пределы освященного кладбища, как и положено по Уставу. Тут уже зароптали не только тетка Галина и бригада, но и старики-старухи, которых поднатекло на кладбище с окрестных деревень весьма порядочно. Самым решительным протестантом оказался Роман Александрович. Он приблизился к отцу Василию почти вплотную и, оглушив священнослужителя густейшим перегаром, что-то тихо и страстно сказал ему и недвусмысленно кивнул головой на свой мясистый веснушчатый кулак. То ли оробел отец Василий, то ли решил наконец, что пунктом церковного обряда, не одобряемым народом, можно пренебречь, только дал-таки свое согласие похоронить внучку рядом с бабушкой. Позже, у гроба Настеньки, отец Василий вконец пооослабел волей и сотворил над несчастной разрешительную молитву, взяв таким образом Настенькин грех перед Господом за самовольный уход из жизни на себя.

После похорон главные поминальные события развернулись в доме тетки Галины. Заплаканные, зареванные, с красными глазами и опухшими лицами, усаживались женщины-бабы, прораб Пузырь, журналист Смирнов и другие приглашенные за поминальный стол. Хозяйка дома сидела под образами — со строгим прочерненным лицом. За все это время тетка Галина не проронила ни одного лишнего слова, ни слезинки не появилось в ее глазах — глубоких, с жутковатой цыганистой печалью. По одну сторону от нее расположился Степа, гармонь которого стояла под скамьей, по другую — отец Василий, звонарь Дмитрич и еще несколько неприметных деревенских старух.

В первые минуты слов за столом сказано было мало, выпито много. Из всех присутствующих один лишь отец Василий пригубливал рюмку, остальные пили до дна. Когда же поотпустило у всех душу и развязались понемногу языки, Степа отодвинулся от стола, достал из-под ног гармонь, забросил ремень за плечо и рванул меха «тальянки». Запел хрипло, с надрывом:

Настежь раскрыта знакомая дверь,
Скошена набок ограда-а.
Я возвратился, я дома теперь,
Большего счастья не нада-а...

От Степиной песни пахнуло на всех чем-то родным, близким, выстраданным. И в то же время далеким уже, полузабытым, как молодость. Старухи за столом пригорюнились, а Степа — беззубый, морщинистый — скрипел и скрипел теперь уже бесстрастным голосом, как некогда после войны пели в поездах нищие калеки-фронтовики:

Пусть оголенные стены стоят,
Пусть потемнел потолок,
Пусть ослепленные окна глядят,
Я не вернуться не мог...

И у городских женщин-баб, которые постарше, глаза заволокло слезами. Кто-то вспомнил Алевтину, которая лежит сейчас в больнице одна-одинешенька и даже с дочерью попрощаться не смогла. Кто-то всхлипывал, кто-то тихо плакал. Аннушка, весь день не сводившая глаз с журналиста, вдруг заревела в голос. Прораб Пузырь отодвинул миску с холодцом и прикрыл багровое лицо ладонями; Роман Александрович дико потряс головой над тарелкой, как бы отгоняя от себя все мелкое, наносное, пакостное.

Кончилась песня. Схлынула теплая, объединяющая всех волна, оставив в душе горечь вины и невосполнимой утраты.

— Прости меня, Алевтина,— громко проговорил Пузырь, обращаясь к наполненному стакану,— я один виноват в твоей беде. Я — Пузырь, сволочь! — И залпом опорожнил посудину. Не закусывая, добавил: — А тебе, девочка, земля пухом.

Допоздна продолжались поминки в доме тетки Галины. Как иногда бывает в подобных

случаях, поминальщики не рассчитали своих сил и перебрали. Вслед за прорабом Пузырем покаялся в вине перед Алевтиной и ее дочерью и журналист Смирнов. И принялся упрашивать отца Василия, чтобы тот отпустил ему грехи. Отец Василий напряженно и трезво молчал в ответ, журналист предложил ему выпить «на брудершафт». Отец Василий в достаточно резкой для сана форме отказался. Роман Александрович обиделся и потребовал от представителя Религии принести публичные извинения ему — представителю Прессы. Когда же отец Василий и это отказался сделать, журналист ринулся на него с выяснением. Но на пути Романа Александровича выросла жилистая рука Степы, поставленная на локоть среди закусок,— с предложением побороться. Журналист мигом согласился и, усевшись напротив Степы, сцепился с ним в борьбе. Но сколько ни ломал Роман Александрович мясистой рыжей пятерней загорелую лопату-кисть Степы, рука гармониста стояла на столе, не шелохнувшись, как железный крест в затвердевшем цементе.

— Ничья,— предложил журналист не без досады.

— Смотри, не балуй, етит твою мать,— предупредил Степа журналиста,— а то сделаю «чью», етит твою мать!

На какое-то время Роман Александрович притих, стушевался, сидел над тарелкой со скорбно опущенной головой. Но потом очередная рюмка взбодрила его, и он присоединил свой бас к хору женщин-баб, которые с вконец захмелевшим прорабом пели на мотив детской «Елочки»: «Мы сволочи, мы сволочи, под сволочью сидим...» Неожиданно журналист грохнул кулаком по столу и потребовал тишины. Поднявшись, Роман Александрович одернул пиджак и совершенно трезво объявил, что ежели теперь Перестройка и все будет по правде и совести, то он становится... христианином! Верующим! Ибо только в христианских заповедях видит спасение России и очищение ее от мировой скверны. Отныне эти заповеди становятся его незыблемым жизненным кредо, и он никогда не прикончит свою жизнь добровольно, как это сделала дочь Алевтины, а отдаст ее людям до конца. Но после смерти желает, чтобы его отпели в церкви. И лучше всего пускай его отпоют заранее, сейчас же, немедленно! Отец Василий не смеет отказать покаявшемуся грешнику, истинному патриоту России и святой Веры...

Отец Василий поднялся из-за стола, перекрестился на образа и, поклонившись хозяйке, направился к двери. Роман Александрович пытался поймать его за подол рясы и задержать. Но на журналиста навалились Степа, Мария Филипповна и Аннушка. Роман Александрович взревел, как бык, и принялся метаться по горнице, опрокидывая скамьи и стулья, таская висящих на нем из угла в угол и остервенело выкрикивая:

— Не возьмешь!

С помощью остальных женщин-баб журналиста удалось остановить, свалить, а потом и прижать к полу. Затем скопом, не без труда, Романа Александровича выволокли на улицу, на крыльцо под ветерок. И так оставили сидеть, притихшего.

Остудившись, журналист самостоятельно вернулся в дом и громогласно заявил, что рабское свое газетно-гонорарное существование заканчивает. Завтра же уходит из редакции и уезжает в город своей юности Сланцы. Спустится в свою родную шахту и станет в ней... выращивать шампиньоны! Организует кооператив «Грибы»! Завалит прилавки магазинов шампиньонами, а себя и своих работников — деньгами. И тут же сделал предложение всем желающим вступить в его организацию и выпить за это начинание...

Утихомирились поминки в доме тетки Галины далеко за полночь.

Городские вконец утомились с неугомонным своим журналистом и, впихнув его в баню, расположились по-вчерашнему на ночлег. В отличие от прошедшей ночи, Роман Александрович, возбужденный похоронами, никак не хотел засыпать и все пытался затеять игрища. Уже под утро, когда все спали, он нащупал неподалеку от себя пышный бок Марии Филипповны и попытался склонить ее, как позднее выразилась сама Мария Филипповна, «к тихому сожительству». Бригадир маляров силой отвергла предложение журналиста, а когда тот принялся энергично настаивать, кликнула на подмогу подруг. И представитель прессы, порядком уже поднадоевший рабочему коллективу, был женщинами-бабами в бане в достаточной степени избит. Пузырь в это время спал и ничем не мог помочь приятелю. На счастье Романа Александровича, били его маляры босыми ногами, однако, как в подобных случаях бывает у женщин всех времен и народов, норовили попасть охальнику в самое чувствительное место. Особенно усердствовала молодая Аннушка, стараясь ударить журналиста не только носком, но и уязвить твердой, как деревянная ступа, пяткой.

Когда же охальник получил свое от женщин сполна, кто-то распахнул дверь бани настежь, и светлая лунная ночь ворвалась в темень. Распухшими голубыми лицами похожие на мертвецов, смотрели женщины друг на друга, и в бане стоила гробовая тишина.

— Господи, бабы,— прошептала Мария Филипповна,— чего ж мы с Алькой-то сотворили... Как она теперь одна-то жить будет?

Журналист Смирнов на полу вдруг громко всхлипнул. На него цыкнули.

ГЛАВА 12

«Поразив землю проклятием, повелев ей произращать терния и волчцы, осудив человека на труд в поте лица — бедствиями нашего земного существовании, Он воспитывает нас для Неба, возвращает к Себе, а смерть, полагая конец всем земным мечтам и сокрушая окончательно всякую гордыню, отверзает нам дверь к утраченному нами блаженству».

(Из творений святителя Феофана)

«Наша страна дружбой сильна».
(Советская пословица)

«Старые пророки вымерли, а новые правды не сказывают».
(Русская пословица)

* * *

Первое время после смерти Настеньки Алевтина жила с ощущением того, что ей осталось пребывать на этом свете считанные дни. Чувство это было настолько сильным и реальным, что помогало ей переносить горе и оставаться, по крайней мере внешне, достаточно спокойной для стороннего взгляда. Пожилого лечащего врача Алевтины такое состояние пациентки несколько настораживало, а вот медсестры и особенно нянечки относились к ней с едва прикрытой неприязнью.

— Экая корова,— ворчала в коридоре старейшая нянечка больницы тетя Нюша,— дочка в петле закрутилась, а с нее как с гуся вода. Хоть бы слезинку уронила.

— Зря ты так, тетя Нюша,— возразила соседка Алевтины по палате,— знаешь ведь: сотрясение у нее. Как ни проснусь ночью — у нее глаза открытые. У человека мозги с места стронуты, а ты...

— Совесть у таких родителей стронутая, а не мозги,— не унималась нянечка,— насмотрелась я на них, уж знаю.

На третий день в больнице Алевтина впервые подала голос:

— Девочка,— позвала она молоденькую медсестру и указала глазами на форточку, на которой висела трясогузка и стучала клювом в стекло,— открой. Дочкина душа прилетела попрощаться.

Медсестра распахнула форточку, и — о чудо! — трясогузка влетела в палату и, покружив под потолком, на глазах изумленной сестры и палатных опустилась на грудь недвижимо лежащей Алевтины. Некоторое время сидела, подрагивая хвостиком и посматривая на Алевтину то правым глазом, то левым, потом вспорхнула и стремительно вылетела в окно.

— Прощай, Настенька,— прошептала Алевтина, закрывая глаза. И, почти тотчас же, впервые за трое суток, забылась в глубоком тяжелом сне.

Первых посетителей пустили к Алевтине лишь на двадцатый день. Бригада маляров с прорабом Пузырем тихо ввалилась в палату в белых халатах и молча расселась вокруг Алевтининой кровати.

— Как ты, Аля? — спросила Мария Филипповна, не зная, с чего начать.

— Я — хорошо,— ответила Алевтина и, помолчав, добавила: — А вы?

И вдруг все женщины-бабы, словно по команде, уткнулись головами в Алевтинину постель и заревели в голос. Лишь прораб не поддался общему порыву и, мужественно глядя в глаза Алевтине, проговорил:

— Прости нас, Алевтина, не казни. Не умеем мы еще жить по-человечески, единой семьей. И откуда в нас такое берется?

— Вы-то тут при чем? — тихо отозвалась Алевтина.— Спасибо, что не забыли...

Через неделю бригада вновь навестила ее, но уже без прораба. Посидели натуженно с разговорами, а когда стали прощаться, Аннушка, задержавшись возле кровати Алевтины, шепнула:

— Рыжий этот, из редакции — Смирнов... Хочет с тобой встретиться, ему газета насчет Насти написать что-то наказала. Просил узнать: можно к тебе прийти?

— Пускай приходит,— подумав, ответила Алевтина.

Роман Александрович не заставил себя долго ждать и уже на следующий день (не приемный для обычных посетителей) сидел с Алевтиной в коридоре в укромном уголке.

— Сама понимаешь, Алечка, газета есть газета.— Роман Александрович нащупывал в кармане включатель портативного немецкого диктофона, приобретенного им недавно в комиссионном магазине.— Имею задание — обязан написать. Не я, так другому поручат. Но если ты возражаешь?..

— Не возражаю.

Роман Александрович поймал пальцем кнопку «включено» и как бы невзначай приподнял в нагрудном кармане микрофон, сработанный под обычную авторучку, продолжил:

— Хочу взять у тебя интервью.

— Возьми, Рома. Бери все, что хочешь. Могу даже квартиру отдать. Нет, я серьезно, Роман Александрович!

— Понимаю, Алечка, все понимаю. Я не тот человек, которого ты хотела бы видеть сейчас возле себя.

— Мне бы никого не видеть...

— Это потому, что «того» человека в природе просто не существует. Все мы живые люди, со своими достоинствами и недостатками. Увы, я не лучше других. Но и не хуже. Ты убедилась в этом, наверное, на «своем» обкомовском. Чем он лучше меня?.. Хорошо, хорошо, не буду! Извини. Так, к слову вырвалось.

Алевтина разговаривала с журналистом, и какой-то страх будоражил ее, заставлял вести эту ненужную, никчемную для нее беседу. Казалось бы: что может испугать или взволновать ее сейчас, когда не стало Настеньки? Но... этот человек будет перемывать в газете косточки ее дочери, и Алевтина прекрасно знала, что писанину его ей ничем не остановить, даже ценой собственной жизни. Разве сможет она доказать кому-то, что этого делать нельзя, что такое — не по-людски, святотатство. Ее распяли в газете, а теперь вот и дочь наметили... У кого просить защиты? Опять к Кислову идти?

— Ладно, Рома,— прервала Алевтина журналиста,— чего тебе от меня еще надо? Спрашивай.

— Всего несколько вопросов, Алечка.— Роман Александрович нажал кнопку диктофона.— Первое. Кто, по-твоему, виноват в случившемся? Общество, школа, конкретное лицо?

— Ты вправду напишешь, как я скажу?

— Слово в слово, клянусь честью! Даже если ты скажешь, что виновник трагедии и.

— Тогда так... Во всем одна моя вина, я и ответчица. Запомни это, Рома, и напиши. Все остальное — стена, о которую только и можно, что биться головой. Но разве может быть в чем-то виновата стена?! — закричала вдруг Алевтина и вцепилась пальцами в грудь журналиста.— В чем можно упрекнуть стену, Рома!

Не без труда оторвал Роман Александрович пальцы Алевтины от своей шеи и, как мог, успокоил женщину. И больше ее ни о чем не спрашивал. Признание Алевтиной своей вины, зафиксированное на диктофоне, развязывало ему руки и давало простор творческой журналистской фантазии. По своему опыту Роман Александрович уже предчувствовал, что материал о самоубийстве школьницы, который с таким нетерпением ждут читатели, получится у него отменным.

Прощаясь, журналист еще раз заверил Алевтину в том, что отнесется к ее словам со всей ответственностью, и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу.

— Совсем забыл! Что-то насчет квартиры упоминала? Может, поменять хочешь? Чтобы прошлое не давило? Могу помочь. У напарницы твоей, Аннушки, есть на примете равноценная в центре возле универмага. Подумай. Надумаешь, пиши заявление, я в горисполкоме от имени редакции в лепешку разобьюсь, а это дело в темпе проверну. Выйдешь из больницы в новую квартиру. И вещи с Аннушкой мы перебросим. Ты только ключи нам оставь...

И еще один человек навестил Алевтину в больнице, которого она менее всего ожидала увидеть,— управляющий трестом Чуев. Он ввалился в палату, кряжистый, квадратный; белый халат, накинутый на плечи, едва прикрывал ему спину. Лицо управляющего горело кирпичным румянцем, и был он явно навеселе. Чуев громко поздоровался с палатой (ему никто не ответил), уселся возле Алевтины на стул и принялся шумно запихивать в ее тумбочку кульки и пакеты. Окончив это занятие, он посмотрел на Алевтину, вздохнул, проговорил, понизив голос:

— А что делать, Захарова? Надо жить...

После этих слов Чуев достал из внутреннего кармана пиджака небольшую плоскую бутылку коньяка и, отвинтив пробку, на виду любопытствующей палаты сделал глоток. Спрятал бутылку в карман, пояснил:

— У меня, Захарова, сегодня годовщина Игорьку, внуку... Да! Я из ранних. В семнадцать лет уже сына имел. Мог бы и правнук сейчас быть. Да. Не хотел внук в артиллерийском училище учиться, отец настоял, сын мой, значит. Полковник, в штабе округа служит. После выпуска из училища Игорьку и посодействовал в Афганистан. Чтобы потом, значит, «зеленая улица» по службе была и в академию. Через три месяца Игорек из Афганистана на «черном тюльпане» прилетел. Да. Когда хоронили его в Ленинграде, сын потребовал вскрыть гроб. Вскрыли. Две пули у мальчишки в виске — снайпер вложил. Да, Захарова, надо жить...

Чуев вновь достал из кармана бутылку, сделал глоток. Предложил Алевтине:

— Примешь?

— Нельзя ей,— раздался с соседней койки женский голосок,— у нее мозги сдвинутые.

— У всех нас мозги сдвинутые,— сурово возразил Чуев.— Прими, Захарова! Помянем наших ребят.

Алевтина приняла протянутую бутылку. Не поднимая головы от подушки, поднесла горлышко к губам и одним глотком опорожнила посудину. Помолчала, не отрывая глаз от бронзового лица Чуева, и тихо спросила:

— Родители-то как? Сын ваш, невестка?..

— Сын поначалу плох был, о Татьяне и не говорю. Офицеры у них на квартире круглосуточное дежурство установили, боялись, как бы чего не сотворили над собой. Сын через год отошел. Папаху получил, должность теперь высокая и кабинет на Дворцовой. Дома редко бывает, все служба.

— А мать?

— Невестка так и не разогнулась. Три года сегодня, как нет Игорька, все выходные у него на могиле. В старуху превратилась. Сын на днях позвонил мне...— Чуев замолчал и с сожалением посмотрел на пустую бутылку.— Сообщил новость: уходит от Татьяны и что новая его уже беременна.

— Ой! — ахнула вдруг палата.— Господи!!!

— Да,— проговорил Чуев, обращаясь теперь уже к палате,— жизнь есть жизнь! Куда от нее денешься? Сказал ему, чтобы, сукин сын, все Татьяне оставил — и квартиру, и обстановку, и деньги все. Чтобы только папаху свою забрал и чемодан! Сегодня вот Игорька поминаю и нового внука жду. А ты, Захарова,— Чуев повернулся к Алевтине,— еще молодая, еще нарожаешь. Я недавно в Ленинграде этого встретил... Пантюхова. О тебе спрашивал...

Неизвестно что — рассказ Чуева о внуке, выпитый коньяк или упоминание о Вениамине Тимофеевиче — разбудили-таки Алевтину, всколыхнули, привели в себя. Очнулась. Чувство, что жить ей осталось всего ничего и скоро в путь за Настенькой, исчезло, и Алевтина впервые подумала о том, что никуда ей от белого света не деться, никуда не спрятаться. Вот только Настеньки никогда не будет рядом (в том лишь ее, матери, вина). Кто, как не мать, виноват, если из гнезда выпадает птенец-несмышленыш и погибает?

Чуев ушел. Алевтина, завернувшись с головой в одеяло, билась на койке. Палатные соседи лежали молча и смотрели в потолок, на котором мельтешили вечерние уличные огни. Изредка приоткрывалась обшарпанная белая дверь, и в щель просовывалось сморщенное личико нянечки тети Нюши. Старуха вслушивалась в глухие стоны Алевтины, щурилась, беззвучно шевелила черным ртом-гузкой и удовлетворенно покачивала головой.

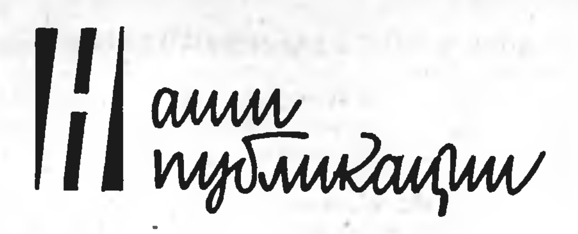
* * *

«Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской».

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Верь, и вера спасет тебя».

(Из Евангелия)



ГЛЕБ СЕМЕНОВ

Имя Глеба Семенова (1918—1982) в представлении не нуждается, тем более — в Ленинграде, в ленинградском журнале. Нуждаются в некотором комментарии его творчество и его судьба.

Глеб Семенов — потомственный петербургский интеллигент. Вырос в семье писателя Сергея Александровича Семенова, очень знаменитого в 20—30 годы, погибшего на Великой Отечественной войне. Печататься Глеб Семенов начал перед самой войной: в 1940 году появилась подборка его лирических стихов в журнале «Звезда». Стихи были замечены. Затем — война, блокада, эвакуация. На фронт Глеб Семенов не попал, он был признан непригодным (перед самой войной — тяжелейшее заболевание, которое поставило в тупик врачей, но которое впоследствии прошло почти бесследно). Однако это драматическое обстоятельство вышибло Глеба Семенова из его «военного» поколения. И он принадлежит скорее *нашему* поколению — его учеников, «перегоревших шестидесятников», как о нас теперь говорят...

В эвакуации он много писал, эти публикации стали основанием для приема в Союз писателей (1944).

После войны Глеб Семенов выпускает первую книгу лирических стихов «Свет в окнах», подчеркиваю — лирических, хотя на дворе стоял 1947 год. Последовали отрицательные рецензии, обвинения в аполитичности. Именно тогда начинается и его преподавательская деятельность — руководителя ЛИТО, которую он оставил лишь за месяц до своей смерти (исключим те периоды, когда его «отставляли» от преподавания). Его учениками называют себя добрая половина всех пишущих в Ленинграде, начиная с нынешнего секретаря Владимира Арро, а также некоторые москвичи и даже распыленные по России и по остальному миру бывшие «солдаты и офицеры глеб-гвардии Семеновского полка». Некоторые из них не «вышли в писатели», но ЛИТО запомнили на всю жизнь.

Каждого мыслящего писателя когда-нибудь настигает кризис, особо везучих — не один раз. Кризис поэта Глеба Семенова был длительным (1949—1954 годы), мучительным, но и целительным: он вышел из него с честью, обновленным, с выстраданным мировоззрением, писал впоследствии много, чем дальше, тем все острее и беспощаднее. Очень мало печатался. Только узкий круг друзей и учеников знал его стихи. Три тоненькие книжки лирики: «Отпуск в сентябре» (1964) (после двенадцатилетнего перерыва!), «Сосны» (1972), «Стихотворения» (1979). После смерти поэта — «Прощание с садом» (1986). Каждая книга проходила с неимоверным трудом и огромными потерями. Большая же часть стихов осталась ненапечатанной и только сейчас постепенно проникает в журналы.

В 60-х годах у Глеба Семенова, потерявшего надежду напечататься, появляется потребность собрать свои стихи в книги — так, как он бы хотел их издать, если бы это было возможно. Так появились в его рукописях одиннадцать тщательно обработанных книг, каждой из которых было дано название. При этом Глеб Семенов разобрал свои старые тетради, без сожаления расстался с большей половиной стихов, кое-где исправил юношеские огрехи, кое-что даже дописал, точнее — дописывал, опираясь на черновики, погружаясь снова в ушедшее время, опровергая истину, что дважды нельзя войти в один и тот же поток. Это был беспрецедентный труд, насколько я понимаю. Параллельно рождались новые стихи и складывались новые книги, которые теперь ждут своего часа.

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ» (1941—1942)

МАРШИ

Маршами гремело радио,
город маршами загажен.
Нас победно лихорадило:
мы себя еще покажем!

Есть солдаты у Германии —
у России есть герои!

Марши голову дурманили
в дни большой народной крови.

Мы родились комсомольцами,
членские рубли вносили,—
пригодились добровольцами,
чтобы стать землей России...

ЛОЗУНГ

На пальто моем подпалина —
с зажигалками вчера
в бой «За Родину! За Сталина!»
я вступил среди двора.

Вдрызг пальто мое засалено —
под обстрелом на ходу
я «За Родину! За Сталина!»
проливал свою еду.

Любовался на развалины
и в пальто своем дрожал,
но «За Родину! За Сталина!»
насмерть очередь держал.

Вот иду сейчас по городу,
и судьба моя проста:
даже сдохну если с голоду,
то «За Родину! За Ста...»

ИЗ КНИГИ «ПРОХОЖИЙ» (1945—1949)

ЛБОМ В СТЕКЛО

Чей-то шаг нелюдимый,
перестук костиной.
Я надеюсь, что мимо,
не ко мне, не за мной.
И следы заметай
(друга или врага),
как песцовая стая,
юрк панелью пурга,
вьюга за угол ближний
на ночь глядючи — юрк...
Город, город, ты лишний
в этой лихости пург!
Да и ты, брат прохожий,
да и я у окна...

На весь мир, видно, божий
нелюдимость одна!

СВЕТ В ОКНАХ

По окнам различаются дома.
Вот голубой, вот розовый уют.
Где молятся, где плачут, где поют,
где хлеб жуют, где карты раздают,
где выживают из ума.

Старухи руки в боки. Старики
с подтяжками свисающими. Дети,
которых водружают на горшки.—

Бесхитростные кинокадры эти
о людях повествуют по-людски.

Ну что придумаешь честней
раскрытых настежь окон, их теней
и отсветов! — Поверх толпы понурой
слежу — как скрытой камерой — за ней,
за жизнью, не порезанной цензурой.

ИЗ КНИГИ «ОСТАНОВИСЬ В ПОТОКЕ» (1960—1980)

* * *

Вот рифмач,
возомнивший,
что он не рифмач,
но поэт.

Вот ловкач,
возвестивший,
что он не ловкач,
но артист.

Вот палач,
убедивший,
что он не палач,
но герой.

Вот стукач,
не простивший,
что он лишь стукач.

* * *

Долго ль мне гулять на свете...
Пушкин

Где он ходит, мой предатель?
Кто предаст меня и как?
Перетрусит ли приятель?
Расхрабрится ли дурак?

Иль — миляга-парень с виду,
пухлощек и яснолик —
утолит свою обиду
возомнивший ученик?

Иль привыкший, словно плотник
(план есть план, е... мать!),
тридцать сребреников потных
дважды в месяц пропивать? —

На орла гадать и решку,
за какие сел грехи.
Не за ту ли за усмешку?
Не за эти ли стихи?

Не увижу больше сына...
Ландышей не принесу...
Плачет верная осина
о гуляющем в лесу!

СИДЯ В СТОРОНЕ

Когда галдят застолицы кругом,
а я молчу (на языке другом),—
какие вдруг проскакивают искры
любой квартиры наискось, что мне
полумгновенным этот век небыстрый
мерещится?! —Сидящий в стороне,
я словно бы смотрю сюда — оттуда:
беззвучны рты и не бренчит посуда,
нет повода врага считать врагом
и друга числить другом — как на фото,
где ни души знакомых...
А кругом —
в ушах першит, настолько криворото
застольное витийство:
...охренеть...
...без мыла влез... ...работа не медведь...
...что я имею с этого... ...на пушку
берешь... ...кондрашка стукнула... не будь
ты тряпкой... ...псу под хвост...
...на всю катушку...
в рот пальца не клади...
(Не продохнуть!)
...в копейку встанет... ...в гроб вгоню...
...как в воду
глядел...—
Самодовольней год от году
на малогабаритном языке
себя умеют высказать! —
Сквозь время,
поверх добра и зла — накоротке —
проскакивает искра: озаренье
слепит, подобно божьему бичу...
...Смотрю сюда оттуда —
и молчу.

АВТОПОРТРЕТ

Неужели вон тот — это я?
Ходасевич

А и, наверное, смешон,—
ты не находишь? —
Я как будто
среди одетых нагишом
и босиком среди обутых,
и холодно, и стыдно мне,
а я ничуть не озабочен,
чтоб отвернуть лицо к стене
от неминуемых пощечин.

Пусть на меня еще никто
не показал, но то-то смеху,
что я не просто без пальто,
не застегнуть забыл прореху,
не спьяну попугать горбом
решил,— а даже вроде нáзло
не утыкаюсь в стену лбом,
как бы подлить желая масла.

С высокомерием шута,
в богоизбранничестве неком —
держу усмешку возле рта
вполоборота перед веком
и, неудачник средних лет,
подозреваю, что, быть может,
одет ли я или раздет,
так никого и не встревожит.

Вступительная статья и публикация
Елены Кумпан

К 100-летию Осипа Мандельштама



ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ В ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ И МАТЕРИАЛАХ АРХИВА П. Н. ЛУКНИЦКОГО

Имя Павла Николаевича Лукницкого (1900—1973), биографа Н. С. Гумилеаа, позднее — писателя, хорошо известно отечественному и зарубежному читателю. Записи из его дневника и материалы его архива — ценный источник для комментаторов творчества и биографии Н. С. Гумилеаа, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама — публиковались в последние годы многократно. Они использованы в сборниках стихов Гумилева, книгах жены писателя В. К. Лукницкой, большие подборки из них печатались в журналах «Наше наследие» и «Вестник русского христианского движения». Для настоящей публикации выбраны записи дневника, где встречается имя О. Э. Мандельштама,— в том числе и не печатавшиеся ранее, а также автографы поэта из архиаа П. Н. Лукницкого.

Сокращения в тексте дневников раскрыты без обозначения, кроме инициалов. Из них А. А. относится к Ахматовой, О. Э.— Мандельштаму, Н. С.— Гумилеву, Н. Н.— Пунину, Н. Я.— Н. Я. Мандельштам.

1924 ГОД

8 декабря. С утра до 6 часов работал во «Всемирной Литературе». В 6 пришел домой, поработал еще 2 часа. Устал, разболелась голова. Решил пойти куда-нибудь за материалами. Позвонил О. Мандельштаму — не оказалось дома, Чуковскому — тоже. 〈...〉

22 декабря. Понедельник. Был у И. Буниной и А. Шварца — расспрашивал их о постановке «Гондлы» в Ростове. В 8 часов вечера — у О. Э. Мандельштама. Это — вторая встреча с ним. Некрасивая, тихая жена Надежда Яковлевна — невыразительные глаза. Кажется — милая. С ней — о живописи, о полотне, о красках. Скоро пришел О. Э.— «Простите, заставил вас ждать. Хотя я, кажется, не опоздал». Зовет обедать. Сажусь к столу, но от обеда отказываюсь. Он говорит с набитым рисом и курицей ртом.

От круглого стола — в другую комнату. Вот она: узкая, маленькая, по длине — 2 окна (в квартире Марадудиных — Морская, 49, кв. 4). От двери направо в углу — печь. По правой стене — диван, на диване — одеяло, на одеяле — подушка. У печки висят, кажется, рубашка и подштанники. От дивана, по поперечной стенке — стол. На нем лампа с зеленым абажуром и больше ничего. На противоположной стене — между окон — род шкафа с множеством ящичков. Кресло. Все. Все чисто и хорошо, смущают только подштанники. Я — за столом. О. Э.— на диване, полулежа. (Потом от разговора принял сидячее положение.) Чрезвычайно любезен, предупредителен. Излишествует, говоря «приятности». Рассказывает об «Антологии Античной Глупости», не жалеет себя, охотно рисуя себя в юмористическом виде. Типичное заключение каждого утверждения — «Не правда ли? Так?» — звучит как-то жалобно, скороговоркой, словно его сейчас упрекнут: «Не так», словно не уверен в сочувствии собеседника. К моей работе выказывает большой интерес. Готовность — позвонить, пойти со мной куда нужно. Простота в обращении — пожалуй, напускная. Жена сидит у печки, в полутьме. Время от времени тихим голосом дополняет сообщения, даваемые мне.

Впечатление от посещения Мандельштама — хорошее, приятное.

Из «Антологии Античной Глупости»

Баллада Г. Иванова

Однажды под сенью маститых дубов
По желтым, опавшим листам,
Сошлись: знаменитый поэт Гумилев
И юный грузин Мандельштам...*
Припев: Легче камень поднять, чем вымолвить слово «любить».

(Припев построен на досадной ослышке музы О. Мандельштама, в одном из устных вариантов; теперь читается: «имя твое повторить». Гумилев говорил, что это «вымолвить слоао любить» — сказано по-негритянски.) Дальше:

А утром нашли на пустой мостовой
Безумно-ответный вопрос:
Из чистого золота зуб штифтовой,
Вонзенный в откушенный нос **[1].

Баллада и примечания к ней сообщены мне О. Мандельштамом 22 декабри 1924. При этом О. М., показав мне свой золотой аерхний передний зуб, добавил: «Вот видите, он и сейчас существует».

Эпиграмма Г. Иванова — на О. Н. Арбенину

В Испании два друга меж собой
Заспорили — кому владеть арбой.
До кулаков дошло: приятелю приятель
Кричит: «Мошенник, вор, предатель!» ***

(пропуск — одна или две строки)

Но в темноте, во время перипетий,****
Юрк...— и арбу увез испанец третий.
Теперь, как об арбе не ной,
В арбе катается другой [2].

«Сказку о Золотой Свинке» Н. Гумилев читал О. Мандельштаму в морском автомобиле Паалова [3], во дворе Смольного, куда Павлов завез, обещая достать спирт. Спирта он, конечно, не достал, а мы (Н. Г. и О. М.), чтоб занять время, вот занялись «Сказкой». Читал на память. (〈Сообщил〉 О. Мандельштам 22/XII 24.)

Эта Анна есть Иванна,
Дом Искусства человек —
Оттого, что в Дом Искусства
Можно ванну принимать.
(Осип Мандельштам) [4]

Об афоризмах («Античной Глупости»):

А. А.: «Они назывались транхопсами. Нет, транхопсы это не то; это другое... Это шуточные стихи, которые сочиняли вместе. А Антология Глупости — это...»

Я читаю ей афоризмы, записанные у меня в дневнике. Читаю переделку Г. Ивановым «Венецейской жизни» О. Мандельштама. А. А. слушает, улыбаясь, и роняет: «Какой нахал-мальчишка!»

А. А: «В „Бродячей собаке“ была написана пьеса „Изгнание из Раи“. В ней принимали участие Потемкин, Зенкевич, Лозинский и Н. С.».

1912. Пьеса «Изгнание из Рая» была написана (и тут же разыграна) по случаю дня Ангела М. А. Кузмина (О. Э. Мандельштам).

О Вольфсоне [5]:

О. Э.: «Это неприятный человек...»

Я: «О „Колчане“, вышедшем за границей (у Блоха) [6]. В один прекрасный день и вы можете увидеть незнакомую вам книжку ваших стихов...»

О. Э.: «Я уже услышал: „Tristia“. Я принял некоторые меры, чтоб она не переиздаалась, но не знаю, что выйдет из этого».

О. Э.— возмущен Блохом.

1925 ГОД

4 января. Читает ему составленный сегодня список [7]: «Таким образом, я отвожу Нарбута и Ларису Рейснер. Вы согласны со мной?» Михаил Леонидович: «Нарбут? Нет, отчего?.. Я от Мандельштама слышал о нем, и то, что слышал, почтенно. Это очень странный человек — без руки, без ноги,— но это искренний человек...» [8]

22 января. Когда я читал А. А. воспоминания Мандельштама о Гумилеве, А. А. сказала мне: «Вы смело можете не читать, если что-нибудь обо мне. Я вовсе не хочу быть вашей цензурой. Гораздо лучше, если вы будете иметь разносторонние мнения». 〈...〉

30 января. О. Мандельштам о В. К. Шилейко: «Шилейко для нас был той же бездной, какой для символистов (?) был Хлебников».

27 февраля. 〈...〉 Было время, когда О. Мандельштам сильно ухаживал за нею. 〈...〉

Одно время О. М. часто ездил с ней на извозчиках. А. А. сказала, что нужно меньше ездить во избежание сплетен. «Если

---

* Стихотворение относится к эпохе возвращения О. Мандельштама из Грузии. *(Здесь и далее звездочками обозначены примечания П. Лукницкого.)*

** К «зубу» — сноска Н. Гумилева:
«Пепли плечо и молчи —
Вот твой удел, Златозуб».
Отсюда же: «И Блок лединой...» и т. д.

*** Обвинение в литературном предательстве было одним вз излюбленных обвинений Мандельштаму. Гумилев говорил: «Прирожденный предатель» (конечно, в шуточном смысле).

**** Перипе́тий — выражение из научно-музыкальных докладов критика Е. М. Браудо.

Текст эпиграмм и примечания сообщены мне О. Маидельштамом 22 декабря 1924 года.

б всякому другому сказать такую фразу, он бы ясно понял, что не нравится женщине... Ведь если человек хоть немного нравится, он не посчитается ни с какими разговорами, а Мандельштам поверил мне прямо, что это так и есть...»[9]

3 марта. Я спросил, как она относится к стихотворению О. Мандельштама «Мороженно...». Ответила: «Терпеть не могу! У Осипа есть несколько таких невозможных стихотворений». Не любит еще стихотворение о галльском петухе и гербах всех стран (из «Tristia»)[10]. «Золотистого меду струя» — прекрасное стихотворение.

19 марта. Разговор о Мандельштаме, который был недавно у А. А., и о Н. Я., которая больна так же, как и А. А.[11]. А. А. передает некоторые остроты О. М.

20 марта. ⟨Ахматова:⟩ «Осип очень нежно к вам относится... Очень... Он заговорил со мной о вас — хотел нащупать почву, как я к вам отношусь. Я расхвалила вашу работу, но сказала: „Знаете, мы все в его годы гораздо старше были". Понимаете, для чего сказала? Он как-то очень охотно с этим согласился. Я говорю вам это так, чтобы вы знали... На всякий случай. Мандельштам хочет, чтобы вы стали нашим общим биографом... Конечно, иногда вам придется говорить и не только о Николае Степановиче — просто для освещения эпохи... Но не будьте нашим общим биографом!..»

21 марта. «Невозможно!» О. Мандельштам.

Март-апрель. Входит О. Э.: «Голлербах тащит к себе, что делать?» А. А., тоном обреченности: «Вас поведут!»

О. Э., шутит: «Почему такой фатализм! Такая покорность судьбе!»

Через несколько минут, А. А.: «А Надежде Яковлевне не вредно выходить на улицу в такое время?» (Уже часов 5—6 вечера).

О. Э., лукаво радуясь: «Вы... Вы мне даете мысль... Спасибо, я теперь уже знаю, что мне делать!..» Уходит. Мы продолжаем разговор.

А. А.: «Мандельштам сегодня утром пошел за папиросами и купил „Прожектор" (журнал). Пришел и сказал: „Я хотел развлечься, купил „Прожектор", а там меня ругают!"». Шутит по этому поводу.

2 апреля. А. А.— решено окончательно — едет завтра, в пятницу, 3-го апреля. Повезет ее Н. Н. Пунин. Комната снята — в пансионе на Московской улице, дом 1 — в близком соседстве с Мандельштамами...

А. А. рассказывает: «Все люди, окружавшие Николая Степановича, были им к чему-то предназначены... Например, О. Мандельштам должен был написать поэтику, А. С. Сверчкова[12] — детские сказки (она их писала и так, но Николай Степанович еще утверждал ее в этом)». А. А. Николай Степанович назначил писать прозу. ⟨...⟩

5 апреля. ⟨...⟩ В 10 $^{1}/_{2}$ часов иду к Пунину, беру у него письмо А. А. и пакет для нее. Еду на вокзал. С поездом 11. 30 отправляюсь в Царское Село, к А. А. Ахматовой. В 12 приезжаю, иду в пансион (А. А. поместилась в пансионе на Московской ул., д. 1). Поднимаюсь по лестнице — в столовой замечаю О. Э. Мандельштама и Над. Яковлевну. Завтракают. Удивлены моим приездом. О. Э., сказав, что А. А. еще не встала, тащит меня к себе.

Мандельштамы приехали сюда дней 10 назад, живут в большой светлой белой комнате. День сегодня — чудесный, и комната дышит радостью и прозрачными лучами солнца. Обстановка — мягкий диван, мягкие кресла, зеркальный шкаф; на широкой постели и на круглом столе, как белые листья,— рукописи О. Э. Я замечаю это, а О. Э. улыбается — «Да, здесь недостаток в плоскостях!..»

А. А. живет в соседней комнате. Минут через 15—20 Над. Як. идет за ней — они условились сегодня пойти утром на веранду и полежать на солнце. Возвращается вместе с А. А.; в таком освещении, в такой радости ослепительно белых стен — А. А. кажется еще стройней, еще царственней. Приветливо здоровается со мной и с Ос. Эмильевичем; стоит прямая, с глазами — грустными как всегда, глубокими и мягкими, как серый бархат. В руках — плед; уходят с Над. Яковлевной. Я остаюсь с О. Э. Он вдавливается, как птенец в гнездо, в глубокий диван. Я — сажусь в кресло, с другой стороны стола, прижатого к дивану. Через 15 минут А. А. и Н. Я. возвращаются, но за эти 15 минут О. Э. рассказал, как они живут здесь, как здесь хорошо — что прожить здесь они рассчитывают долго, а отсюда, вероятно, поедут в Крым.

Я: «Как было бы хорошо, если б А. А. тоже поехала на юг!.. Ее здоровье просит юга, но сама она, кажется, не хочет ехать...»

О. Э.: «Да, А. А. необходимо поехать на юг... Я думаю, она не будет противиться такой поездке. Здесь она стала покорнее!..»

О. Э. вспоминает свои разговоры с А. А. о Н. С.

О. Э.: «Вот я вспомнил — мы говорили о Франсе с Анной Андреевной... Гумилев сказал: „Я горжусь тем, что живу в одно время с Анатолем Франсом" — и попутно очень умеренно отозвался о Стендале...»

О. Э.: «Это очень смешно выходит — что в одной фразе Н. С. говорит об Ан. Франсе и о Стендале... Я не помню повода, почему Н. С. заговорил о Стендале,— но помню, что повод к такому переходу был случайным».

О. Э.: «В словах Н. С. „Я трус" А. А. очень хорошо показала: „В сущности — это высшее кокетство..." А. А. какие-то интонации воспроизвела, которые придали ее словам особенную несомненность...»

О. Э.: «Ник. Степ. говорил о „физической храбрости". Он говорил о том, что иногда самые храбрые люди по характеру, по душевному складу бывают лишены физической храбрости... Например, во время разведки валится с седла человек — заведомо благородный, который до конца пройдет и все что нужно сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла... Мне думается, что он (Н. С.) был наделен физической храбростью. Я думаю. Но, может быть, это было не до конца, может быть, это — темное место, потому что слишком уж он горячо говорил об этом...»

Может быть, он сомневался...

О. Э.: «К характеристике друзей он говорил: „У тебя, Осип, пафос ласковости!" — понятно это или нет? Неужели понятно? — Даже страшно!»

А. А. и Н. Я. возвратились. ⟨...⟩ Эти 15 минут доставили им удовольствие большое, но утомили их. А. А. идет к себе в комнату, приглашает меня через несколько минут зайти. О. Э. сообщает, что скоро будет издаваться новая книжка его стихов — вернее, не новая книжка, а старая, новым дополненным изданием.

Я: «А как будет называться она?»

О. Э.: «Боюсь, надо будет придумывать новое название, чтоб затушевать переиздание, в Госиздате».

О. Э. открывает шкаф и достает только что вышедшую книгу его: «Шум времени». Ему не нравится обложка: ему кажется странным видеть на обложке название «Шум времени», и тут же внизу — «Изд. „Время"». Ему не нравится бумага... А о содержании этой книжки О. Э. говорит, что он стыдится его (потом, когда он при А. А. сказал то же самое, А. А. возразила ему очень решительно, что ему не следует бранить себя и что не надо такой ложной скромности). О. Э., на том основании, что книжка эта его не удовлетворяет, до сих пор не подарил ее и даже не дал для прочтения Анне Андреевне. Мне он все-таки (после моих приставаний) дарит эту книжку и надписывает (но надписывает уже вечером, прощаясь со мной). Надпись — такая: «Павлу Николаевичу Лукницкому в знак искреннего уваженья. Детское Село 5/IV/25 О. Мандельштам».

Возвращаясь с веранды, А. А. и Н. Я. застали нас за таким занятием: я — читал из своего литературного дневника выдержку, касающуюся разговора О. Э. с Е. И. Замятиным у ворот «Всемирной Литературы», а О. Э. громко смеялся, причем весь вид его вполне совпадал с видом птенца, высунувшего из гнезда голову и до глубины своей души счастливого. Решительно диван противоречит стилю О. Э.! Ему нужно всегда сидеть на плетеных стульях с высокими спинками, сидеть, выпрямившись, и так, чтобы не было сзади тяжелого фона, мешающего впечатлению, производимому быстрыми поворотами его высоко вскинутой головы. Может быть, зало, полутемное, с острыми и строгими линиями потолка и стен, с тяжелыми и чопорными, пропитанными схоластической важностью стульями, большим столом, в полировке которого тонут напыщенные многовековые рассуждения на тему о существе Бога, рассуждения, упавшие в эту полировку во время тяжелого перелета из уст одного к ушам 12-ти других, ученых и забывших о существовании времени, богословов — может быть, такое зало, по контрасту с внешностью и по сходству с внутренним содержанием Осипа Эмильевича — явилось бы тем, что мы привыкли называть стилем данного человека.

О. Э. смеялся от души, когда я читал свой дневник, он указал на то, что разговор передан правильно, и даже попросил прочесть мою запись снова — для Анны Андреевны. Когда А. А. усомнилась, был ли в действительности в этом разговоре такой тайный смысл, О. Э. подтвердил, что был, в самом деле, и именно такой. ⟨...⟩

В начале 5-го часа — обед: Над. Яковлевна вошла к А. А. и приглашает нас обедать к себе. Идем к Мандельштамам. Садимся: А. А. на диване, Над. Як.— с противоположной стороны стола, я — спиной к окнам, а О. Э.— против меня. Обед вкусный, даже сервировка приличная, не «пансионская» ⟨...⟩ Суп с клецками, жареная курица и крем на сладкое. За столом сидели почти 2 часа. Разговаривали. Обрывки этого разговора — записываю. О Н. С.

А. А.: «Н. С. совершенно не выносил царскоселов. Конечно, он был такой — гадкий утенок — в глазах царскоселов. Отношение к нему было плохое...»

Я: «Среди сверстников?»

А. А.: «Среди сограждан; потому что он был очень своеобразным, очень отличался от них, а они были на такой степени развития, что совершенно не понимали этого. ⟨...⟩ До возвращения из Парижа — такая непризнанность (такое неблагожелательное отношение к Н. С. Конечно, это его мучало). Вот почему он был счастлив, подъем был большой, когда появились Кузмин, Потемкин, Ауслендер...»

О. Э.: «А потом вы знаете, как с Кузминым вышло?»

А. А.: «С Кузминым — у меня же на глазах, в 12-м году еще...»

О. Э.: «Кузмин, кажется, до сих пор сердится...»

А. А.: «Зачем же Кузмину сердиться? Он же не Сологуб, чтоб сердиться! Что это за занятие такое — сердиться! К чему это?» ⟨...⟩

Разговор переходит на тему о Сологубе. А. А. рассказывает, что Сологуб очень ругает Пушкина — и это ей в нем не нравится. О. Э. очень удивлен этим — он не знал этого. Спрашивает, когда это началось.

А. А: «С 20-го года, приблизительно, пошло, и все больше и больше...»

⟨...⟩ Выясняется, что Сологуб бранит Пушкина всячески, иногда просто по-ребячески, вернее, по-стариковски.

А. А.: «Например, когда говорит: „Этот негр, который кидался на русских женщин!" — это уже не может восприниматься серьезно. Это даже просто глупо!»

О. Э. громко смеется.

А. А.: «Оленька Судейкина иначе с ним спорила — она моментально вспоминала и указывала: „Федор Кузьмич! у вас тоже так сказано!" — И Сологуб тогда умолкал: „Ну что ж — и у меня бывают промахи..."».

А. А. указывает, что примеры такого непризнания других, брюзгливого, есть... Таков Анат. Франс, который отфыркивался от Мореаса, про Леконта де Лиля сказал одно только слово: «Леконт де Лиль — дурак».

О. Э. говорит, что он к Сологубу раз собрался, чтоб побыть в его обществе, послушать его, запомнить разговор, чтоб «получить физическую пользу»... Но что больше к нему он не пойдет, не пойдет потому, что с Сологубом трудно разговаривать...

О том, как Сологуб держится — дома и в «общественных местах»,— мнение такое: дома и в тесном кругу он (в разговоре) чрезвычайно интересен, парадоксален часто; лицо совершенно оригинальное (лицо — манера — стиль).

О. Э.: «А в общественных местах — где-нибудь на собрании, в заседании, на вечере и т. д.— он ничем не отличается от всех других».

О. Э.: «Здесь у него не лицо, а какое-то общее место, а так — старается поразить собеседников — особенно в домашнем кругу. Чем теснее круг, тем больше Сологуб старается „поразить"...»

А. А. (о себе): «Надо к нему пойти. Он так спрашивал о моем здоровье, беспокоился...» ⟨...⟩

Разговор о Шкловском.

О. Э.: «Н. С. не любил Шкловского — считал его человеком одного типа (качественно, хотя не количественно) с Жаком Израилевичем» [13].

В 21 году у Шкловского с Н. С. была какая-то история (вечер о друидах?). А. А. не была на этом вечере, О. Э.— тоже не был, поэтому не знают сути инцидента. А. А. Шкловского любит: «Он такой веселый». Этим термином заменяет все другие определения.

Не помню, по какому поводу был следующий диалог:

О. Э.: «Были такие снобы после смерти Н. С.— хотели показать, что литература выше всего...»

А. А. (иронически): «И показали...»

О. Э.: «Да».

А. А.: «Почему это раз в жизни им захотелось это показать — что литература выше всего?!»

А. А: «Н. С. любил осознать себя... Ну — воином... Ну — поэтом... И последние годы он не осознавал трагичности своего положения... А самые последние годы — даже обреченности. Нигде в стихах этого не видно. Ему казалось, что все идет обыкновенно...»

О. Э.: «Я помню его слова: „Я нахожусь в полной безопасности, я говорю всем открыто, что я — монархист. Для них (т. е. для большевиков) самое главное — это определенность. Они знают это и меня не трогают"».

А. А.: «Это очень характерно для Н. С.».

А. А.: «Он никогда не отзывался пренебрежительно о большевиках».

О. Э.: «Он сочинил однажды какой-то договор (ненаписанный, фантастический договор) — о взаимоотношениях между большевиками и им. Договор этот выражал их взаимоотношения как отношения между врагами-иностранцами, взаимно уважающими друг друга».

А. А. рассказывает об отношении Н. С. к царице Марии Федоровне. Когда Н. С. лежал в Ц. С. в лазарете, он ее видел часто.

А. А.: «Он был шокирован ее произношением (у нее ведь очень неправильный выговор был). Говорил: „...И потом, что это такое? — она подходит к солдату и говорит: «У теби пузо болит?»" — А она, как известно, всегда так говорила... Так что серьезного отношения к ней совершенно не было».

О Вячеславе Иванове:

О. Э. рассказывает, что когда он в первый раз пошел к Вяч. Иванову с Над. Яковлевной, то Вяч. Иванов спросил ее: «Вы тоже пишете стихи?» Мандельштам по этому поводу острит: «Это же не немецкая эпоха цехов: приходит к одному бочару другой, со своей дочерью, а этот уверен, что его дочь тоже обязательно должна заниматься тем же, что и отец, ремеслом...» [14]

А. А.: «Но я не как дочка бочара — мне пришлось сказать, что я пишу...»

Я: «Вы в первый же раз читали там стихи?»

А. А.: «Да, читала...»

12 апреля. Царское Село. С поездом в 11. 30 поехал в Царское Село. Когда в 12. 30 пришел в пансион, А. А. с Н. Я. были на веранде — лежали в лонгшезах на солнце. Я посидел несколько минут с О. Э., а потом он проводил меня на веранду, А. А. сейчас же встала и повела меня к себе. ⟨...⟩

А. А. говорит, что у Мандельштама очень сильно чувствуются интонации Кузмина. И что он вообще всегда под чье-нибудь влияние попадает.

Я: «А у Кузмина характерные интонации?»

А. А.: «О, да!» ⟨...⟩

А. А.: «Федор Кузьмич очень не любит, когда к нему рано приходят. Я знала это, но все-таки пошла рано: из зловредства, конечно! Я Мандельштаму даже сказала, что Сологуб не любит, когда к нему приходят рано — а сама пошла — и Мандельштам проводил меня до самого дома». ⟨...⟩

20 апреля. А. А. с сестрами Данько пошла гулять, а я на это время перешел в комнату к Мандельштамам и играл в шахматы с Н. Я.; О. Э. сидел за маленьким столом и занимался своей работой. (Он переводит что-то.)

Еще утром, когда я был наедине с О. Э. (а Н. Я. была на веранде, вместе с А. А.), я попросил О. Э. прочесть мне те 2 стихотворения, которые он мне читал в кухне, у себя на квартире, в Петербурге. О. Э. согласился, прочел. Память моя отвратительна, поэтому и теперь строк не запомнил — остался только запах стихотворений. Но первые строчки записал:

1. «Жизнь упала как зарница» (то, которое у меня в дневнике обозначено одной строчкой: «Заресничная страна»). Кстати, вспомнил такую строчку:

> «Есть за куколем дворцовым
> За.......
> Заресничная страна...»

2-е стихотворение «Я буду метаться по табору улицы темной...» О. Э. ценит больше, чем первое, за то, что оно — новое (новая линия в его творчестве), а 2-е считает слабее вообще и, кроме того, обвиняет его в принадлежности к стихам типа «2-й книги стихов», т. е. к старым стихам. Написал он их недавно. Я спрашиваю — пишет ли он здесь?

О. Э.: «Ни одного не написал... Вот когда буду умирать — перед смертью напишу еще одно хорошее стихотворение!..»

Еще не кончили партии в шахматы — А. А. вернулась, зашла за мной к Мандельштаму. Партия, к моей великой радости, окончилась быстро и вничью (я не играл в шахматы лет 5).

Кузмин поступил благородно, когда предоставил мне то, что мог предоставить. Надо принять во внимание его нелюбовь к Николаю Степановичу... В течение дня А. А. несколько раз вспоминала Кузмина и говорила о нем Мандельштамам.

Итак, Кривич [15] решил сделать свинство. «Он понял, что это может стать когда-нибудь валютой» («это» — материалы, письма Николая Степановича),— сказал О. Э. потом про Кривича. Голлербах сказал Мандельштаму так. Мандельштам передал слова Голлербаха. ⟨...⟩ Возмущена А. А. отказом Кривича страшно. ⟨...⟩

В то время, как мы рассматривали материалы, уже после обеда, входит Мандельштам: «Павел Николаевич, у меня сейчас Голлербах, он хочет с вами познакомиться». Я пошел к О. Э. ⟨...⟩

«А Мандельштам сегодня видел во сне, что я толстое письмо получила. Он утром приходит ко мне и говорит: „Анна Андреевна, я по праву соседства должен вас поздравить — вы сегодня толстое письмо получите..." А потом приехал Н. Н. ⟨Пунин⟩ и привез письмо — действительно, очень толстое».

Входит Надежда Яковлевна. Сообщает, что О. Э. все-таки Голлербах утянул к себе. ⟨...⟩

14 апреля. Когда сегодня я заходил зачем-то от А. А. к Мандельштамам (да, передать им приглашение А. А. пить кофе у нее), О. Э. со смехом подошел ко мне и сказал: «У нас несчастный случай произошел сейчас... Мы (О. Э. с Н. Я.) пишем акростих Анне Андреевне, но у нас выходит Ахмотова, а не Ахматова...»

Смеясь и шутя, О. Э. читает акростих, добавляя — «глуп до невероятности»... Я его не запомнил. Его строчки — перебирают фамилии и имена, не имеющие никакого отношения к А. А., и при чем тут А. А.— понять никак нельзя...

15 апреля. Мандельштамы вчера утром переехали из этого пансиона — неожиданно... Теперь — поместились в пансионе Карпова. (О. Э. мне рассказал, после обеда я был у него, причину переезда: «Нас попросту выгнали...» Хозяину пансиона нужна была комната для новых жильцов, он знал, что Мандельштамы все равно скоро уедут, и пришел к ним требовать денег вперед, тогда как все деньги до минуты этого разговора были ему уплачены. Требование было сделано в такой грубой форме, что Мандельштам решил немедленно переехать.)

У А. А. вчера вечером очень долго сидел О. Мандельштам, много говорили с ней, вспомнил даже и то, что было 10 лет назад...

Я: «А что было 10 лет назад?»

А. А. (улыбнулась): «Влюблен был...»

А. А. вспоминает, что между прочим О. Мандельштам вчера сказал такую фразу о Н. С., что за 12 лет знакомства и дружбы у него с Н. С. один только раз был разговор в биографическом плане, когда О. Э. пришел к Н. С. (О. М. говорит, что это было 1 января 1921 года) и сказал: «Мы оба обмануты» — (О. Арбениной) — и оба они захохотали.

Эта фраза — доказательство того, как мало Н. С. говорил о себе, как не любил открывать себя даже близким знакомым и друзьям. Когда я сказал А. А., что запишу это, А. А. ответила: «Это обязательно запишите, чтоб потом, когда какой-нибудь Голлербах будет говорить, что Н. С. с ним откровенничал... не слишком верить такому Голлербаху». ⟨...⟩

Из разговора о Николае Степановиче записываю следующие слова А. А.: «Цех собой знаменовал распадение этой группы — Кузмина, Зноско [16] и т. д. Они постепенно стали реже видеться, Зноско перестал быть секретарем „Аполлона“, Потемкин [17] в „Сатирикон“ ушел. Толстой [18] в 1912 году, кажется, переехал в Москву жить. И тут уже совсем другая ориентация... Эта компания была как бы вокруг Вячеслава Иванова, а новая — враждебной «башне» (Вячеслав тоже уехал в 13-м году в Москву. Пока он был здесь, были натянутые отношения). Здесь новая группировка образовалась: Лозинский, Мандельштам, Городецкий, Нарбут, Зенкевич [19] и т. д. Здесь уже меньше было ресторанов, таких — „Альбертов“, больше заседаний Цеха ⟨...⟩». ⟨...⟩ Говорили о Мандельштаме. Я спрашиваю ее теперешнего, после частых встреч, впечатления от Мандельштама. А. А. отвечает, что очень хорошее, что он очень хорошо к ней относится...

А. А.: «Мандельштам очень хорошо сказал — он всегда, вы знаете, очень хорошо умеет сказать: впечатление такое, как будто надо всем». ⟨...⟩

19. 04. 25. Воскресенье. 1-й день Пасхи. А. А. лежит, но сегодня, только сегодня (всю неделю были сильные боли) болей нет. Температура 36,9 °. Вчера вставала и была в церкви — дважды — на Двенадцать Евангелий ходила и к заутрени ходила с Над. Як. и Ос. Эм. Мандельштамами. ⟨...⟩ Над. Яковлевна минут через 15 после моего приезда уходит домой (в пансион Карпова) — завтракать, и до 7 часов вечера я у А. А. один.

В $6^1/_2$ ч. приехал Пунин, сидим вместе, а через $^1/_2$ часа, в 7 часов, я иду к Мандельштамам.

О. Э. сидит за столом, работает. Переводит что-то. Когда я пришел, он отложил работу. Разговариваем. Над. Як. чувствует себя хорошо. Мандельштам рассказывает причину, почему они переехали. Говорит, что собирается в среду — в четверг уехать в Петербург совсем. Мандельштам грустен и мрачен. Я говорю ему, что у него, вероятно, жар. Потому что больные глаза и горит лицо. Советую ему смерить температуру. Температуру он мерит. Оказывается — 36,9 °.

Когда приехал Пунин, между А. А., мной и Пуниным был разговор о том, что А. А. следует переехать в Петербург, поместиться в клинике Ланге, п. ч. здесь никакого ухода нет, п. ч. погода плохая, потому что у А. А. боли и по всяким другим причинам. Н. Н. Пунин думает даже, что А. А. надо поехать завтра же.

У Мандельштама я говорю об этом. О. Э. тоже с этим согласен, и на эту тему я говорю с Мандельштамами. Просидев у Мандельштамов минут 15, я спрашиваю, пойдут ли они к А. А.?

О. Э.: «Обязательно...»

А. А. рассказывает, что на днях Над. Як. Мандельштам исповедовалась перед ней в семейных тайнах... Рассказала о том, что она действительно изменяет мужу — выписала из другого города (из Харькова?) своего прежнего мужа, с ним... Но неудачно что-то у них было. Н. Я. из какого-то разговора с моей кузиной — Таней Платоновой выяснила, что Таня знает об этой истории. Недоумевала, откуда она знает? И решила, что, по-видимому, Таня знает от меня, а я просто сам как-нибудь догадался.

А. А.: «А вы от Ходасевич это знаете?»

Я: «Да, это она мне рассказала...»

А. А. сказала, что та, с которой изменяет я нисколько не удивляюсь: Анна Ивановна (Ходасевич) так легко о себе рассказывает, зачем же ей о других скрывать?»

А. А. сказала, что та, с которой изменяет жене в свою очередь О. Э.,— О. А. Ваксель [20] и что когда О. Э. ездит из Ц. С. в Петроград — он к ней ездит, а потому — возвращается такой довольный и в то же время смущенный...

Когда мы сидели за столом впятером — А. А., Мандельштамы, я и Пунин,— Пунин сделал несколько нетактичностей по отношению ко мне. Он сказал мне, когда я за столом хозяйничал, что я вхожу в литературу — так, т. е. исполняя мелкие поручения и при великих мира сего, что я ученик...

А. А.: «Ремизов [21] посылал Н. С. покупать лимон...»

А. А. страшно возмутилась его словами, тут же, при всех, так осадила его, что он стал оправдываться самым жалким образом. О. Э. Мандельштам также заявил Пунину: «Павел Николаевич не ученик! Он нам ничем не обязан. Наоборот, мы ему обязаны, мы у него в долгу». На эту тему продолжался разговор.

А. А. сказала: «То, что делает сейчас Пав. Ник.— то должны были бы мы сделать, а если мы этого не сделали — это наша вина, и П. Н-чу мы должны быть благодарны только...» Пунин скис окончательно, жалко стал оправдываться: «Так у меня всегда выходит, я не хотел сказать нетактичности, я знаю, что я должен молчать в обществе — я не умею говорить. Я должен или молчать, или у меня всегда такие глупости будут...»

21 апреля. С поездом 11. 30 еду в Царское Село. Застаю у А. А. Н. Я. Мандельштам. ⟨...⟩ Все вместе идем к А. А.

А. А. встает с постели, надевает шубу и садится к столу. Я размалываю кофе, Н. Я. заваривает его, и мы пьем кофе с куличами. А. А. пасху нельзя, она немножко досадует на это. До кофе еще я, Мандельштам и Пунин сидели на диване втроем. Царило молчание полное и безутешное. Вдруг О. Э. с самых задворок тишины громко произнес — про нас — «Как фамильный портрет...» Это было неожиданно и смешно.

О. Э. сказал А. А.: «Нет на вас Николая Николаевича» (Пунина) — когда А. А. делала что-то незаконное: не то слишком долго стояла в церкви, до утомления, не то что-то другое... не знаю...

Пунин произнес строку: «Горьмя горит душа...»

О. Э. спросил: «Чья?»

Пунин: «Пастернака...»

О. Э.: «Да, пожалуй, Пастернак может так сказать...»

Разговор о том, кто еще мог бы так сказать, и А. А., и О. Э. соглашаются, что до Анненского так никто бы не сказал.

О. Э.: «Разве Ап. Григорьев...»

А. А.: «Именно Анненский мог бы так сказать...» А. А. считает, что эта строка могла бы быть у Анненского в стихотворении:

Под яблонькой, под вишнею
Всю ночь горят огни,—
Бывало, выпьешь лишнее,
А только ни-ни-ни...

— эту строфу А. А. произносит.

⟨...⟩ Я в 9 часов ухожу вместе с Мандельштамами. Они идут к себе, а я — домой.

Сегодняшний день распределяется так: до часу дня у А. А. Н. Я. Мандельштам. А. А. очень хвалит Н. Я. Мандельштам — что она симпатичная, милая и т. д. «Надежда Яковлевна очень добра ко мне» (приходит — ухаживает, заботится). ⟨...⟩

Пришел я к А. А.— с Малой, 63 — в 7 ч. 15 мин. Н. Я. до моего прихода переменяла А. А. компресс — очень хорошо поставила. В $8^1/_2$ приходит О. Мандельштам (он сегодня уезжал в Петербург). Четверть часа сидят, а в 8.45 Мандельштамы уходят.

25 апреля. Мандельштамы вчера переехали в Ленинград, так что теперь А. А. в Ц. С. совершенно одна. Вчера же вечером Мандельштам звонил А. А. по телефону и сообщил, между прочим, что ему в руки попалась наконец книжка «К синей Звезде» [22] и что это прекрасная, исключительная книжка. А. А. такое мнение обрадовало. Сказал, что Надя скучает по А. А. и во вторник приедет ее навестить.

29 апреля. 11.30. ⟨...⟩ Встретил О. Мандельштама (Н. Я. переехала вчера).

1926 год

1 февраля

ОБ О. МАНДЕЛЬШТАМЕ, ОБ «ЕВРОПЕЙСКОЙ» ГОСТИНИЦЕ И О ТЕЛЕГРАММАХ

Встретив на Невском только что вернувшегося из Крыма Осипа Мандельштама [23] и отдав свой локоть его мощной руке, я направился с ним в сторону, противоположную той, куда шел. Обменявшись приветствиями и расспросив его о Крыме и о жене, и услышал робкую, хотя и торжественным тоном произнесенную фразу:

— Павел Николаевич, вы не смогли бы одолжить мне денег?

— Сколько, Осип Эмильевич? То, что есть у меня,— в вашем распоряжении.

— А сколько у вас есть? — пытливо заглянув мне в глаза, спросил Осип Эмильевич.

— У меня есть рубль с хвостиком.

— Если б вы дали мне полтинник, я думаю, что этого хватило бы мне.

Осип Мандельштам шел на почту отправлять телеграмму жене, и было у него в кармане 90 копеек. Но дойдя до угла Невского и Михайловской, Осип Мандельштам неожиданно свернул на Михайловскую:

— Давайте зайдем сначала к Александру Николаевичу Тихонову... Он в «Европейской» живет и завтра уезжает.

Гордо, не смотря на поспешно открывшего дверь швейцара, Осип Мандельштам, а за ним я вошли в «Европейскую» гостиницу.

— Дома Тихонов, который живет в двести двенадцатом номере? — спросил Мандельштам.

— Он живет не в двести двенадцатом, а в триста двадцатом. Дома.

Осип Мандельштам стал подниматься. Но служитель остановил его и предложил снять калоши. Осип Мандельштам снял. В этот момент человек, указавший номер Тихонова, подбежал снизу:

— Вы просили Тихонова? Я ошибся. Он не в триста двадцатом, а в триста третьем, и его нет дома.

Осип Мандельштам невозмутимо произнес:

— Недаром мне показалось странным, что человек в час дня может оказаться дома, не правда ли?

И Осип Мандельштам стал искать калоши, которые услужливый портье уже убрал в сторону. Нашел их, вставил в них ноги. Некоторое время постоял, не двигаясь, видимо, размышляя, можно ли не платить за такой короткий срок хранения калош. Должно быть, решив, что не платить можно, и уловив секунду, когда служитель отвернулся, О. Мандельштам сделал быстрый и крутой поворот «кру-гом» и, намеренно медленно шагая, чтобы служитель не запо-

дозрил его в желании скрыться, пошел по направлению к выходу.

— Я хотел поговорить с Тихоновым о «Шуме времени», который я хочу переиздать в «Круге»...

Мы пришли на почту. У окошка стояли человек десять. Я занял очередь, а Осип Мандельштам быстро подошел к столу, за которым люди составляли текст телеграмм, наклонился к столу из-за спины какого-то мужчины и быстрым движением выхватил из-под его руки бланк. Бланк оказался уже исписанным сидящим за столом человеком, и тот удивленно, с явным неудовольствием мгновенно протянул за листком руку. Сконфуженный Осип Мандельштам принялся извиняться:

— Это верх рассеянности... Бога ради, простите!

Найдя, наконец, чистый бланк, Осип Мандельштам отошел в угол комнаты к конторке и начал писать. Через несколько секунд я услышал его жалобный возглас:

— Павел Николаевич!

— Осип Эмильевич? — вопросительно произнес я.

— Подойдите сюда!

Я оставил очередь, подошел. Осип Эмильевич кончиком пера показал мне расплывшуюся букву «Я» и растерянно, как бы застенчиво спросил:

— Ведь это уже не «я»?

— Да, это уже клякса.

Осип Мандельштам пошел искать по столам новый бланк. Наконец телеграмма в двадцать два слова, кончавшаяся словами: «пишу ежедневно», была составлена, и Осип Мандельштам мгновенно высчитал, сколько она стоит. Я всыпал ему в перчатку, сквозь дыры которой виднелись бледные пальцы, серебряную мелочь. Телеграмма отправилась в Ялту, и мы вышли и зашагали по Невскому, беседуя о лопнувшем Госиздате, об уезжающем в четырехмесячный отпуск Ионове [24], чья мечта, по мнению О. Мандельштама, стать после всех этих событий редактором «Красной Нови», и о Пастернаке, с которым Осип Мандельштам провел вчера весь день в Москве и который прочел ему колоссальное количество стихов.

3 февраля. У А. А. в Мраморном Дворце был и обедал О. Мандельштам. Рассказывал о Крыме. Говорил о Надежде Яковлевне.

5 февраля. 1914... Март. А. А. с Осипом Мандельштамом устроили в Цехе мятеж; составили заявление: «Просим закрыть Цех. Мы больше так существовать не можем и все умрем». А. А. подделала тут же подписи всех членов и подала Городецкому. Тот не понял, что подписи поддельные, и был очень смущен, хотя на заявлении и написал: «Всех — повесить, а Ахматову заточить в Ц. С. на Малую, 63» (Шутка).

6 февраля. 1914 г. А. А. была на лекции Пяста в Тенишевском училище. В публике был Олимпов, сын Фофанова. Когда Пяст произнес имя Мандельштама, Олимпов выкрикнул: «Мандельштам — мраморная муха». Олимпова — сторожа вывели [25]. («Мне очень неприятно было — я первый раз в жизни видела, как „выводят" человека».)

С лекции А. А.— отправилась в «Бродячую Собаку». Сидели с молодыми людьми за столиком. Олимпов оказался и в «Бродячей Собаке». Вышел (на эстраду?) и громко крикнул: «Я и об Ахматовой хотел сказать — не только о Мандельштаме... Да мне не дали...» Воцарилось молчание. Все ожидали, что он скажет дальше... Тогда А. А. поднялась, подошла к одному из соседей Олимпова и громко сказала: «Предупредите вашего товарища, что я присутствую в зале... А потом пусть он говорит что ему угодно...»

Олимпов больше ничего не сказал. (А из сидевших вместе с А. А. за столиком молодых людей никто не пошевельнулся, когда Олимпов заговорил об А. А.)

15 февраля. Вчера был у А. А. Мандельштам.

Рыбаков [26] дал 150 рублей, но под ответственность А. А. Никаких дел с Мандельштамом не захотел иметь и знакомиться не захотел.

Мандельштам сказал А. А., что Лившицы [27] на меня обижены, потому что я будто бы Лившица, обращаясь к нему, назвал по фамилии. Я его так не называл. Тут какое-то недоразумение.

28 февраля или 1 марта. Мандельштам в разговоре с Пуниным просил его зайти, Анну Андреевну и его, в Москве к Пастернаку.

13 марта. [О] С. Парнок.

А. А. виделась с Парнок в Москве. Говорила мне, что теперь ей понятно, почему Горнунг [28] так высоко ставит Б. Лившица, что ставит его даже впереди О. Мандельштама и во всяком случае — всегда рядом: С. Парнок — один из инициаторов нового издательства («Узел»?), в котором принимает участие и Лившиц. С. Парнок по каким-то причинам смертельно ненавидит О. Мандельштама и, чтобы унизить его, ставит Б. Лившица выше. А такие люди, как Горнунг, не зная этой подноготной, не могут разобраться в стихах сами и принимают чужие суждения — в данном случае суждения С. Парнок — на веру. А. А. очень просила меня сохранить этот ее рассказ в тайне. ⟨...⟩

Продолжали поднятый разговор о Вагинове. А. А. достала его книжку и достала Cor Ardens [29]. В книжке Вагинова А. А. подчеркнуты и отмечены некоторые места. Одно А. А. демонстрировала мне: «Из женовидных слов змеей струятся строки». Сравнение его с триптихом «Мирты» Вяч. Иванова (II т. Cor Ardens). Совершенно та же тональность, и влияние подтверждается одинаковостью слов: «змеей», «миртами», «темной», образами: «Внизу жена» — (и милая жена), «стекло». В книжке Вагинова, говорит А. А., очень много от Вяч. Иванова и очень много от Мандельштама. По поводу вчерашнего доклада Пумпянского о Вагинове, в котором Пумпянский ни разу не упомянул имен В. Иванова и Мандельштама, А. А. пожалела, что Мандельштама так замалчивают.

23 марта. А. А. рассказала мне, что говорила (вчера? сегодня утром?) с Мандельштамом по телефону, и между прочим — о книжке Вагинова (спросила его мнения, потому что сама она еще не прочла книжку). «Оська задыхается!» Сравнил стихи Вагинова с итальянской оперой, назвал Вагинова гипнотизером. Восхищался безмерно. Заявил, что напишет статью о Вагинове, в которой будут фигурировать и гипнотические способности Вагинова, и итальянская опера, и еще тысячи других хороших вещей.

А. А. объясняет мне, что «Оська» всегда очаровывался — когда-то он так же очаровывался Липскеровым [30], потом были еще два каких-то «гениальных поэта», и что она нисколько не удивлена таким мнением Мандельштама о стихах Вагинова. Тем более понятно восхищение Мандельштама, что Вагинов — его ученик. И А. А. сказала, что написанная Мандельштамом статья о Вагинове будет, вероятно, одной из его блестящих, но ни к чему не обязывающих «causeries».*

25 марта. Мандельштам был перед отъездом. Денег не возвратил. Получил перевод Тартарена и Бальзака (?). Жена зовет скорей, Мандельштам — о Вагинове — кулисы — квадраты в них заключает [31]. Узнавал о поезде. Поехал домой, а оттуда на вокзал.

16 апреля. [А. А.] сказала, что Клюев, Мандельштам, Кузмин — люди, о которых нельзя говорить дурное. Дурное надо забыть.

12 мая. [А. А.] рассказывала о том, как в Москве была в изд. «Узел» — у С. Парнок и С. Федорченко. Последние говорили исключительно о Волошине, всячески восхваляя его. А. А. крепилась и молчала. Но когда одна из них рассказала А. А. о том, как она в отместку за плохое мнение Мандельштама о Волошине обозвала Мандельштама чуть ли не жуликом и пр. и как Мандельштам написал ей «глупое» (слова рассказывавшей) письмо с просьбой дать объяснения — сказать, от кого она это слышала, если сказавший ей это — мужчина (а если сказавший — «женщина,— пишет Мандельштам,— тогда, конечно, дело непоправимо», намекая на то, что с женщины он не может требовать удовлетворения) [32], когда она рассказывала это со смехом, издеваясь над Мандельштамом, А. А. не выдержала и сказала: «Бедный Осип Эмильевич, как должно быть это ему неприятно!» Воцарилось гробовое молчание. Потом прозвучал вопрос: «А вы хорошо знаете Мандельштама?» — «Да, я его очень хорошо знаю — я с ним в очень дружеских отношениях...» Разговор продолжался еще очень недолго, А. А. спросили, действительно ли Мандельштам также хороший поэт — ибо они этого не считают, и А. А. ответила, что считает Мандельштама одним из лучших поэтов.

20 мая. ⟨...⟩ А. А. заговорила о том, кому из поэтов она не решилась бы сделать указание на какой-нибудь недостаток. Стала думать — Блок?.. Блоку, пожалуй, она могла бы сказать... Такого случая с ней не было, но она представляет себе, что он мог бы быть... Он поблагодарил бы и сказал: «Хорошо... Я посмотрю потом...» Гумилев? Ну, ему А. А. неоднократно делала такие указания... Но вот Мандельштаму, например, А. А. никогда бы не могла сделать замечания.

22—23 июня. Мандельштамы показались какими-то вялыми.

24 июня. Мандельштам ездил к Як.— активный, а с бумагой от него к тому, кто не хотел пускать ⟨...⟩

Мандельштам — ему все скучно. Расспрашивал о Союзе поэтов — хоть ему и смертельно неинтересно это, а так, из установившейся раз навсегда вежливости.

8 июля. Говорила о статье Мандельштама «Жак родился и умер» [33] — «Прекрасная статья — дышит благородством». А. А. говорит, что не может понять в Осипе одной характерной черты: статья по благородству превосходна, но в ней Мандельштам восстает прежде всего на самого же себя, на то, что он сам делал больше всех. То же с ним было, когда он восстал на себя же, защищая чистоту русского языка от всяких вторжений других слов, восстал на свою же теорию, идею об итальянских звуках и словах в русском языке (его стихотворение «Итальянские арфы») [34]. «Трудно будет его биографу разобраться во всем этом, если он не будет знать этого его свойства — с чистейшим благородством восстать на то, чем он сам занимался или что было его идеей».

* Непринужденный разговор (*франц.*).

18 ноября. О. Мандельштам взял недавно у кого-то 1000 рублей в долг и не отдал, конечно.

Вечером к А. А. заходили Мандельштамы.

Январь 1916 г. А. А. присутствовала в Обществе Ревнителей художественного слова, в тот день, когда Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Лозинский и другие читали там свои стихи, а Б. Томашевский — доклад о стихосложении пушкинских «Песен западных славян» [35].

1927 ГОД

24 января

Правлению Ленинградского отделения Всероссийского Союза Поэтов

Прошу принять меня в число членов Союза.

О. Э. Мандельштвм

24 янв. 1927 г.

Принят в действ. члены засед. правления 28/I 1927

П. Лукницкий

6. 06. 27. Сегодня у А. А. были Мандельштамы. Он был исключительно тяжелый и мрачный. Пытался, правда, острить, как всегда, но это только усугубляло впечатление тяжести — в обращении. Был недолго — и, выпив чаю, скоро ушел. А. А. думает, что Над. Як. заставляет — почти насильно — Осип Эм. поддерживать отношения с нею (с А. А.) и бывать у нее.

Встречи А. А. с Мандельштамом сейчас, после «Рыбаковской истории», проходят под знаком большой напряженности, внутренней натянутости и неловкости — ощущаемыми как А. А., так и О. Э. При этом оба с большими усилиями стараются сохранить внешность — простых и хороших отношений, какие были до «Рыбаковской истории».

Сущность «Рыбаковской истории» — в следующем:

В прошлом году (отметить точно) О. Э. Мандельштам, терзаемый безденежьем, просил А. А. и Пуниных познакомить его с Рыбаковым, для того чтобы он мог занять у Рыбакова денег. Мандельштам уверял — клятвенно уверил А. А. и Пунина, что потребность достать деньги в долг, на самый короткий срок, действительно острая, до предела, что деньги нужны для отправки их Над. Як., находившейся в санатории в Ялте и — как объяснял Мандельштам — опасно больной. Мандельштам уверил всех, что, если он не достанет денег для отправки их Над. Як.,— здоровье, даже жизнь станут под большую угрозу...

У А. А. и Пунина, при всей их осторожности в этом отношении, при полном знании Мандельштама с этой стороны, все же появилась уверенность в том, что деньги Мандельштамом будут возвращены непременно и при первой же возможности. Мандельштам говорил со слишком большой несомненностью, и положение его казалось действительно критическим. Казалось также невозможным, что Мандельштам может подвести А. А. и Пунина, кого угодно мог бы, но только не их... Это было так ясно.

А. А. и Пунины обратились к Рыбакову. Тот отказался от знакомства с Мандельштамом и дал А. А. и Пуниным для передачи Мандельштаму, но под их полную ответственность и с их гарантией, что деньги Мандельштамом будут возвращены,— 250 р. Деньги были даны Мандельштаму. Только их и видели. С тех пор об этих деньгах не заикались: ни Рыбаков, для которого, конечно, эти деньги не были большой суммой, тщеславие которого даже предпочитает делать бесстрастную физиономию — («вот, мол, как благородно я поступил с большим поэтом...»), ни Мандельштам, который этих денег, как это видно сейчас, не намерен возвращать никогда.

А А. А. и Пунины были поставлены в крайне неловкое, ложное и неприятное положение. Если б у А. А. или у Пунина были бы деньги, конечно, они не задумываясь бы отдали их Рыбакову, сказав, что это Мандельштам отдает долг. Но ⟨...⟩ — материальное положение А. А. и Пуниных ⟨...⟩ — всем известно.

Все это, конечно, легло очень темным пятном на отношения А. А. и Мандельштама (а об отношениях Пуниных и Мандельштама я и не говорю: самая прозрачная внешность осталась) [36].

После ухода Мандельштамов А. А. говорила со мной о Мандельштаме и сделала характеристику их отношений. Мандельштам не любит А. А. Не любит и ее стихов (об этом он говорит всегда и всюду, и об этом он написал в статье — в журн. «Искусство», кажется, так,— тот журнал, который он брал у Пунина же с тем, чтобы переписать эту статью для включения в сборник своих статей, который собирался издавать. И было, конечно, не очень тактично брать эту статью для такой цели именно у Пунина).

Мандельштам не любит А. А., но Мандельштам превосходно знает, что А. А. считает его прекрасным, одним из лучших, если не лучшим, современным поэтом, и знает, что она всегда и везде всем говорит об этом. А мнение А. А. имеет слишком высокую ценность, чтоб можно было не дорожить им... Поэтому он считает нужным поддерживать с ней и личные отношения. Так было, и, вероятно, поэтому Мандельштам пришел.

30.10.27. Стихотворение О. Мандельштама «Из табора улицы темной», напечатанное в «Звезде», № 8, совсем не понравилось А. А. Сказала: «Совсем „барочное" стихотворение». Определяя так стихотворение, А. А. хотела сказать, что в нем все условно, все необязательно и может быть заменено. Согласилась с тем, что это стихотворение — перепев самого себя. ⟨...⟩ Любит стихотворение Мандельштама — «За то, что я руки твои не сумел удержать...»

10 декабря. В «Tristia» Мандельштама А. А. посвящено:

1. В стихотворении «Твое чудесное произношение» (2-я строфа, последняя строка «Я тоже на земле живу»). Фраза эта была сказана А. А. в разговоре с Мандельштамом, и он ее вставил в стихотворение.

2. Стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа». А. А. была на концерте в консерватории вместе с Мандельштамом, слушали Шуберта.

3. В стихотворении «Что поют часы-кузнечик» 1-я строфа.

Это все говорил Мандельштам.

А. А. ставит резкую грань между одержимым «священным безумием» Мандельштамом и Ходасевичем, желчность и болезненность которого повлияли и на его психику.

20. 12. 27. 1913. 12 апреля. Надпись О. Мандельштама на сборнике «Камень» («акме»):

Анне Ахматовой — вспышка сознанья
в беспамятстве дней, почтительно
Автор
12 Апр. 1913 г.

(Переписано 21.12.1927.)

На сборнике «Tristia» О. Мандельштама (зелеными чернилами):

Вольдемару Шилейко
книгу светлого хмеля
и славы смиренно
Анна

(Надпись переписана мной 21.12.1927.)

Надпись на книге: О. Мандельштам. Камень. Пг., 1916:

В. Пясту с любовью
Осип Мандельштам
21 дек. 1915

1928 ГОД

23 января 1928. Вечером в Шереметевском дворце были Мандельштамы — «великолепные, толстые, здоровые» — после нескольких-то месяцев пребывания в Сухуми. О. М. шутил, говорил пустяки, был весел. И только когда разговор зашел об издании книги Н. Гумилева в ЗИФе, О. Мандельштам тоном величайшего благородства («зачем? никто ведь из него этого благородства не выдразнивал...») стал говорить вещи такие, из которых А. А. поняла всю некрасивую роль О. М. в этом деле. Совершенно очевидно, что О. М. хочет заработать и только о своем заработке думает, когда прикасается к этому делу. Было очень тяжело разговаривать с ним — и очень неприятно. Фальшь, фальшь, и совсем не тонкая.

[*март*] ⟨...⟩ Я знаю, что О. Мандельштам, получив в четверг (I/III) письмо с приглашением, а потом в городе — стихи от Л. Н.[37] (был у А. А., и она по просьбе Л. Н. передала их ему), обиделся и воспылал возмущением — на то, что поэту, ему, Осипу Мандельштаму — писатель Замятин посмел выбирать, назначать стихи. Я видел, как вечером, в пятницу, в гостях у Фромана [38], Мандельштам петухом налетел на случайно пришедшую туда Л. Н. (пришла по поводу вечера), стал торжественно и резко с ней спорить и заявил, что неопубликованных стихов читать не будет и согласится выступить только со стихами старыми, которые выберет сам. Едва удалось избежать скандала.

Здесь же он стал требовать, чтоб пригласили Пяста. Л. Н. ответила уклончиво. После, провожая Л. Н., я говорил с ней о Пясте, она решила не приглашать его: Пяст декламирует ужасно. Однако, когда я рассказал об этом А. А., она посоветовала Л. Н.— Пяста пригласить, чтобы не обидеть его. О. Мандельштам на следующий день прислал письмо, в котором повторял просьбу пригласить Пяста (О. Манд. заявил, что Пяста необходимо пригласить, потому что его стихи Сологуба ближе, чем кому бы то ни было, что у них некое «сродство душ» и пр.). Пяст был приглашен, но выступить отказался, заявив, что стихи Сологуба ему совершенно чужды и он не представляет себе, как он стал бы их читать.

12 марта 1928. ⟨...⟩ Ездил с А. А. в Царское Село — взяли с собой лыжи. В поезде ехали вместе с Н. В. Гуковской [39]; в Царском она пошла к мужу в санаторию, а мы поехали к Мандельштамам. Не застали их, зашли к Рыбаковым переодеться. Часа два ходили на лыжах; вторую половину дня провели у Мандельштамов. О. Э. нежится в постели под предлогом болезни. Вернулись в город в 7 часов.

11 августа, Крым. 12^{00}—15^{00} час. У Н. Я. Мандельштам, на даче «Орлиное гнездо». Сидим в комнате. Завтрак. Рассказы. Разговор об А. А. и всякие другие разговоры.

15^{00}—16^{00} час. Путь в Ялту. Встретил О. Э., вернулся с ним в «Орлиное гнездо».

19^{30}—21^{00} час. У Мандельштамов на даче «Орлиное гнездо». С О. Э. в саду и на горке. Разговор о литературе. В комнате и в саду с О. Э. История с их хозяевами.

14 августа (таблица), 10^{00}—11^{00}. У Платона Львовича с О. М. и Н. Я.

12^{00}—13^{00}. Ходил на дачу «Красная Заря». Узнавал о комнате для Мандельштамов.

13^{00}—14^{00}. Ходил с Мандельштамом на почту. Отправлял рукописи и телеграммы. Беготня по городу с О. М. и Н. Я.

14^{00}—15^{00}. Беготня по городу с О. М. и Н. Я.

15^{00}—17^{00}. На даче «Красная Заря» с О. М. и Н. Я. Ожидание коменданта. Путь вниз с О. М. и Н. Я.

17^{00}—19^{00}. У Платона Львовича с О. М. и Н. Я. Обед в «Мариина» с О. М. и Н. Я.

Налицо к утру 26 р. 31 к. В долг О. М.— 1. 00. За обед — 0. 80. Остаток — 20 р. 46 к.

14 августа (дневник). (Разговор О. М. с хозяином происходил сегодня утром.)

Уговорился встретиться с О. Э. у его переписчика-машиниста Платона Львовича ⟨...⟩, где он с 7 утра должен был работать. Пришел в 10, и О. М. пришел туда через несколько минут с Н. Я., страшно взволнованный, в панике. Хозяин (получив от него на днях 370 р. в счет долга — все деньги О. М.) отказал ему от комнаты и пансиона, надеясь сдать комнату дороже (О. М. платил по 120 р. за все — на двоих 240 р. в месяц, а хозяин теперь сдает по 160). О. М. остался без копейки на улице. Следующая получка от ЗИФ будет только в сентябре.

ПИСЬМО-ТЕЛЕГРАММА (автограф)

О. Э. Мандельштама из Ялты, 14 августа 1928 г. Бенедикту Лившицу в Царское Село.

«Хозяин получив обманом деньги немедленно отказал пансионе остались буквально улице без гроша нужно сто продержаться месяц своим хозяйством продай ковры прибавь возможное сообщи брату отцу конверт выслали адрес Ялта востребование возврат Ленинград стоит дороже выручви таком положении еще не были продаем вещи оба больны».

Начались бестолковые, панические обсуждения происходящего, изыскания способов существовать до сентября. Проекты самые фантастические, поиски всех могущих помочь людей. Надо достать комнату и пансион в долг, с уплатой в сентябре. Весь день в сумасшедшей беготне по городу, все начинания рушатся одно за другим (священник Петр, столовая Марипоfло, помещение в здравнице через Курортное управление, отъезд в Одессу и пр. и пр.). Отчаянная телеграмма Лившицу Б. К.— кстати, разговор о нем — отзывался о нем О. М., приоткрывая свое недружелюбие, показывая эгоистичность и неблвгодарность Лившица. Попытки продать шубу, отмена заказа сапожнику и получение от него 5 р. задатку. У О. Э. повышена температура, беспрерывно мерит ее. Влияние белого костюма на разговоры, на отношение людей. Торгашество ялтинцев. Усталость физическая и упадок духа, и ощущение безысходности у О. М.

Мое содействие, поиски комнаты, успех — найдена комната (прекрасная) за 40 рублей, с уплатой в сентябре — дача Халтурина («Красная Заря»), очень высоко. Найдена вечером. Окрыление надеждами найти деньги на питание. Вечером О. М. и Н. Я. отправились в «Орлиное гнездо» на линейке.

15 августа (таблица)

15^{30}—17^{00}. На даче «Орлиное гнездо» у О. Э. Мандельштама и Н. Я. Пришел в момент разгара скандала с хозяином, крики, удары кулаком по столу, ругательства, бешенство О. М. и хозяина. Втягиваюсь, стараюсь наладить спокойный разговор.

17^{00}—18^{00}. У Мандельштамов. Скандал улегся. Стало тише.

18^{00}—19^{00}. У Мандельштамов. Хозяин ушел. Разговор о происшедшем. Нервное состояние. ⟨...⟩ Дал О. М.— 1. 00.

16 августа (таблица)

8^{00}—9^{00}. Зашел к Платону Львовичу, чтоб сказать О. М. о решении плюнуть на Ялту и уехать с «Озирисом». О. М. и Н. Я. уцепились за меня. Уговаривают остаться.

10^{00}—12^{00}. Брожу по набережной. От Платона Львовича, в учреждения, с Мандельштамами. Мечусь. Хочу уехать. Мандельштамы уговаривают остаться, чуть не со слезами. Жалко их, и я, обессиленный, сдаюсь. Оставляю решение уехать.

15^{30}—15^{45}. У Платона Львовича. Здесь О. М.

16^{30}—18^{00}. У Платона Львовича. Здесь О. М. и блужданья с ним. Ходил с О. М. по базару, пытаясь продать его боты. Продать не удалось.

18^{00}—19^{00}. Блужданья с О. М. Страшная усталость. Заходили в кафе Федина, где техники ели мороженое. Отсюда — путь с О. М. в «Орлиное гнездо». Заходили на почту.

19^{00}—20^{30}. В «Орлином гнезде» у О. Мандельштама и Н. Я. Физическая и душевная усталость. Разговор о деньгах, хозяине, о переводах Майн Рида. Путь один от О. М. в базу.

⟨...⟩ Мороженое у Федина (и за О. М.) — 0. 40. Дал О. М. на его книгу статей — 1. 00.

17 августа (таблица)

10^{00}—11^{00}. У Платона Львовича оставил чемодан. Здесь О. Э. Мандельштам, Платон Львович. Жду О. М. (он здесь). Пишу открытки.

11^{00}—12^{00}. Ходил с О. М. на базар. О. М. продал боты за 3 рубля, потом завтракал с ним у Фелиди. Завтрак с вином. Потом О. М. покупал чувяки за 4 р.

12^{00}—13^{00}. Встреча с Григорием Петниковым[40], едущим в Гурзуф. Путь с О. М. На почте с О. М. Разговор по телефону (в Симферополь, к Шенгели, которого нет). В отдел благоустройства с О. М.

⟨...⟩ За завтрак за меня заплатил О. Мандельштам — 0. 65. О. Мандельштаму (на чувяки) — 1 р. 40. О. Мандельштаму на телефон — 0. 50. Остаток к 7 час. вечера — 1 р. 70 к.

17 августа (дневник). Разговор с О. М. о призвании поэта («Поэт» — позорная кличка, неизвестно кем на посмешище выдуманная. Есть мастер, есть мыслитель, но поэта — нет. А если есть мастер, значит, есть начало и конец его работе. Стул сделан, чего еще вы хотите? — Это к тому, что О. М. бросил писать стихи и хотел иметь другую, не литературную специальность).

18 августа (таблица)

18^{00}—20^{00}. Встретил О. Мандельштама. С Осипом Мандельштамом. Бродил с ним по городу. Он опять в панике. Я выслушиваю все его безнадежные проекты и разговоры о долгах. Бродим. Он все жалуется.

20^{00}—21^{00}. У него в «Орлином гнезде». Здесь Н. Я, и все те же разговоры. Мысль об устройстве литературного вечера.

21^{00}—24^{00}. Опять пошел с ним в город, в клуб 1-го Мая, артистка сумасшедшая, потом клубный библиотекарь, разговор об устройстве вечера, потом с О. М.— в курзал в поисках Марадудиной[41], потом бродили, и в кафе я ел чебуреки, он — пил кофе. Потом — путь в «Орлиное гнездо». По дороге читал ему стихи. Обсуждение их.

...Взял у О. М.— 2 рубля (он получил из Ленинграда — 70 р.).

19 августа (таблица)

12^{00}—15^{00}. Мандельштам — в клубе 1-го Мая. Хлопоты об устройстве литературного вечера. Ожидания в клубе, обсуждение предложения. Я жду в клубе, а О. М.— на улице.

20 августа (таблица)

[15^{00}—16^{00}]. Встретил Ос. Мандельштама.

[16^{00}—17^{00}]. Ходили с Ос. Мандельштамом на пляж. О. М. угощает меня кефиром. Купанье.

[17—18]. Ходили в гостиницу «Франция» искать редактора «Красного Крыма» и были на почте.

[18—19]. Путь на линейке.

[19—20]. У Ос. Мандельштама и Н. Я. О. М. обедает. Планы литературного вечера.

[20—21]. С Ос. Мандельштамом ходили в город, искали редактора, были в клубах, в гостиницах, на парт. собрвниях, в кафе и ресторанах, ища также М. Светлова и Уткина Иосифа[42].

21 августа, вторник, Ялта. Весь день в утомительных хлопотах о службе. Разговоры об устройстве лит. вечера. Вечером был у Мандельштамов. Вечер решили не устраивать, потому что Fix'а[43] нам не дают, а задарма выступать не будем из гордости...

25 августа (таблица)

8—9 [20—21]. У О. Э. и Н. Я. Мандельштам. Пишем письмо А. А., разговоры обо всем понемногу. О. Э. подарил мне свой том «Стихотворения», дал читать статьи и «Зависть» Олеши. Угощал грушами.

23—24. На даче «Красная Заря». У С. И. Квашнина-Самарина читал стихи Н. Гумилева и О. Мандельштама.

25 августа. День был трудным, к вечеру смертельно болит голова. Но все же пошел к Мандельштаму — сегодня 25 августа[44], хотелось не быть одному. Писали письмо А. А. (вместе). О. Э. успокоился за эти дни — жизнь его вошла в русло. А моя?

ПИСЬМО

Осипа Мандельштама, мое и Н. Я. Мандельштам к А. А. Ахматовой из Ялты в Ленинград. Написано химическим карандашом на 3-х листах клетчатой бумаги — из блокнота. Листы размером $14 \times 8^1/_2$ см.

О. М.:

Дорогая Анна Андреевна,
пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой; хочется видеть Вас. Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николай Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется.

В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено.

Мы уговорили П. Н. оствться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам.

П. Л.:

Дорогая Анна Андреевна!
Сегодня меня приняли на службу десятником, и сегодня же рабочком уволил меня со службы, п. ч. здесь другие кандидаты, из «выдвиженцев». Но все же работаю все это время, на сдельной, очень утомительной и грязной работе — делаю обмеры и планы подвалов. Устаю.

Уеду из Ялты, как только заработаю денег на дорогу до Одессы — через неделю-полторы.

Сейчас 8 ч. вечера, я пришел к О. Э. прямо с работы; приятно провести этот вечер не в одиночестве.

Сегодня получил письма из Одессы. Мама пишет о Вас, о том, что Вы нездоровы. Не надо, не надо; поправляйтесь скорее.

Приду домой, буду думать о «Костре» и вспоминать стихи.

О. Э. напрасно пишет о своем эгоизме, даю Вам слово.

Мне грустно сейчас на юге, но надо работать — все это довольно унылая авантюра.

Целую руку. И мне, и мне напишите.

Ваш. П. Лукницкий

Н. Я.:

Милая Анна Андреевна!

Нам грустно в Ялте и хочется домой. Здесь стоит холодное, не крымское лето. Сейчас такие гадкие вечера, что я сижу в теплом платке. Работаю дико много. Устаю. Все мы — и О. Э., и П. Н., и я — ведем трудовую жизнь. Скоро будем в Питере. Очень хочу Вас видеть. Вспоминаете ли Вы меня хоть когда-нибудь?

Целую Вас. Очень люблю. Над.

[Приписка П. Л.: Мой адрес — Ялта, до востребования. П. Л.]

Письмо написано 25/VIII 1928, отправлено 26/VIII 1928 (П. Л.).

28 августа (таблица)

16—17. У О. М. и Н. Я. в «Орлином гнезде». Они обедали. Надпись на книжке.

29 августа (таблица)

10—11. В городе (бублики, 1/4 фунта кофе, бумага, мороженое, пляж). Ходил на почту и на «Красную Зарю» и в банк, бродил по набережной. (На базаре — молоко.) Встреча с О. М., был в ОМХе у Дм. Ос. Был на пляже с О. Мандельштамом.

1929

ЛЕНИНГРАДСКИМ ПИСАТЕЛЯМ [45]

Дорогие товарищи.

Если теперь сразу собрать Исполбюро, я прошу ленинградцев потребовать *смены* редакции «Литгазеты», которая *казнила* меня за 20 лет работы, за каторжный *культурный* труд переводчика, за статью в «Известиях» [46], за попытку оздоровить преступно поставленное дело — казнила пером *клейменого клеветника, шулера, шантажиста* [47], выбросила из жизни, из литературы, наказала варварским шемякиным судом.

Я требую — *вырвать* «Литгазету» из рук захватчиков, которые прикрываются *ВАШИМИ ИМЕНАМИ*.

Федерация с ее комиссиями [48] превращена в бюрократический застенок, где издеваются над честью писателя, над его трудом и над советским — да, над *советским* делом, которое мне дорого.

Я призываю вас немедленно *телеграфно* объявить недоверие, резкое осуждение редакции «Литгазеты» и исполнительным органам Московской Федерации. После того, что со мной сделали, жить нельзя. Снимите с меня эту собачью медаль. Я требую следствия. Меня затравили как зверя. Слова здесь бессильны. Надо действовать. Нужен суд над *зачинщиками* травли, над теми, кто попустительствовал из трусости, из ложного самолюбия. К ответу их за палаческую работу, скрепленную ложью. Я жму руку вам всем. Я жду.

О. Мандельштам

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

(Автограф Груздева)

Появление в «Известиях ВЦИК» статьи О. Мандельштама «Потоки халтуры» вызвало фельетон Д. Заславского в органе Федерации Писателей «Литературная газета». Этот фельетон, напечатанный без всяких оговорок и, по-видимому, без необходимой в подобных случаях проверки фактов, не только опорочивает доброе имя О. Э. Мандельштама, но и грозит сорвать [начатую] им на страницах «Известий» кампанию за улучшение нашего переводческого дела.

Мы считаем, что метод редакционной подачи материала, последовавшего за этим фельетоном, превратил полемику по принципиальному вопросу в личную травлю О. Мандельштама. «Литературная газета», которая в качестве органа Федерации Советских Писателей должна сохранять необходимую в таких случаях объективность, этой объективности не проявила, допустив напечатание, после передачи дела в Исполбюро ФОСП, нового выступления Заславского.

Мы настаиваем, чтобы конфликт между Д. Заславским и О. Мандельштамом был в кратчайший срок рассмотрен органом писателей в составе вполне авторитетных лиц.

Вместе с этим просим Исполбюро ФОСП вынести свое решение и опубликовать его в ближайшем номере «Литературной газеты».

Подлинный подписали:

В. Саянов, В. Каверин, М. Слонимский, Н. Тихонов, И. Поступальский, П. Лукницкий, А. Моргулис, Б. Эйхенбаум, А. Ахматова, Ю. Тынянов, С. Семенов, В. Эрлих, М. Карпов, П. Журба, В. Пяст, М. Фроман, К. Вагинов, Г. Горбачев, И. Груздев, Б. Лившиц, З. Штейнман [49].

28 мая 1929

Письмо увезено И. Груздевым в Москву (28/V-29) с целью помещения его в «Известиях» или «Комсомольской правде». На собрании в ред. «Звезды» присутствовали все подписавшие, кроме А. Ахматовой, которой я привез для подписи это письмо, и С. Семенова, который подписал его на вокзале, уезжая в Москву.

ПИСЬМО К АХМАТОВОЙ

(Автограф)

Милая Анна Андреевна!

Несмотря на постановление Исполбюро, прекратившего дело, Канатчиков [50] и Заславский самочинно созвали отмененную конфликтную комиссию для суда над О. Э. О. Э. на комиссии не было [51]. Писатели были вызваны. О. Э. позвонили по телефону в день комиссии и сообщили уборщице из Цекубу [52], что «Сегодня в 2 часа дня состоится К. К.». Из писателей, подписавших письмо 15 [53], присутствовали Олеша, Пастернак и Зелинский. Были также представители ЗИФа: член нового правления ЗИФа — Яковлев и др. Они заявили, что издательство *не знало, что заказана обработка старых переводов, и повторили обвинение в обмане* с Майн Ридом [54]. История с М. Р.— первая попытка снять с работы — известна Федину, Слонимскому, Козакову [55] и др. Заявление 3 писателей, что у О. Э. имеются на руках договоры, показания *всего старого редактора[та] ЗИФа* (Шойхет, Зонин и Колесников) о том, что Уленшпигель заказывался *как обработка старых переводов*, принято во внимание не было. На этом основании 15 писателям, подписавшим письмо-протест, *вынесено порицание*. Никто из 3 присутствующих на заседании писателей не догадался *объявить недоверие* конфликтной комиссии. Сообщите об этом безобразии *Федину и Козакову и Зощенко*. Укажите на то, что председатель конф. ком.— заинтересованная сторона (редактор газеты) [56]. Кроме того, вынесено порицание: 1) издательствам; 2) О. Э.; 3) писателям (15) и 4) Заславскому (резкость тона!!!). За что О. Э.— не знаю. Сегодня или завтра постановление будет сформулировано. В понедельник появится в *«Литгазете»*. Нужны экстренные меры, хорошо, если бы кто-нибудь выехал в Москву, пусть Ленинград требует *следственной комиссии*.

Все дело находится в бюро расследований «Комсомольской правды» как травля ЗИФом работника. Речь идет о привлечении некоторых членов правления ЗИФа к уголовной ответственности за травлю.

В портфеле «Комсомольской» лежит чудовищное письмо Заславского. *Возможно, они вынуждены будут его напечатать* с призывом от издательства о привлечении О. Э. к уголовной ответственности. Нужны экстренные меры, нужно скрутить Федерацию.

Когда все это кончится, не знаю. Сегодня был суд по делу Карякина к ЗИФу, О. Э. *вызван был соответчиком* [57].

Не доверяя юрисконсульту, пришел член нового правления Яковлев. Повторил все свои подлые выпады, заявил, что издательство ничего не знало и т. д. Но это суд настоящий — в нем были и наши свидетели (Шойхет). Зачитаны письменные показания других. Яковлев, уходя, заявил, что *во всем согласен с Заславским*. До О. Э. выступал представитель бюро расследований «Комсомольской». Решение в пятницу. По всему течению суда можно сказать (общее мнение), что *ЗИФ проиграл*. Еще. Писатели не объявили недоверия конфликтной комиссии, но это сделали переводчики. У Нейштата [58] (один из лучших переводчиков, случайно услыхавший о К. К. и явившийся на нее) вышло столкновение с Заславским.

P. S. 15 писателей обвиняют в том, что они не знали материалов. Это наглая ложь: письмо Гормфельда — единственный материал Заславского — было целиком проиграно на собрании у Всев. Иванова. Там же были оглашены и все существующие документы, но они до сих пор неизвестны мерзавцам из Федерации.

Тот назвал Нейштата — идеологом халтуры. Бюро переводчиков подало заявление о *недоверии* и о *некомпетентности* Комиссии в 14 пунктах. Я его не видела. Немедленно сообщите обо всем Ленинградской Федерации, Слонимскому, Федину и др.

Ждем немедленного вмешательства.

Н. Мандельштам

Я подтверждаю каждое слово этого письма. Все, что происходит, позорно и страшно. Это — последнее разложение. Трусость, ложь, подхалимство. Пусть мне перегрызают горло, но я призываю товарищей спасти *честь свою*, честь литературы — вырвать оружие у черной шайки, выступить *властно*, немедленно.

О. Мандельштам

Приложение
(рукою Н. Я. Мандельштам)

Практика, в которую был вовлечен О. Э. и в которой он замешан менее всех других, настолько обширна, что даже конфликтная комиссия Федерации вынуждена была вынести порицание издательствам. Но тем не менее порицание выносится

только ему одному, а не всему сонму редакторов во глвве с Луначарским и Коганом, и притом с инсинуирующими намеками иа фантастические, лживые «материалы» после почти двухмесячной абсолютно бессодержательной травли.

13 июня 1929. Ленинград. Мандельштам, испытывая какую-либо личную неприятность, представлявшуюся ему бедой, крушением,— поразительно умеет вовлекать в происходящее событие все окружающие его вещи, людей, явления — пропитывать все живое вокруг себя ощущением колоссального крушения, сознанием величия и неминуемости обрушивающейся на все и на вся беды. Люди, пропитанные таким ощущением, больны тревогой, течение времени останавливается, царит хаос.

Но стоит им перешагнуть за черту чура — они опять легки и свободны, как рыба, брошенная в родную воду с того берега, на который была вынесена штормом. И на все, связанное с Мандельштамом, все, чего они сами только что были участниками, они глядят со стороны, глядят как на копошащийся где-то рядом, вовсе не нужный им мирок растревоженного муравейника.

Событие ничтожно само по себе. Иной человек не задержал бы на нем внимания, не задумался бы о нем — и событие прошло бы мимо него, не задев его, не причинив ему боли, не разрастаясь. Но Мандельштам фиксирует на нем всю силу своего пафоса, всю свою энергию, все свое существо. И событие начинает разрастаться, оно, как ядовитым соком, наливается отношением к нему Мандельштама, оно питается им и чудовищно гиперболизируется, и становится большою смутной бедой, которая, ища новых соков, начинает жадно впитывать в себя все другие, лежавшие в покое, в нерастревоженном лоне ближайших ассоциаций, события. События влекут за собой людей, Мандельштам заражает людей таким же, как свое, отношением к происходящему. Событие, переросшее в тревогу, в беду, в катастрофу,— брошено в пространство, оно летит, сокрушая все на своем пути, оно не может остановиться.

Человеку, в этот момент взглянувшему на него, невозможно в нем разобраться, невозможно его проанализироавть. Если из чувства самосохранения человек не отскочит в сторону (чтобы потом недоуменными глазами проводить пронесшегося мимо него дракона), он неминуемо будет втянут в это безумие, он потеряет себя самого, он станет бессильной и безвольной частицей того же мандельштамовского хаоса.

Таким я помню Осипа Мандельштама в Ялте, когда мелкое жульничество хозяина пансиона разрослось в катастрофу. Таким представляется мне и происходящее сейчас в Москве дело его с Заславским и «Федерацией».

Сегодняшнее письмо Мандельштама к Ахматовой — залетевший сюда метеор от громадной, разлетевшейся в мировом пространстве кометы.

Метеор пламенеет, кричит, взывает, но разве можно спасти комету? Разве есть на Земле средства для такого спасения?

Для этого надо было бы перестроить Вселенную. Но разве для перестройки Вселенной достаточно требований, желаний, энергии одного — только одного (ну, двух, трех, десятка, наконец!) — из квадрильона мириад составляющих Вселенную миров?

18 июня. Москва. В 10 часов вечера я у О. Э. и Н. Я. Мандельштам (в квартире брата О. Э., Александра (?), около Маросейки). О. Э.— в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать, голодает в буквальном смысле этого слова. Он живет (отдельно от Н. Я.) в общежитии ЦЕКУБУ, денег не платит, за ним долг растет, не сегодня-завтра его выселят. Оброс щетиной бороды, нервен, вспыльчив и раздражен. Говорить ни о чем, кроме всей этой истории, не может. Считает всех писателей врагами. Утверждает, что навсегда ушел из литературы, не напишет больше ни одной строки, разорвал все уже заключенные договоры с издательствами. Говорит, что Бухарин устраивает его куда-то секретарем, но что устроиться все-таки, вероятно, не удастся. Хочет уехать в Эривань, куда тоже его обещали устроить на какую-то «гражданскую» должность. Но на отъезд в Эривань нужны деньги, взять их решительно негде. О. Э. выдумывает безумные планы доставания этих денег — планы совершенно мифические и, конечно, неосуществимые.

О. Э. произвел на меня тягостнейшее впечатление. Надо, необходимо что-то сделать. Но что сделать? Что можно сделать, когда такая, такая животная косность! И потом — кто авторитетный, имеющий вес, может загореться, может взорвать броню, оковавшую все связанное с мандельштамовской историей? Конечно, никто! Люди не вспыхнут!

Ушел вместе с О. Э. около часу ночи. Вместе ехали в трамвае до Николо-Песковского. Он в отчаянье говорил, что его после часа ночи не пустят в общежитие...

19 июня. 7 часов вечера — у Бориса Пастернака. Громадное лицо — из глыб, умные, большие какие-то — с зеленым — глаза. Евгения Владимировна. Чудесное отношение ко мне. Разговор об А. А. (я передал Б. Л. фотографию А. А. с ее надписью). Об операции: рентгеновский снимок показал разрушение челюстной кости. Будут вырывать все нижние зубы и что-то — неизвестно как — долбить. Запущенная болезнь. Жутко!

Много говорили о Мандельштаме — в связи со всей этой историей (Заславский, «Федерация» и пр.). Пастернак говорит, что чувствует себя немного виноватым, потому что был в конфликтной комиссии, обещав О. М. не быть там, и потому, что говорил не так, как ожидал О. М. (Долго и трудно рассказывать — не записываю.)

25 июня. В половине девятого вечера А. А. звонила, предложила пойти с ней погулять. Зашел за ней, сыграл партию в шахматы с Пуниным, дал ему мат. Ходил с А. А. — гуляли по Неве, до Адмиралтейства, сильный ветер с востока. Зимний дворец похож на бал XIX века — толпится, толпится колоннами... А как ужасен был бы мир, если б в нем вовсе не было ветра — никогда!

Говорили спокойно, раздумчиво: о Пунине, о Москве и литературе, о Мандельштаме, обо всем...

Не обладай О. Мандельштам исключительной трусостью [59], он давно после всей этой истории покончил бы с собой. Тогда начался бы гвалт: «Затравили поэта». А его травят, травят! Пяст рассказал А. А., что существует группа: сторонники Горнфельда, В. Фигнер и другие, которые заявляют: «Надо травить Мандельштама, пока он во всем не сознается!» Тоже — честные люди! А спросить их: взяли бы они на себя ответственность, если бы с Мандельштамом случилась катастрофа?

[ПИСЬМО]

Дорогой Осип Эмильевич,

Все мы, ленинградские поэты, объединяемые Секцией Поэтов ВССП, были свидетелями той, печальной памяти, истории, которая в свое время вызвала справедливое Ваше негодование и следствием которой был Ваш уход из литературы [60]. В то время мы не смели просить Вас не делать этого шага, потому что и сами в полной мере разделяли Ваше негодование. Все мы, однако, остро ощущали Ваше молчание. Молчание одного из лучших поэтов СССР в эпоху напряжения всех творческих сил страны не может не отразиться на самой советской поэзии, не может не обеднить ее.

Мы полагаем, что в реконструктивный период страны каждый гражданин СССР должен преодолеть всю личную боль, нанесенную ему тем или иным фактом, и во имя Коммунистической Революции все свои силы отдать творческой, созидательной работе.

Узнав о Вашем возвращении в Ленинград, мы обращаемся к Вам с призывом — вернуться в ряды тех, кто своим творчеством строит Советскую Поэзию. Не потому, что мы или Вы забыли о причинах, побудивших Вас выйти из этих рядов, а потому, что Советская Поэзия нуждается в Вас.

С товарищеским приветом

Председатель Бюро Секции Поэтов ВССП

Секретарь Бюро Секции Поэтов ВССП

28 декабря 1930 г. [61]

1934

Привыкают к пчеловоду пчелы —
Такова пчелиная природа.
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

Эпиграмма О. Мандельштама, написанная в Москве, в феврвле 1934 г.

КОММЕНТАРИЙ

[1] Ср. текст этого стихотворения, восстановленный по памяти (как представляется, менее точно) И. В. Одоевцевой, в кн.: Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим: роман.— М., 1989, с. 155.

[2] Ср. текст этого стихотворения в кн.: Иванов Г. Цит. соч., с. 155. В конце 1920 г. Мандельштам был влюблен в актрису Ольгу Николаевну Арбенину (наст. фамилия Гильдебрандт; 1898—1980) и встретился здесь с притязаниями Н. С. Гумилева, что вызвало необходимость объяснения между ними. О. Арбенина тогда же обоим предпочла Ю. И. Юркуна (писатель и художник; 1895—1938), см. фразу О. Э. в записи дневника от 15 апреля 1925 г.: «Мы оба обмануты».

[3] Речь идет о В. А. Павлове, морском офицере, с которым Гумилев уехал позднее в Севастополь (мемуар относится к 1921 году). Позднее молва приписывала Павлову какую-то роль в гибели Гумилева. Текст упомянутой «Сказки...» нам веизвестен; заглавие, очевидно, пародирует «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина.

[4] В этом шуточном стихотворении из «Антологии античной глупости» говорится об Анне Ивановне Ходасевич (урожденной Чулковой; 1887—1964), второй жене В. Ф. Ходасевича. Приведем еще четыре из этой, возобновленной в 1920-е годы, «Антологии»:

Это есть Лукиицкий Павел
Николаич человек.
Если ж это ие Лукницкий,
Это значит — Милюков.

Это Гаррик Ходасевич,
По прозванью Грецион,
Потому что Альциона
Есть элегия Шенье.

Алексей Максимыч Пешков
Очень горький человек,

Несмотря на то, что Пешков
Не есть горький человек.

Мандельштам Иосиф автор
Этих разных эпиграмм.
Никакой другой Иосиф
Не есть Осип Мандельштам.

[5] Вольфсон Илья Владимирович (1882—1950) — руководитель издательства «Время».

[6] Блох Яков Ноевич (1892—1968) — руководитель издательства «Petropolis».

[7] Речь идет о списке лиц, к которым П. Н. Лукницкий намеревался обратиться за воспоминаниями о Гумилеве во время своей поездки в Москву; Ахматова читает этот список М. Л. Лозинскому.

[8] Нарбут Владимир Иванович (1888—1938) — поэт, входил в группу акмеистов. Во время гражданской войны вел активную работу по созданию советской печати — что, по-видимому, служит подоплекой мнений Ахматовой и Лозинского, хорошо знавших Нарбута в дореволюционное время по Цеху поэтов.

[9] Эти воспоминания Ахматовой относятся к началу 1918 г.

[10] Речь идет о стихотворении «Отверженное слово „мир"...».

[11] У обеих врачи подозревали туберкулез.

[12] Сверчкова Александра Степановна (урожд. Гумилева; 1880—1952), сводная сестра Н. С. Гумилева.

[13] Вероятно, имеется в виду Яков Львович Израилевич, секретарь М. Ф. Андреевой.

[14] Этот мемуар относится к лету 1921 г., когда Мандельштамы в Баку зашли навестить Вяч. Иванова. Детальнее см.: Мандельштам Н. Вторая книга.— Париж, 1972, с. 456.

[15] Кривич (псевдоним, наст. фамилия Анненский) Валентин Иннокентьевич (1880—1936) — поэт, прозаик. Сын И. Ф. Анненского.

[16] Зноско-Боровский Евгений Александрович (1884—1954) — драматург, театровед, литературный критик; шахматист. Секретарь редакции «Аполлона» (1909—1912). После Октября в эмиграции.

[17] Потемкин Петр Петрович (1886—1926) — поэт.

[18] Толстой Алексей Николаевич (1883—1945) — поэт и прозаик.

[19] Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973) — поэт, входил в Цех поэтов и группу акмеистов.

[20] К Ольге Александровне Ваксель (1903—1932) обращено упоминавшееся выше стихотворение Мандельштама «Жизнь упала, как зарница...».

[21] Имеется в виду писатель Алексей Михайлович Ремизов.

[22] Сборник стихов Н. С. Гумилева (Берлин: Петрополис. 1923).

[23] О. Мандельштам жил в Ялте с середины ноября 1925 г. до конца января 1926 г. Хроническое безденежье, которое иллюстрирует запись Лукницкого, было вызвано тем обстоятельством, что у Н. Я. Мандельштам подозревался туберкулез и на лечение ее на юге уходили все деньги, зарабатываемые постылым поэту переводным трудом; дело доходило до того, что приходилось закладывать вещи в ломбард.

[24] Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887—1942) — в это время зав. Ленгизом. В феврале-марте 1926 г. из-за сложного финансового состояния издательства предполагалось его расформирование; вскоре Ионов ушел из Ленгиза.

[25] Лекция В. Пяста «Поэзии вне групп», о которой вспоминает Ахматова, состоялась 7 декабря (ст. стиля) 1913 г.

[26] Рыбаков Иосиф Израилевич (1890—1938) — юрист, коллекционер; с его женой, Лидией Яковлевной, была дружна Ахматова. По недатированному письму (февраль 1926 г.) Мандельштама жене деньги для него (200 р.) взял под ответственность Ахматовой Н. Н. Пунин.

[27] Речь идет о поэте Бенедикте Константиновиче Лившице и его жене, Екатерине Константиновне.

[28] Речь идет о поэте Льве Владимировиче Горнунге (род. 1902).

[29] Книга стихов В. И. Иванова. Далее речь идет о книге Вагинова «Стихи» (Л., 1926).

[30] Липскеров Константин Абрамович (1889—1954) — поэт, переводчик.

[31] Смысл этой записи раскрыть не удается.

[32] Приводим текст этого письма:

Уважаемая Софья Захаровна!

Вчера Вы были так добры, что в первое же мое посещение занялись моей характеристикой и в кратком очерке прибегли к выражению «ничего, что он — т. е. я — немного жулик...». Очевидно, говоря это, Вы полагали, что сообщите мне нечто естественное, к чему я привык как к общественному положению и своего рода «званию». Иначе я не могу объяснить той легкости, с которой чудовищный эпитет сорвался у Вас с языка...

Вы очень ошибаетесь: *я не привык* к подобным характеристикам, даже шутливым и дружественным. Вчера я не хотел углублять этой «темы» ради моей жены — теперь же настойчиво прошу Вас указать мне источник гнусных сплетен, которым Вы, очевидно, поверили и чего не скрыли от меня. ⟨...⟩ [1924]

[33] Эта статья, в которой выражен протест против практики издательств в области переводной литературы, была напечатана в «Красной газете» 3 июля 1926 г. (веч. вып.).

[34] Стихотворение «Чуть мерцает призрачная сцена...».

[35] Это заседание общества состоялось 28 января (ст. стиля).

[36] О планах расчета с Рыбаковым см. в письмах поэта к жене за март 1926 г. в кн.: О. Мандельштам. Собрание сочинений: в 3 т. Нью-Йорк, 1969, т. 3.

[37] Людмила Николаевна Замятина, жена писателя Е. И. Замятина. Приводим текст этого письма:

Дорогой Евгений Иванович,

письмо Ваше получил *сегодня* утром. Согласие мое сообщил Людмиле Николаевне. Я прочту две-три пьесы из «Пламенного круга». Было бы очень желательно, чтобы *все* приглашенные поэты не ограничились репертуаром неизданных стихов, а прибавили к нему хоть что-нибудь из старых. В этом чтенье всем известных, старых стихов, в повторении давно всем знакомого — единственное *оправданье* участия поэтов в предполагаемом вечере. ⟨...⟩ 2/III/28

[38] Фроман (наст. фамилия Фракман) Михаил Александрович (1891—1940) и его жена Ида Моисеевна Наппельбаум.

[39] Гуковская (урожденная Рыкова) Наталья Викторовна, жена Г. А. Гуковского.

[40] Петников Григорий Николаевич (1894—1977) — поэт.

[41] Марадудина М. Е.— актриса, выступала с публичным чтением стихов. В 1924 г. в Ленинграде Мандельштамы жили в ее квартире (ул. Герцена, д. 49, кв. 4).

[42] Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964), Уткин Иосиф Павлович (1903—1944) — поэты.

[43] Фиксированная (заранее обусловленная) плата.

[44] День гибели Н. С. Гумилева.

[45] В сентябре 1928 г. издательство «ЗИФ» выпустило книгу Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», на титульном листе которой О. Э. Мандельштам был указан переводчиком. На самом деле, как и было обусловлено договором, он выполнил редакторскую работу, сводя два старых перевода книги — А. Г. Горнфельда и В. Н. Карякина. Практика переизданий старых переводов, исправленных и отредактированных тем или иным литератором,— практика, с точки зрения дня сегодняшнего, нелепая и противоестественная — была в то время достаточно укоренившейся. Мизерная оплата труда переводчика, кабальные условия (по договорам на перевод книги объемом около 20 авторских листов предоставлялось несколько месяцев), бесправие — ставили переводчиков в полную и безраздельную зависимость от работодателя. Мандельштам был первым, кто выступил в печати против подобной практики издательств еще за два года до истории с «Уленшпигелем» (статья «Жак родился и умер», см. запись П. Лукницкого от 8 июля 1926 г.). По выходе «Уленшпигеля» поэт принес извинения Горнфельду за ошибку издательства, и ЗИФ, по его настоянию, напечатал поправку в «Красной газете» (1928, 13 ноября. Веч. выпуск). Все же Горнфельд выступил со статьей в защиту своего авторского права, в которой, однако, ответственность издательства и редактора переводов четко не были разделены («Красная газета». 1928. 28 ноября. Веч. вып.). Мандельштам отвечал: «Дурным порядкам и навыкам нужно свертывать шею, но это не значит, что писатели должны свертывать шею друг другу» («Вечерняя Москва». 1928. 12 декабря). Конфликт, вероятно, был бы исчерпан, если бы Мандельштам не выступил с новой статьей, призывавшей к реформе издательского дела в области переводной литературы («Известия». 1929. 7 апреля). В статье резко критиковалось крупнейшее издательство — ГИЗ. В ответ был инспирирован фельетон Д. О. Заславского «О скромном плагиате и развязной халтуре», помещенный в только что образованной «Литературной газете» (1929. 7 мая). Зависимость автора фельетона была слишком известна: он, в 1917 году активно выступавший против большевиков в петербургской печати, сумел реабилитировать себя в глазах новой власти и получил возможность выступать в центральной печати. Ответом был протест пятнадцати московских писателей (К. Зелинский, Вс. Иванов, Н. Адуев, Б. Пильняк, М. Козаков, И. Сельвинский, А. Фадеев, Б. Пастернак, В. Катаев, К. Федин, Ю. Олеша, М. Зощенко, Л. Леонов, Л. Авербах, Э. Багрицкий) в следующем номере «Литературной газеты» (13 мая). Заславский, не ожидавший такого отпора, был вынужден обратиться за содействием к Горнфельду: «Лично я ввязался в это дело случайно. ⟨..⟩ Но „Литературная газета" просила меня написать фельетон ⟨...⟩ редакция (то есть те члены редакции, которые со мной говорили) эту тему одобрила, и я не предполагал, что поднимется из-за этого такой шум» (письмо от 13 мая). Горнфельд, который впоследствии вел двойную игру, 17 мая писал одной из своих корреспонденток: «Заславский просит меня поддержать в борьбе его, но он теперь каналья хуже Мандельштама...» Тяжебная и судебная (Карякин подал в суд на издательство) история тянулась до начала 1930 года.

[46] «Потоки халтуры» («Известия». 1929. 7 апреля; см. примеч. 45).

[47] Речь идет о Давиде Осиповиче Заславском (1880—1965), см. примеч. 45. Впоследствии он был фельетонистом «Крокодила».

[48] Речь идет о Федерации объединений советских писателей (ФОСП), предшественнице Союза советских писателей, ее Исполнительном бюро и Конфликтной комиссии, в которых начались заседания по разбору «дела».

[49] Поступальский Игорь Стефанович (1907—1990) — поэт, литературный критик; Моргулис Александр Иосифович (1898—1939) — переводчик, приятель О. Э. Мандельштама, адресат шуточных «моргулет»; Семенов Сергей Александрович (1893—1942) — писатель; Эрлих Вольф Иосифович (1902—1944) — поэт; Журба Павел (1895—1976) — писатель; Горбачев Георгий Ефимович (1897—1942) — литературный критик; Груздев Илья Александрович (1892—1960) — литературовед, биограф М. Горького; Штейнман Зелик Яковлевич (1907—1967) — литературный критик. Это письмо стало следствием обсуждения «дела» в редакции журнала «Звезда» 28 мая 1929 года. Предварительно Н. Я. Мандельштам, специально приехавшая из Москвы, делала сообщение по документам.

[50] Канатчиков Семен Иванович — редактор «Литературной газеты» и зав. Литхудотделом ГИЗ, заказавший фельетон Заславского.

[51] Заседание комиссии состоялось 11 июня 1929 года.

[52] Речь идет об общежитии Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), где в то время жил Мандельштам; о нем упоминается и в «Четвертой прозе».

[53] О письме см. примеч. 45.

[54] Речь идет о том, что в конце 1928 или начале 1929 года ЗИФ расторг договор на редактуру переводов томов собрания сочинений Майн Рида, заключенный с Мандельштамом и Б. Лившицем, основываясь на том, что они не владеют английским языком.

[55] Федин Константин Александрович (1892—1977), Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972), Козаков Михаил Эммануилович (1897—1954) — писатели.

[56] Речь идет о С. И. Канатчикове (см. примеч. 45).

[57] Судебное заседание состоялось 11 июня 1929 года; по этому упоминанию устанавливается датировка настоящего письма.

[58] Нейштадт Владимир Ильич (1898—1959) — поэт, переводчик, автор работ по теории шахмат.

[59] Такое мнение объясняется лишь молодостью мемуариста; он легко верит многочисленным недоброжелателям, охотно забывшим такой, например, легендарный уже к тому времени случай, как инцидент с Блюмкиным 1918 года. Будущее показало подлинную силу характера поэта.

[60] Речь идет об истории с переводом «Тиля Уленшпигеля».

[61] Сведений о том, было ли это обращение принято, не имеется. Текст письма, возможно, был вызван тем, что в Ленинграде получили известность стихи 1930 года («Армения»), звучавшие диссонансом целям, заявленным в настоящем обращении. В декабре 1930 года О. Э. Мандельштам находился в Ленинграде.

Публикация В. К. Лукницкой
Комментарий А. Г. Меца

гельянство, материализм и марксизм, марксизм в особенности» (см. «Истоки и смысл русского коммунизма»).

В условиях идеологической деспотии традиционые максимализм и идолопоклонство многократно усилились и губительным образом проявились в науке и общественной жизни. Они еще не изжиты и сейчас. Еще не одно поколение будет нести в себе вериги духовной несвободы. Принципы научной этики и свободомыслия, которые воплощались в творчестве и поступках Любищева, могут способствовать возрождению отечественной науки. Прежде всего, он призывал к распространению столь необходимого союза самых разных философских мировоззрений, включая теологию. За несколько месяцев до кончины (в 1972 году) Любищев пишет эссе «Научный атеизм и прогресс человечества». Он не был верующим в традиционном понимании (в обыденном смысле), но считал недопустимым отрицание «с порога» религиозных доводов в науке. Научный атеизм, по Любищеву,— химера, сродни лысенковщине. Атеизм вовсе не связан ни с прогрессом в области науки, ни с повышением нравственного уровня общества. Любая догматическая идеология, при ее насильственном внедрении, приводит к упадку, независимо от характера самой идеологии. Догматический атеизм не лучше религиозного фанатизма.

Многообразие проявлений человеческой мысли ведет к состязательности, к столкновениям идей. Любищев полагал, что идейная борьба в науке никогда не исчезнет, в этом нет ничего плохого. Но надо различать конфликт и борьбу. Конфликт сопровождается насилием, вмешательством некомпетентных людей, наличием деспотизма. Зрелость науки состоит в том, что конфликтные ситуации полностью исчезают, остается одна честная борьба. Культура несогласия признает допустимыми любые исходные положения, разум не должен быть скован никакими ограничениями. Культура несогласия основана на человеческой мудрости, милосердии, понимании того, что убеждения человека строятся не только на разуме, но включают порой неосознанные убеждения чувств. Поэтому тезис Кропоткина «люди лучше учреждений» Любищев усилил до «люди лучше убеждений».

Последний, созвучный христианству тезис он высказал в эссе-размышлении «Мысли о Нюрнбергском процессе», которое публикуется ниже. Эссе написано 25 лет назад в характерной для Любищева манере быстрого отклика на события быстротекущей жизни. Но в этих откликах мгновения связывались с вечностью, с вековыми традициями человеческой культуры. За четверть века эссе ни в малейшей степени не утратило актуальности. Скорее, наоборот. Только сейчас наше общество подошло к зрелому осмыслению трагических событий истории. Термин «новое мышление» относится к той же плеяде эвфемизмов, спущенных сверху, что и «культ личности» и «гласность». Практика гласности весьма напоминает принцип матрешки: снимают один слой неправды, а под ним снова то же самое, хотя и в уменьшенном масштабе. Матрешечный подход к анализу трагического прошлого следует заменить вертикальным срезом, тем честным, свободным от клановых и групповых пут и основанным на хорошем знании истории и культуры подходе, которым отличается творчество Любищева.

Без следования идеям Нюрнбергского процесса, когда вершился суд не только над опасными преступниками, но и над организациями и партиями, в которые они входили и от имени которых совершали злодеяния,— невозможно выйти из политического, нравственного и экономического тупика. У победителей остались безнаказанными те преступления, за которые были осуждены на Нюрнбергском процессе побежденные. Вот почему так актуален общий вывод Любищева: «Пока побежденные будут рассматриваться как преступники, а победители как честные ангелы, всякие разговоры о разоружении, предотвращении войн, борьбе с расизмом будут беспочвенной и лицемерной болтовней».

Западная Германия, с которой на наших глазах воссоединилась Восточная Германия, постоянно помнит о Нюрнбергском процессе. Точнее сказать, не просто помнит — по точным словам А. Солженицына, «Западную Германию наполнило облако раскаяния — прежде, чем там наступил экономический расцвет». У нас же, продолжает Солженицын, «и не начали раскаиваться. У нас надо всею гласностью нависают гирляндами — прежние тяжелые жирные гроздья лжи. А мы их — как будто не замечаем».

Насколько же прав был А. А. Любищев в своих размышлениях об уроках Нюрнбергского процесса для победителей и побежденных.

А. А. Любищев

МЫСЛИ О НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ

В этом году я видел два подлинных шедевра американского кино: «Двенадцать разгневанных мужчин» в Новосибирске, а недавно, 29 ноября, с Оленькой [1] — «Нюрнбергский процесс» в кино «Дружба». По совершенству замысла и исполнения «Двенадцать разгневанных мужчин» не уступают, а может быть, даже превосходят «Нюрнбергский процесс», но последний шире по затрагиваемым проблемам. Я хотел написать даже серьезную статью на эту тему, но так как у меня сейчас цейтнот, то ограничусь наброском, может быть, пригодится для будущего, в частности для «Баланса октября» [2].

«Нюрнбергский процесс» (производство США) касается не процесса 1945 года [3], когда судили главных немецких преступников, а процесса 1948 года, когда судьи были только американцы (три судьи), судившие в американской зоне четырех судебных деятелей. Из них три — явные нацисты, типичные представители гитлеровского верха, а четвертый (главный подсудимый в фильме), Эрнст Янинг, оказался среди нацистов неожиданно: он, в прошлом знаменитый прогрессивный юрист, вдруг в конце концов оказался министром юстиции при Гитлере, подписывавшим приговоры о стерилизации неполноценных и смертные приговоры (тут рассматривался только один) евреям за расовую измену (связь с арийкой). Ни один из подсудимых не признал себя виновным, а Янинг с самого начала отрицал подсудность, но в конце под впечатлением речи своего адвоката, который перестарался в его пользу и с чрезмерным пристрастием допрашивал немку, обвиняемую в связи с евреем (это она отрицала, но говорила, что этот еврей был самым добрым другом ее родителей и много помогал ее воспитанию, отчего она держала себя с ним как с отцом), он выступил с сознанием своей вины, отчего другие его товарищи кричали ему «предатель». В тюрьме он тоже держался одиноко от товарищей.

Все артисты играли блестяще: и главный судья — простой, скромный и умный человек, блестящий адвокат, тоже выдающийся обвинитель. Очень хороша была дикция, так что я почти ничего не пропустил, судья вместе с другими членами суда (против третьего, который стоял за смягчение) приговаривает всех к пожизненному заключению, но в конце сообщается, что все они были выпущены через несколько лет из тюрьмы.

Острый конфликт резюмирован в последней беседе адвоката с главным судьей. Адвокат как будто потерпел поражение, судья признает, что защита была блестящей, и признает, что логика за адвокатом, но на стороне судьи справедливость. Адвокат в свою очередь говорит, что он готов держать пари, что долго в тюрьме обвиненные сидеть не будут (что оказалось правильным).

Выявлены три принципа: 1) логика, вернее, строгая законность, легитимность; 2) справедливость и 3) целесообразность. Преступники из тюрьмы выпущены, потому что американцы в силу проявившейся агрессии Сталина (захват Чехословакии и самоубийство Массарика [4], перерезка путей в Западный Берлин, отчего приходилось снабжать западные секторы воздушным путем), как правило, считали необходимым идти навстречу немцам, видя в них потенциальных союзников при агрессии со стороны СССР, и считали, что нельзя обвинять весь немецкий народ за преступления Гитлера и его банды.

Противоречивы ли эти три принципа? Если по существу противоречивы, то это очень плохо прежде всего с точки зрения возможности людей договориться между собой, перспектив разоружения и вечного мира. А если они совместимы, то как получается, что умные люди (и неплохие оба) не могут договориться? Нельзя ли найти такую точку зрения, где бы эти принципы оказались непротиворечивыми? Вот попытку ответить на этот вопрос и составляет настоящий набросок.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Возьмем сперва *логическую сторону, юридическую*. Как можно говорить, что гитлеровские изверги не подсудны? На это можно ответить: изверги были и раньше, и они никогда не были подсудны. Адвокат правильно говорит, что и противники Гитлера исходили из следующих положений:

1. «Права или не права — но это моя родина», то есть я имею не только право, но даже обязанность защищать свое отечество даже в том случае, если оно ведет несправедливую войну или в ходе войны совершает преступление: постулат абсолютного патриотизма;

2. «Судья не составляет законы, а заботится об их исполнении»: содержание законов не касается судьи и вообще работников юстиции (не указано, как мне помнится, адвокатов, но можно прибавить);

3. Постулат абсолютного суверенитета государств: никто не имеет юридического права вмешиваться во внутренние дела государства и за дела в пределах своего государства правитель юридически не отвечает, так как нет законов для глав государств (единственным мне известным исключением является «право законного восстания» Великой Хартии вольностей, руководясь которым английские фрондеры добились организации парламента). По теории правители отвечают только перед Богом (в абсолютных монархиях) или перед народом (в демократических республиках);

4. Выводом из предыдущего было, что отношения между народами нормируются не судом, а добровольными договорами или, если договоры не привели к результату, войной. Война не считалась преступлением, а война, даже самая справедливая, всегда сопряжена с гибелью не только воинов, но совершенно неповинных мирных людей и со многими другими кошмарами. Напротив, даже ремесло воина считалось почетным, и крупные полководцы пользовались славой совершенно независимо от того, в каких войнах и как они себя проявили. Даже Тамерлан находил защитников в лице, например, Марло [5], а имя Чингисхана пользуется большим авторитетом у многих азиатских народов. Культурные венгры поставили памятник своему предку Аттиле и даже гордятся тем, что происходят от гуннов. У нас Суворов считается национальным героем, хотя большинство его войн или бессмысленны или антинародны (подавление пугачевского восстания, разгром Польши: «Мы о камни падших стен младенцев Праги разбивали, когда в кровавый прах топтали красу костюшковских знамен») [6]. Нельзя поэтому говорить, что войны навязывались народам. К сожалению, почти все народы любят победоносные войны.

Идеи вечного мира (Кант) большинством считаются утопиями, и под это подводятся и идеологические основания: «Вечный мир есть мечта, и при том совсем не прекрасная», «Не будь войны, мир погряз бы в материализме» (Мольтке), «Великие вопросы времени решаются только кровью и железом» (Бисмарк), «Насилие есть повивальная бабка истории» (Маркс). Конечно, Маркс и марксисты отрицают «вечность» международных войн, они признают лишь «временные» гражданские войны, за которыми должно последовать царство вечного мира, но история последнего полуиека, отношения СССР и Китая заставляют сомневаться, что даже если бы во всем мире наступил коммунизм, причины войн (территориальные претензии) полностью исчезли бы, так как ни СССР, ни Китай, несмотря на свой социализм, от принципа абсолютного суверенитета отказываться не намерены. Даже наш гуманнейший философ В. Соловьев в «Трех разговорах» оправдывал войну, иллюстрируя это законной расправой русских войск над бесчинствующими башибузуками [7]. Правда, В. Соловьев не указал, а как быть русскому воину, если бесчинствуют русские войска? Должен ли он выступить против своих или, припоминая первый постулат «Моя родина — права или не права», со скрежетом зубовным защищать «своих» извергов;

5. Последним общим постулатом было положение: «закон обратной силы не имеет»: нельзя отвечать по несуществующему закону. А так как закона, регулирующего отношения между государствами, не было и не было инстанции для суда над государствами, то и судить правителей за войны не было юридических оснований. И, надо сказать, это правило соблюдалось и в отношении побежденных, где сила была очевидно на стороне победителей. Их в случае полного поражения рассматривали в худшем случае как военнопленных, а не как преступников. Наполеон пролил много крови, совершил немало преступлений даже с явным нарушением тогдашних международных норм (расстрел герцога Энгиенского и книгопродавца Тальма, расстрел двух тысяч арабов, сдавшихся на честное слово наполеоновского генерала) и за пределами Франции. Но его не судили: сначала с почетом заключили как военнопленного на Эльбе, а когда он произвел новый переворот, заключили (как особо опасного военнопленного) на острове Святой Елены. Шамиль оказался в полной власти русских войск, и он сам рассчитывал, что его не помилуют, но его как почетного военнопленного отправили в Россию.

Отсутствие возможного судилища не мешало развитию международного права, основанного на добровольно принятых обязательствах между государствами. В отличие от прежних понятий, мирные граждане брались под защиту, жизнь сдавшихся военнопленных была неприкосновенной, и никто не имел права принуждать военнопленных работать на пользу враждебного государства. В начале русско-японской войны в русской печати было торжественно провозглашено: «С военнопленными, как законными защитниками своего отечества, надлежит обращаться человеколюбиво». Так оно и было. Русско-японская война была последней войной, в которой эти нормы международного права соблюдались. В первую мировую войну уже широко практиковался труд военнопленных на стратегических сооружениях. Кто начал, Россия или Германия, мне неизвестно, но известно, что на постройке стратегической Мурманской железной дороги погибли от цинги и прочего десятки тысяч немецких военнопленных, отчего в виде протеста Вильгельм перевел пленных русских офицеров на положение солдат, хотя по принятым нормам офицерам, смотря по чину, полагалось лучшее содержание. Кроме того, сам факт объявления блокады всей Германии (попытка взять голодом всю страну) обозначал смешение комбатантов [8] и некомбатантов, что раньше допускалось только по отношению к крепостям (предполагалось, что мирные жители могли покинуть крепость).

Несомненно, что в XIX веке прогрессивная мысль не мирилась с идеей вечности и законности войн. Уже были случаи гаагских конференций [9] для разбора конфликтов между государствами (конфликт США и Англии по поводу «Алабамы») [10]. Уже выступали пацифисты (Берта Зутнер, Л. Толстой), что и нашло выражение в проекте, выдвинутом Николаем II, полного разоружения и передачи разбора всех конфликтов Международному гаагскому трибуналу. Тогда этот проект был высмеян, в частности, марксистами. Он, конечно, был преждевременен, но он был логически последователен. Нашим недавним правителем, «марксистом» Хрущевым, выдвинут совершенно нелепый проект разоружения, где никакого Международного трибунала не предусмотрено, так как новейший проект предполагает: 1) СССР во всех конфликтах как более прогрессивное государство всегда право; 2) по отношению к СССР сохраняется принцип суверенитета, но не по отношению к капиталистическим государствам; 3) наши границы и границы социалистических государств пересмотру не подлежат, а границы капиталистических подлежат; 4) насилие отрицается в отношениях между странами, а для революции приветствуется насилие. Пацифистские стремления XIX века рассматривались как утопия, либеральные мечты о постепенной эволюции в пользу пацифизма считались обманом классового врага.

Но в XX веке появилось учение Ганди, которое при всей своей гуманности и при полном отрицании насилия оказалось эффективным. Это опровергло насмешки марксистов, в частности, Ленина, что отрицать допустимость кровавых революций могут только «интеллигентные хлюпики». Ганди достиг великолепного результата — освобождения своей родины Индии не только без призывов к насилию, но с призывом к прекращению

сопротивления, когда борьба приобретала кровавые формы. Он не достиг полного успеха (кровавая борьба мусульман и индусов) и сам пал жертвой фанатика-расиста, но его дело не пропало. Несомненно, что Ганди не единственный, но наиболее крупный деятель теории мирного сопротивления. Как известно, Л. Толстой был ему родственен, но, по-видимому, перегибал палку в сторону полного непротивления злу. Как раз у нас в России можно зарегистрировать две блестящие победы, связанные с пассивным сопротивлением: всеобщая забастовка в октябре 1905 года и февральская революция 1917 года.

Антимилитаризм этого сорта предполагает отказ от первого постулата — абсолютного патриотизма: каждый гражданин имеет не только право, но и обязанность выступать и против своего отечества (руководясь принципом мирного сопротивления не с оружием в руках, а речами, пропагандой, забастовками и проч.), если оно ведет несправедливую войну. И таких случаев зарегистрировано немало: Ллойд Джордж выступал против англо-бурской войны и был чуть не убит ультрапатриотами. Во время Суэцкого конфликта в Англии и Франции даже по радио выступали противники вмешательства, что привело к падению Идена. Сейчас в США идет усиленная борьба против вмешательства во Вьетнаме, вплоть до самосожжения. Насколько мне известно, советские войска в Будапеште отказались стрелять в венгров, и венгерская революция была подавлена свежими привезенными частями [11]. Общее положение: каждый должен видеть и свои собственные грехи, а не считать, что никакая критика своего отечества не допустима. Впрочем, даже в России во время русско-японской войны велась довольно энергичная критика войны либеральными кругами (например, Милюковым, который даже в начале первой мировой войны был против военного вмешательства России: впоследствии и он стал ультрапатриотом) [12].

Таким образом, с точки зрения того, что называется положительным правом (совокупность опубликованных и неотмененных законов), даже главные преступники не были подсудны суду победителей: они могли считаться только военнопленными. Их можно было судить не с точки зрения положительного права, а только с точки зрения естественного права, на основе которого творились все великие революции, которые все с точки зрения положительного права (опять-таки за исключением английского права законного восстания) были противозаконными. Существующее положительное право объявлялось нарушением естественного права, и тогда соблюдался принцип, что закон обратной силы не имеет, так как естественное право предполагалось действующим вечно, но нарушенным введением определенных законов, противоречащих естественному праву.

Это прекрасно выражено в манифесте свободного человечества, «Общественном Договоре» Ж. Руссо: «Человек родился свободным, а он повсюду в цепях». Хотя цепи разного рода утверждены положительным правом, это не имеет значения с точки зрения естественного права, и такого рода законодатели являются преступниками. Апелляцией к естественному праву проникнута и Декларация независимости США. Там справедливость отделения штатов от Англии обосновывалась так: «Мы считаем, что следующие истины не требуют доказательства: все люди созданы равными, и Создатель дал им неотчуждаемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью; мы считаем, что правительства среди людей создаются лишь для того, чтобы обеспечить им эти права, и что права и полномочия правителей зависят от согласия управляемых. Это значит, что если система правления вредит или нарушает эти цели, правом народа является изменение или устранение правительства и установление нового правительства, которое основано на этих принципах и формы и строения которого стремятся обосновать безопасность и счастье народа». С точки зрения положительного права Г. Вашингтон, офицер английской армии (и согласно тогдашним законам добровольно вступивший в армию), есть изменник своему государю, которому он присягал. С точки зрения естественного права он герой, сохранивший верность своему народу и отказавшийся повиноваться государю, нарушившему естественный закон.

Великая революция с точки зрения естественного права есть восстановление закона, а не его нарушение. Хотя марксисты мало говорят об естественном праве, но и Маркс говорит о социальной революции, что это «экспроприация экспроприаторов»: классовое законодательство по самой своей природе является грабежом трудящихся, и потому отнятие имущества капиталистов является восстановлением закона, а не нарушением его (хотя с точки зрения положительного права это несомненно нарушение закона) [13]. Такой взгляд принимают в исключительных случаях и правители: негры в США были освобождены без выкупа Линкольном, это было явное нарушение положительного права, так как торговля неграми была легализирована, а лица, законно вложившие свой капитал в живой товар, разорялись без всякого преступления с их стороны. Но было признано, что владение людьми есть явное нарушение естественного права, и рабовладельцы, вполне лояльные граждане, были наказаны за недостаточное понимание естественного права.

Поэтому адвокат в Нюрнбергском процессе вполне безупречен с точки зрения положительного права, но его можно вполне успешно критиковать с точки зрения права естественного. Почему же судья не критиковал его с этой точки зрения? Понятие справедливости, к которому апеллировал судья, и есть одно из выражений естественного права. Но вся беда в том, что понятие справедливости, как и в данном фильме, чаще всего обосновыва-

ется эмоциональными, а не рациональными истинами. С точки зрения рациональной естественное право очень мало разработано.

В «Философском словаре» 1963 года статья «Естественное право» начинается словами: «Естественное право — учение об идеальном, независимом от государства праве, вытекающем будто бы из разума и природы человека. Идеи е. п. сводятся к Сократу, Платону, Фоме Аквинскому, Спинозе, Локку, Руссо, Монтескье, Гольбаху, Канту, Радищеву». Как указывает словарь, в период империализма е. п. пользовалось в сильно искаженной форме особенно в католической церкви для защиты капитализма. Отсюда вытекает, что нет единого естественного права, что марксисты или не заинтересованы в разработке естественного права, или подсознательно защищают особое естественное право, отличное от естественного права капиталистических стран. Кроме того, естественное право, основанное на разуме, может принимать самые различные формы. Например, вполне законно сомневаться в первом постулате: «Все люди созданы равными». Его можно заменить, руководясь современной генетикой и эволюционной теорией, другим: «Все люди рождаются неравными и никто не имеет права претендовать на лучшее положение в обществе, чем на то, которое он может занимать по своим способностям». Может быть, причина, почему марксисты не заботятся об естественном праве, такова: основоположники учения об естественном праве были явные идеалисты, религиозные мыслители, а материалисты, развивавшие нечто подобное естественному праву, были противники социализма (Гоббс: человек человеку — волк, борьба всех против всех, социал-дарвинисты).

Разумный выход: одна из функций ООН — разработка нового естественного международного права. Работа уже начата [14]: Декларация прав человека и прочее. На этом основании предложены санкции против ЮАР, Родезии и т. д., что явно вступает в конфликт с идеей абсолютного суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Когда ООН осуждает СССР, что там угнетение подчиненных народов, отсутствие свободы (что совершенно справедливо), то это у наших правителей вызывает взрыв негодования. Общепринятого естественного права не существует, а следовательно, нельзя устраивать международных судилищ на основе несуществующего права. Потому-то судья и апеллировал не к несуществующему общепринятому естественному праву, а к более понятному чувству справедливости.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Перейдем поэтому к вопросу о *справедливости*. Здесь аргументация апеллирует к чувству, а не к разуму. Обвинитель, бывший в Дахау и других лагерях смерти, демонстрирует кино, показывающее вереницы изможденных пленников лагерей, груды трупов, детских ботинок, золотых коронок, изделий из кожи пленников лагерей и прочие ужасные картины, которые, как и адвокат признает, лягут несмываемым позором на историю германского народа. Все это верно, но когда мы апеллируем к справедливости, то справедливо требовать, чтобы эта справедливость была универсальной. *Нельзя осуждать побежденных за преступление, которое у победителей остается безнаказанным.* Лица, демонстрирующие кошмарные кинокартины, апеллируют к наглядности: если сказать, что убито сто тысяч человек, то на лиц, лишенных воображения, это действует гораздо слабее, чем когда покажут картину тысячи трупов.

В своем великолепнейшем произведении «Святая Жанна» Б. Шоу словами своей героини говорит (цитирую по памяти): «Неужели Христос должен каждое столетие быть распинаем за то, чтобы спасти людей, у которых нет воображения». У меня лично воображение достаточно развито, и для меня простой цифры достаточно, чтобы внушить ужас, картинок не требуется. Я ужасаюсь тому, что в США ежегодно гибнет от автомобилей 40 тысяч человек (за 25 лет — миллион трупов), в том числе много маленьких девочек (как погибла девочка под автомобилем в Москве во время нашего недавнего пребывания). Но подавляющее большинство людей мирится с этими жертвами [15].

Германия была побеждена, и немецкие лагеря смерти подверглись тщательному обследованию. Советские лагеря смерти такому обследованию не подвергались, даже весьма умеренный роман Солженицына сейчас уже в правящих кругах осуждается, а новый его роман подвергся даже изъятию при обысках у знакомых писателя [16]. Но многое известно еще со времен гражданской войны: расстрел императорской семьи, расстрел заложников после покушения на Ленина, расстрел пленных офицеров в конце 1920 года, а затем и огромного количества «буржуев», которых обрекали на смерть после беглого допроса каким-нибудь «доблестным» чекистом, ограбление крестьян продотрядами под видом борьбы с кулаками, что привело к страшному голоду на юго-востоке России в 1921—1922 годах, лагеря на Соловках и в других местах, бесчинства чекистов во многих местах, которые привели даже к расстрелу многих чекистов, и прочее. Но главные преступления остались безнаказанными, так как они проводились по указанию свыше, видимо, с участием Ленина (его благословение на такие дела см. в письме Зиновьеву. Собр. соч., 5-е изд., т. 50, с. 106; 4-е изд., т. 35, с. 175 и многие аналогичные высказывания).

Второй взрыв безудержного террора — коллективизация, стоившая не менее восьми миллионов жертв (можно подсчитать по официальной статистике по переписям до и после коллективизации). Третий колоссальный — ежовщина, где в отличие от первых двух — сознательное истребление распространялось и на членов компартии («и только мздой, не наказанием, пришел к нам год тридцать седьмой»).

У меня есть надежное свидетельство одного старого коммуниста, участника гражданской войны, осужденного на пять лет в 1937 году. От Котласа на Воркуту пешком вышло пятьсот человек. Дошло 150. Остальные — 350 трупов никто в кино не снимал. А сколько таких партий пропало по всему СССР? [17] Были у нас и страшные лагеря уничтожения — в особенности на Чукотке, нисколько не уступавшие по проценту погибших Освенциму и Майданеку. Но сколько доблестных чекистов подверглось ответственности, причем всегда закрытой, но гласной? И многие доблестные чекисты обижаются на Солженицына, а сейчас раздувают пропаганду в пользу чекистов ввиду предстоящего юбилея советского гестапо.

Теперь посмотрим, что инкриминировалось наиболее интересному герою фильма, бывшему министру юстиции Эрнсту Янингу. В фильме указано два факта: санкция на стерилизацию «неполноценных» и вынесение смертного обвинительного приговора еврею по обвинению в совращении молодой немки (которой дали два года за расовую измену, хотя, по ее словам, с ее стороны была чисто дочерняя любовь к превосходному другу ее родителей).

Адвокат с пристрастием допрашивал одного стерилизованного, и тот производит впечатление, что он действительно страдает слабоумием. Можно ли считать принудительную стерилизацию неполноценных таким чудовищным преступлением, которое не имеет оправдания? Во-первых, в США существует закон принудительной стерилизации преступников в некоторых штатах, и я сам читал книгу, изданную в США, где приводится довольно значительная статистика. Во-вторых, мне известен по крайней мере один случай в медицинской практике, где по признаку наследственной отягощенности производилась стерилизация женщин не только без их согласия, но даже без их ведома. Речь идет о кесаревом сечении. Женщины, подвергавшиеся кесареву сечению, были уверены, что эта операция обрекает на дальнейшее бесплодие. Компетентные врачи мне разъяснили, что это не так и что сейчас имеется много случаев, когда женщина многократно рожала путем кесарева сечения. Дело в том, что раньше в медицине считалось, что узкий таз, препятствующий нормальным родам, передается по наследству, и, чтобы предупредить в дальнейшем рождение женщин с таким дефектом, у оперированных женщин перевязывали фаллопиевы трубы, что обрекало их на бесплодие. Сейчас оказалось, что эта генетическая теория неверна, узкий таз есть просто следствие перенесенного в детстве сильного рахита, и поэтому никаких евгенических противопоказаний он не заключает.

Но говорят, что стерилизацией пользовались для борьбы с политическими преступниками. Вполне возможно, но стерилизация все же лучше, чем смертная казнь, которая в таких широких масштабах применялась в нашем социалистическом отечестве. Я полагаю, что стерилизация тяжелых преступников и рецидивистов не противоречит естественному праву, так как при сохранении семьи у преступника весьма вероятно (без всякой генетики), что дети его пойдут по стопам отца. Но если СССР не практиковал стерилизацию и относился к этому с величайшим отвращением, то, к сожалению, СССР занимает, по всей вероятности, первое место в мире по количеству абортов, а это нечто гораздо худшее, чем стерилизация [18]. При стерилизации нет убийства человеческого существа, а только предупреждение появления потенциальных людей, при аборте — несомненное убийство человеческого существа, по естественному праву на жизнь имевшего право на защиту со стороны государства. Мы знаем, что и в средние века, столь охаянные невежественными современниками, беременной преступнице, приговоренной к смерти, сохранялась жизнь, по крайней мере, до выкармливания ребенка, а большей частью беременность спасала ей жизнь. У нас же аборт абсолютно свободен, он производится ежегодно сотнями тысяч (поэтому, если начинать возраст человека, как это делают вполне логически китайцы, не с момента рождения, а с момента зачатия, детская смертность у нас окажется много выше официальной цифры, и средний возраст тоже снизится). Для молодых врачей операция аборта считается одной из трех наиболее важных, и молодой врач не вправе отказаться выполнять роль палача новорожденного человека по приговору добродетельной советской мамаши.

С точки зрения естественного права не только законодатели, сотворившие такой закон, но и все исполнители должны быть отданы под суд. Мы знаем: сами немцы (сужу по кинофильму «Сумасшедшая поневоле») судили медиков, подписавших заключение на стерилизацию, но это как будто было только тогда, когда стерилизация производилась по политическим мотивам. Поэтому американцы во всяком случае не могли судить министра юстиции за закон о принудительной стерилизации наследственно отягощенных, что защищается многими генетиками. У нас стерилизацию неполноценных по евгеническим соображениям (правда, прибавлялось, что требовалось «уговорить» неполноценных и получить согласие на стерилизацию, но мы знаем советский смысл слова «уговорить»)

защищал в брошюре «Антропогенетика на службе социалистическому обществу» известный ученый А. С. Серебровский. Ему влетело (в частности, в недурном стихотворении Демьяна Бедного), но его не только не привлекли к судебной ответственности, но даже из партии не исключили.

Второе обвинение Янинга гораздо серьезнее: что он председательствовал на суде и добился обвинительного смертного приговора еврею за предполагаемую связь с молодой немкой (кстати, добровольного приезда этой немки на суд, вопреки воле ее мужа, говорившего, что немцы не должны свидетельствовать против немцев, добился полковник — главный обвинитель).

Немец мог бы бросить встречное обвинение американцу: а разве мало случаев, что расисты юга США приговаривают к смертной казни негров, обвиненных, часто несправедливо, в изнасиловании белой женщины, причем часто добровольная связь белой женщины с негром рассматривается как изнасилование. И однако расисты юга, их присяжные заседатели не привлекаются к федеральному суду, а насколько мне известно по газетам, не было случая, чтобы присяжные заседатели расистских южных штатов признали бы виновным белого, справедливо обвиненного в убийстве негра. Немцы могли сказать: «А судьи кто?»

Но в европейских странах-победительницах нет расистских законов, а у нас расизм строго карается. Значит, если бы вместо американца на судейском кресле сидел русский, то все было бы в порядке? Пожалуй, не совсем. Во-первых, настоящий расизм в СССР хотя и лишен детального основания, но существует в виде антисемитизма и даже в виде негрофобства в тех городах, где довольно много учащихся негров (как, например, в Ульяновске). И ужасное дело врачей-«отравителей» чрезвычайно сильно пахнет антисемитизмом. Оно проводилось, как почти все такие судилища, втайне, а процесс, о котором идет речь в фильме, шел совершенно открыто при явном одобрении собравшейся публики. Это снижает ответственность судей, но усугубляет ответственность немецкого народа в целом, чего придется дальше коснуться подробнее.

Но если в нашем Союзе нет легального расизма и, в частности, антисемитизма, то даже в действиях наших руководителей часто прощупывается ясно выраженная антисемитская подоплека. Возьмем одно из явных преступлений Хрущева, дело валютчиков, где уже после вынесенного весьма сурового приговора (10—15 лет) Хрущев провел новый варварский закон, карающий спекуляцию смертной казнью, и, вопреки всяким законам, уже осужденных валютчиков вновь судили по новому закону и приговорили к смертной казни. Большинство осужденных были евреи. А кроме того, дружба Сталина с Гитлером и дружба Хрущева и нашего нынешнего руководителя [19] с Героем Советского Союза Г. А. Насером, который был в прошлом офицером армии Роммеля. У Насера очень долго висел в кабинете портрет Гитлера, он (как и другие арабские вожди) не скрывает, что его мечтой является полная ликвидация Израиля, и в силу какого-то нового «естественного права» считает воду Иордана арабской водой (его слова напечатаны у нас в газетах). Так что и у нашего Союза даже в этом вопросе «рыльце крепко в пушку» и мы не имеем права осуждать за проведение в жизнь расистских законов. Впрочем, расизм в смысле «классового расизма» у нас широко проводился в жизнь, об этом позже.

Таким образом, те дела, за которые судился именно Эрнст Янинг, не такого рода, чтобы судьи имели право его судить, так как сами в этом грешны. Но остановимся.

Коснемся теперь обвиняемых в целом, всей нацистской партии и всего германского народа, таких преступлений, которые не зарегистрированы у стран-победительниц. Это прежде всего истребление детей-евреев, цыган и некоторых других «неполноценных» национальностей, умерщвление детей с какими-либо вредными качествами и прочее. Иногда их губили в душегубках, иногда в качестве акта милосердия предварительно им впрыскивали морфий, и они умирали без страха смерти и мучений. Совершались ли такие преступления в странах-победительницах? Мне говорили, что да. Планомерного истребления детей врагов, даже классовых, у нас, насколько мне известно, не было. Действительно, истребление детей противников и угон мирного населения на принудительные работы в Германию — два реальных кошмарных преступления, за которые союзники могли судить руководителей Германии, так как такие преступления действительно являются новым вопиющим нарушением естественного права. В Советском Союзе, напротив, даже в разгар гражданской войны к детям проявлялось исключительно заботливое отношение, что признают даже враги Советской власти.

Но если умышленное убийство детей в нашей стране не имело места, то имело место беспощадное проведение мероприятий, приведших к гибели миллионов детей. Результатом коллективизации (что можно проверить по Малому энциклопедическому словарю) в то время явилось сокращение численности украинского и казахского народов, наиболее пострадавших от коллективизации. Отражением этого явилось и то, что во многих селах Киевской и Полтавской областей в школу почти не было приема, так как все дети соответствующего возраста вымерли. Так как рождаемость в это время на Украине была порядка 40 на тысячу населения в год, а на Украине было около 30 миллионов населения, то за два года получается около 2 миллионов 400 тысяч детей — жертв коллективизации.

А медленная смерть от голода несравненно более мучительна, чем даже смерть в душегубке. Правительство не могло и не имело права не знать об этих кошмарах, но оно перло к своей цели коллективизации, невзирая на чудовищные жертвы. И участь детей кулаков и подкулачников не вызвала сожаления у остервенелых руководителей коллективизации.

Это нашло свое выражение в романе (и кинофильме) Шолохова «Поднятая целина». В этом фильме один из товарищей Давыдова, помнится, Разметнов, сохранивший еще человеческую сознательность, говорит, что ему стало жаль детей раскулаченных крестьян (а имущество одного из «кулаков» состояло всего из четырех волов, которых он «преступно» хотел увести из станицы). На это Давыдов, выставляемый обычно как положительный герой, вспоминает, кажется, свою сестру или какую-то другую девушку, вступившую на скользкий путь под влиянием нужды. Таким образом, за судьбу одной девушки, погибшей в городе, должны расплачиваться дети крестьян, не имеющие никакого отношения к городу и совершенно неповинные в преступлениях города. Это ли не расизм в самой худшей, быть может, форме — классовый расизм, причем он распространяется не только на представителей класса действительных эксплуататоров, а и на лиц иного класса, но в этом или ином смысле поддерживающих кулаков или просто не желающих участвовать в подлинном грабеже честных трудолюбивых мужиков.

И надо сказать, что источники такого классового расизма можно найти, как это ни покажется странным, у одного из декабристов, прославляемого как героя Пестеля. Он проектировал поголовное истребление всех чинов императорской фамилии (см. История политических учений, второе издание, 1960, с. 469). Если верить Мережковскому (в романе «Александр I»), то этот возмутительный по жестокости и бессмыслию проект (а Мережковский, насколько я мог его проверить по другим высказываниям, не выдумывает исторических фактов) должен был еще сопровождаться чудовищным вероломством: подговорив молодых людей для совершения массового убийства, Пестель намеревался (ввиду обилия монархистов в народе) потом их всех публично обвинить и казнить: очевидно, он полагал возможным поддержать республику только истреблением возможных кандидатов в цари. Это уже просто предварение сталинизма в его чистом виде.

По количеству кошмарных преступлений, как будто беспрецедентных, сталинизм не уступает гитлеризму, и если судят с точки зрения естественного права гитлеризм, то под суд надо отдать и сталинизм, а пожалуй, и ленинизм. В прошлом, конечно, можно найти некоторые слабые прецеденты зверства XX века. В романе Фейхтвангера «Лисы в винограднике» сообщается, что во время американской Войны за независимость английские офицера добросовестно переправляли в Англию в качестве подарка королю ящики со скальпами мятежных американцев, снятыми союзными индейскими племенами, в доказательство своей лояльности и преданности, причем в числе скальпов было много снятых с мирных жителей, убитых во сне, сожженных заживо, и скальпы маленьких убитых девочек. Впрочем, и в кошмарном романе Майн Рида (которого как будто считают прогрессивным писателем) «Белый вождь» указано, что в отместку за издевательства над своей невестой и матерью герой романа (избранный вождем одного индейского племени) привел все это племя и полностью истребил все население городка, не исключая детей, за то, что город был пассивным свидетелем издевательства испанских офицеров над женщинами. И после такого злодеяния герой жил, почитаемый своими соседями.

Количество злодейств, учиненных Гитлером и Сталиным, примерно одинаково, в смысле вероломства у Сталина неизмеримое преимущество. Нельзя осуждать одного и обелять другого. Надо судить обоих [20].

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Но тогда сейчас же выдвигается третий критерий: *целесообразность*. Этот критерий вовсе не монолитен, а имеет два понимания: низменное, в смысле приспособленчества, оппортунизма, и высокое, в смысле следования высоким целям. Хорошо помню слова моего покойного друга Я. И. Френкеля, когда дошли надежные вести о кошмарном истреблении пленных офицеров в Крыму. Он был сторонником советской власти, но душа его возмущалась террором. Он сохранил советскую лояльность на таком основании: у обоих сторон средства ужасные, но цели у советской власти гораздо более высокие. Были сведения о терроре белых, подобном террору красных (я слыхал об истреблении скрывавшихся в керченских и евпаторийских каменоломнях, но сейчас об этом ничего не пишут). Вспоминали расправу с парижскими коммунарами, и поэтому были основания думать, что в случае торжества белых с их стороны будет такая жестокая и бессмысленная расправа, как и со стороны красных.

А что идеалы красных были выше, это сознавали и некоторые искренние апологеты белого движения. В бытность мою в Крыму во время гражданской войны один видный белый экономист, сделавшийся священником (кажется, С. Н. Булгаков), громивший марксизм как нечестивое учение, идеолог белой армии, однажды, к великому соблазну своих единомышленников, признался, что хотя марксизм и порождение дьявола, но в од-

ном отношении он выше идеалов белого движения: идеал белых — национален, идеал красных — вселенский, интернациональный. Вот с этой точки зрения и можно судить всякий фашизм, расизм и нацизм. Но и тут придется ввести оговорки.

Во-первых, хотя интернационализм и провозглашен давно, но все государства еще проводят национальные цели, и коммунистические государства не составляют исключение. Во-вторых, как раз при Сталине и во время второй мировой войны национальные интересы были поставлены во главу угла. Официальный лозунг был: «За Родину, за Сталина», а не «за человечество, за социализм». В-третьих, и сейчас мы говорим совершенно империалистическим языком и не допускаем ни малейших попыток исправления границы (например, Кунашир и Итуруп, самоопределение прибалтийских республик, Кенигсберг). И в этом отношении являемся несравненно большими империалистами, чем, например, Англия, которая так «исправила» свои границы, и притом при очень слабом сопротивлении (в отличие, например, от гораздо более слабой Португалии). Социалистические интернациональные идеи уже преданы социалистическими странами, продолжается режим диктатуры, полное отсутствие демократии и свободы.

Единственной организацией, не предавшей великого дела интернационализма, является в настоящее время католическая церковь и некоторые протестантские церкви, например, квакеры. Неудивительно поэтому, что Гитлер погубил множество католических священников. Недавно на героическое самосожжение в США в виде протеста против войны во Вьетнаме обрекли себя католик и квакер (следуя примеру вьетнамских буддистов). И, наконец, куклуксклановцы питают лютую ненависть к католикам. В одной недавней газете я читал перечень врагов ку-клукс-клана: негры, католики, евреи и коммунисты. Католики по своей силе (около 30 миллионов в США) являются, вероятно, главной помехой в борьбе с неграми, поэтому идут даже раньше евреев. Я и в Британской энциклопедии читал, что антикатолицизм в США сильнее антисемитизма. А коммунисты, в силу их ничтожной численности, стоят на последнем месте.

«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Этот великий принцип должен быть распространен и на такие судилища, как Нюрнбергский процесс. Предатели социализма не имеют права судить фашистов, а американский судья (американцы тоже не безгрешны, но, конечно, по сравнению с гитлеровцами и сталинистами они сущие ангелы), если бы не встал на самые высокие позиции естественного права, должен бы был вынести справедливый приговор обвиненным. При этом частное определение могло бы выглядеть так: «Мы осуждаем немецких юристов за их соучастие в преступлении, но при этом заявляем, что и страны-победительницы должны провести судебное разбирательство с точки зрения естественного права и по отношению к своим преступникам. Только в этом случае приговор может считаться справедливым». Считать же, что гестапо и немецкий генеральный штаб — преступные организации (последнее особенно странно, потому что оборонительная война никем не считается преступлением, и генеральный штаб каждой страны не только имеет право, но и обязан разрабатывать вариант войны со всеми возможными противниками), и обелять полностью, как это делается у нас сейчас, Чека, ГПУ и другие кошмарные организации, произведшие опустошение в своей собственной стране, могут только преступные лицемеры [21].

МЕРА ВИНОВНОСТИ

В порядке уменьшения меры виновности можно перечислить: 1. инициатор, 2. соучастник, 3. исполнитель, 4. пассивный свидетель, 5. невежда. В фильме показаны только исполнители. Отвечают ли исполнители мерзкого закона? Вся ли ответственность ложится только на первые две категории? Обычное народное миропонимание издавна относилось к палачам (выполнявшим законные приговоры и часто по отношению к настоящим преступникам) с презрением. В старой России жандармские офицеры, как правило, в приличное общество не принимались, даже в правые круги. Шпионаж тоже не одобрялся. Несомненно, тут была непоследовательность: защитник смертной казни не имеет морального права презирать палача. Но рациональное зерно в таком отношении было то, что среди множества профессий в обществе есть героические, просто почтенные, нейтральные и только терпимые как неизбежное зло. И человек, свободно выбирающий профессию, стоящую на грани терпимости, тем самым не имеет права на уважение общества. Но это касается лишь свободного выбора профессии. За границей в прежние времена палачи были настолько изолированы, что им приходилось заключать браки в пределах их палаческой профессии: отсюда получалось наследственное палачество. Раз у сына палача не было выбора и он выполняет необходимую для общества функцию, он не заслуживает презрения. Так оно было во Франции, где как будто наследственный палач работал при гильотине в белых перчатках и приветствовался многими из толпы, сбегающейся смотреть на интересное зрелище (см. казнь Тропмана у Тургенева).

Но, конечно, среди исполнителей есть две категории: ответственные и безответственные. У нас так и говорят: ответственный работник, как будто существуют вообще

работники не ответственные. Но все люди ответственные за закономерность своих действий. *Ответственные же работники*, кроме того и в первую очередь, — за целесообразность своих действий. В случае Эрнста Янинга крупный юрист и министр юстиции должен отвечать не только по положительному, но и по естественному праву.

Коснемся теперь пассивных свидетелей, «понтиев пилатов».

Один из свидетелей обвинения против Янинга, тоже юрист, ушел со службы при Гитлере и в этом видел свое преимущество перед Янингом. Тот ему бросает упрек (или адвокат), что он все-таки присягал на верность Гитлеру, а потом ушел, умыв руки. А Янинг все же старался (хотя, видимо, неудачно) так или иначе смягчить режим. В личной жизни он вел себя безупречно и сказал дерзость Гитлеру, ухаживавшему довольно неуклюже за его красивой женой. Но хорошо было сказано в фильме «Люди и звери»: из всех зверей самый страшный — заяц: он никого не убьет, но пальцем не пошевелит при виде творящегося преступления. Но следует возражение «зайцев»: «Мы не знали, а если бы мы знали, то стали бы бороться». Зайцы стремятся загримироваться под невежд. На этом основании говорят, что немецкий народ не ответственен за Гитлера, так как он не знал творимых зверств. Несомненно, в этом есть известная доля истины. Всей кошмарности творимых преступлений рядовые немцы не знали. Как не знали всей кошмарности сталинских преступлений рядовые русские. Кто более виновен в попустительстве злодеяниям: немцы или русские? Точно выяснить меру виновности трудно, но виновны они по-разному.

Германский народ виновен в том, что не только не препятствовал, но содействовал приходу к власти Гитлера. Хотя Гитлер и не получил большинства в парламенте, но коалиция партий передала ему в руки власть: бесспорное преступление парламента перед человечеством, так как Гитлер не скрывал своей изуверской программы. Однако очень многие люди (в числе них был и я) полагали, что изуверская программа проводится Гитлером из демагогических побуждений и что всерьез принимать ее не следует. Из немногих умных людей, предвидевших истину, назову своего учителя А. Г. Гурвича, который с самого начала не сомневался, что Гитлер свою изуверскую программу выполнит.

У нас было иначе. Программа коммунистической партии вела человечество к светлому будущему, хотя и пользовалась ужасными временными средствами диктатуры пролетариата. Ужасный и временный характер средств все время подчеркивался Лениным. Советская власть не парламентская, а бланкистская власть. В первые яркие годы своего существования она опиралась на меньшинство энергичных подлинных энтузиастов, которым удалось сломить сопротивление, как правило, пассивного большинства. Весь народ и даже большинство не несет поэтому ответственности за Советскую власть. И Сталин пришел по преемственности диктатуры и дальше укрепил свою власть интригами, террором, поддержкой ужаса перед фашизмом, мнимо миролюбивой политикой (против Троцкого), раздуванием созданного Лениным мифа о «кулачестве» и прочими достаточно ловкими приемами. А также, конечно, развитием многих отраслей промышленности, отчего создался миф о беспрецедентности такого бурного развития (сейчас он, конечно, опровергнут Японией, ФРГ и другими странами). Незримая паутина (выражение Горького) в русском народе была сработана на славу.

Но с другой стороны, советский народ и коммунистическая партия имели меньше права ссылаться на невежество. Количество арестованных перед войной в Германии было и в абсолютном, и в относительном выражении несравненно меньше, чем в разгар ежовщины в СССР. Максимальный террор Гитлер развил во время войны, когда у нас он как раз ослабел. Максимальное истребление Гитлер производил в отношении не германских граждан. Они как военнопленные или иностранные граждане по законам войны и должны были содержаться в заключении. А что делалось в заключении, было подавляющему большинству немцев неизвестно. У нас максимумы террора были в мирное время (коллективизация, ежовщина), когда арестовывались не граждане других стран во время войны, а наши собственные товарищи по партии, родственники и т. д. Аресты проводились в неслыханном масштабе, а особенности в высшей партийной прослойке.

Почему не было протеста? Сколько-нибудь мыслящий человек не мог не понять, что творится вопиющее беззаконие. Но протест против него был неэффективен (ввиду колоссального полицейского аппарата) и остался бы неизвестен. Если бы кто-либо подобно героическим американцам, сжегшим себя в знак протеста против войны во Вьетнаме, поступил бы аналогично, то это даже не было бы зарегистрировано как самоубийство, так как примерно с тридцатых годов самоубийство не регистрировалось. Это оказалось бы нецелесообразным: большинство людей, в том числе и я, включая решительных критиков советской системы, полагали, что известное количество виновников было («бонапартийский заговор» Тухачевского, по аналогии с Испанией — шпионы и диверсанты). Что мы готовились к возможной борьбе с Гитлером и меньшее зло — Сталина — предпочитали большему злу. Но это рассуждение, допустимое для широкой публики, не оправдывало бездеятельности партийных кругов, так как истребление высшей партийной прослойки принимало такие размеры, что никаким объяснениям, кроме чистого деспотизма Сталина, не поддавалось.

Конечно, среди высших партийцев должна была образоваться хунта по ликвидации зарвавшегося деспота или должен был появиться хотя бы один герой, который просто кулаком по переносью должен был уложить изверга. Ни хунты, ни героя не нашлось. И в этом — величайшее осуждение коммунистической партии. Не людям, прожившим при деспоте и не пытавшимся даже его свергнуть, обвинять людей, не сумевших свергнуть своего деспота. В Германии были реальные заговоры против Гитлера. У нас, к великому сожалению, даже ни одного заговора не было. Партия львов превратилась в партию баранов.

Само собой разумеется, что американцы, старавшиеся расположить к себе немцев, будущих союзников перед сталинской агрессией, не заслуживают осуждения, так как и при Хрущеве были до срока амнистированы многие немецкие преступники, осужденные нами же. Они были выпущены в расчете на то, что Аденауэр пойдет на эту приманку и согласится признать ГДР или новые границы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На вопрос, как мог прогрессивный юрист Эрнст Янинг принимать участие в правительстве Гитлера, отвечу другим вопросом: как могли гуманные люди поддерживать правительство, грабившее крестьян, истреблявшее заложников и военнопленных и, наконец, собственных товарищей? Как могут сейчас, после всех разоблачений существовать вполне порядочные как будто люди, поддерживающие авторитет Сталина и утверждающие, что когда-либо ему снова воздвигнут памятник?

«Люди лучше учреждений»,— сказал наш великий гуманист Кропоткин, имея в виду царское охранное отделение. Можно сказать: «люди лучше убеждений». И самые страшные организации могут заключать людей, а убеждения разделяться людьми, которых мы считаем хорошими. Во время войны, не допуская измены с нашей стороны ни при каких обстоятельствах, у нас призывали немцев перейти на нашу сторону.

Сейчас в романе Никулина «Мертвая зыбь» идеализируется старый царский генерал, перешедший на службу в ГПУ в качестве шпиона и провокатора. Но ведь и в отношении Германии дело кончилось грандиозным обманом. В широковещательных уверениях Сталин говорил, что мы воюем не с немецким народом, а с Гитлером и нацизмом. А в результате от Германии отрезали много исконных германских земель, а в ГДР устроили такой режим, что только берлинская стена мешает массовому бегству немцев. В 1950—1951 годах в Западной Германии было 48 миллионов человек, в Восточной — 22 («Атлас мира», 1954). В 1955 году в Западной Германии 50 миллионов (включая Саар и Западный Берлин — 53 миллиона), в Восточной — 18,4 миллиона (включая Восточный Берлин). По последним сведениям, в Западной Германии в 1962 году 55 миллионов, в Восточной в 1965 году — 17 миллионов. В Западной Германии, таким образом, население возросло не менее чем на семь миллионов. В Восточной — упало не менее чем на пять миллионов. Если бы население держалось в границах, но при том же темпе прироста, надо было ожидать в Западной Германии 49,4 миллиона, в Восточной — 22,6. Следовательно, более 5 миллионов — вот разность между бегущими на Запад и бегущими на Восток. Мы знаем, что с Запада в беженцев не стреляют и отпуска на праздник в Берлине дают только жителям Берлина (в Восточном дают, кажется, только пенсионерам). И наше социалистическое правительство имеет наглость утверждать, что в Восточной Германии народное правительство?

Поэтому те немцы, которые перешли на нашу сторону, в частности те физики, которые саботировали работу по созданию атомной бомбы, могут задать вопрос: а не предали ли мы, думая работать в пользу человечества, свой народ, так как победители не интернационалисты, а в частности те старые русские империалисты, которых потому с удовольствием признал как своих матерый русский монархист Шульгин.

Тогда становится понятным, как мог прийти к власти в культурной Германии такое чудовище, как Гитлер. Одно чудовище, Сталин, породило другое чудовище. В том же фильме говорится, что в Германии в период культурной Веймарской республики были и безработица, и разброд, и настороженность по отношению к Востоку. Шли надежные вести, что на Востоке творятся ужасы и что ужас надвигается на Запад. И вот Гитлер сумел вдохнуть надежду не только на успешную борьбу с восточным ужасом, но и на преодоление его. Успех в борьбе с Польшей, точные сведения, что цвет Красной Армии был уничтожен самим Сталиным и что среди наших будущих союзников большой разброд, заставили его пойти на авантюру, которая, как известно, чуть-чуть не увенчалась победой.

Общий вывод такой: история XX века показала, что настал момент объявить преступлением всякую войну и всякую кровавую революцию. Борьба допускается только ненасильственными средствами. А для этого нужно каждой стране ревизовать свою политику. И нам в первую очередь, так как после побежденной Германии мы стоим на первом месте по части злодейств, обманов и вероломства. Для этого, конечно, надо отказаться от постулатов абсолютного патриотизма, абсолютного суверенитета и от допущения насильственной мировой революции. Признать, что Мао Цзе-дун, открыто заявляющий, что для успеха социализма надо идти на мировую атомную войну с минимальной ценой 200—300 миллионов жизней, ничуть не лучше Гитлера. Так как в преступлениях извергов в качестве соучастников, исполнителей или пассивных свидетелей замешано слишком много людей, то невозможно преследовать всех подходящих под эти статьи. Но наиболее злостные преступники должны быть подвергнуты суду во всех странах, как побежденных, так и победивших. Это и будет логическим завершением Нюрнбергского процесса 1945 года. Пока это не будет сделано, пока побежденные будут рассматриваться как преступники, а победители как чистые ангелы, всякие разговоры о разоружении, предотвращении войн, борьбе с расизмом будут беспочвенной и лицемерной болтовней.

Ульяновск,
26 ноября 1965 года

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ольга Петровна Орлицкая (умерла в 1972) — друг и жена Любищева в последний период его жизни (1948—1972). Была его секретарем, хранительницей архива (см. в кн.: Александр Александрович Любищев. Л., «Наука», 1982).

[2] Название неосуществленного замысла. Частично этой темы Любищев коснулся в написанной в 1960 году статье «Идеология Сент-Экзюпери» (из неопубликованного).

[3] Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками состоялся 20.11.1945—1.10.1946. Перед Военным трибуналом из представителей СССР, США, Великобритании и Франции предстали 24 подсудимых, которые имели немецких адвокатов по своему выбору или по назначению Трибунала. Рассматривался вопрос о признании преступными ряда организаций гитлеровского режима — в их защиту выступали 8 немецких адвокатов. За преступления против мира и человечества 12 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение (среди них И. Риббентроп, В. Кейтель, А. Розенберг, З. Кальтенбруннер и др.); Р. Гесс, В. Функ и Э. Редер — к пожизненному заключению. Трое подсудимых — Г. Фриче, Ф. Папен и Г. Шахт — были оправданы. Впервые в истории агрессия была признана тяжким международным преступлением, а также были признаны преступными ряд организаций гитлеровского режима.

[4] Массарик Ян (1886—1948) — государственный деятель Чехословакии. В 1940 г.— министр иностранных дел в чехословацком эмигрантском правительстве, с апреля 1945 г.— в правительстве национального фронта чехов и словаков, после февральского переворота 1948 года — министр иностранных дел в новом правительстве. Будучи не согласен с просталинской политикой чехословацкого правительства и развязанным террором, покончил жизнь самоубийством.

[5] Марло Кристофер (1564—1593), английский поэт и драматург. Ровесник и предшественник Шекспира. В 1588 году написал большую трагедию «Тамерлан Великий»; затем ряд пьес и драматических хроник. В 1961 году в Москве в Гослитиздате вышла книга: К. Марло. «Сочинения», которая послужила поводом Любищеву для написания эссе «О Гуманизме, Ренессансе, Тамерлане и Марло» (1963). Любищев оспаривает отнесение Марло к гуманистам.

[6] Прага — предместье Варшавы. Речь идет о жестоком подавлении войсками Суворова польского восстания 1793 года во главе с Костюшко. Любищев цитирует А. Пушкина «Графу Олизару» (1824).

[7] Имеется в виду эссе Вл. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести и с приложениями». Собр. соч. в 2-х томах. Том 2, с. 635. М., «Мысль», 1988. В эссе ведется диалог о путях борьбы со злом с трех точек зрения: священника, политика и генерала. Генерал считает самым нравственным делом в своей жизни военное преследование и уничтожение турецких солдат («башибузуков»), учинивших геноцид армян, включая женщин и грудных детей.

[8] Комбатанты — лица, входящие в состав вооруженных сил воюющей стороны и имеющие право принимать непосредственное участие в военных действиях. Попадая в руки противника, комбатанты имеют статус военнопленных. Лица, входящие в состав медицинского и духовного персонала вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, согласно Протоколу I дополнения к Женевской конвенции 1949 года, относятся к некомбатантам. Они не должны считаться военнопленными, им должны быть предоставлены все возможности для оказания медицинской и духовной помощи военнопленным, их нельзя принуждать к работе (см. Дипломатический словарь. М., «Наука», 1986, т. II).

[9] Гаагские мирные конференции состоялись в 1899 и 1907 годах. В первой из них, созванной по инициативе России, участвовало 27 государств. Были приняты три конвенции. В конференции 1907 года участвовало 44 государства, принявшие 13 конвенций. В 1955 году правительство СССР заявило, что признает ратифицированные Россией конвенции и декларации 1899 и 1907 годов в той мере, в какой они не противоречат Уставу ООН (см. Дипломатический словарь).

[10] «Алабама» — англо-американский конфликт времен гражданской войны в США 1861—1865 годов. Связан с возмещением Англией ущерба, нанесенного ее военными кораблями, которые, сражаясь на стороне южан, уничтожали мирные торговые суда северян. Так, крейсер «Алабама» потопил более 60 судов. Согласно решению Международного Арбитража 1872 года Англия уплатила в пользу США 15,5 млн. долларов.

[11] Речь идет о венгерском восстании 1956 года против просталинского режима. Признание этих событий именно как «народного восстания» было официально сделано в заявлениях венгерского руководства и правящей партии в 1989 году.

[12] В этом ряду следует назвать мужественное открытое выступление академика А. Д. Сахарова против агрессии в Афганистане, начатой в конце 1979 года партийно-государственным руководством СССР. За этот поступок А. Д. Сахаров без суда и следствия был выслан в город Горький.

[13] О нравственной стороне лозунга «экспроприация экспроприаторов» или «грабь награбленное» и его последствиях В. Г. Короленко еще в 1920 году писал А. В. Луначарскому: «Теперь я ставлю вопрос: все ли правда в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу? По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же широкий „классовый" характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия („буржуй") представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и — ничего больше. Правда ли это?.. Своим лозунгом „грабь награбленное" вы сделали то, что деревенская „грабижка", погубившая огромные количества сельскохозяйственного имущества без всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат» (см. «Своевременные мысли, или Пророки в своем отечестве». Лениздат, 1989).

[14] После написания работы Любищевым в 1965 году ООН были разработаны и приняты ряд важных документов в области естественного международного права. Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году, содержала лишь нормы-рекомендации. Они регулировали отношения между государствами, но не имели обязательной силы. В 1966 году были приняты два пакта о правах человека: Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных правах. Советский Союз ратифицировал оба пакта в 1973 году. Вступили в силу пакты только в 1976 году. Пакты как международные договоры содержат обязательные нормы поведения. Для выполнения положений Пакта о гражданских и политических правах создан международный механизм контроля. Он включает Комитет по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов, избираемых государствами — участниками Пакта и выступающих в личном качестве, то есть не как представители государств. На 1 сентября 1982 года 70 государств стали участниками Пакта. В 1966 году ООН был принят и открыт для подписания Факультативный протокол к международному Пакту о гражданских и политических правах. Государства, подписавшие Протокол, признают компетенцию Комитета принимать и рассматривать письменные сообщения и жалобы на нарушения прав человека от отдельных лиц. СССР и другие социалистические страны не являются участниками Протокола, вступившего в силу еще в 1976 году.

[15] В СССР от автомобильных катастроф в 1988 году погибла 61 тысяча человек (см. «Правда», 28.07.1989).

[16] Имеются в виду повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11, 1962) и его ходивший тогда в самиздате роман «Раковый корпус».

[17] «Мой этап прибыл в Усть-Вымьлаг осенью 1938 года. Из 517 человек к весне 1939 нас осталось всего 22. Остальные умерли от голода, холода, болезней, непосильной работы... Через 16 лет — в 1955 — я один вернулся в родной город» (Л. Разгон. «Мы жили революцией». — «Собеседник», 1988, № 20).

[18] Советский Союз действительно занимал и занимает первое место в мире по количеству абортов. В заметке «Лидерство бесспорное и печальное» С. Туровской приведены следующие данные о количестве абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет: Нидерланды — 5,6; Западная Германия — 7,3; Канада — 10,2; Франция — 14,9; Польша — 16,5; США — 27,4; Китай — 61,5; Румыния — 90,9; СССР — 181 (см. «Советская молодежь», 5.09.1989).

[19] Имеется в виду Л. И. Брежнев.

[20] Как стало теперь известно, о сходстве сталинского режима и фашизма и даже о том, что последний частично индуцирован сталинизмом, прямо писал И. П. Павлов в своем письме в Правительство СССР в 1935 году: «Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было... Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если б нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями — это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я все более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий» (см. в кн.: «Своевременные мысли, или Пророки в своем отечестве». Лениздат, 1989).

[21] Перед Военным трибуналом в Нюрнберге предстали также и гитлеровские организации, в защиту которых выступали немецкие адвокаты. Трибунал объявил преступными организациями руководящий состав национал-социалистической партии Германии (НСДАП), СС, СД и гестапо. Гитлеровское правительство, верховное командование и генеральный штаб как организации не были признаны виновными, но было указано, что члены этих организаций могут быть привлечены к суду индивидуально. Член Трибунала от СССР в особом мнении выразил несогласие с решением Трибунала о непризнании преступными этих организаций и оправданием Шахта, Папена и Фриче. Мысль Любищева, что аналогичным образом следует придать суду такие организации, как ЧК, ГПУ, виновные в убиении миллионов людей, следует таким образом принципам Нюрнбергского процесса и заслуживает внимания.

*Подготовка текста и примечания
М. Д. Голубовского*

Новые переводы

Курт Воннегут

МАТЬ ТЬМА

Роман

Посвящается Мата Хари

Где тот мертвец из мертвецов,
Чей разум глух для нежных слов:
«Вот милый край, страна родная!»
В чьем сердце не забрезжит свет,
Кто не вздохнет мечте в ответ,
Вновь после странствий многих лет
На почву родины вступая?

Вальтер Скотт*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это единственная из моих книг, мораль которой я знаю. Не думаю, что эта мораль какая-то удивительная, просто случилось так, что я ее знаю: мы как раз то, чем хотим казаться, и потому должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться.

Мой опыт с нацистскими фокусами был ограничен. В моем родном городе Индианополисе в тридцатые годы было некоторое количество мерзких и активных местных американских фашистов, и кто-то подсунул мне *Протоколы сионских мудрецов*, которые считаются тайным еврейским планом захвата мира. Кроме того, я помню, как смеялись над моей тетушкой, которая вышла замуж за *немецкого* немца и которой пришлось запросить из Индианополиса подтверждение, что в ней нет еврейской крови. Мэр Индианополиса, знавший ее по средней школе и школе танцев, с удовольствием так разукрасил документы, затребованные немцами, лентами и печатями, что они напоминали мирный договор восемнадцатого века.

Вскоре началась война, я участвовал в ней и попал в плен, так что смог немного узнать Германию изнутри, пока еще шла война. Я был рядовым, батальонным разведчиком, и по условиям Женевской конвенции должен был работать, чтобы содержать себя, что было скорее хорошо, чем плохо. Я не должен был все время находиться в тюрьме где-то за городом. Я отправлялся в город, это был Дрезден, и видел людей и что они делают.

В нашей рабочей бригаде нас было около сотни, мы работали по контракту на фабрике, изготовлявшей обогащенный витаминами сироп из солода для беременных. У него был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком. Он был очень вкусный. Мне даже и сейчас его хочется. А город был прекрасен, наряден, как Париж, и совершенно не тронут войной. Он считался как бы «открытым» городом и не должен был подвергаться бомбардировкам, потому что в нем не было ни скопления войск, ни военных заводов.

Но в ночь на 13 февраля 1945 года, примерно двадцать один год тому назад, на Дрезден

---

* Перевод Т. Гиедич.

Курт Воннегут (р. в 1922 г.) — выдающийся американский писатель, автор широко известных романов: «Утопия-14», «Колыбель для кошки», «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» и др. Роман «Мать тьма» впервые был опубликован в США в 1961 году.

посыпались фугасные бомбы с английских и американских самолетов. Их сбрасывали не на какие-то определенные цели. Расчет состоял в том, что они создадут много очагов пожара и загонят пожарных под землю.

А затем на пожарища посыпались сотни мелких зажигательных бомб, как зерна на свежевспаханную землю. Эти бомбы удерживали пожарников в укрытиях, и все маленькие очаги пожара разрастались, соединялись, превращались в апокалипсический огонь. Р-р-раз — и огненная буря! Это было, кстати, величайшая бойня в истории Европы. Ну и что?

Нам не пришлось увидеть это море огня. Мы сидели в холодильнике под скотобойней вместе с нашими шестью охранниками и бесконечными рядами разделанных коровьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Мы слышали, как наверху падали бомбы. Временами кое-где сыпалась штукатурка. Если бы мы высунулись наверх посмотреть, мы бы сами превратились в результат огненного шторма: в обугленные головешки длиной в два-три фута — смехотворно маленьких человечков или, если хотите, в больших неуклюжих жареных кузнечиков.

Фабрика солодового сиропа исчезла. Все исчезло, остались только подвалы, где, словно пряничные человечки, испеклись 135 000 Гензель и Гретель. Нас отправили в убежища откапывать тела сгоревших и выносить их наверх. И я увидел много разных типов германцев в том виде, в каком их застала смерть, обычно с пожитками на коленях. Родственники иногда наблюдали, как мы копаем. На них тоже было интересно смотреть.

Вот и все о нацистах и обо мне.

Если б я родился в Германии, я думаю, я *был* бы нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя сапоги в сугробах и согреваясь своим тайно добродетельным нутром. Такие дела.

Подумав, я вижу еще одну простую мораль этой истории: если вы мертвы — вы мертвы.

И еще одна мораль открылась мне теперь: занимайтесь любовью, когда можете. Это вам на пользу.

Айова-Сити, 1966 год

ОТ РЕДАКТОРА

При подготовке этого американского издания «Признаний Говарда У. Кемпбэлла-младшего» мне пришлось иметь дело с материалом, который следует рассматривать не только как простое изложение событий или, в зависимости от точки зрения, как попытку обмануть. Кемпбэлл был как лицом, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, так и писателем, в свое время драматургом средней руки. Сказать, что он был писателем, значит утверждать, будто одних только требований искусства достаточно, чтобы заставить его лгать, и лгать, не видя в этом ничего дурного. Сказать, что он был драматургом, значит сделать еще более жесткое предостережение читателю, ибо нет искусней лжеца, чем человек, который превращает жизни и страсти в нечто столь гротескно искусственное, как театр.

И теперь, когда я сказал это о лжи, рискну выразить мнение, что ложь ради художественного эффекта — например, в театре или в признаниях Кемпбэлла — в более высоком смысле может быть наиболее интригующей формой правды.

Я не собираюсь отстаивать эту точку зрения. Задача издателя — никоим образом не полемика. Она состоит лишь в том, чтобы надлежащим образом довести до читателя признания Кемпбэлла.

Что касается моих собственных поправок к тексту, то их немного. Я исправил кое-какие ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и ввел курсив.

В некоторых случаях я изменил имена, чтобы уберечь от смущения и неприятностей еще живых и ни в чем не повинных участников событий. Так, имена Бернарда Б.О'Хара, Гарольда Дж. Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышленны. Вымышленны также личный армейский номер Спэрроу и название поста [1] Американского легиона: в Бруклайне нет поста Американского легиона имени Френсиса X. Донована.

В одном месте Говард У. Кемпбэлл, наверное, точнее меня. Это место в главе двадцать второй, где Кемпбэлл цитирует три свои стихотворения по-английски и по-немецки. Английский вариант в его рукописи достаточно ясен. Немецкая же версия, которую Кемпбэлл воспроизвел по памяти,— неровная, местами неудобочитаемая из-за переделок. Кемпбэлл гордился тем, как он писал по-немецки, и был безразличен к своему английскому. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переделывал немецкие варианты стихотворений, но явно так и остался ими неудовлетворен.

[1] Американский легион — организация ветеранов войны в США (создана в 1919 г.) с широко разветвленной сетью низовых организаций, называемых постами легиона. *(Здесь и далее примечания переводчиков.)*

Чтобы показать в этом издании, как эти стихи выглядели по-немецки, пришлось проделать кропотливую работу по их восстановлению. Эту работу — так сказать, воссоздание вазы из черепков — выполнила миссис Теодора Роули (Котуит, штат Массачусетс) — блестящий лингвист и весьма уважаемая поэтесса.

Я сделал существенные сокращения только в двух местах. В главе тридцать девятой я сделал сокращение по настоянию адвоката издательства. В оригинале в этой главе у Кемпбэлла один из Железных Гвардейцев Белых Сынов Американской Конституции кричит агенту ФБР: «Я — больше американец, чем вы. Мой отец сочинил „Я — день Америки"». По утверждению свидетелей, заявление это действительно было сделано, но, видимо, без достаточных оснований. Поэтому адвокат считал, что воспроизведение этого высказывания может обидеть тех, кто действительно сочинил «Я — день Америки».

Вообще же, в той главе, как утверждают свидетели, Кемпбэлл чрезвычайно точен в воспроизведении сказанного. Так, все согласны, что предсмертные слова Рези Нот приведены слово в слово.

Другое сокращение я сделал в главе двадцать третьей, которая в оригинале порнографична. Я счел бы делом своей чести воспроизвести эту главу полностью, если бы не просьба Кемпбэлла прямо в тексте, чтобы редактор несколько выхолостил ее.

Название книги принадлежит Кемпбэллу. Оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гете, который приводится ниже в прозаическом переводе:

> Я часть части, которая вначале была всем, часть Тьмы, родившей свет, тот надменный свет, который теперь оспаривает у Матери Ночи ее давнее первенство и место, но, как ни старается, победить ее ему не удается, ибо, устремляясь вперед, он оседает на телах. Он струится с тел, он их украшает, но они преграждают ему путь; и, я надеюсь, недалек тот час, когда он рухнет вместе с этими телами.

Посвящение тоже принадлежит Кемпбэллу. Вот что написал Кемпбэлл о посвящении в главе, которую потом изъял:

> Прежде чем вырисовывалась эта книга, я написал посвящение — «Мата Хари». Она проституировала в интересах шпионажа, тем же занимался и я.
>
> Теперь, когда книга уже видна, я предпочел бы посвятить ее кому-нибудь не столь экзотическому, не столь фантастическому и более современному — не столь похожему на персонаж немого кино.
>
> Я бы предпочел посвятить ее какому-нибудь знакомому лицу — мужчине или женщине, широко известному тем, что творил зло, говоря при этом себе: «Хороший я, настоящий я, я, созданный на небесах,— спрятан глубоко внутри».
>
> Я вспоминаю много таких людей, мог бы протараторить их имена на манер песен-скороговорок Гилберта и Сюлливана [1].
>
> Но нет более подходящего имени, которому я мог бы действительно посвятить эту книгу, чем мое собственное.
>
> Поэтому позвольте мне оказать себе эту честь: эта книга переносвящается Говарду У. Кемпбэллу-младшему, который служил злу слишком явно, а добру слишком тайно,— преступление его эпохи.

Курт Воннегут-младший

ПРИЗНАНИЯ ГОВАРДА У. КЕМПБЭЛЛА-МЛАДШЕГО

Глава первая

ТИГЛАТПАЛАСАР III...

Меня зовут Говард У. Кемпбэлл-младший.

Я американец по рождению, нацист по репутации, человек без национальности по склонностям.

Я пишу эту книгу в 1961 году.

Я адресую ее мистеру Товия Фридману, директору Института документации военных преступников в Хайфе, и всем тем, кого это может интересовать.

Почему эта книга может интересовать мистера Фридмана?

Потому, что ее пишет человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман — специалист по таким людям. Он выразил страстное желание заполучить

[1] Гилберт Уильям С. (1836—1911) — английский писатель-драматург. В числе прочих произведений написал серию либретто комических опер, сатирических куплетов, музыку к которым сочинял ирландский композитор Сюлливан Тимоти Д. (1827—1917).

любые документы, которыми я мог бы пополнить его архивы нацистских злодеяний. Он так этого жаждал, что дал мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность использовать научных консультантов, которые смогут откопать любые сведения, необходимые для пополнения и уточнения моих материалов.

Я сижу за решеткой.

Я сижу за решеткой в прелестной новой тюрьме в старом Иерусалиме.

Я ожидаю справедливого суда государства Израиль за мои военные преступления.

Забавную пишущую машинку дал мне доктор Фридман, и подходящую к случаю. Машинка явно была сделана в Германии во время второй мировой войны. Откуда я это знаю? Очень просто: в ее клавиатуре есть символ, которого никогда не было до Третьего рейха и которого никогда не будет впредь.

Этот символ — сдвоенная молния — употреблялся для обозначения СС — Schutzstaffeln [1],— наводившего на всех ужас наиболее фанатичного крыла нацизма.

Я пользовался такой машинкой в Германии во время войны. Всегда, когда я писал о Schutzstaffeln, а я это делал часто и с энтузиазмом, я никогда не использовал аббревиатуру СС, а ударял по клавише с гораздо более устрашающими и магическими сдвоенными молниями.

Древняя история.

Я окружен здесь древней историей. Хотя тюрьма, в которой я гнию, и новая, говорят, что некоторые камни в ее стенах вырублены еще во времена царя Соломона.

И порой, когда из окна своей камеры я смотрю на веселую и раскованную молодежь юной республики Израиль, мне кажется, что я и мои военные преступления такие же древние, как серые камни царя Соломона.

Как давно была эта война, эта вторая мировая война! Как давно были ее преступления! Как это уже почти забыто даже евреями — то есть молодыми евреями.

Один из евреев, охраняющих меня здесь, ничего не знает об этой войне. Ему это не интересно. Его зовут Арнольд Маркс. У него очень рыжие волосы. Арнольду всего восемнадцать, а это значит, что ему было три года, когда умер Гитлер, и он еще на свет не родился, когда началась моя карьера военного преступника.

Он охраняет меня с шести утра до полудня.

Арнольд родился в Израиле. Он никогда не выезжал из Израиля.

Его родители покинули Германию в начале тридцатых годов. Он рассказал мне, что его дед был награжден Железным крестом в первую мировую войну.

Арнольд учится на юриста. Арнольд и его отец-оружейник страстно увлекаются археологией. Отец и сын проводят все свободное время на раскопках руин Хазора. Они работают там под руководством Игаля Ядина, который был начальником штаба израильской армии во время войны с арабами.

Пусть будет так.

Хазор, по словам Арнольда, город хананитов в северной Палестине, существовал, по меньшей мере, за девятнадцать столетий до Рождества Христова. Примерно за четырнадцать столетий до Рождества Христова, говорил Арнольд, армия израильтян захватила Хазор и сожгла его, уничтожив все сорок тысяч жителей.

— Соломон восстановил город,— сказал Арнольд,— но в 732 году до нашей эры Тиглатпаласар III снова сжег его.

— Кто? — спросил я.

— Тиглатпаласар III, ассириец,— сказал он, пытаясь подтолкнуть мою память.

— А...— сказал я.— *Тот* Тиглатпаласар...

— Вы говорите так, словно никогда о нем не слышали,— сказал Арнольд.

— Никогда,— ответил я и скромно пожал плечами.— Это, наверное, ужасно.

— Однако,— сказал Арнольд с гримасой школьного учителя,— мне кажется, его следует знать каждому. Он, наверное, был самым выдающимся из ассирийцев.

— О...— произнес я.

— Если хотите, я принесу вам книгу о нем,— предложил Арнольд.

— Очень мило с вашей стороны,— ответил я.— Может быть, когда-нибудь я и доберусь до выдающихся ассирийцев, а сейчас мои мысли полностью заняты выдающимися немцами.

— Например? — спросил он.

— Я много думаю последнее время о моем прежнем шефе Пауле Иозефе Геббельсе,— отвечал я.

Арнольд тупо посмотрел на меня.

— О ком? — переспросил он.

И я почувствовал, как подбирается и погребает меня под собой прах земли обетованной, и понял, какое толстое покрывало из пыли и камней в один прекрасный день навеки укроет меня. Я ощутил тридцати—сорокафутовые толщи разрушенных городов над собой, а под собой кучу древнего мусора, два-три храма и — Тиглатпаласар III.

[1] Schutzstaffeln — охранные отряды *(нем.)*.

Глава вторая

ОСОБАЯ КОМАНДА...

Охранник, сменяющий Арнольда Маркса каждый полдень, человек примерно моих лет, а мне сорок восемь. Он хорошо помнит войну, но не любит вспоминать о ней.

Его зовут Андор Гутман. Андор медлительный, не очень смышленый эстонский еврей. Он провел два года в лагере уничтожения в Освенциме. По его собственному неохотному признанию, он едва не вылетел дымом из трубы крематория:

— Я как раз был назначен в Sonderkommando,— рассказал он мне,— когда пришел приказ Гиммлера закрыть печи.

Sonderkommando означает — особая команда. В Освенциме это значило сверхособая команда — ее составляли из заключенных, обязанностью которых было загонять осужденных в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда их тела. Когда работа была окончена, уничтожались члены самой Sonderkommando. Их преемники начинали с удаления останков своих предшественников.

Гутман рассказывал, что многие добровольно вызывались служить в Sonderkommando.

— Почему? — спросил я.

— Если бы вы написали книгу об этом и дали ответ на это «почему?» — получилась бы великая книга!

— А вы знаете ответ? — спросил я.

— Нет,— ответил он,— вот почему я бы хорошо заплатил за книгу, которая ответила бы на этот вопрос.

— У вас есть какие-нибудь предположения? — спросил я.

— Нет,— ответил он, глядя мне прямо в глаза,— хотя я был одним из добровольцев.

Признавшись в этом, он ненадолго ушел, думая об Освенциме, о котором меньше всего хотел думать. А затем вернулся и сказал:

— Всюду в лагере были громкоговорители, и они почти никогда не молчали. Было много музыки. Знатоки говорили, что это была хорошая музыка, иногда самая лучшая.

— Интересно,— сказал я.

— Только не было музыки, написанной евреями, это было запрещено.

— Естественно,— сказал я.

— Музыка обычно обрывалась в середине, и шло какое-нибудь объявление. И так весь день — музыка и объявления.

— Очень современно,— сказал я.

Он закрыл глаза, припоминая.

— Одно объявление всегда напевали наподобие детской песенки. Оно повторялось много раз в день. Это был вызов Sonderkommando.

— Да? — сказал я.

— Leichenträger zu Wache,— пропел он с закрытыми глазами. Перевод: «Уборщики трупов — на вахту». В заведении, целью которого было уничтожение человеческих существ миллионами, это звучало вполне естественно.

— Ну, а когда два года слушаешь по громкоговорителю этот призыв вперемежку с музыкой, вдруг начинает казаться, что положение уборщика трупов — совсем не плохая работа,— сказал мне Гутман.

— Я могу это понять,— сказал я.

— Можете? — Он покачал головой.— А я не могу. Мне всегда будет стыдно. Быть добровольцем Sonderkommando — это очень стыдно.

— Я так не думаю,— сказал я.

— А я думаю. Стыдно. И я больше никогда не хочу об этом говорить.

Глава третья

БРИКЕТЫ...

Охранник, сменяющий Андора Гутмана в шесть вечера,— Арпад Ковач.

Арпад — человек-фейерверк, шумный и веселый.

Вчера, придя на смену, он захотел посмотреть, что я уже написал. Я дал ему несколько страниц, и Арпад ходил взад-вперед по коридору, размахивая листками и всячески их расхваливая.

Он их не читал. Он расхваливал их за то, что, по его мнению, в них должно было быть.

— Дай это прочесть услужливым ублюдкам, этим тупым брикетам! — сказал он вчера вечером.

Брикетами он называл тех, кто с приходом нацистов ничего не сделал для спасения себя и других, кто готов был покорно пройти весь путь до газовых камер, если этого хотели нацисты.

Брикет, вообще-то,— блок спрессованной угольной крошки, идеально приспособленный для транспортировки, хранения и сжигания.

Арпад, столкнувшись с проблемами евреев в нацистской Венгрии, не стал брикетом. Наоборот, Арпад добыл себе фальшивые документы и вступил в венгерскую СС.

Вот почему он симпатизировал мне.

— Объясни им, что должен делать человек, чтобы выжить. Что за честь быть брикетом? — сказал он мне вчера.

— Слышал ли ты когда-нибудь мои радиопередачи? — спросил я его. Сферой, где я совершал свои военные преступления, было радиовещание. Я был пропагандистом нацистского радио, хитрым и гнусным антисемитом.

— Нет,— ответил он.

Я показал ему текст одной из радиопередач, предоставленный мне институтом в Хайфе.

— Прочти,— сказал я.

— Мне незачем это читать,— ответил он.— Все говорили тогда одно и то же снова, и снова, и снова.

— Все равно прочти, сделай одолжение.

Он стал читать, на его лице постепенно появлялась кислая мина. Возвращая мне текст, он сказал:

— Ты меня разочаровываешь.

— Да?

— Это так слабо! В этом нет ни основы, ни перца, ни изюминки. Я думал, ты мастер по части расовой брани.

— А разве нет?

— Если бы кто-нибудь из моей части СС так дружелюбно говорил о евреях, я приказал бы расстрелять его за измену! Геббельсу надо было уволить тебя и нанять меня как радиокарателя евреев. Я бы уж развернулся!

— Но ты ведь делал свое дело в своем отряде СС,— сказал я.

Арпад просиял, вспоминая свои дни в СС.

— Какого арийца я изображал! — сказал он.

— И никто тебя не заподозрил?

— Кто бы посмел? Я был таким чистым и устрашающим арийцем, что меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, откуда евреи всегда знают, что собирается предпринять СС. Где-то была утечка информации, и мы должны были пресечь ее.— Вспоминая это, он изображал на лице горечь и обиду, хотя именно он и был источником этой утечки.

— Справилось ли подразделение со своей задачей? — спросил я.

— Счастлив сказать, что четырнадцать эсэсовцев были расстреляны по нашему представлению. Сам Адольф Эйхман поздравлял нас.

— Ты с ним встречался?

— Да, но, к сожалению, я не знал тогда, какая он важная птица.

— Почему «к сожалению»?

— Я бы убил его.

Глава четвертая

КОЖАНЫЕ РЕМНИ...

Бернард Менгель, польский еврей, охраняющий меня с полуночи до шести утра, тоже моих лет. Однажды он спас себе жизнь во время второй мировой войны, притворившись мертвым так здорово, что немецкий солдат вырвал у него три зуба, не заподозрив даже, что это не труп.

Солдат хотел заполучить три его золотых коронки.

Он их заполучил.

Менгель говорит, что здесь, в тюрьме, я сплю очень беспокойно, мечусь и разговариваю всю ночь напролет.

— Вы единственный известный мне человек, которого мучают угрызения совести за содеянное им во время войны. Все другие, независимо от того, на чьей стороне они были и что делали, уверены, что порядочный человек не мог действовать иначе,— сказал мне сегодня утром Менгель.

— Почему вы думаете, что у меня совесть нечиста?

— По тому, как вы спите, какие сны вы видите. Даже Гесс не спал так. Он до самого конца спал, как святой.

Менгель имел в виду Рудольфа Франца Гесса, коменданта лагеря уничтожения Освенцим. Благодаря его нежным заботам миллионы евреев были уничтожены в газовых камерах. Менгель кое-что знал о Гессе. Перед эмиграцией в Израиль в 1947 году он помог повесить Гесса.

И он сделал это не с помощью свидетельских показаний. Он сделал это своими собственными огромными руками.

— Когда Гесса вешали,— рассказывал он,— я связал ему ноги ремнями и накрепко стянул.

— Вы получили удовлетворение? — спросил я.

— Нет,— ответил он,— я был почти как все, прошедшие эту войну.

— Что вы имеете в виду?

— Мне так досталось, что я уже ничего не мог чувствовать,— сказал Менгель.— Всякую работу надо было делать, и любая работа была не хуже и не лучше другой. После того как мы повесили Гесса,— сказал Менгель,— я собрал свои вещи, чтобы ехать домой. У моего чемодана сломался замок, и я закрыл его, стянув большим кожаным ремнем. Дважды в течение часа я выполнил одну и ту же работу — один раз с Гессом, другой — с моим чемоданом. Ощущение было почти одинаковое.

Глава пятая

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛНАЯ МЕРА...

Я тоже знал Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. Мы познакомились в Варшаве на встрече Нового, 1944 года.

Гесс слышал, что я писатель. Он отвел меня в сторону и сказал, что тоже хотел бы писать.

— Как я завидую вам, творческим людям,— сказал он.— Способность к творчеству — дар Божий — Гесс говорил, что мог бы рассказать потрясающие истории. Все они — чистая правда, но людям будет невозможно в них поверить.

Он не может мне их рассказать, говорил он, пока не выиграна война. После войны, сказал он, мы могли бы сотрудничать.

— Я умею рассказывать, но не умею писать.— Он посмотрел на меня, ожидая сочувствия.— Когда я сажусь писать, я просто леденею.

Что я делал в Варшаве?

Меня послал туда мой шеф, рейхслайтер доктор Пауль Иозеф Геббельс, глава германского министерства народного просвещения и пропаганды. Я имел некоторый опыт как драматург, и доктор Геббельс хотел, чтобы я это использовал. Доктор Геббельс хотел, чтобы я написал сценарий помпезного представления в честь немецких солдат, до конца продемонстрировавших полную меру своей преданности, то есть погибших при подавлении восстания евреев в варшавском гетто. Доктор Геббельс мечтал после войны ежегодно показывать это представление в Варшаве и навеки сохранить руины гетто как декорации для этого спектакля.

— А евреи будут участвовать в представлении? — спросил я его.

— Конечно, тысячи,— отвечал он.

— Позвольте спросить, где вы предполагаете найти каких-нибудь евреев после войны?

Он углядел в этом юмор.

— Очень хороший вопрос,— сказал он, хихикнув.— Это надо будет обсудить с Гессом.

— С кем? — спросил я. Я еще не бывал в Варшаве и еще не был знаком с братцем Гессом.

— В его ведении небольшой курорт для евреев в Польше. Надо попросить его сохранить для нас некоторое количество.

Можно ли сочинение этого жуткого сценария добавить к списку моих военных преступлений? Слава богу, нет. Оно не продвинулось дальше предварительного названия: «Последняя полная мера».

Я хочу, однако, признать, что я, вероятно, написал бы его, если бы имел достаточно времени и если бы мое начальство оказало на меня достаточное давление.

В сущности, я готов признать почти все что угодно.

Относительно этого сценария: он имел неожиданный результат. Он привлек внимание Геббельса, а затем и самого Гитлера к Геттисбергской речи [1] Авраама Линкольна.

Геббельс спросил меня, откуда я взял предварительное название, и я сделал для него полный перевод Геттисбергской речи. Он читал, шевеля губами.

— Знаете, это блестящий пример пропаганды. Мы не так современны и не так далеко ушли от прошлого, как нам кажется.

---

[1] Геттисбергская речь произнесена Линкольном в 1863 году на церемонии открытия национального кладбища в Геттисберге, вблизи места, где произошло одно из решающих сражений Гражданской войны в Америке. В ней содержится и линкольновское определение демократии: «правительство народа, из народа, для народа».

— Это знаменитая речь в моей родной стране. Каждый школьник должен выучить ее наизусть,— сказал я.

— Вы скучаете по Америке? — спросил он.

— Я скучаю по ее горам, рекам, широким долинам и лесам,— сказал я.— Но я никогда не был бы счастлив там, где всем заправляют евреи.

— О них позаботятся в свое время,— сказал Геббельс.

— Я с нетерпением жду этого дня. Моя жена и я — мы с нетерпением ждем этого дня,— сказал я.

— Как поживает ваша жена? — спросил Геббельс.

— Благодарю вас, процветает,— сказал я.

— Красивая женщина,— сказал он.

— Я ей передам это, ей будет чрезвычайно приятно.

— Относительно речи Авраама Линкольна...— сказал он.

— Да?

— Там есть впечатляющие фразы, которые можно прекрасно использовать в надписях на могильных плитах на немецких военных кладбищах. Честно говоря, я совершенно не удовлетворен нашим надгробным красноречием, а это, кажется, как раз то, что я давно ищу. Я бы очень хотел послать эту речь Гитлеру.

— Как прикажете,— сказал я.

— Надеюсь, Линкольн не был евреем? — спросил Геббельс.

— Я уверен, что нет.

— Я попал бы в очень неловкое положение, если бы он оказался евреем.

— Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь это предполагал.

— Имя Авраам само по себе очень подозрительно,— сказал Геббельс.

— Его родители наверняка не сознавали, что это еврейское имя. Им, вероятно, просто понравилось его звучание. Это были простые люди из глуши. Если бы они знали, что это еврейское имя, они выбрали бы что-нибудь более американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фрэда.

Через две недели Геттисбергская речь вернулась от Гитлера. Наверху рукой самого der Fuehrer было начертано: «Некоторые места чуть не заставили меня плакать. Все северные народы едины в своих чувствах к своим солдатам. Это, очевидно, связывает нас крепче всего».

Странно, мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гесс, ни Геринг, никто из других кошмарных деятелей мировой войны за номером два. Наоборот, мне снятся женщины.

Я спросил Бернарда Менгеля, моего ночного сторожа здесь, в Иерусалиме, что, по его мнению, я вижу во снах.

— Что вам снилось *прошлой* ночью? — спросил он.

— Все равно, какой.

— Прошлой ночью это были женщины. Вы снова и снова повторяли два имени.

— Какие?

— Одно — Хельга.

— Это моя жена.

— Другое — Рези.

— Это младшая сестра моей жены. Только имена, и все?

— Вы сказали: «Прощайте».

— Прощайте,— отозвался я.— Это, конечно, имело смысл и во сне и наяву. И Хельга и Рези — обе ушли навсегда.

— Еще вы говорили о Нью-Йорке,— сказал Менгель.— Вы бормотали что-то, затем сказали: «Нью-Йорк», а потом снова забормотали.

Это тоже имело смысл, как и большая часть того, что я вижу во сне. Я долгое время жил в Нью-Йорке, прежде чем попал в Израиль.

— Нью-Йорк, должно быть, рай,— сказал Менгель.

— Для вас, может быть. Для меня он был адом, даже хуже ада.

— Что может быть хуже ада? — спросил он.

— Чистилище,— ответил я.

Глава шестая

ЧИСТИЛИЩЕ...

О моем чистилище в Нью-Йорке: я пребывал там пятнадцать лет.

Я исчез из Германии в конце второй мировой войны. И возник неузнанный в Гринвич Вилледже. Я снял там унылую мансарду, в стенах которой скреблись и пищали крысы. Я продолжал жить в этой мансарде, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда.

Было одно достоинство у моей крысиной мансарды: ее заднее окно выходило в маленький уединенный садик, маленький рай, образованный соседними задними дворами. Этот садик, этот рай, был со всех сторон отгорожен от улицы домами. Он был достаточно велик, чтобы дети могли играть там в прятки.

Я часто слышал из этого маленького рая певучий детский голосок, который всегда заставлял меня остановиться и прислушаться. Это был мелодичный печальный зов, означавший, что игра кончилась, что те, кто еще прячется, могут вылезать, и пора расходиться по домам:

«Олле-олле-бык-на-воле».

И я, прячущийся от многих, тех, кто, возможно, хотел причинить мне неприятности или даже убить меня, часто мечтал, чтобы кто-нибудь прекратил эту мою бесконечную игру в прятки мелодичным и печальным зовом:

«Олле-олле-бык-на-воле».

Глава седьмая

АВТОБИОГРАФИЯ...

Я, Говард У. Кемпбэлл-младший, родился в Скенектеди, штат Нью-Йорк, 16 февраля 1912 года. Мой отец, выросший в Теннесси, сын баптистского священника, был инженером в отделе обслуживания Дженерал электрик.

Задачей отдела был монтаж, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, которое Дженерал электрик продавала по всему миру. Мой отец, объекты которого были сначала только в Соединенных Штатах, редко бывал дома. Его работа требовала таких разнообразных технических знаний и смекалки, что у него не оставалось ни свободного времени, ни воображения ни для чего другого. Он был создан для работы, а работа для него.

Единственная не техническая книга, за которой я его видел, была иллюстрированная история первой мировой войны. Это была большая книга с иллюстрациями размером фут на полтора. Отцу, казалось, никогда не надоедало рассматривать ее, хотя он и не был на войне.

Он никогда не говорил мне, что эта книга значила для него, а я никогда не спрашивал. Он только сказал о ней, что она не для детей и я не должен заглядывать в нее.

Поэтому, конечно, всякий раз, оставаясь один, я в нее заглядывал. Здесь были изображения людей, повисших на колючей проволоке, искалеченных женщин, штабеля трупов — все обычные атрибуты мировых войн.

Моя мать, в девичестве Вирджиния Крокер, была дочерью фотографа-портретиста из Индианополиса. Она вела домашнее хозяйство и была виолончелисткой-любительницей. Она играла на виолончели в скенектедском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже играл на виолончели.

Из меня не вышло виолончелиста, мне, как и отцу, медведь на ухо наступил.

У меня не было братьев и сестер, а отец редко бывал дома. Поэтому в течение многих лет я был единственным компаньоном матери. Она была красивой, одаренной, болезненной женщиной. Мне кажется, что она была постоянно пьяна. Я помню, как она однажды смешала в блюдце спирт для натирания с солью. Она поставила блюдце на кухонный стол, погасила свет и посадила меня напротив. Затем она коснулась смеси спичкой. Пламя было совершенно желтое, натриевое, в нем она выглядела как труп, и я тоже.

— Смотри,— сказала она,— как мы будем выглядеть, когда умрем.

Этот дикий спектакль испугал не только меня, но и ее. Она была напугана своей странной выходкой, с тех пор я перестал быть ее компаньоном. С тех пор она со мной почти не разговаривала и полностью меня избегала, очевидно, из боязни сказать или сделать что-нибудь еще более безумное.

Все это произошло в Скенектеди, когда мне еще не было десяти лет.

В 1923 году, когда мне было одиннадцать, отца перевели в Германию, в отделение Дженерал электрик в Берлине. С этого времени мое образование, мои друзья, мой основной язык были немецкими.

В конце концов я стал писать пьесы на немецком языке, женился на немке, актрисе Хельге Нот. Хельга Нот была старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции.

Мои родители покинули Германию в 1939-м, когда началась война.

Мы с женой остались.

Я зарабатывал на жизнь вплоть до окончания войны в 1945 году как автор и диктор нацистских пропагандистских передач на англоязычные страны. Я был ведущим экспертом по Америке в министерстве народного просвещения и пропаганды.

В конце войны я оказался одним из первых в списке военных преступников, главным образом потому, что мои преступления совершались так бесстыдно открыто.

Меня взял в плен лейтенант Третьей американской армии Бернард О'Хара около

— Это не ваш навар?
— Простите? — сказал я.
— Не ваше дело?
— Вот именно.
— Вы не поняли, когда я сказал навар вместо дело? — спросил он.
— Разве это обычное выражение? — спросил я.
— В Америке — да. Не возражаете, если я пересяду, чтобы не кричать.
— Если угодно,— сказал я.
— Если угодно,— повторил он, пересаживаясь на мою скамью.— Так мог бы сказать англичанин.
— Американец,— сказал я.
Он поднял брови.
— Неужели? Я пытался отгадать, не американец ли вы, но решил, что нет.
— Благодарю,— сказал я.
— Вы считаете, что это комплимент, и поэтому сказали «благодарю»? — сказал он.
— Не комплимент, но и не оскорбление. Просто мне это безразлично. Национальность просто не интересует меня, как, наверное, должна была бы интересовать.
Казалось, это его озадачило.
— Хоть это меня и не касается, но чем вы зарабатываете себе на жизнь? — сказал он.
— Я писатель,— сказал я.
— Неужели? Какое совпадение! Я как раз сидел здесь и думал: из того, что вертится у меня в голове, можно было бы написать неплохую шпионскую историю.
— Вот как? — сказал я.
— Я могу подарить ее вам,— сказал он.— Я никогда ее не напишу.
— Мне бы справиться с собственными планами,— сказал я.
— Да, но со временем вы можете истощиться, и тогда вам пригодится этот мой сюжет,— сказал он.— Понимаете, есть молодой американец, который так долго жил в Германии, что практически стал немцем. Он пишет пьесы на немецком, женат на прелестной актрисе-немке, знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые любят болтаться в театральных кругах.— И он пробубнил несколько имен нацистов — более значительных и помельче, которых мы с Хельгой прекрасно знали.
Не то чтоб мы с Хельгой были без ума от нацистов. Но и не могу сказать, что мы их ненавидели. Они были наиболее восторженной частью нашей публики, важными людьми общества, в котором мы жили.
Они были людьми.
Только ретроспективно я могу думать, что они оставили за собой страшный след.
Честно говоря, я и сейчас не могу так о них думать. Я слишком хорошо знал их и слишком много сил положил в свое время на то, чтобы завоевать их доверие и аплодисменты.
Слишком много.
Аминь.
Слишком много.
Кто вы? — спросил я у человека в парке.
— Разрешите мне сначала кончить мой рассказ,— сказал он.— Этот молодой человек знает, что надвигается война, понимает, что немцы будут на одной стороне, а американцы на другой. И этот американец, который до сих пор был просто вежлив с нацистами, решает сделать вид, что он сам нацист, остается в Германии, когда начинается война, и становится очень полезным американским шпионом.
— Вы знаете, кто я? — спросил я.
— Конечно,— сказал он. Он вынул бумажник и показал мне удостоверение Военного ведомства Соединенных Штатов на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения.
— Вот кто я,— сказал он.— Я предлагаю вам стать агентом американской разведки, мистер Кемпбэлл.
— О боже,— сказал я с раздражением и обреченностью. Я весь поник. Потом я снова выпрямился и произнес: — Смешно. Нет, черт возьми, нет.
— Ладно,— сказал он.— Я не особенно огорчен, ведь вы дадите мне окончательный ответ не сегодня.
— Если вы воображаете, что я пойду сейчас домой, чтобы это обдумать, вы ошибаетесь. Домой я пойду, чтобы вкусно поесть с моей очаровательной женой, послушать музыку, заняться с женой любовью, а потом спать как убитый. Я не солдат, не политик. Я человек искусства. Если придет война, я ей не помощник. Если придет война, я буду продолжать заниматься своим мирным делом.
Он покачал головой.
— Я желаю вам всего самого лучшего, мистер Кемпбэлл,— сказал он,— но эта война вряд ли кого-нибудь оставит за мирным делом. И как ни грустно, но я должен сказать, что чем ужаснее будут дела нацистов, тем меньше у вас будет шансов спать по ночам как убитый.

— Посмотрим,— натянуто сказал я.
— Правильно, посмотрим,— сказал он.— Вот почему я сказал, что вы дадите мне окончательный ответ не сегодня. Вы должны дойти до него сами. Если вы решите ответить «да», вам надо будет действовать совершенно самостоятельно, сотрудничать с нацистами, стремясь добиться как можно более высокого положения.
— Прелестно! — сказал я.
— Да, в этом есть своя прелесть,— сказал он.— Вы должны стать настоящим героем, в сотни раз храбрее любого обыкновенного человека.
Тощий генерал вермахта и толстый штатский с портфелем шли мимо нас, возбужденно разговаривая.
— Здрасьте,— сказал им дружелюбно майор Виртанен. Они высокомерно фыркнули и прошли дальше.
— С началом войны вы добровольно пойдете на то, что вы конченый человек. Даже если вас не схватят во время войны, вы обнаружите, что ваша репутация погибла и вообще вам не осталось ради чего жить.
— Вы описали все это очень заманчиво,— сказал я.
— Я думаю, есть шанс сделать это заманчивым для *вас*,— сказал он.— Я видел пьесу, которую вы сейчас поставили, и читал другую, которую собираетесь ставить.
— Да? И что вы из них узнали?
Он улыбнулся.
— Что вы обожаете чистые сердца и героев, что вы любите добро, ненавидите зло и верите в романтику.
Он не назвал главной причины, по которой можно было ожидать, что я пойду по этому пути и стану шпионом. Главная причина в том, что я бездарный актер. А как шпион такого сорта, о котором шла речь, я имел бы великолепную возможность играть главные роли. Я должен был, блестяще играя нациста, одурачить всю Германию, и не только ее.
И я действительно всех одурачил. Я стал вести себя как человек из окружения Гитлера, и никто не знал, какой я на самом деле, что у меня глубоко внутри.
Могу ли я доказать, что я был американским шпионом? Главное свидетельство тому — моя неуязвимая лилейно-белая шея. И это единственное свидетельство, которое у меня есть. Те, кто обязан доказать мою виновность или невиновность в преступлениях против человечности, приглашаются тщательно ее обследовать.
Правительство Соединенных Штатов не подтверждает и не отрицает, что я был его агентом. Не так уж и много, что оно не отрицает такой возможности. Однако оно тут же отнимает у меня эту зацепку, отрицая, что человек по имени Фрэнк Виртанен вообще когда-нибудь служил в каком-нибудь правительственном учреждении.
Никто, кроме меня, не верят в его существование. Поэтому я в дальнейшем часто буду называть его Моей Звездно-Полосатой Крестной. Среди многого, что поведала мне Моя Звездно-Полосатая Крестная, были пароль и ответ, по которым я мог опознать своих связных, а они меня, если начнется война.
Пароль был: «Ищи новых друзей».
Ответ: «Но старых не забудь».
Мой здешний адвокат — ученый-юрист господин Алвин Добровиц. Он, в отличие от меня, вырос в Америке. Мистер Добровиц сказал мне, что пароль и ответ — часть песни идеалистической организации американских девушек, которая из-за цвета своей формы называется «Коричневые».
Полностью этот куплет, по словам Добровица, звучит так:

Ищи новых друзей,
Но старых не забудь.
Помни — старый друг
Лучше новых двух.

Глава десятая

РОМАНТИКА...

Моя жена никогда не знала, что я шпион.
Я бы ничего не потерял, рассказав ей об этом. Это не заставило бы ее любить меня меньше. И не грозило бы мне никакой опасностью. Просто божественный мир моей Хельги, эта Книга Откровений, стал бы казаться обыденным.
Войны и без того было достаточно.
Хельга считала, что я верю в ту чепуху, которую говорю по радио и говорю на приемах. Мы постоянно бывали на приемах.
Мы были очень популярной парой, веселой и патриотичной. Люди обычно говорили, что мы их ободряем, вызываем желание действовать. И Хельга тоже не шла через войну

просто разряженной дамочкой. Она выступала в частях, часто под грохот вражеских орудий.

Вражеских? Чьих-то орудий, во всяком случае.

Вот так я ее и потерял. Она выступала в частях в Крыму, а в это время русские отбили Крым. Хельга считалась погибшей.

После войны я заплатил круглую сумму частному детективному агентству а Западном Берлине, чтобы обнаружить хоть малейший ее след. Результат: ноль. Моим условием агентству был гонорар в десять тысяч долларов за неопровержимое доказательство того, что моя Хельга жива или погибла.

Ни черта.

Моя Хельга не сомневалась, что я верю в то, что говорю о человеческих расах и механизмах истории, и я был благодарен ей. Неважно, кем я был в действительности, неважно, что я действительно думал. Безоглядная любовь — вот что мне было нужно, и моя Хельга была ангелом, который мне ее дарил.

В изобилии.

Ни один молодой человек на свете не столь совершенен, чтобы не нуждаться в безоглядной любви. Боже мой! Молодые люди участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды, а ведь единственное сокровище, которое им стоит искать,— это безоглядная любовь.

Das Reich der Zwei, государство двоих — Хельгино и мое,— его территория, территорию, которую мы так ревниво оберегали, не намного выходило за пределы нашей необъятной двухспальной кровати.

Ровная стеганая пружинистая маленькая страна, а мы с Хельгой — горы на ней.

И при том, что в моей жизни ничего не имело смысла, кроме любви, каким же исследователем географии я был! Какую карту я мог бы нарисовать для микроскопического туриста, этакого субмикроскопического Vandervögel, колесящего на велосипеде между родинкой и курчавыми золотистыми волосками по обе стороны Хельгиного пупка. Если это образ дурного вкуса — прости меня, Боже. Для психического здоровья необходимы игры. Я просто описал наш собственный взрослый вариант детской игры «этот маленький поросеночек»...

О, как мы прижимались друг к другу, моя Хельга и я, как *безумно* мы прижимались! Мы не прислушивались к тому, что говорили друг другу. Мы слушали только мелодии наших голосов. В том, что мы слышали, было не больше смысла, чем в урчании и мурлыканье кошек.

Если бы мы больше вслушивались, искали в услышанном смысл, что за тошнотворной парой мы бы были! Вне суверенной территории нашего государства двоих мы разговаривали как все патриотичные психопаты вокруг нас.

Но это не шло в счет. Только одно шло в счет — государство двоих.

И когда это государство прекратило существование, я стал тем, кто я есть сейчас и буду всегда,— человеком без гражданства.

Я не могу сказать, что не был предупрежден. Человек, завербовавший меня тем давним весенним днем а Тиргартене,— тот человек предсказал мне мою судьбу достаточно хорошо.

— Чтобы как следует выполнять вашу работу,— говорила мне Моя Звездно-Полосатая Крестная,— вам придется совершить государственную измену, верно служить врагу. Вас никогда не простят за это, потому что нет юридического механизма, по которому вас можно простить.

Максимум, что для вас будет сделано,— сказал он,— аша шея будет спасена. Но никогда не настанет то волшебное время, когда вы будете оправданы, когда Америка вызовет вас из укрытия ободряющим: «Олле-олле-бык-на-воле».

Глава одиннадцатая

ВОЕННЫЕ ИЗЛИШКИ...

Мать и отец мои умерли. Говорят, они умерли от разбитого сердца. Они умерли, когда им было за шестьдесят, в возрасте, когда сердца разбиваются особенно легко.

Они не только не увидели конца войны, но и никогда больше не увидели своего блистательного сыночка. Они не лишили меня наследстаа, хотя, аероятно, у них был большой соблазн это сделать. Они завещали Говарду У. Кемпбэллу-младшему, отъявленному антисемиту, перебежчику и радиозвеаде, акции, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание было официально подтверждено, составляла сорок восемь тысяч долларов. Ценность всего этого барахла, пройдя через подъемы и инфляции, выросла к настоящему времени в четыре раза, обеспечивая мне ежегодную ренту в семь тысяч долларов.

Говорите обо мне что хотите, но я никогда не касался основного капитала.

В послевоенные годы, когда я жил чудаком и затворником а Гринвич Вилледж, я тратил примерно четыре доллара в день, включая квартирную плату, и у меня даже был телевизор. Вся моя новая обстановка, как и я сам, состояла из военных излишков — узкая железная койка, одеяла цвета хаки со штампом «USA», складные парусиновые стулья, аоенные котелки, служившие и кастрюлями, и тарелками. Даже моя библиотека была в основном из военных излишков, ибо досталась мне из развлекательного снаряжения для ваших заокеанских частей.

В этом развлекательном снаряжении были и грампластинки, поэтому я раздобыл, тоже из излишков, портативный граммофон, способный играть в любом климате, от Берингова пролива до Арафурского моря. Покупая этот запечатанный развлекательный товар как кота а мешке, я стал обладателем двадцати шести пластинок «Белого Рождества» Бинга Кросби.

Мое пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье были тоже из военных излишков.

Купив за доллар пакет первой медицинской помощи из военных излишков, я стал обладателем и некоторого количества морфия. Стервятники, обожравшиеся падалью на продаже аоенных излишков, смотрели на это сквозь пальцы.

У меня было искушение поколоться морфием, и если бы это приносило мне радость, я смог бы, имея достаточно денег, поддерживать эту привычку. Но тут я понял, что я уже наркоман.

Я не чуаствовал боли.

Наркотиком, который помог мне пройти через войну, была способность питать все свои эмоции только одним — моей любовью к Хельге. Эта концентрация эмоций в такой маленькой области, начавшаяся с иллюзии молодого счастливого влюбленного, развилась в нечто, помешавшее мне спятить во время войны, и наконец превратилась в постоянную ось, вокруг которой аращались все мои мысли.

И поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти истово, словно какой-то узколобый религиозный фанатик. Всегда один, я поднимал за Хельгу тосты, говорил ей доброе утро, спокойной ночи, стааил для нее пластинки и плевал на асе остальное.

И вот однажды, в 1958 году, после тринадцати лет такой жизни, я купил из военных излишков набор для резьбы по дереву. Это были уже излишки не второй мировой аойны, а корейской войны. Он стоил три доллара.

Принеся его домой, я начал без аскакой цели пробоаать аырезать на палке от швабры. Внезапно мне пришло в голову сделать шахматы. Я говорю о внезапности, потому что был поражен своим энтузиазмом. Энтузиазм был так велик, что я вырезал двенадцать часов подряд, десятки раз попадая острыми инструментами в ладонь левой руки, и все никак не мог остановиться. Я был в восторге и весь в крови, когда кончил. Результатом этой работы был прекрасный набор шахматных фигур.

И еще один странный импульс возник у меня.

Я почувствовал непреодолимое желание показать кому-нибудь, кому-нибудь из живых, великолепную вещь, которую я сделал.

Возбужденный творчеством и выпивкой, я спустился вниз и постучал в дверь соседа, не зная даже, кто он.

Моим соседом был хитрый старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле старика звали полковник Иона Потапов. Этот древний сукин сын был русским агентом и работал в Америке непрерывно с 1935 года.

Я этого не знал.

И он поначалу тоже не знал, кто я. Нас свела слепая удача. Поначалу в этом не было никакой конспирации. Я постучал в его дверь, вторгся в его жизнь. Если бы я не вырезал этих шахмат, мы бы никогда не встретились.

У Крафта — я буду так называть его, потому что я так его воспринимаю,— было три или четыре замка на входной дверн. Я заставил его открыть их все, спросив, не играет ли он в шахматы. Это опять была слепая удача. Ничто другое не заставило бы его открыть.

Люди, помогавшие мне а моих последующих изысканиях, между прочим, рассказали мне, что имя Иона Потапова было хорошо известно по европейским шахматным турнирам начала тридцатых годов. Он даже выиграл у гроссмейстера Тартаковера в Роттердаме в 1931 году.

Когда он открыл дверь, я увидел, что он художник. Посередине гостиной стоял мольберт с чистым холстом, а на всех стенах висели сногсшибательные картины, написанные им.

Когда я говорю о Крафте, он же Потапов, я чувствую себя более уютно, чем когда я говорю о Виртанене, он же бог знает кто. Виртанен оставил не больший след, чем червяк, проползший по бильярдному столу. Свидетельства существования Крафта есть повсюду. Сейчас, когда я об этом пишу, картины Крафта стоят в Нью-Йорке по десять тысяч долларов за штуку.

У меня есть вырезка из *Нью-Йорк геральд трибюн* от третьего марта, примерно двухнедельной давности, в которой критик говорит о Крафте-художнике:

«Вот, наконец, способный и благодарный наследник фантастической изобретательности и экспериментаторства в живописи последнего столетия. Говорят, что Аристотель был последним, кто до конца понимал культуру своего времени. Джордж Крафт безусловно первый, кто до конца понимает все современное искусство, понимает до мозга костей.

С необыкновенным изяществом и твердостью он соединяет способы восприятия множества противоречивых течений в живописи прошлого и настоящего. Он приводит нас в трепет и смирение гармонией, как бы говоря: „Если вы жаждете нового Ренессанса — вот какова должна быть живопись, которая выразит его дух".

Джорджу Крафту, он же Иона Потапов, разрешено продолжать свою выдающуюся творческую деятельность в федеральной тюрьме форта Ливенворт. Мы все, вместе с самим Крафтом-Потаповым, можем себе представить, как была бы полностью подавлена его деятельность в тюрьме в его родной России».

Итак, когда Крафт открыл мне дверь, я понял, что его картины хороши. Но я не понял, что они настолько хороши. Я подозреваю, что процитированная выдержка написана педиком, нализавшимся коктейля «Александер».

— Я не знал, что подо мной живет художник,— сказал я.

— Может, я вовсе не художник,— ответил он.

— Удивительные картины. Где вы выставляетесь?

— А нигде.

— Вы бы сколотили состояние, если бы выставлялись,— сказал я.

— Приятно слышать, но я слишком поздно начал заниматься живописью.

И затем он рассказал мне то, что следовало принимать за историю его жизни,— ни слова правды.

Он сказал, что он вдовец из Индианополиса. В молодости, сказал он, он хотел быть художником, но вместо этого занялся бизнесом — продажей красок и обоев.

— Моя жена умерла два года тому назад,— сказал он и ухитрился выдавить влагу из глаз. У него и правда была жена, но не похороненная в Индианополисе. У него была совершенно живая жена Таня в Борисоглебске. И он не видел ее двадцать пять лет.

— Когда она умерла,— сказал он мне,— я понял, что душа моя может выбрать только между двумя возможностями — самоубийством или мечтами юности. И я, старый дурак, выбрал мечты юного дурака. Я купил холсты и краски и приехал в Гринвич Вилледж.

— Детей нет? — спросил я.

— Нет,— сказал он печально. В действительности у него было трое детей и девять внуков. Его старший сын Илья — известный специалист по ракетам.

— Единственный родственник, который у меня есть в этом мире,— сказал он,— искусство, и я беднейший из его родственников.— Он не имел в виду, что он нищий. Он имел в виду, что он плохой художник. У него много денег, сказал он. Он продал свое дело в Индианополисе за хорошие деньги.

— Шахматы, вы сказали что-то о шахматах? — спросил он.

Шахматы, которые я вырезал, лежали в коробке из-под ботинок. Я показал их ему.

— Я только что их вырезал,— сказал я,— и у меня страшное желание сыграть ими.

— Хорошо играете? — спросил он.

— Я не играл очень давно,— ответил я.

Почти все мои шахматные партии были сыграны с Вернером Нотом, моим тестем, шефом берлинской полиции. Я постоянно обыгрывал Нота, когда мы с Хельгой по воскресеньям наносили ему визит. Единственным турниром, в котором я играл, был матч в министерстве народного образования и пропаганды. Я занял одиннадцатое место из шестидесяти пяти.

В пинг-понг я играл гораздо лучше. Я был чемпионом министерства в одиночных и парных играх четыре года подряд. Моим партнером был Хайнц Шильдкнехт, специалист по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Как-то мы с Хайнцем играли против пары Reichsleiter Геббельс и Oberdienstleiter Карл Хейдрих. Мы выиграли 21:2, 21:1, 21:0.

История часто идет рука об руку со спортом.

У Крафта была шахматная доска. Мы расставили фигуры и начали играть.

И непроницаемый, жесткий кокон цвета хаки, которым я себя окружил, начал трескаться, ослаб, впустив бледный проблеск света.

Я наслаждался игрой, мог интуитивно делать достаточно интересные ходы, чтобы доставить моему новому другу удовольствие обыграть меня.

Потом мы с Крафтом играли по меньшей мере три партии ежедневно в течение года. И мы создали себе некое трогательное подобие домашнего очага, в котором мы оба так нуждались. Мы снова почувствовали вкус еды, делали маленькие открытия в бакалейных лавочках, приносили находки домой, чтобы вместе ими насладиться. Помню, когда настал сезон клубники, мы приветствовали его воплями восторга, словно второе пришествие Христа.

Особая близость между нами возникла по части вина. Крафт понимал в винах горвздо лучше меня и часто приносил покрытые паутиной сокровища. И хотя всегда, когда мы садились за стол, перед Крафтом стоял наполненный стакан, все вино было для меня. Он не мог выпить и глотка, чтобы не впасть в запой, который мог продолжаться месяц.

Из всего, что он рассказал мне о себе, правдой было только одно. Он был членом Общества Анонимных Алкоголиков. Уже шестнадцать лет. Хотя он использовал собрания А. А. в шпионских целях, у него был и настоящий интерес к этим сборищам. Однажды он совершенно искренне сказал мне, что величайшее, что дала Америка миру, вклад, о котором будут помнить тысячелетия,— это изобретение общества А. А.

Для этого шпиона-шизофреника было типично, что он использовал столь почитаемую им организацию в целях шпионажа.

Для этого шпиона-шизофреника было типично и то, что, будучи моим истинным другом, он в конце концов додумался, как изощреннее использовать меня в интересах России.

Глава двенадцатая

СТРАННЫЕ ВЕЩИ В МОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ...

Поначалу я врал Крафту, кто я и чем занимался. Но вскоре наша дружба так углубилась, что я рассказал ему все.

— Это так несправедливо! — сказал он.— Это заставляет меня стыдиться, что я американец. Почему правительство не выступит и не скажет: «Послушайте! Этот человек, на которого вы плюете,— герой».— Он негодовал, и, судя по всему, его негодование было искренним.

— Никто не плюет на меня,— сказал я.— Никто даже не знает, что я еще жив.

Он горел желанием прочесть мои пьесы. Когда я сказал ему, что у меня нет текста ни одной из них, он заставил меня пересказать их ему сцена за сценой — сыграть их для него.

Он сказал, что считает их великолепными. Возможно, он был искренен. Не знаю. Мои пьесы казались мне слабыми, но, возможно, ему они нравились. По-моему, его волновало искусство как таковое, а не то, что я сделал.

— Искусство, искусство, искусство,— сказал он мне однажды вечером.— Не знаю, почему мне понадобилось так много времени, чтобы осознать его важность. В юности я, как ни странно, его презирал. Теперь, когда я о нем думаю, мне хочется упасть на колени и плакать.

Была поздняя осень. Опять настал сезон устриц, и мы поглощали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом уже около года.

— Говард,— сказал он,— будущие цивилизации, цивилизации лучшие, чем наша, будут судить о людях по их принадлежности к искусству. Если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, твои и мои, судить о нас будут по их качеству. Ничто другое не будет иметь значения.

— Гм-м...— сказал я.

— Ты должен снова начать писать. Подобно тому, как маргаритки цветут маргаритками, а розы розами, ты должен цвести как писатель, а я как художник. Все остальное в нас неинтересно.

— Мертвецы вряд ли могут писать хорошо,— сказал я.

— Ты не мертвец, ты полон идей! Ты можешь рассказывать часами,— сказал он.

— Вздор! — сказал я.

— Не вздор! — горячо возразил он.— Все, что тебе нужно, чтобы снова писать, писать даже лучше, чем прежде,— это женщина.

— Что?

— Женщина.

— Откуда у тебя эта странная идея? — спросил я.— От пожирания устриц? Сначала найди ты, а потом уж и я. Ну как?

— Я слишком стар, чтобы женщина принесла мне пользу, а ты — нет.

И снова, пытаясь отделить правду от лжи, я думаю, что это его утверждение — правда. Он действительно хотел, чтобы я снова начал писать, и был убежден, что для этого нужна женщина.

— Если ты найдешь женщину,— говорил он,— то и я почти готов на унижение попытаться быть мужчиной.

— У меня уже была одна.

— У тебя она была когда-то. Это большая разница,— сказал он.

— Не хочу говорить об этом,— сказал я.

— А я все равно хочу.

— Ну и говори и разыгрывай свата, сколько твоей душе угодно,— сказал я, вставая из-за стола.— Спущусь вниз, посмотреть, что там в сегодняшней почте.

Он надоел мне, и я спустился вниз к почтовому ящику, просто чтобы рассеять раздра-

жение. Я вовсе не жаждал посмотреть почту. Я часто неделями не интересовался, пришло ли мне что-нибудь. Единственное, что я обычно находил в ящике, были чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, всякая чепуха, адресованная владельцам почтовых ящиков, и рекламные брошюрки о книгах и приборах, якобы полезных в области образования.

Почему я стал получать рекламы педагогических пособий? Однажды я попытался устроиться учителем немецкого языка в одну из частных школ в Нью-Йорке. Это было году в 1950-м.

Я не получил работы и даже не хотел этого. Думаю, я сделал это, просто желая показать самому себе, что я еще существую.

Анкета, которую я заполнил, естественно, была полна вранья, была таким нагромождением лжи, что школа даже не потрудилась уведомить меня об отказе. Тем не менее мое имя каким-то образом попало в список возможных преподавателей. Поэтому и приходили эти бесконечные рекламы.

Я открыл почтовый ящик, в котором было содержимое за три-четыре дня.

Там был чек от компании Кока-Кола, извещение о собрании акционеров Дженерал моторс, запрос от Стандарт ойл в Нью-Джерси по поводу ведения моих дел и рекламный предмет фунтов восемь весом, замаскированный под школьный учебник. Он предназначался для тренировки школьников в перерывах между занятиями. В рекламе говорилось, что физическая подготовка американских детей ниже, чем у детей почти всех стран мира.

Но реклама этого странного предмета не была самой странной вещью в моем почтовом ящике. Здесь были вещи гораздо более странные.

Одна — письмо в конверте обычного размера из поста Американского легиона им. Френсиса Донована в Бруклайне, штат Массачусетс.

Другая — туго свернутая маленькая газета, посланная с Центрального вокзала. Я сначала вскрыл газету. Оказалось, что это *Белый Христианский Минитмен* [1] — непристойный, безграмотный, антисемитский, антинегритянский, антикатолический злобный листок, издаваемый преподобным доктором Лайонелем Дж. Д. Джонсом, Д.С.Х.

Самый крупный заголовок гласил: «Верховный суд требует, чтобы Соединенные Штаты стали страной метисов!» Второй по величине заголовок гласил: «Красный Крест вливает белым негритянскую кровь!» Эти заголовки едва ли могли меня поразить. Ведь именно этим я зарабатывал себе на жизнь в Германии. Еще ближе к духу прежнего Говарда У. Кемпбэлла-младшего был заголовок небольшой заметки в углу первой страницы: «В выигрыше от второй мировой войны только международное еврейство».

Затем я открыл письмо из поста Американского легиона. В нем говорилось:

Дорогой Говард!

Я был очень удивлен и разочарован, узнав, что ты еще не умер. Когда я думаю обо всех хороших людях, погибших во время второй мировой войны, а затем вспоминаю, что ты еще жив и живешь в стране, которую предал, меня просто тошнит. Ты, наверное, будешь счастлив узнать, что наш пост вчера вечером решил, что тебя надо либо повесить, либо депортировать в Германию, страну, которую ты так любишь.

Теперь, когда я знаю, где ты, я скоро нанесу тебе визит.

Будет приятно вспомнить старые времена.

Когда ты сегодня ляжешь спать, вонючая крыса, я надеюсь, тебе приснится концентрационный лагерь Ордруф. Мне надо было бросить тебя в яму с известью, когда у меня была такая возможность.

Весьма, весьма искренне твой
Бернард О'Хара,
Председатель поста Американского легиона

Копии:
Дж. Эдгару Гуверу, ФБР, Вашингтон, округ Колумбия
Директору ЦРУ, Вашингтон, округ Колумбия
Редакции журнала *Тайм*, Нью-Йорк
Редакции журнала *Ньюсуик*, Нью-Йорк
Редакции *Инфантри джорнел*, Вашингтон, округ Колумбия
Редакции журнала *Лиджн мегезин*, Индианополис, штат Индиана
Главному следователю Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Вашингтон, округ Колумбия
Редакции газеты *Белый Христианский Минитмен*, 395, Бликер-стрит, Нью-Йорк

Конечно, Бернард О'Хара был тот молодой человек, который взял меня в плен в конце войны, протащил по лагерю смерти Ордруф и запечатлен вместе со мной на достопамятной фотографии с обложки *Лайф*.

Когда я нашел это письмо в своем почтовом ящике в Гринвич Виллидж, я удивился, каким образом он узнал, где я нахожусь.

Перелистав *Белый Христианский Минитмен*, я увидел, что О'Хара не единственный, кто обнаружил Говарда У. Кемпбэлла-младшего. На третьей странице под простым заголовком «Американская трагедия!» была короткая заметка:

> Говард У. Кемпбэлл-младший — знаменитый писатель и один из самых бесстрашных патриотов в американской истории, сейчас живет в бедности и одиночестве в мансарде на улице Бетьюн, 27. Такова судьба мыслящих людей, достаточно храбрых, чтобы сказать правду о тайном международном заговоре еврейских банкиров и международного еврейского коммунизма, которые не успокоятся, пока кровь каждого американца не будет безнадежно загажена негритянской и (или) восточной кровью.

¹ Минитмен (Minute Man) — ополченец, солдат народной милиции, образованной во время войны за независимость в Америке,— должен был за считанные минуты прибывать на пункт сбора (отсюда название).

В наше время М. — вооруженный член тайной фашистской организации, возникшей в США после второй мировой войны.

Глава тринадцатая

ЕГО ПРЕПОДОБИЕ ДОКТОР ЛАЙОНЕЛ ДЖЕЙСОН ДЭВИД ДЖОНС, Д.С.Х., Д.Б. ...

Я благодарен Институту документации военных преступников в Хайфе за материалы, которые позволили включить в эту книгу биографию доктора Джонса, издателя *Белого Христианского Минитмена.*

Хотя Джонс не был лицом, обвиняемым в военных преступлениях, на него имелось весьма внушительное досье. Вот что я выяснил, перелистывая эту сокровищницу сувениров.

Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д.С.Х., Д.Б., родился в Хаверхилле, штат Массачусетс, в 1889 году в семье методистов. Он был младшим сыном дантиста, внуком двух дантистов, братом двух дантистов и шурином трех дантистов. Он сам собирался стать дантистом, но был исключен из зубоврачебной школы Питтсбургского университета в 1910 году за то, что сейчас могло быть скорее всего диагностировано как паранойя. В 1910 году он был исключен просто за неуспеваемость.

Синдром его неудачи был далеко не прост. Его экзаменационные работы были, наверное, самыми длинными из когда-либо написанных в истории зубоврачебного образования и, вероятно, менее всего относящимися к делу. Они начинались достаточно разумно с рассмотрения вопроса, предлагавшегося на экзамене. Но безотносительно к этому вопросу Джонс ухитрялся перейти от него к собственной теории: зубы евреев и негров безусловно доказывают дегенеративность их обладателей.

Его зубоврачебные работы были высокого класса, и преподаватели надеялись, что со временем он избавится от своей политической интерпретации зубов. Но его болезнь прогрессировала, и в конце концов его экзаменационные работы стали безумными памфлетами, призывающими всех протестантов англосаксов объединиться против еврейско-негритянского засилия.

Когда Джонс начал обнаруживать по зубам доказательства вырождения у католиков и унитариев и когда у него под матрацем нашли пять заряженных пистолетов и штык, его в конце концов выкинули вон.

Родители Джонса отреклись от него, чего никогда не смогли сделать мои родители.

Оставшись без единого цента, Джонс нашел место ученика бальзамировщика в похоронном бюро братьев Шарф в Питтсбурге. За два года он стал управляющим. Еще через год он женился на овдовевшей владелице Хетти Шарф. Хетти тогда было пятьдесят восемь, а Джонсу двадцать четыре. Большинство исследователей жизни Джонса, почти все до единого настроенные к нему крайне недружелюбно, были вынуждены признать, что Джонс действительно любил свою Хетти. Брак, продолжавшийся до смерти Хетти в 1928 году, был счастливым.

Действительно, он был таким счастливым, таким совершенным, таким подлинным государством двоих, что Джонс все это время почти ничего не делал по части пробуждения бдительности англосаксов. Его, казалось, удовлетворяло ограничение расового вопроса профессиональными шуточками по поводу определенных трупов, шуточками, которые были привычными и в кругу самых либеральных бальзамировщиков. И это были его золотые годы не только с эмоциональной, финансовой, но и с творческой точки зрения. Работая с химиком доктором Ломаром Хорти, Джонс изобрел Виверин — бальзамирующую жидкость, и Гингива-тру, материал для зубных протезов, прекрасно имитирующий естественные зубы.

Когда умерла жена, Джонс почувствовал необходимость возродиться. Его возродило то, что все это время скрыто дремало в нем. Джонс стал таким проповедником расизма, про которых говорят, что он выполз из пещеры. Джонс выполз из своей пещеры в 1928 году. Он

продал похоронное бюро за восемьдесят четыре тысячи долларов и основал газету *Белый Христианский Минитмен.*

В 1929-м Джонс был разорен биржевым крахом 1929 года. Его газета прекратила существование после четырнадцатого выпуска. Все четырнадцать выпусков были бесплатно разосланы каждому, кто значился в справочнике Who's Who. Единственными иллюстрациями были фотографии и схемы зубов, и каждая статья объясняла какое-нибудь текущее событие с точки зрения Джонсовой теории о стоматологии и расах.

В последнем номере газеты он отрекомендовал себя как доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, доктор стоматологической хирургии.

Опять без гроша, теперь уже сорокалетний Джонс откликнулся на объявление в профессиональном журнале похоронных работников. Школа бальзамировщиков в Литтл Роке, штат Арканзас, нуждалась в президенте. Объявление было подписано вдовой бывшего президента и владельца.

Джонс получил работу, равно как и вдову. Вдову звали Мэри Алиса Шоуп. Когда Джонс на ней женился, ей было шестьдесят восемь лет.

И Джонс снова стал преданным мужем, счастливым, цельным и уравновешенным человеком.

Школа, которую он возглавил, называлась достаточно прямолинейно: Литтлрокская школа бальзамирования. Ежегодно он терял на ней восемь тысяч долларов. Джонс продал недвижимость школы, прекратил обучение благородному искусству бальзамирования и превратил ее в Библейский университет Западного полушария. Университет не имел учебных помещений, ничему не обучал и все дела вел по почте. Он присуждал степени доктора богословия и высылал дипломы в застекленной рамке — и все за восемьдесят долларов.

Джонс и сам разжился степенью доктора богословия Б. У. З. П., так сказать, из подручных средств. Когда умерла его вторая жена, он снова начал выпускать своего *Минитмена* и в заголовке именовался уже — его преподобие доктор Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б.

Кроме того, он написал и опубликовал на собственные деньги книгу, в которой стоматология и теология сочетались с изящными искусствами. Книга называлась *Христос — не еврей.* Он доказывал свою точку зрения, приводя в книге пятьдесят знаменитых картин с изображением Иисуса. Все эти картины, по мнению Джонса, свидетельствовали, что зубы и челюсти у Христа не еврейские.

Первые выпуски нового *Белого Христианского Минитмена* были столь же нечитабельны, как и старые. Но затем случилось чудо: *Минитмен* подскочил с четырех страниц до восьми. Оформление, шрифт и бумага стала шикарными и красивыми. Вместо зубных схем газета была буквально нафарширована фотографиями различных скандальных историй, происходивших во всех странах мира.

Объяснение было простым и очевидным. Джонса наняли и финансировали как агента пропаганды новорожденного гитлеровского Третьего рейха. Последние известия, фотографии, карикатуры и редакционные статьи поступали к Джонсу прямо с фабрики нацистской пропаганды в Эрфурте, Германия.

Вполне возможно, кстати, что многие из его непристойных материалов были написаны мною.

Джонс остаався агентом германской пропаганды даже после вступления США во вторую мировую войну. Его арестовали только в июле 1942 года, когда ему вместе с двадцатью другими было предъявлено обвинение в:

> Заговоре с целью подрыва морального духа, веры и доверия военнослужащих сухопутных и морских сил, а также и народа Соединенных Штатов к государственным служащим и республиканской форме правления, в заговоре с целью использования и злоупотребления свободой слова и печати для распространения своих преступных взглядов, в расчете на то, что страны, где есть свобода слова, беззащитны перед внутренними врагами, маскирующимися под патриотов; в попытках подорвать, ослабить и затруднить надлежащее функционирование республиканской формы правления под предлогом честной критики; в заговоре с целью лишить правительство Соединенных Штатов веры и доверия со стороны военнослужащих сухопутных и морских сил, а также народа, и тем самым сделать его неспособным защитить страну и народ как от вооруженного нападения извне, так и от предательстаа изнутри.

Джонс был осужден и приговорен к четырнадцати годам, из коих отсидел восемь. Когда он был освобожден из тюрьмы в Атланте в 1950 году, он оказался богатым человеком. Изобретенные им бальзамирующая жидкость Виверин и Гингива-тру, материал для искусственных зубов, получили широкое признание на соответствующем рынке.

В 1955 году он возобновил публикацию *Минитмена.*

Через пять лет этот энергичный пожилой общественный деятель семидесяти одного

года от роду, лишенный всякого чувства вины, его преподобие доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б. нанес мне визит.

Почему я удостоил его такой подробной биографии?

Для того, чтобы противопоставить себе этого невежественного полоумного расиста. Я — ни невежественный, ни полоумный.

Те, чьи приказы я выполнял в Германии, были так же невежественны и полоумны, как доктор Джонс. Я знал это.

Но, Боже правый, я все равно выполнял их инструкции.

Глава четырнадцатая

ВИД СВЕРХУ В ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ...

Джонс нанес мне визит через неделю после того, как содержимое моего почтового ящика изменилось и стало выводить меня из равновесия. Сначала я сам попытался встретиться с ним. Он печатал свою грязную газетенку всего в нескольких кварталах от моей мансарды, и я пошел туда просить его прекратить всю эту историю.

Я не застал его.

Когда я вернулся домой, почтовый ящик был полон. Почти все письма были от подписчиков *Минитмена.* Общей темой было то, что я не одинок, что у меня есть друзья. Женщина из Маунт Вернона, штат Нью-Йорк, писала, что мне уготован трон на небесах. Мужчина из Норфолка писал, что я новый Патрик Генри [1]. Женщина из Сент-Пола прислала мне два доллара, чтобы я продолжал свою полезную деятельность. Она извинялась: это все, что она имеет. Человек из Бартлесвилля, штат Оклахома, спрашивал меня, почему я до сих пор не выбрался из этого Жидо-Йорка и не поселился в каком-нибудь истинно американском месте.

Я не мог понять, как Джонс нашел меня.

Крафт утверждал, что он тоже озадачен. Но он вовсе не был озадачен. Это он от имени анонимного патриота сообщил Джонсу радостную новость, что я жив. Он также попросил Джонса послать экземпляр своей замечательной газеты Бернарду О'Хара в пост имени Френсиса Х. Донована Американского легиона.

У Крафта были свои виды на меня.

И в то же время он писал мой портрет с таким сочувственным проникновением в мое «я», с такой симпатией, которые едва ли можно объяснить только желанием одурачить простачка.

Когда пришел Джонс, я позировал Крафту. Крафт только что пролил бутылку разбавителя, и я открыл дверь, чтобы выветрился запах.

Странное монотонное песнопение вплывало из лестничной клетки в открытую дверь. Я вышел на площадку, заглянул в отделанный дубом и лепниной спиральный пролет. Единственное, что я увидел, это руки четверых людей, движущиеся вверх по перилам.

Это был Джонс с тремя друзьями.

Странное песнопение сопровождало движение рук. Руки продвигались фута на четыре по перилам, останавливались, и затем возникало пение.

Это был счет до двадцати на фоне одышки. У двоих товарищей Джонса, его телохранителя и его секретаря, были очень больные сердца. Чтобы их бедные старые сердца не лопнули, они останавливались через каждые несколько шагов, отмеряя отдых счетом до двадцати.

Телохранителем Джонса был Август Крапптауэр, бывший Vise-Bundesfuehrer организации Германо-Американский *Bund.* Крапптауэру было шестьдесят три года, одиннадцать лет он провел в тюрьме Атланта и там едва не отдал концы. Тем не менее он все еще выглядел вызывающе, по-мальчишески молодо, словно регулярно ходил к косметологу морга. Величайшим достижением его жизни была организация общего митинга *Bund* и ку-клукс-клана в Нью-Джерси в 1940 году. На этом митинге он заявил, что папа римский — еврей и что евреи владеют закладной в пятнадцать миллионов долларов на недвижимость Ватикана. Смена папы и одиннадцать лет в тюремной прачечной не изменили его мнения.

Секретарь Джонса, Патрик Кили, был лишенный сана павликианский священник. «Отцу Кили», как называл его хозяин, было семьдесят три года. Он был алкоголиком. Перед второй мировой войной он служил капелланом детройтского оружейного клуба, который, как позже выяснилось, был организован агентами нацистской Германии. Мечтой клуба было перестрелять всех евреев. Одна из проповедей отца Кили на клубном собрании была записана газетным репортером и полностью напечатана на следующее утро. Это обращение к Богу было столь изуверским и фанатичным, что поразило папу Пия XI.

Кили был лишен сана, и папа Пий отправил длинное послание Американской Иерар-

[1] Патрик Генри — член законодательного собрания колонии Вирґинии, активно выступал за независимость США. В ответ на обвинения в измене, когда он заявил, что только представители колоний могут облагать эти колонии налогами (1775), сказал: «Пусть это измена, но надо ею воспользоваться».

хии, в котором среди прочего говорилось: «Ни один истинный католик не должен участвовать в преследовании своих еврейских соотечественников. Удар по евреям — это удар по всему роду человеческому».

Кили, в отличие от его многих близких друзей, никогда не был в тюрьме. Пока его друзья наслаждались паровым отоплением, чистыми постелями и регулярным питанием за государственный счет, Кили трясся от холода, паршивел, голодал, допивался до бесчувствия в трущобах, скитаясь по стране. Он бы до сих пор пропадал в трущобах или покоился бы в могиле для нищих, если бы Джонс и Крапптауэр не разыскали и не выручили его.

Знаменитая проповедь Кили, между прочим, оказалась парафразой сатирической поэмы, сочиненной мною и переданной на коротких волнах. И сейчас, когда я увековечиваю свой вклад в литературу, я хотел бы подчеркнуть, что заявления вице-бундесфюрера Крапптауэра относительно папы и закладных на Ватикан тоже мои изобретения.

Итак, эти люди поднимались ко мне по лестнице, распевая: раз, два, три, четыре... И медленно, как все их восхождение, двигался далеко позади четвертый член их компании.

Четвертой была женщина. Все, что я мог видеть,— это ее бледная, без колец рука.

Рука Джонса лидировала. Она сверкала кольцами, как рука византийского принца. В описи ювелирных изделий этой руки фигурировали бы два обручальных кольца, сапфировая звезда, дарованная ему в 1940 году группой матерей, входящих в Ассоциацию Воинствующих Неевреев имени Поля Ревера [1], алмазная свастика на ониксовой основе, подаренная ему в 1939 году бароном Манфредом Фрейхер фон Киллингером, тогдашним генеральным консулом в Сан-Франциско, а также Американский орел [2], вырезанный из нефрита и оправленный в серебро,— образец японского искусства, подарок Роберта Стерлинга Вильсона. Вильсон — «Черный Фюрер Гарлема» — негр, который попал в тюрьму в 1942 году как японский шпион.

Разукрашенная драгоценностями рука Джонса покинула перила. Джонс сбежал по лестнице к женщине, сказал ей что-то, чего я не понял. Затем он снова появился, семидесятилетний мужчина, почти совершенно без одышки.

Он возник передо мной и осклабился, показывая ряд белоснежных зубов из Гингива-тру.

— Кемпбэлл? — спросил он, дыша почти ровно.

— Да,— ответил я.

— Я — доктор Джонс. У меня для вас сюрприз.

— Я уже видел вашу газету,— сказал я.

— Нет, не газета. Больший сюрприз.

Теперь в поле зрения появились отец Кили и вице-бундесфюрер Крапптауэр; они хрипели и прерывистым шепотом считали до двадцати.

— Еще больший сюрприз? — сказал я, приготовившись дать ему суровый отпор, чтобы он и подумать не смел, что мы с ним опять одного поля ягода.

— Женщина, которую я привел...— начал он.

— Что это за женщина?

— Это — ваша жена,— сказал он.

— Я связался с ней,— сказал Джонс,— и она умоляла меня ничего не говорить вам о ней. Она настояла, чтобы это было именно так, чтобы она просто появилась без всякого предупреждения.

— Чтобы я сама могла понять, есть ли место для меня в твоей жизни,— сказала Хельга.— Если нет, я просто попрощаюсь, исчезну и никогда больше не потревожу тебя снова.

Глава пятнадцатая

МАШИНА ВРЕМЕНИ...

Если бледная, без колец рука внизу на перилах была рукой моей Хельги, это была рука сорокапятилетней женщины. Если это рука Хельги, это рука немолодой женщины, которая шестнадцать лет провела в плену у русских.

Непостижимо, чтобы моя Хельга все еще могла оставаться красивой и полной жизни.

Если Хельга пережила русское наступление на Крым, избежала всех ползающих, жужжащих, свистящих, гремящих, брящающих игрушек войны, которые убивали быстро, ее все равно ожидала участь, которая убивает медленно, как проказа. Мне не надо было гадать, что это за участь. Эта участь была хорошо известна, она одинаково относилась ко всем пленным женщинам на русском фронте, она была частью ужасной повседневности любой вполне современной, вполне образованной, вполне асексуальной нации во вполне современной войне.

Если моя Хельга избежала гибели в бою, захватившие ее в плен, конечно, затолкали ее прикладами в команду каторжников. Ее, конечно, загнали в одно из стад хромающих, грязных, скособоченных, отчаявшихся оборванцев, без числа рассеянных по матушке-России, превратили ее в ломовую лошадь, питающуюся вырытыми на обледенелых полях кореньями, в безымянное бесполое косолапое существо, запряженное в громыхающую тачку.

— Моя жена? — спросил я у Джонса.— Я не верю вам.

— Легко проверить, лгу я или нет,— сказал он шутливо.— Посмотрите сами.

Я решительно и твердо пошел вниз.

И я увидел женщину.

Она снизу улыбалась мне, подняв подбородок так, что я видел ее черты ясно и четко. Ее волосы были снежно-белые.

В остальном это была моя Хельга, нетронутая временем.

В остальном она была такой же цветущей и изящной, как в нашу первую брачную ночь.

Глава шестнадцатая

ХОРОШО СОХРАНИВШАЯСЯ ЖЕНЩИНА...

Мы плакали как дети, подталкивая друг друга вверх по лестнице в мою мансарду.

Проходя мимо отца Кили и вице-бундесфюрера Крапптауэра, я увидел, что Кили плачет. Крапптауэр стоял по стойке «смирно», отдавая честь англосаксонской семье. Джонс, выше по лестнице, сиял от удовольствия при виде чуда, которое он совершил. Он потирал и потирал свои покрытые драгоценностями руки.

— Моя — моя жена,— сказал я старому другу Крафту, когда мы с Хельгой вошли в мансарду. И Крафт, пытаясь удержать слезы, раскусил надвое мундштук своей погасшей трубки из кукурузного початка. Он никогда не плакал, но сейчас был близок к этому, мне кажется, очень близок.

Джонс, Крапптауэр и Кили вошли за нами.

— Как получилось,— сказал я Джонсу,— что вы возвращаете мне жену?

— Фантастическое совпадение,— ответил Джонс.— Однажды я узнал, что вы еще живы. Через месяц я узнал, что ваша жена тоже жива. Разве такое совпадение — не рука Господня?

— Не знаю,— сказал я.

— Моя газета небольшим тиражом распространяется в Западной Германии. Один из моих подписчиков прочел о вас и прислал мне телеграмму. Он спрашивал, знаю ли я, что ваша жена только что вернулась как беженка в Западный Берлин,— сказал он.

— Почему он не телеграфировал *мне?* — спросил я. Я повернулся к Хельге.

— Дорогая,— сказал я по-немецки,— почему *ты* не телеграфировала мне?

— Мы так долго были разлучены, я так долго была мертва,— сказала она по-английски.— Я думала, что ты, конечно, начал новую жизнь, в которой для меня нет места. Я надеялась на это.

— Моя жизнь — это только место для тебя,— сказал я.— Ее никогда не мог бы заполнить никто, кроме тебя.

— Так много надо рассказать, о многом поговорить,— сказала она, прижимаясь ко мне. Я смотрел на нее с изумлением. Ее кожа была такой нежной и чистой. Она поразительно хорошо сохранилась для женщины сорока пяти лет.

Что делало ее прекрасный вид еще более удивительным — это ее рассказ о том, как она провела последние пятнадцать лет.

Ее взяли в плен в Крыму и изнасиловали. В товарном вагоне отправили на Украину и приговорили к каторжным работам.

— Оборванные, спотыкающиеся, повенчанные с грязью суки,— говорила она,— вот кто мы были. Когда война кончилась, никто даже не позаботился сказать нам об этом. Наша трагедия была нескончаемой. Мы не значились ни в каких списках. Мы бесцельно брели по разрушенным деревням. Любому, у кого была какая-нибудь черная и бессмысленная работа, достаточно было поманить нас, и мы ее выполняли.

Она отодвинулась от меня, чтобы жестами сопровождать свой рассказ. Я подошел к окну, слушал и глядел сквозь пыльное стекло на голые ветви деревьев без листьев и птиц.

На трех пыльных оконных стеклах были грубо нарисованы свастика, серп и молот, звезды и полосы. Я нарисовал эти символы несколько недель назад, в конце нашего с Крафтом спора о патриотизме. Я усердно прокричал «ура» каждому символу, разъясняя Крафту смысл патриотизма, соответственно, нациста, коммуниста и американца.

[1] Поль Ревер — американский патриот времен Войны за независимость.

[2] Американский орел — герб США — орел с оливковой ветвью (символ мира) в одной лапе и пучком из 13 боевых стрел (по числу первых тринадцати колоний — символ войны) — в другой.

— Ура, ура, ура! — прокричал я тогда.

А Хельга все пряла свою пряжу, ткала биографию на безумном ткацком станке истории. Она убежала с принудительных работ через два года, и на следующий день была схвачена полоумными азиатами с автоматами и полицейскими собаками.

Три года провела она в тюрьме, рассказывала она, и затем ее отправили в Сибирь переводчицей и писарем в регистратуру огромного лагеря военнопленных. Хотя война давно уже кончилась, здесь в плену еще находились восемь тысяч эсэсовцев.

— Я пробыла там восемь лет, к счастью для себя, загипнотизированная этой несложной рутиной. У нас были подробные списки всех узников, этих бессмысленных жизней за колючей проволокой. Эти эсэсовцы, некогда такие молодые, сильные, поджарые, наводившие страх, стали седыми, слабыми, жалкими,— говорила она.— Мужья без жен, отцы без детей, ремесленники без ремесла.

Говоря об этих сломленных эсэсовцах, Хельга задала загадку сфинкса: «Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень на двух, вечером на трех?»

И сама себе ответила хрипло: «Человек».

А потом ее репатриировали, некоторым образом репатриировали. Ее вернули не в Берлин, а в Дрезден, в Восточную Германию. Заставили работать на сигаретной фабрике, которую она описывала в удручающих подробностях. Однажды она сбежала в Восточный Берлин, оттуда перешла в Западный. Вскоре она вылетела ко мне.

— Кто оплатил тебе дорогу? — спросил я.

— Ваши почитатели,— с жаром ответил Джонс.— Не думайте, что вы должны благодарить их. Они считают себя настолько обязанными вам, что никогда не смогут вам отплатить.

— За что? — спросил я.

— За то, что вы имели мужество говорить правду во время войны, когда все остальные лгали,— ответил Джонс.

Глава семнадцатая

АВГУСТ КРАППТАУЭР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ВАЛГАЛЛУ...

Вице-бундесфюрер по собственной инициативе спустился с лестницы, чтобы принести багаж моей Хельги из лимузина Джонса. Наше с Хельгой воссоединение сделало его снова молодым и галантным. Никто не знал, что у него на уме, пока он не появился у меня на пороге с чемоданом в каждой руке. Джонс и Кили оцепенели от страха за его синкопирующее, почти остановившееся больное сердце.

Лицо вице-бундесфюрера было цвета томатного сока.

— Идиот! — сказал Джонс.

— Нет, нет, я в полном порядке,— сказал Крапптауэр улыбаясь.

— Почему ты не попросил Роберта сделать это? — сказал Джонс.

Роберт был его шофер, сидевший внизу в его лимузине. Роберт был негр семидесяти трех лет. Роберт был Робертом Стерлингом Вильсоном, бывшим рецидивистом, японским агентом и «Черным Фюрером Гарлема».

— Надо было приказать Роберту принести вещи,— сказал Джонс.— Черт возьми, ты не должен так рисковать своей жизнью.

— Это честь для меня,— сказал Крапптауэр,— рисковать жизнью ради жены человека, служившего Адольфу Гитлеру так верно, как Говард Кемпбэлл.

И он упал замертво.

Мы пытались оживить его, но он был совершенно мертв, с отвалившейся челюстью, ну полное дерьмо.

Я побежал вниз, на третий этаж, где жил доктор Абрахам Эпштейн со своей матерью. Доктор был дома. Доктор Эпштейн обошелся с несчастным старым Крапптауэром весьма грубо, заставляя его продемонстрировать всем нам, что он действительно мертв.

Эпштейн был еврей, и я думал, что Джонс и Кили могут возмутиться тем, как он трясет и бьет по щекам Крапптауэра. Но эти древние фашисты были по-детски уважительны и доверчивы.

Пожалуй, единственное, что Джонс сказал Эпштейну после того, как тот объявил Крапптауэра окончательно мертвым, было: «Кстати, я дантист, доктор».

— Да? — сказал Эпштейн. Ему это было неинтересно. Он вернулся в свою квартиру вызвать «скорую помощь». Джонс накрыл Крапптауэра моим одеялом из военных излишков.

— Именно сейчас, когда дела его наконец пошли на лад,— сказал он об умершем.

— Каким образом? — спросил я.

— Он начал создавать небольшую действующую организацию,— сказал Джонс.— Небольшую, но верную, надежную, преданную делу.

— Как она называется? — спросил я.

— Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции,— сказал Джонс.— У него был несомненный талант сплачивать совершенно обычных парней в дисциплинированную, полную решимости силу.— Джонс печально покачал головой.— Он находил такой глубокий отклик у молодежи.

— Он любил молодежь, и молодежь любила его,— сказал отец Кили. Он все еще плакал.

— Это эпитафия, которую надо выбить на его могильной плите,— сказал Джонс.— Он обычно занимался с юношами в моем подвале. Вы бы посмотрели, как он его оборудовал для них, обычных подростков из разных слоев общества.

— Это были подростки, которые обычно болтались неприкаянными и без него могли бы попасть в беду,— сказал отец Кили.

— Он был одним из самых больших ваших почитателей,— сказал Джонс.

— Да? — сказал я.

— Раньше, когда вы выступали на радио, он никогда не пропускал ваших радиопередач. Когда его посадили в тюрьму, он первым делом собрал коротковолновый приемник, чтобы продолжать слушать вас. Каждый день он просто захлебывался от того, что слышал от вас накануне ночью.

— Гм...— произнес я.

— Вы были маяком, мистер Кемпбэлл,— сказал Джонс с жаром.— Понимаете ли вы, каким маяком вы были все эти черные годы?

— Нет,— сказал я.

— Крапптауэр надеялся, что вы будете идейным наставником его Железной Гвардии,— сказал Джонс.

— А я — капелланом,— сказал Кили.

— О, кто, кто, кто возглавит теперь Железную Гвардию? — сказал Джонс.— Кто выступит вперед и поднимет упавший светильник?

Раздался сильный стук в дверь. Я открыл дверь, там стоял шофер Джонса, морщинистый старый негр со злобными желтыми глазами. На нем были черная униформа с белым кантом, армейский ремень, никелированный свисток, фуражка *Luftwaffe* без кокарды и черные кожаные краги.

В этом курчавом седом старом негре не было ничего от дяди Тома. Он вошел артритной походкой, но большие пальцы его рук были заткнуты под ремень, подбородок выпячен вперед, фуражка на голове.

— Здесь все в порядке? — спросил он Джонса.— Вы что-то задержались.

— Не совсем,— сказал Джонс,— Август Крапптауэр умер.

Черный Фюрер Гарлема отнесся к этому спокойно.

— Все помирают, все помирают,— сказал он.— Кто поднимет светильник, когда помрут все?

— Я как раз сейчас задал тот же вопрос,— сказал Джонс. Он представил меня Роберту. Роберт не подал мне руки.

— Я слышал о вас, но никогда не слушал вас,— сказал он.

— Ну и что, нельзя же всем всегда делать только приятное,— заметил я.

— Мы были по разные стороны,— сказал Роберт.

— Понимаю,— сказал я. Я ничего не знал о нем и был согласен с его принадлежностью к любой из сторон, которая ему больше нравилась.

— Я был на стороне цветных,— сказал он,— я был с японцами.

— Вот как? — сказал я.

— Мы нуждались в вас, а вы в нас,— сказал он, имея в виду союз Германии и Японии во второй мировой войне.— Но с многим из того, что вы говорили, мы не могли согласиться.

— Наверное, так,— сказал я.

— Я хочу сказать, что, судя по вашим передачам, вы не такого уж хорошего мнения о цветных,— сказал Роберт.

— Ну, ладно, ладно,— сказал Джонс примирительно.— Стоит ли нам пререкаться? Что надо, так это держаться вместе.

— Я только хочу сказать ему, что говорю вам,— сказал Роберт.— Его преподобию я каждое утро говорю то же, что говорю вам сейчас. Даю ему горячую кашу на завтрак и говорю: «Цветные поднимутся в праведном гневе и захватят мир. Белые в конце концов проиграют».

— Хорошо, хорошо, Роберт,— сказал терпеливо Джонс.

— Цветные будут иметь свою собственную водородную бомбу. Они уже работают над ней. Японцы скоро сбросят ее. Остальные цветные народы окажут им честь сбросить ее первыми.

— И на кого же они собираются сбросить ее? — спросил я.

— Скорее всего, на Китай,— сказал он.
— На другой цветной народ? — сказал я.
Он посмотрел на меня с сожалением.
— Кто сказал вам, что китайцы цветные? — спросил он.

Глава восемнадцатая

ПРЕКРАСНАЯ ГОЛУБАЯ ВАЗА ВЕРНЕРА НОТА...

Наконец нас с Хельгой оставили вдвоем.

Мы были смущены.

Будучи весьма немолодым человеком и проживя столько лет холостяком, я был более чем смущен. Я боялся подвергнуть испытанию свои возможности любовника. И страх этот усиливался удивительной молодостью, которую каким-то чудом сохранила моя Хельга.

— Это... это, как говорится, начать знакомство заново,— сказал я. Мы говорили по-немецки.

— Да,— сказала она. Теперь она подошла к окну и рассматривала патриотические эмблемы, нарисованные мною на пыльном стекле.— Что же из этого теперь твое, Говард? — спросила она.

— Прости?..

— Серп и молот, свастика или звезды и полосы — что теперь тебе больше нравится?

— Спроси меня лучше о музыке,— сказал я.

— Что?

— Спроси меня лучше, какая музыка мне теперь нравится? — сказал я.— У меня есть некоторое мнение о музыке. И у меня нет никакого мнения о политике.

— Понятно,— сказала она.— Хорошо, какую музыку ты теперь любишь?

— «Белое Рождество»,— сказал я,— «Белое Рождество» Бинга Кросби.

— Что-что? — сказала она.

— Это моя любимая вещь. Я так ее люблю, у меня двадцать шесть пластинок с ее исполнением.

Она взглянула на меня озадаченно.

— Правда? — сказала она.

— Это... это моя личная шутка,— сказал я, запинаясь.

— Вот как!

— Моя личная — я так долго жил один, что все у меня мое личное. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь смог понять, что я говорю.

— Я смогу,— с нежностью сказала она.— Дай мне немного времени, совсем немного, и я снова буду понимать все, что ты говоришь.— Она пожала плечами.— У меня тоже есть мои личные шутки.

— Вот теперь у нас снова все будет личное на двоих,— сказал я.

— Это будет прекрасно.

— Опять государство двоих.

— Да,— сказала она.— Скажи...

— Все, что угодно,— сказал я.

— Я знаю, как умер отец, но ничего не смогла выяснить о маме и Рези. Слышал ли ты хоть что-нибудь?

— Ничего,— ответил я.

— Когда ты их видел в последний раз? — спросила она.

Вспоминая прошлое, я мог назвать точную дату, когда последний раз видел отца Хельги, ее мать и хорошенькую маленькую фантазерку сестричку Рези Нот.

— Двенадцатого февраля 1945 года.

И я рассказал ей об этом дне. День был такой холодный, что у меня ныли кости. Я украл мотоцикл и заехал навестить родителей жены — семью Вернера Нота, шефа берлинской полиции. Вернер Нот жил в предместье Берлина, далеко от зоны бомбежки. Он жил с женой и дочерью в окруженном стеной белом доме, монолитном, прочном и величественном, как гробница римского патриция. За пять лет тотальной войны дом совсем не пострадал, не треснуло даже ни одно стекло. Сквозь высокие, глубоко посаженные южные окна, как в раме, был виден окруженный стенами фруктовый сад, а северные обрамляли вид на берлинские руины с торчащими из них памятниками.

Я был в военной форме. На ремне у меня был крошечный револьвер и большой нелепый парадный кинжал. Я обычно не носил формы, хотя имел право носить ее — синюю с золотом форму майора Свободного Американского Корпуса.

Свободный Американский Корпус был мечтой фашистов, мечтой о боевой части, сформированной в основном из американских военнопленных. Это должна была быть добровольная организация. Она должна была сражаться только на русском фронте. Это

должна была быть военная машина с высочайшим боевым духом, движимая любовью к западной цивилизации и страхом перед монгольскими ордами.

Когда я говорю, что эта воинская часть была мечтой нацистов, у меня начинается приступ шизофрении, так как идея Свободного Американского Корпуса принадлежала мне. Я сам предложил создать этот корпус, придумал форму и знаки отличия, написал его кредо. Кредо начиналось словами: «Я, подобно моим славным американским предкам, верю в истинную свободу...»

Свободный Американский Корпус не имел шумного успеха. В него вступили всего трое американских военнопленных. Бог знает, что с ними сталось. Подозреваю, что их уже не было в живых, когда я приехал навестить Нотов, и что из всего корпуса остался в живых только я.

Когда я заехал к ним, русские были всего в двадцати милях от Берлина. Я решил, что война уже на исходе и самое время кончать мою шпионскую карьеру.

Я вырядился в форму, чтобы усыпить бдительность тех немцев, которые могли помешать мне выбраться из Берлина. К багажнику моего украденного мотоцикла был привязан сверток с гражданской одеждой. Я заехал к Нотам без всякой задней мысли. Я просто хотел попрощаться с ними и чтобы они попрощались со мной. Я беспокоился о них, жалел, по-своему любил их.

Железные ворота большого белого дома были открыты. В воротах, подбоченившись, стоял сам Вернер Нот. Он наблюдал за работой группы польских и русских женщин, угнанных в Германию. Они перетаскивали чемоданы и мебель из дома в три запряженных лошадьми фургона.

В упряжке были маленькие золотистые лошадки монгольской породы, ранние трофеи русской кампании.

Надсмотрщиком был толстый, средних лет голландец в поношенном костюме.

Охранял женщин высокий старик с одностволкой времен франко-прусской войны. На его чахлой груди болтался Железный крест.

Еле волоча ноги, из дома вышла женщина, несшая великолепную голубую вазу. Она была обута в деревянные башмаки с холщовыми завязками. Это было оборванное существо без имени, без возраста, без пола. У нее был потухший взгляд. Нос у нее был отморожен, в багровых и белых пятнах.

Казалось, она вот-вот уронит вазу, она так ушла в себя, что ваза просто могла выскользнуть у нее из рук.

Мой тесть, видя, что ваза может упасть, завопил, как полоумный. Он визжал, что Бог мог бы пожалеть его, посочувствовать ему хоть раз, дать ему более разумное и энергичное существо. Он вырвал вазу у оцепеневшей женщины. Чуть ли не в слезах он призывал нас всех полюбоваться голубой вазой, которая едва не исчезла с лица земли из-за тупости и лени.

Оборванный голландец-надсмотрщик подошел к женщине и, истошно крича, повторил ей слово в слово то, что сказал мой тесть. С ним был и старый солдат, являя собой ту силу, которая в случае необходимости будет применена к ней.

Что в конце концов сделали с ней, было смехотворно. Ее даже не тронули.

Ей просто было отказано в чести перетаскивать вещи Нота.

Ей велели стоять в стороне, тогда как остальным продолжали доверять эти сокровища. Наказание состояло в том, чтобы заставить ее почувствовать себя идиоткой. Ей была дана возможность приобщиться к цивилизации, а она проворонила этот шанс.

— Я пришел сказать до свидания,— сказал я Ноту.

— До свидания,— сказал он.

— Я отправляюсь на фронт.

— Вон туда,— сказал он, указывая на восток.— Это совсем близко. Вы сможете добраться туда за день, собирая лютики по дороге.

— Вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова,— сказал я.

— Ну и что? — сказал он.

Я пожал плечами.

— Ну и ничего.

— Вот именно,— сказал он,— и ничего, и ничего, и ничего.

— Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?

— Я остаюсь здесь,— сказал он.— Жена и дочь собираются в дом моего брата под Кельном.

— Могу ли я чем-нибудь помочь?

— Да,— сказал он.— Вы можете пристрелить собаку Рези. Она не выдержит дороги. Мне она не нужна, да я и не могу обеспечить ее вниманием и общением, к которому ее приучила Рези. Застрелите ее, пожалуйста.

— Где она?

— Я думаю, что она с Рези в музыкальной комнате. Рези знает, что собаку надо пристрелить, и у вас не будет неприятностей.

— Хорошо,— сказал я.

— Какая прекрасная форма,— сказал он.
— Благодарю вас.
— Не будет ли с моей стороны грубостью спросить, что она олицетворяет?
Я никогда не носил форму в его присутствии.
Я объяснил ему ее значение, показал эмблему на рукоятке кинжала. Серебряная эмблема на ореховой рукоятке изображала американского орла, который зажал в правой лапе свастику, а левой лапой душил змею. Змея была, так сказать, символом международного еврейского коммунизма. Вокруг головы орла было тринадцать звезд, символизировавших тринадцать первых американских колоний. Я сам делал первоначальный набросок эмблемы, и так как я не очень хорошо рисую, нарисовал шестиконечные звезды Давида, а не пятиконечные звезды Соединенных Штатов. Серебряных дел мастер, основательно подправив орла, воспроизвел мои шестиконечные звезды в точности.
Именно эти звезды поразили воображение моего тестя.
— Это, наверное, тринадцать евреев в кабинете Франклина Рузвельта? — сказал он.
— Очень забавная идея,— сказал я.
— Обычно думают, что немцы лишены чувства юмора.
— Германия — самая непонятая страна в мире.
— Вы один из немногих иноземцев, которые действительно нас понимают,— сказал он.
— Надеюсь, я заслужил этот комплимент.
— Этот комплимент вам не легко было заслужить. Вы разбили мое сердце, женившись на моей дочери. Я хотел иметь зятем немецкого солдата.
— Мне очень жаль,— сказал я.
— Вы сделали ее счастливой.
— Надеюсь.
— Это заставило меня ненавидеть вас еще больше. Счастью нет места на войне.
— Очень жаль,— сказал я.
— Я вас так ненавидел, что стал вас изучать. Я слушал все, что вы говорили. Я никогда не пропускал ваших радиопередач,— сказал он.
— Я этого не знал,— сказал я.
— Никто не может знать все,— сказал он.— Знаете ли вы, что почти до этого самого момента ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, чем доказать, что вы шпион, и увидеть, как вас расстреляют.
— Нет, не знаю,— сказал я.
— И знаете ли вы, почему мне теперь наплевать, шпион вы или нет? — сказал он.— Вы можете сказать мне сейчас, что вы шпион, и все равно мы будем разговаривать так же спокойно, как сейчас. И я позволю вам исчезнуть в любое место, куда обычно исчезают шпионы, когда кончается война. Знаете, почему? — сказал он.
— Нет.
— Потому, что вы никогда не могли бы служить нашему врагу так хорошо, как служили нам. Я понял, что почти все идеи, которые я теперь разделяю, которые позволяют мне не стыдиться моих чувств и поступков нациста, пришли не от Гитлера, не от Геббельса, не от Гиммлера, а от вас.— Он пожал мне руку.— Если бы не вы, я бы решил, что Германия сошла с ума.
Он резко отвернулся от меня. Он пошел к той женщине с потухшим взглядом, которая чуть не уронила голубую вазу. Провинившаяся оцепенело и тупо стояла у стены, там, где ей приказали.
Вернер Нот слегка тряхнул ее, пытаясь пробудить в ней хоть каплю разума. Он показал на другую женщину, которая несла уродливую китайскую дубовую резную собаку, несла осторожно, как ребенка.
— Видишь? — сказал он тупице. Он не хотел обидеть ее. Он просто хотел превратить это тупое создание в более отесанное, более полезное человеческое существо.
— Видишь,— сказал он снова искренне, с желанием помочь, почти просительно.— Вот как надо обращаться с драгоценными вещами.

Глава девятнадцатая

МАЛЕНЬКАЯ РЕЗИ НОТ...

Я вошел в музыкальную комнату опустевшего дома Вернера Нота и нашел там маленькую Рези и ее собачку.
Маленькой Рези было тогда десять лет. Она свернулась в кресле у окна. Перед ее взором были не развалины Берлина, а огороженный фруктовый сад, снежно-белое кружево деревьев.
Дом уже не обогревался. Рези была в толстых шерстяных носках, закутана в пальто и шарф. Около нее стоял маленький чемоданчик. Она уже была готова к отъезду. Она

сняла перчатки, аккуратно положила их на ручку кресла. Она сняла их и ласкала собачку, лежащую у нее на коленях. Это была такса, потерявшая на военном пайке всю шерсть и почти неподвижная от водянки.
Собака была похожа на амфибию из доисторических болот. Коричневые глазки собачки безумели от экстаза, когда Рези ласкала ее. Каждая клеточка ее сознания следовала за кончиками пальцев, гладившими ее шкуру.
Я не очень хорошо знал Рези. Однажды в начале войны, еще лепечущей крошкой, она привела меня в дрожь, назвав американским шпионом. С тех пор я старался проводить как можно меньше времени под ее изучающим детским взглядом. Я вошел в музыкальную комнату и поразился, как Рези становится похожей на мою Хельгу.
— Рези? — сказал я. Она не взглянула на меня.
— Я знаю, что собаку пора убить,— сказала она.
— Мне вовсе не хочется этого делать,— сказал я.
— Вы сделаете это сами или поручите кому-нибудь?
— Твой отец просил меня сделать это.
Она повернулась и взглянула на меня.
— Вы теперь солдат. Вы надели форму только для того, чтобы убить собаку?
— Я иду на фронт,— сказал я.— И зашел попрощаться.
— На какой фронт?
— На русский.
— Вы умрете,— сказала она.
— Наверное, а может быть, и нет,— сказал я.
— Каждый, кто еще не умер, очень скоро умрет,— сказала она. Ее, казалось, это не очень волновало.
— Не каждый,— сказал я.
— А я умру,— сказала она.
— Надеюсь, что нет. Уверен, что с тобой все будет в порядке.
— Наверное, это не страшно, когда убивают. Просто вдруг меня не станет,— сказала она. Она сбросила собаку с колен. Та шлепнулась на пол, как кусок сырого мяса.
— Возьмите ее,— сказала она.— Я ее никогда не любила. Я просто жалела ее.
Я поднял собаку.
— Ей лучше умереть,— сказала она.
— Я думаю, ты права.
— Мне тоже лучше умереть,— сказала она.
— Ну зачем ты так...
— Хотите, я вам что-то скажу? — сказала она.
— Давай.
— Наверное, никто из нас долго не проживет, и поэтому я могу вам сказать, что люблю вас.
— Очень приятно,— сказал я.
— Я действительно вас люблю,— сказала она.— Когда была жива Хельга и вы приезжали сюда, я всегда ей завидовала. Когда Хельга умерла, я стала мечтать о том, как я вырасту, выйду за вас замуж, стану знаменитой актрисой и вы будете писать пьесы для меня.
— Это честь для меня,— сказал я.
— Но это не имеет значения. Ничего не имеет значения. Идите и пристрелите собаку.
Я раскланялся, унося собаку. Я отнес ее в сад, положил на снег и вынул мой крошечный пистолет.
Три человека наблюдали за мной. Первым была Рези, стоявшая у окна музыкальной комнаты. Вторым был древний солдат, охранявший польских и русских женщин.
Третьим была моя теща Ева Нот. Ева Нот стояла у окна второго этажа. Подобно собачке Рези, она отекла на военном пайке. Бедная женщина, раздувшаяся в эти недобрые времена, как сарделька, стояла по стойке смирно, казалось, она рассматривает убиение собаки как некую важную церемонию.
Я выстрелил собаке в затылок. Звук от выстрела был короткий, негромкий, как металлический плевок пистолета с глушителем.
Собака умерла, даже не вздрогнув.
Подошел старый солдат, выказав профессиональный интерес к тому, какую рану мог нанести такой маленький пистолет. Он перевернул собаку ботинком, нашел на снегу пулю и глубокомысленно хмыкнул, словно я сделал что-то интересное и поучительное. Он стал говорить о разных ранах, которые он видел или о которых слышал, о разных дырах в некогда живых существах.
— Вы собираетесь закопать ее? — спросил он.
— Я думаю, так будет лучше.
— Если вы этого не сделаете, ее кто-нибудь съест.

Глава двадцатая

ВЕШАТЕЛЬНИЦЫ БЕРЛИНСКОГО ВЕШАТЕЛЯ...

Только недавно, в 1958 или в 1959 году, я узнал, как умер мой тесть. Я знал, что он умер. Детективное агентство, к которому я обращался в поисках Хельги, сообщило мне, что Вернер Нот умер.

Подробности его смерти стали мне известны случайно, в парикмахерской Гринвич Вилледжа. Ожидая своей очереди, я перелистывал журнал для женщин и с восхищением думал, что за удивительные создания женщины. История, рекламировавшаяся на журнальной обложке, называлась «Вешательницы берлинского вешателя». Я не мог предположить, что это статья о моем тесте. Вешанье было не его дело. Я обратился к самой статье.

И я довольно долго смотрел на потемневшую фотографию Вернера Нота, повешенного на яблоне, даже не подозревая, кто это. Я смотрел на лица людей, присутствовавших при повешении. Это были в основном женщины, безликие, бесформенные оборванки.

И я стал играть в игру — подсчитывать, сколько раз наврала обложка журнала. Во-первых, женщины никого не вешали. Это делали трое тощих мужчин в отрепьях. Во-вторых, женщины на фотографии были некрасивы, а вешательницы на обложке были красавицы. У вешательниц на обложке груди были, как дыни, бедра крутые, как лошадиные хомуты, а их отрепья — живописно растрепанное неглиже фирмы Шапарелли. Женщины на фотографии были хороши, как дохлые рыбины, завернутые в полосатые наматрасники.

И еще не начав читать о повешении, я с содроганием постепенно узнавал разрушенное здание на заднем плане фотографии. Позади повешенного, словно челюсть с выбитыми зубами, виднелось то, что осталось от дома Вернера Нота, дома, в котором в истинно германском духе была воспитана моя Хельга и где я сказал «прощай» десятилетней нигилистке по имени Рези.

Я прочел текст.

Он был написан человеком по имени Ян Вестлейк и был сделан очень хорошо. Вестлейк, англичанин, освобожденный военнопленный, видел это повешение вскоре после того, как его освободили русские. Фотографии делал тоже он.

Нот, писал он, был повешен на собственной яблоне рабынями, угнанными в основном из Польши и России, жившими неподалеку. Вестлейк не называл моего тестя «берлинским вешателем».

Вестлейк не без труда выяснил, в каких преступлениях обвинялся Вернер Нот, и заключил, что Нот был не хуже и не лучше любого шефа полиции крупного города.

«Террор и пытки входили в компетенцию других отделов германской полиции,— писал Вестлейк.— В компетенцию Вернера Нота входило то, что связано с поддержанием закона и порядка в каждом большом городе. Силы, которыми он руководил, боролись с пьяницами, ворами, убийцами, насильниками, грабителями, мошенниками, проститутками и другими возмутителями спокойствия, а также делали все возможное, чтобы поддержать в городе движение транспорта».

«Главная вина Нота была в том,— писал Вестлейк,— что он передавал подозреваемых в различных проступках и преступлениях в систему правосудия и наказания, которая была безумна. Нот делал все от него зависящее, чтобы отличить виновных от невиновных, используя наиболее современные полицейские методы, но те, кому он передавал своих арестованных, считали, что это различие не имеет значения. Любой задержанный считался преступником, судили его или нет. Все заключенные всячески унижались, доводились до крайности и уничтожались».

Вестлейк далее писал, что рабыни, повесившие Нота, точно не знали, кто он, но понимали, что он важная шишка. Они повесили его, потому что хотели получить удовлетворение от повешения какого-нибудь важного лица.

Дом Нота, по словам Вестлейка, был разрушен русской артиллерией, однако Нот продолжал жить в одной из уцелевших задних комнат. Вестлейк осмотрел эту комнату и обнаружил в ней кровать, стол и подсвечник. На столе Нота в рамках были фотографии Хельги, Рези и жены.

Он нашел там и книгу. Это был немецкий перевод сочинения Марка Аврелия *Наедине с собой.*

Не объяснялось, почему этот прекрасный материал напечатал такой второстепенный журнал. Редакция не сомневалась, что читательницам будет интересно само описание повешения.

Мой тесть стоял на маленькой табуретке высотой в четыре дюйма. Веревка была накинута на его шею и крепко закреплена за ветку распускающейся яблони. Затем табуретку выбили из-под него. Он мог плясать на земле, пока задыхался.

Неплохо?

Его вешали девять раз: восемь раз он приходил в себя.

Только после восьмого повешения он потерял последние капли достоинства и мужества. Только после восьмого повешения он начал вести себя как ребенок, которого мучают. «За этот спектакль он был награжден тем, чего желал более всего,— писал Вестлейк.— Он был награжден смертью. Он умер с эрекцией, и ноги его были босые».

Я перевернул страницу, посмотреть, нет ли чего-нибудь еще. Там было кое-что, но совсем не об этом. Там во всю страницу была фотография красотки с широко раздвинутыми ногами и высунутым языком.

Парикмахер вызвал меня. Он стряхнул волосы предыдущего клиента с салфетки, которую собирался повязать вокруг моей шеи.

— Следующий,— сказал он.

Глава двадцать первая

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ...

Я уже говорил, что украл тот мотоцикл, на котором в последний раз приехал к Вернеру Ноту. Я должен это объяснить.

В сущности, я его не крал. Я просто одолжил его навечно у Хейнца Шильдкнехта, моего партнера по парному пинг-понгу, моего ближайшего друга в Германии.

Мы частенько выпивали вместе, разговаривали до поздней ночи, особенно после того, как оба потеряли своих жен.

— Я чувствую, что могу рассказать тебе все, абсолютно все,— сказал он мне однажды вечером в конце войны.

— Я чувствую то же самое, Хейнц, по отношению к тебе,— сказал я.

— Все, что у меня есть,— твое.

— Все, что у меня есть,— твое, Хейнц.

Собственность наша тогда была минимальна. Ни один из нас не имел дома, наша недвижимость и мебель были разбиты вдребезги. У меня были часы, пишущая машинка и велосипед, и это почти все. Хейнц уже давно обменял на черном рынке свои часы, пишущую машинку и даже обручальное кольцо на сигареты. Все, что у него осталось в этой юдоли печали, кроме моей дружбы и того, что на нем было надето, был мотоцикл.

— Если когда-нибудь что-нибудь случится с мотоциклом,— сказал он мне,— я — нищий.— Он оглянулся посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь.— Я скажу тебе что-то ужасное.

— Не говори, если не хочешь.

— Я хочу,— сказал он.— Тебе я могу рассказать. Я собираюсь рассказать тебе нечто страшное.

Обычно мы пили и разговаривали в доте недалеко от общежития, где мы ночевали. Он был построен совсем недавно для обороны Берлина, построен рабами. Он был еще не оборудован и не укомплектован солдатами. Русские были еще не так близко.

Мы с Хейнцем сидели здесь с бутылкой и свечой, и он говорил мне ужасные вещи. Он был пьян.

— Говард, я люблю свой мотоцикл больше, чем любил жену,— сказал он.

— Я хочу быть твоим другом и хочу верить всему, что ты говоришь,— сказал я ему,— но в это я отказываюсь поверить. Забудем, что ты это сказал, потому что это неправда.

— Нет,— сказал он.— Сейчас одна из тех минут, когда говорят правду, одна из тех редких минут. Люди почти никогда не говорят правду, но я сейчас говорю правду. Если ты мне друг — а я надеюсь, что это так,— ты поверишь другу, который говорит правду.

— Ладно.

Слезы потекли по его щекам.

— Я продал ее драгоценности, ее любимую мебель, один раз даже ее карточки на мясо — все себе на сигареты.

— Мы все делаем вещи, которых потом стыдимся,— сказал я.

— Я не бросил курить ради нее,— сказал Хейнц.

— У нас у всех есть дурные привычки.

— Когда бомба попала в нашу квартиру и убила ее, у меня остался только мотоцикл,— сказал он.— На черном рынке мне предлагали четыре тысячи сигарет за мотоцикл.

— Я знаю,— сказал я. Он всегда рассказывал мне эту историю, когда напивался.

— И я сразу бросил курить,— сказал он,— потому что и так любил мотоцикл.

— Каждый из нас за что-то цепляется,— сказал я.

— Не за то, что надо, и слишком поздно. Я скажу тебе единственную вещь, в которой я действительно убежден.

— Хорошо,— сказал я.

— Все люди — сумасшедшие. Они способны делать все, что угодно и когда угодно, и только Бог поможет тому, кто доискивается причин.

Что касается женщин типа жены Хейнца: я был знаком с ней только поверхностно,

хотя видел довольно часто. Она безостановочно болтала, из-за чего ее было трудно узнать поближе, а тема была всегда одна и та же: преуспевающие люди, не упускающие своих возможностей, люди, в противоположность ее мужу, важные и богатые.

— Молодой Курт Эренс,— обычно говорила она,— всего двадцать шесть, а уже полковник СС! А его брат Хейнрих — ему не более тридцати четырех, а у него под началом восемнадцать тысяч иностранных рабочих, и все строят противотанковые рвы. Говорят, Хейнрих знает о противотанковых рвах больше всех на свете, а я всегда с ним танцевала.

Снова и снова она повторяла все это, а на заднем плане бедный Хейнц прокуривал свои мозги. Из-за нее я стал глух ко всем историям с преуспеваниями. Люди, которых она считала преуспевающими в этом прекрасном новом мире, вознаграждались в конце концов как специалисты по рабству, уничтожению и смерти. Я не склонен считать людей, работающих в этих областях, преуспевающими.

Когда война стала подходить к концу, мы с Хейнцем уже не могли выпивать в нашем доте. Там было установлено восьмидесятивосьмидюймовое орудие, команда которого была укомплектована мальчиками пятнадцати-шестнадцати лет. Это тоже подходящая история об успехе для покойной жены Хейнца — такие молоденькие мальчики, а уже во взрослой форме и со своей собственной вооруженной до зубов западней смерти.

И мы с Хейнцем пили и разговаривали там, где ночевали,— в манеже, набитом оставшимися при бомбежках без крова государственными рабочими, спавшими на соломенных матрацах. Мы прятали бутылку, так как не желали ни с кем ее делить.

— Хейнц,— сказал я ему как-то ночью.— Хотел бы я знать, насколько ты мне действительно друг.

Он обиделся.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Я хотел бы попросить тебя об очень большом одолжении, но не знаю, могу ли,— сказал я.

— Я требую, чтобы ты сказал!

— Одолжи мне свой мотоцикл, чтобы я мог навестить завтра родственников моей жены,— сказал я.

Он не поколебался, не дрогнул.

— Возьми его! — сказал он.

И утром я взял мотоцикл.

Мы выехали утром бок о бок: Хейнц на моем велосипеде, я на его мотоцикле.

Я нажал на стартер, включил передачу и... припустил, оставив моего лучшего друга улыбающимся в облаке голубых выхлопных газов.

И я погнал, тр... тр... тр...

И он больше никогда не увидел ни своего мотоцикла, ни своего лучшего друга.

Я запрашивал Институт документации военных преступников в Хайфе, знают ли они что-нибудь о Хейнце, хотя, в сущности, он не был военным преступником. Институт порадовал меня сообщением, что Хейнц сейчас в Ирландии, он главный управляющий барона Ульриха Вертера фон Швефельбада. Фон Швефельбад после войны купил большое поместье в Ирландии.

Институт сообщил мне, что Хейнц давал показания по делу о смерти Гитлера, потому что случайно оказался в бункере Гитлера, когда облитое бензином тело горело, но было еще узнаваемо.

Привет отсюда, Хейнц, если ты это прочтешь.

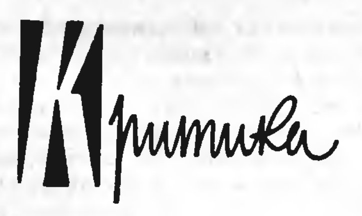
Я действительно любил тебя, насколько я способен кого-нибудь любить.

Ты, я вижу, тоже хоть кого вокруг пальца обведешь!

Что ты делал в бункере Гитлера — искал свой мотоцикл и своего лучшего друга?

Окончание следует

Перевели с английского
Л. С. Дубинская и Д. Ф. Кеслер



Дмитрий Бобышев

АХМАТОВА И ЭМИГРАЦИЯ

Партийное постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» 1946 года не только поставило жизнь А. А. Ахматовой под угрозу непосредственных репрессий, но продолжало отбрасывать свою тень спустя десятилетие, с наступлением послесталинской эпохи. Это выразилось прежде всего в скудости, даже единичности издательских публикаций, среди которых ее предсмертный сборник «Бег времени», сокращенный и цензурированный, оказался на время самым полным собранием стихов Ахматовой.

Однако вскоре после ее смерти, как будто издательства только того и ждали, одна за другой стали обнародоваться более или менее повторяющиеся версии того же сборника, пока в 1976 году не вышло научно составленное, почти академическое (но опять же подвергнутое цензуре) издание «Библиотеки поэта» с предисловием А. Суркова. Автор текста некогда популярного фронтового шлягера и в то же время крупный литературный чиновник, Сурков попытался создать образ поэтессы, значительно отличающийся от того, каким он представал в докладе Жданова. Апеллируя не столько к читателю, сколько, по-видимому, к идеологическому начальству, как бы оправдывая выпуск книги, он подчеркнул прежде всего очевидный патриотизм Ахматовой, приведя в доказательство ее стихотворение «Мужество».

Действительно, некоторые строки «Мужества» в контексте времени их написания (1942 год) и в контексте сурковской статьи выглядели вполне как военно-патриотический плакат. Однако содержавшийся там призыв *сохранить русскую речь* переводил смысл стихотворения в совершенно иной план. Вместе с клятвою пронести слово «свободным и чистым» этот призыв не мог не являться ответом на строки погибшего к тому времени в сталинском лагере О. Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда...» — стихи, прямо адресованные Ахматовой.

Лишь недавно А. Найман кратко и убедительно переосмыслил это отнюдь не однозначное стихотворение. В статье «Уроки поэта» [1] он, я думаю, навсегда отнял «Мужество» у официозаных толкователей, много лет пытавшихся превратить Ахматову в образцовую советскую писательницу.

Те же истолкователи и ради той же цели до сих пор пытаются эксплуатировать другую существенную тему ахматовской поэзии, прочно связанную с темой России,— ее отношения с русской эмиграцией. Для этого (сначала — большевистские критики 20-х годов, а затем и более поздние советские авторы) специалисты по Ахматовой приводят все те же самые два стихотворения: «Мне голос был. Он звал утешно...» и «Не с теми я, кто бросил землю...», истолковывая их резко антиэмигрантски.

Например, у Е. Добина: «Н. Осинский, видный государственный деятель, старый большевик... привел... прогремевшее стихотворение Ахматовой „Не с теми я, кто бросил землю...“. Он воздал должное гражданскому сознанию поэта, не пожелавшего покинуть отчизну и патетически осудившего постыдное бегство из родной страны» [2].

Или у А. Павловского: «...Стихотворение „Мне голос был. Он звал утешно...“, написанное в 1917 году и представляющее собой

Дмитрий Васильевич Бобышев (р. в 1936 г.) — поэт. Публиковался в альманахе «Молодой Ленинград, 1970» и самиздате. С 1979 года живет в США.

яркую инвективу, направленную против тех, кто в годину суровых испытаний собрался бросить Родину...»[3]

Или, еще резче, у Н. Банникова: «...Поэтесса все же нашла в себе силы для гордой и решительной отповеди злобствующим врагам народного дела, зазывающим ее в свой лагерь»[4].

Интересно заметить, что трактовка этих же стихов, предложенная А. Сурковым, отличается от вышеприведенных большей мягкостью и терпимостью, но еще более существенно то, что он упоминает о предварительной, доцензурной редакции первого из этих стихотворений:

«Неприятие происходящего отчетливо выразилось в начальных строках, впоследствии отброшенных самой Ахматовой, стихотворения „Мне голос был. Он звал утешно...“, написанного в 1917 году... Симптоматично, однако, что в... 1921 году Ахматова возвращается к стихотворению... и создает новую его редакцию. Она переделывает начало и завершает стихотворение строками, решительно отвергающими недостойные речи тех, кто предлагает ей покинуть родную землю...»

Какова была первоначальная редакция, в статье не говорится. Не приводится она и в примечаниях к сборнику, составленных академиком В. Жирмунским. Дается лишь сноска на первую публикацию в «Воле народа» за 12 апреля 1918 года и указано, что последней строфы тогда не было, но зато имелось посвящение Б. А[нрепу]. Эта первоначальная редакция стихотворения (содержащая и последнюю строфу также!) перепечатана полностью из «Воли народа» в ахматовском многотомнике, изданном под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова[5].

Эффект, вызванный присутствием двух начальных строф, разительно сказывается на смысле стихотворения, так как, привязывая происходящее к точному биографическому моменту, они показывают и историческую бездну, разверзшуюся перед Россией:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал...

Эту гибельную атмосферу, сопутствующую большевистскому перевороту 1917 года, это ожидание еще больших бедствий передают многие источники того времени. Среди них выделяются острой проницательностью и схожим с Ахматовой катастрофическим видением дневники Зинаиды Гиппиус:

«Вот Ленин... Да, приехал-таки этот „Тришка“ наконец! Встреча была помпезная, с прожекторами. Но... Он приехал *через Германию*. Немцы набрали целую кучу таких вредных „тришек“, дали целый поезд, запломбировали его (чтоб дух на немецкую землю не прошел) и отправили нам: получайте» (5 апреля. Среда. 1917)[6].

«Нечего бездельно гадать, чем все кончится. Шведы (или немцы?) взяли острова, близок десант в Гельсингфорсе. Все это по слухам, ибо из Ставки вестей не шлют, вооруженные большевики у проводов, но... может быть, просто — „вот приедет немец, немец нас рассудит...“» (28 октября. Суббота. 1917).

И дух высокий византийства
От русской Церкви отлетал...

— пишет далее Ахматова. Православие, традиционно и неразрывно связанное с самодержавием, было поколеблено — причем не только новой, безбожной властью, но и зарождающимся тогда (впоследствии — мертворожденным) движением живоцерковников. Зинаида Гиппиус об этом времени сообщает:

«Одни искренно думают, что „свергли царя“ — значит, „свергли и церковь...“» (10 марта. Пятница. 1917).

«Вот рядом поникшая церковь. Жалкое послание Синода... Покоряйтесь, мол, чада, ибо „всякая власть от Бога...“» (5 марта. Воскресенье. 1917).

Разрушительные страсти достигли исступления к концу рокового года, как это записывает Анна Ахматова:

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее...

Подобное — у Гиппиус:

«Когда же хлынули „революционные“ (тьфу, тьфу!) войска...— они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести — то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба... Нет, слишком стыдно писать...

Но надо все знать: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали...» (27 октября. Пятница. 1917).

Библия, в лучшие времена жизни заложенная кленовым листом на «Песне песней», открывается теперь для Ахматовой на другом пророчестве: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия!» (Книга Исаии, 1,21).

Вот тогда-то и прозвучал голос, предлагающий Анне Ахматовой оставить Россию навсегда.

В нем было зловещее утешение:

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд...

— и эти строки, несомненно, ждут быть истолкованными, поскольку они слишком прямо отсылают читателя к шекспировской леди Макбет. Разумеется, в действительности такая параллель ни на чем не была основана, кроме чувства сопричастности (если не уедешь, не отделишь себя от России) с тем кровавым, что там происходило. Не под влиянием ли этих строк В. Ходасевич написал в 1922 году, еще будучи в России:

Леди долго руки мыла,
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы, как птица,
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже?

Несложно подсчитать, что и Ходасевич считает себя соучастным кровавым событиям тех же лет. Но он эмигрировал, а строки Ахматовой, как это часто бывало, стали отбрасывать свет предчувствия намного вперед, в еще более чудовищное будущее, в котором осуществилось все наихудшее. Вот она, верная инвектива, но не эмиграции, а власти предержащей:

Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.

А тогда, ранее, голос, «утешно» звавший Ахматову, принадлежал Б. Анрепу, что подтверждается не только посвящением, но и биографическими материалами. А. Найман пишет о нем: «В один из дней Февральской революции он, сняв офицерские погоны, с риском для жизни прошел к ней через Неву. Он ей сказал, что уезжает в Англию, что любит „покойную английскую цивилизацию, а не религиозный и политический бред“. Они простились, он уехал в Лондон»[7].

Все это по-человечески понятно. Непонятен лишь демонический обертон, который придала ему поэтесса, назвавшая голос недостойным, оскорбительным для ее «скорбного духа». Ведь именно это позволило идеологическим ахматоведам демонизировать эмиграцию, и, с другой стороны, то же самое вызвало жест неприятия у Г. Адамовича, который говорил в одном из своих поздних интервью:

«В самой интонации этой строфы чувствуется гордость, чувствуется вызов... Я считаю, что остаться „с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был“, это большая заслуга, позиция, которая достойна всяческого уважения. Но с чем я не могу согласиться, это с вызовом, который в ее интонации чувствуется...»[8].

И далее в интервью Адамович развивает свою мысль, превращая ее, по существу, в объяснение культурной роли эмиграции, то есть, иными словами, в *оправдание отъезда* из России. И этим он проясняет, будоража, может быть, главный смысл, живой нерв ахматовского стихотворения: это было ее *оправдание неотъезда*! То есть: не «кто виноват?», не «что делать?», а «ехать-не-ехать?» — вот вопрос века, продолжающий восставать с 10-х годов, от серебряных оттенков времени и до самых последних, нынешних, отнюдь не драгоценного отлива, эпох...

Для Ахматовой Россия была не просто географическим местом жительства... В системе ее мироощущения, сердцестремительной, поскольку в центре все-таки были ее чувства, Россия занимала особое, приподнятое и трагическое место, сходное с тем, о котором прорицал Андрей Белый:

Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня...

Так, ради будущего страны молилась Ахматова, отдавая с античной жертвенностью самое дорогое: «и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар» — все ради спасения родины, оказавшейся в беде:

Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей...

В стоянии перед голгофскими страданиями видела себя Ахматова, предчувствуя, возможно, будущие строки «Реквиема», поэтому ее ответ на «утешный» голос звучал подобно словам Иисуса Христа, ответившего на разумное предложение Петра о мерах по самосохранению: «Изыди от Мене, Сатана!» (Евангелие от Матфея, 16, 23).

Разумеется, не только религиозное чувство или философское несогласие были предметом целой серии ее стихов, посвященных Б. Анрепу. Была тут и просто женская ревность, укоряющая его якобы за отступничество от родины:

Ты отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну...

но на самом деле виноватящая его в том, что он

...Заглядывался на рыжих красавиц...

Были и поздние укоры, когда события в стране приняли еще более устрашающий характер:

Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома...

Б. Анреп, впрочем, не отрицал своего отступничества.

Без родины не можешь жить.
Прощай, и знаю — я отступник...[9]

— пишет он в поэме «Поминание» (1969). Его стихи, удивительно беспомощные в художественном отношении, дают, тем не менее, уйму ценных свидетельств, рассказывая подробно о споре между ним и Ахматовой — споре, который не прекратился с его отъездом и даже со смертью поэтессы. При этом некоторые строки Анрепа бросают дополнительный свет на ахматовские

тексты, поясняя иные, не совсем понятные места. Например, он пишет:

Года идут, опять война,
Вокруг вождя вы все сплотились,
Тому ж врагу не покорились...

Здесь наиболее интересным мне представляется его определение врага («того ж», что и в первой мировой войне), поскольку оно отсылает нас к еще одному якобы антиэмигрантскому стихотворению Ахматовой, которое так любят использовать авторы предисловий:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам...

Враги, конечно,— «те ж», что у Анрепа, то есть немцы. Следовательно, другие, кто бросил им землю,— это новые властители, заключившие с Германией позорный Брестский мир, отдав значительные территории бывшей Российской империи.

И «грубая лесть», которой не вняла Ахматова, исходила вовсе не от эмигрантов, а от этой новой власти. «А. М. Коллонтай — женщина-революционерка, коммунистка... в статье, называвшейся „О «Драконе» и «Белой птице»“ ...выступила страстной защитницей ахматовского творчества...» — сообщает А. И. Павловский. Он же, впрочем, говорит и о контркритике из того же стана: «Возражавший ей Г. Лелевич легко подобрал немалое число противоположных цитат... По мнению Г. Лелевича, Ахматова — ярый враг новой жизни, неразоружившийся внутренний эмигрант...»

Итак, в результате всего Ахматова сама стала «внутренним эмигрантом»... Восходя к Данте, чувство сострадания по отношению к тем, кто вынужденно оказался на чужбине («Но вечно жалок мне изгнанник»), у нее, конечно, не могло носить никакого уничтожительного характера. Более того, в стихах Ахматовой с обозначением темы отъезда, то есть с 1917 года, появляется и образ ее эмигрантского двойника.

Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Черной нищенкой скитаюсь
По столице иноземной...

В дальнейшем, когда уезжают близкие друзья Ахматовой: Ольга Глебова-Судейкина, Артур Лурье, даже ее родной брат Виктор Горенко, когда половина литературной России перекочевала на Запад, она не могла не воображать себя среди них — ведь это предполагалось быть так реально, отзовись она на «утешный» голос... Очень ощутимый призрак западного двойника не оставляет ее до конца жизни:

Меня бы не узнали вы
На пригородной полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке...

И поэтому столь понятно, что она делает бывшую псковитянку и петербуржанку, а впоследствии жительницу Парижа О. Судейкину истинной героиней своего самого крупного произведения — «Поэмы без героя».

Что глядишь ты так смутно и зорко:
Петербургская кукла, актерка,
Ты — один из моих двойников...

— пишет Ахматова 40-х годов. Выражение «один из» говорит о том, что были и другие двойники.

В самом деле, с кошмарным опытом 30-х годов у Ахматовой, как и у всей другой доброй половины литературной России, оставшейся дома, появляется реальная альтернатива Западу — быть отправленной в противоположном направлении, на восток, в сталинские лагеря уничтожения, в Сибирь. Она уже видела себя в зековском ватнике:

Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла,
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?

К счастью, это предвидение не сбылось. Но вот в Лондоне в 1965 году состоялась встреча Ахматовой и Анрепа. Обладатель драгоценного ахматовского дара, черного татарского кольца, Анреп смущался, не находил слов. К тому же кольцо было давно утрачено. Он показался Ахматовой каким-то «деревянным»... Но голос, некогда демонический и «утешный», был снова ею услышан:

Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопенья светлую страсть...
...Что ж, прощай! Я живу не в пустыне,
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни!
В остальном я сама разберусь...

Итак, тема исчерпалась.

Но я открываю ахматовский выпуск «Литературной России» за 1989 год, читаю общее название юбилейных материалов, и все начинается сначала:

Мне голос был. Он звал утешно...

Апрель, 1990
Урбана, Иллиной

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Анатолий Найман. «Уроки поэта», «Литературная газета» от 14 июня 1989 (№ 24), с. 8.
[2] Е. Добин. «Поэзия Анны Ахматовой». ЛО изд-ва «Советский писатель», 1968, с. 99.
[3] А. И. Павловский. «Анна Ахматова». Лениздат, 1966, с. 62.
[4] Анна Ахматова. «Избранное», послесловие Н. Банникова «Высокий дар». М., изд-во «Художественная литература», 1974, с. 542.
[5] Анна Ахматова. «Сочинения», под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. «Международное Литературное Содружество», т. 1, с. 378.
[6] Зинаида Гиппиус. «Петербургские дневники», предисловие Н. Берберовой. «Orpheus» (Орфей), 1982.
[7] Анатолий Найман. «Рассказы о Анне Ахматовой». М., изд-во «Художественная литература», 1989, с. 85—86.
[8] Георгий Адамович. «О Анне Ахматовой», интервью. «Русская мысль», № 3305 от 24 апреля 1980, с. 9.
[9] Борис Анреп. «Поминание». Ахматовский сборник, т. 1. Париж, Институт славяноведения, 1989, с. 183.

Евгений Бич

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ...

О статье В. Ерофеева «Поминки по советской литературе»

В кустах сидел рыхлый, водянистый гражданин и опасливо поглядывал по сторонам. Его тревоги были вовсе не беспочвенны — вокруг было очень неспокойно. Похоже было, что обнаружилась какая-то большая неисправность, и искали виновных.

Гражданин и сам был причастен ко многому, но по человеческой слабости надеялся переждать, пересидеть смутное время. И тут-то камень, пущенный безответственной рукой, и угодил ему прямо в бок.

Кажется, Виктор Ерофеев попал куда-то в очень болезненное место. Круги от этой статьи еще долго пойдут по заводям нашей литературы. Большие волны, конечно, поутихнут, поуспокоятся, а рябь еще долго будет стоять, это точно.

Статья эта, помещенная на 8-й странице «Литературной газеты» — традиционном месте иронической, ерничающей прозы,— вполне могла быть напечатана и на 3-й — где признанные мэтры обычно обсуждают фундаментальные проблемы. Как, впрочем, и на 12-й — в разделе о мошенниках.

Вышло так, что, перед тем как прочитать эту статью, я гостил у знакомого лесника, и тот два дня водил меня по своей пасеке и рассказывал разные разности из жизни *пчелок*. Все это было очень интересно, а некоторые вещи, которые я от него узнал, были просто поразительны, настолько поразительны, что сейчас я думаю, что кое в чем он мне малость привирал. Но все равно поездка была очень удачной, и когда я вернулся в город и стал читать статью В. Ерофеева и размышлять о том, что в ней написано, то был еще полон впечатлениями от этой поездки, пропитан ею. И первые ассоциации от статьи тоже были связаны с этим.

Ох, зря он полез в это дело, подумал я. Ох, зря. Зря он растревожил, разбередил их. Погода ненастная, взятка настоящего нет, пчелы злые. Да ведь они искусают его всего, изжалят. Ох, зря он это.

Нет, правда, не в лучшее время затеял он эту статью. Хозяину сейчас совсем не до пасеки. У него у самого большие неприятности. Ему бы самому уцелеть. До пчел ли ему? Похоже, что он махнул на них рукой, и они, предоставленные самим себе, понемногу дичают.

Слова, конечно, В. Ерофеевым были произнесены беспощадные.

Заслуженно ли?

Мне как-то однажды попалась в руки тонкая затрепанная книжечка, повествующая о последних днях Николая Романова и его семьи. Издана она была на грубой оберточной бумаге и, если не ошибаюсь, еще в Екатеринбурге. Непосредственные участники этих событий простым и бесхитростным языком рассказывали подробности о том, как все *это* случилось.

Книжечка, конечно, была драгоценная. До сих пор страшно жалею, что я ее тогда упустил.

Повествуя о последних минутах последнего русского императора, один из участников, матрос, писал, что известие о предстоящей казни Николай Второй встретил «с идиотическим спокойствием».

Я всякий раз, вспоминая это место, не могу отделаться от сложного чувства озадаченности и изумления.

Евгений Николаевич Бич (р. в 1936 г.) — публицист. Печатался в журналах «Даугава», «Искусство кино» и др. Живет в Ленинграде.

Ай да матрос! Ай да матросик! Знать, и в самом деле не было никакого спасения Николаю Александровичу! Уж если с несомненностью обнаруженное им в смертную минуту присутствие духа было объявлено «идиотическим», то на что было ему надеяться? А ну, по-человечески дрогни он в этот момент, занервничай? Что тогда? Уж тут-то матросик бы не растерялся! Уж он тогда бы эпитеты подобрал!

Интересно, куда пошел потом этот матросик. По какой части. Неужель не по литературной? Если это так, то жаль. Обнаружив такие способности, так находчиво найдя нужные слова и вывернувшись из, казалось бы, безвыходного положения, он наверняка бы сделал хорошую карьеру.

Могла ли уцелеть старая Россия, попав в такие хваткие и *все превозмогающие* руки?

Она и вообще-то не отличалась отменным здоровьем, да вдобавок еще была на сносях, *ходила* девятым месяцем свободы, ходила тяжело, натужно, с разными отклонениями и осложнениями.

Тут-то и подхватили ее проворные акушеры, тут они ее и *приняли*.

Они с ней недолго мудрили, сделали все быстро и решительно — отогнали прочь не принадлежащую публику, чтоб не мешалась, не путалась под ногами, и, укрывшись от посторонних глаз, устроили ей *свои* роды, на свой лад и по своему разумению.

Дите получилось нечеловеческое, дьявольское. Долго его выхаживали, долго пытались поднять на ноги, да, видать, оно было обречено — так ничего и не вышло. Жизнь его не приняла, она его вытолкнула, отторгла.

То, что мы сейчас наблюдаем,— это и есть реакция отторжения.

И, разумеется, реакция эта очень болезненная.

Западный человек взирает на весь этот вал самообличения и самоотрицания с некоторым недоумением. Его озадачивает страстность самокритики, все это граничит для него с каким-то недопустимым самооговором. Он от таких вещей давно отвык, они ему непривычны, представляются чрезмерными.

Положим, Западу действительно трудно полностью войти в наше положение. Все это надо пережить самому, прочувствовать шкурой. Но нам-то чему тут удивляться? Ведь это все неизбежно. Маятник долго гнули в одну сторону, гнули отчаянно, не считаясь ни с чем, ни с затратами, ни со здравым смыслом, вот он, отпущенный, и пошел в другую. Маятник пошел в другую сторону, и посреди ему не остановиться. Нам только и остается мечтать, чтоб его не завело, не затащило слишком далеко. Вспомните 17-й год и прикиньте сами, до каких пределов он может шатнуться обратно!

Мы, конечно, больны — тут и спору нет. Остается надеяться, что отторжение и распад того, что было когда-то искусственно привито, не погубят всего организма. Что это вовсе не конец, а то болезненное, в поту и беспамятстве, лихорадочное состояние, которое обычно предшествует выздоровлению.

Лихорадку лечат не постными супчиками и жидкими киселями, ей нужны горькие лекарства. Что толку отчаянно призывать «остановиться», «положить конец очернению»? Да и надо ли? Вся эта выплеснувшаяся на нас желчь вовсе не должна нас пугать. Она нам до крайности полезна. Это та кислота, которая промоет, переест труху и гниль застойных углов, та горечь, с помощью которой мы переварим необъятные пласты благоглупостей и заблуждений, комом сидящие внутри нас.

Статья Виктора Ерофеева — ядовитая и язвительная — из того же рида лечащих, *пользующих* средств.

На мой взгляд, он излишне усложнил классификацию. Стоило ли ставить отдельно «деревенскую литературу» — явление хоть и значительное, но все-таки локальное?

Были две литературы. Одна — официальная, государственная, вальяжно расположившаяся за столом жизни, и другая — прижатая, придавленная, оттесненная на край, на обочину. Здесь она и перебивалась, здесь, в тихих углах, и искала спасения. О полной тиши речь, конечно, не шла, укромных мест в государстве не было нигде, им просто не полагалось быть в эпоху ожесточенной схватки. Оставалась только некоторая видимость относительно спокойных местообитаний. Тут-то, в стороне от главной струи, она и пыталась отсидеться, отговариваясь слабостью здоровья, чудаковатой тягой к какому-нибудь ученому предмету, неистребимой страстью к охоте и прочими малоизвинительными причинами.

А Время подступало, брало за воротник, требовало активности.

А вы, гражданин Пришвин, почему давеча не были на собрании? Как вы говорите? На охоте? Это на какой такой охоте? Вы уж, пожалуйста, эти ваши охоты оставьте! Мы вам говорим прямо, по-партийному — все это не что иное, как тихий саботаж нашего дела! А по сути — пособничество! Мы вам очень настоятельно советуем принять участие в *нашей* охоте! На *нашего* зверя!

Все это, повторяю, было полупридушено и оттогнано на край. А посреди, на необъятных раскорчеванных площадях дружно взошло и благополучно произрастало то, что В. Ерофеев назвал официозной литературой.

Будущий исследователь наверняка выделит то главное, что определяло эту литературу,— ее служебную, служивую функцию. XX век, несомненно, внес нечто новое в ситуацию — конечно, и раньше были целые ветви и направления, которые полностью поддерживали правительственную линию, служили ее рупором, сливались с нею, но чтоб целая литература огромной страны была втиснута в единые рамки государственного аппарата, поставлена на ход и функционировала в нем с исправностью и слаженностью часового механизма — такого еще не бывало.

Похоже, что она совсем не испытывала при этом никаких внутренних неудобств! Естественность и органичность, с которой она несла эту функцию, исключает всякую возможность говорить о каком бы то ни было насилии над нею; напротив, все дышит гармонией, довольствием и согласием.

Впрочем, должны ли мы здесь удивляться?

В какой-нибудь маленькой латиноамериканской стране сидит в студии диктор и читает последние известия. Вдруг до его уха доносится звук перестрелки, и через некоторое время к нему вламывается группа «пистолерос», протягивая бумажку с очередным антиправительственным манифестом. Привычный ко всему, диктор принимает бумажку и, не переменив голоса, тут же сообщает населению о том, что «прогнивший режим рухнул, и власть переходит в руки революционной хунты, ставящей своей целью восстановление законности, справедливости и демократии». Между тем перестрелка усиливается, батальон правительственных войск, собравшись с духом, переходит в контратаку, захватывает радиостанцию, и спустя малое время все тот же диктор все тем же монотонным голосом извещает «о жалкой кучке презренных заговорщиков, пытавшихся свергнуть законное правительство».

Официальная литература и была этим диктором. Пожалуй, я напрасно пытаюсь поставить ей в вину некоторые вещи, они как раз были ее сильной стороной; будучи одним из служебных каналов, она и должна была своевременно оповещать население о руководящей точке зрения. Все традиционные представления о литературных направлениях, лице журналов и прочем оказываются здесь безнадежно устаревшими.

XX век породил учение об удивительных частицах, не обладающих массой и инерцией, вот и новая литература была такой же; не берусь судить, как насчет массы, а инерции у нее, нравственной инерции, точно, не было; она мгновенно перескакивала на новые рельсы и с ходу набирала нужную скорость в нужном направлении. «Оперативность, оперативность и оперативность» — стояло у нее на знамени, и та «свобода совести», о которой говорил владимовский «старпом из Волоколамска», составляла ее отличительную черту.

Это был придаток власти, законно и единственно представлявший ее интересы в определенной деликатной области, это была сама власть.

Впрочем, полного спокойствия и здесь не было никакого.

Писатели сочиняли толстенные романы, были бессонные ночи, счастливые находки и радостные ожидания; внезапно мнение начальства менялось, и весь плод творческих усилий оказывался напрасным — все шло в корзину. Последний роман Фадеева был о каких-то сталеварах и, как полагается, о ретроградах и вредителях в этой области. Писался он тяжело, но понемногу шел к концу, и вдруг установки разительным образом переменились — вредителями надлежало изображать совсем не тех! В один миг все пошло насмарку. Солидные монографии без тени смущения повествуют о творческой трагедии художника. Трагедия, конечно, была, и еще какая, но при чем здесь творчество? И при чем здесь художник?

Исключало ли все это талант?

Отнюдь нет. Просто это был тот благоприятный случай, когда он не был предоставлен самому себе, а направлялся твердой и заботливой хозяйской рукой. В своих *правильных, положительных* устремлениях он был всякий раз ободрен и поддержан. Прислонившись к теплому и уютному плечу власти, он рос, креп и мужал, вместо того чтобы изнемогать в борьбе с превратностями жизни.

Право, вы зря улыбаетесь, талант — вещь тонкая и деликатная; чтоб не пропасть, ему нужна опора и поддержка; чтобы реализовать себя в полной мере, ему надобен прочный тыл. Жар души и легкость пера — это, конечно, хорошо, но когда это совпадает с мнением начальства, то это намного лучше! Как ни говори, это всегда многократно прибавляет силы!

Все это продолжалось долгими десятилетиями, а потом в один момент рухнуло.

Начальство, сконфузясь, объявило, что те светлые мастерские, которые оно так долго и упорно строило для своих подчиненных (ну, и, разумеется, для себя тоже — по улучшенному варианту), увы, оказались миражем и иллюзией; что очертаний Настоящего Храма оно не угадало; что дорога к этому Храму не проста и иокротка, как казалось, а долга и извилиста; что прямое подталкивание человека на этом пути не приносит должных плодов и что нужны, к сожалению, другие способы — гибкие и демократичные; что, наконец, не отказываясь от возложенного на него (возложенного кем?) авангардного предназначения, оно вынуждено будет многое пересмотреть и от многого отказаться.

В соответствии с этим все построенное и налаженное за долгие годы объявлялось громоздким и малоэффективным и подлежало радикальной переделке, а иногда и слому.

Это была действительно трагедия! Грозовая туча нависла не только над разными Агропромами, Госпланами и Минводхоза-

ми, тень ее отчетливо легла и на ведомство «бель летра».

Сокращение? Расформирование? Не может этого быть! Это что ж — прощай заграничные симпозиумы, где так славно толковалось о судьбах мирового романа? Прощай дома творчества, в уютных стенах которых так отчетливо рисовались образы класса-гегемона? Это что ж — со всем этим проститься? Проститься с уютом, комфортом жизни, с ощущением элитности, избранности, причастности к высшим? А куда деть плоды многотомных трудов, под которыми проседают полки книжных магазинов? Куда это все деть? И вообще — как дальше кормиться?

Как тут не разразиться самой карбонарской критикой в адрес власти, вознамерившейся, кажется, бросить их на произвол судьбы посреди дороги?

А вы еще спрашиваете, откуда эта неприличная перебранка в стане нашей литературы, откуда этот удручающий кухонный тон! Да разве вы видели когда-нибудь, чтоб посреди учреждения, признанного ненужным, царили спокойствие и благорасположенность?

А тут еще начальство, отпустившее узду. Вкусы у него, начальства, были, конечно, всегда не ахти какие, но по крайности оно неизменно требовало исполнения приличий, и если случался какой-нибудь Шевцов со своей «Тлей», то его вызывали куда надо и веско и внушительно говорили: «Это что ж такое, братец? Зачем ты с этой скандалезностью вылез? Оно конечно, может, ты в сути и прав, но так нельзя. Понимаешь — нельзя! Ты нам фасад не порть! Можешь ступать назад, но впредь помни — приличность прежде всего!»

А теперь путы пооcлабли, и они, расправивши нутро, заговорили своим естественным языком. И весь этот накопиашийся, загнанный внутрь крик души выплеснулся наружу. Да и сколько можно превозмогать натуру?! Сколько можно мучить душу эвфемизмами?! Это раньше, при тиранстве, велено было говорить — «сионизм», «сионисты», а теперь не то, теперь гласность, и можно наконец произнести полную правду об этом племени, которое несет одно разрушительное начало и которое только и умеет, что стоять за прилавком и сверлить зубы!

Нет, не будем к ним слишком строги! Войдем в их положение!

Пожалуй, здесь можно и расстаться с этой частью литературы и перейти к другим — пытавшимся не сдаться, не потерять совесть, не слиться с чудищем, молохом. Переход внезапен, контраст велик, глаз ломит, как при выходе из подвала на свет, и долго еще нужно промаргиваться, чтоб привыкнуть к этой резкой перемене, к новым очертаниям. Да, это во многом другой мир, и здесь многое другое — мерки, пределы, правила.

А знаете что?

Ведь это все едино! Это тот неразъемный, неразделимый кусок, который одной глыбой отвалится, когда будущий археолог станет разбирать историческую породу. Это все и есть «советская литература». Разве можно это разъять, расцепить? Бесполезный труд! Все навек спеклось и приварилось! Полюса, крайние точки — они, конечно, есть, они реальны, они существуют, а между тем резкого обрыва, непреодолимой пропасти нет. Обрыва нет, как его не бывает нигде в жизни. Есть единый ряд с тихими, незаметными глазу переходами.

Вот они стоят — Чистота, Честность, Талант, Мужество,— и разве есть на свете что-нибудь такое, что может заставить их потесниться, изменить себе, издать неверную ноту?

Да, все это, конечно, так, но уж больно с Временем не повезло! Уж больно Время досталось подлое, злодейское! Не о себе речь, сам-то устоял бы, удержался, да ведь ты не один, за тобой свои, родные, домашние. Разве можно их оставить на растерзание? Нет, нельзя лезть на рожон, нельзя нрить чудище! И выхода нет — надо хоть немного, да уступить.

А рядом другой случай, другие заботы — дочку надо устраивать в жизни, дочь — как молодая вишенка, чистая, красивая, невинная. Она-то при чем? Разве можно ее оставить, такую милую, такую беззащитную? Ох, не хочется делать того, на что они намекают, ох, как не хочется! Да ведь не отстанут, не успокоятся! Ладно, подавитесь, придет время — я еще напишу, напишу по совести, полную, настоящую правду!

А у третьего — настоящий, большой талант. И что ж ему прикажете делать? Мыкаться по подвалам, по халупам? Сидеть всю жизнь на сухарях? Замкнуться в гордом, бескомпромиссном молчании? А с талантом что будет? Что от него останется? Был — и не был! Да и эти... гордецы, молчальники... тоже хороши. Есть в них что-то... этакое... желчное, черствое, жесткое. Не понимают они, не охватывают всей сложности жизни... Не-е-т, у меня своя судьба, своя дорога!

Так и идет этот плавный ряд с незаметными ступенями, где на другом конце в туманной дымке видится фигура какого-нибудь «по особо важным делам» следователя, в перерывах между черновой, рутинной работой балующегося изящной словесностью.

Смерть — она, конечно, Старуха! Но аедь Жизнь-то — не Старуха, Жизнь молодая аппетитная бабенка! Легко ли тут устоять?

Но неужели только одна житейская слабость?

Вспоминается полемика, вспыхнувшая на страницах «Иностранной литературы» лет двадцать назад. Речь шла о проблематике «Доктора Фаустуса». На тезис Т. Манна о том, что в падении немецкого народа есть элемент какого-то совращения, о том, что он был завлечен коварным мифом, погрузившим его в пучину злодейства, С. Лем отвечал жестко и непреклонно. Он не оставлял сопернику ни пяди территории, он не желал даже рассматривать подобные аналогии. Нельзя возвышать обыкновенную уголовщину до мифа, утверждал он, недопустимо окутывать прозаическую деловитость преступников какой бы то ни было мифологической дымкой.

А, право, эта мысль об искушении, совращении нет-нет да и приходит в голову!

Откуда, отчего эта именно всеобщность, массовость захватившего поветрия? Отчего мысль о том, что с помощью насилия можно мгновенно изменить жизнь, захватила, ослепила на заре века столь многих? Почему они пошли на то, что — отвернувшись, поморщившись — можно принять, оправдать любые средства?

В чистоту вождей я не верю, это сухие и беспощадяые самолюбия, вполне показавшие, на что они способны. Но паства-то, эти многие человеческие миллионы, почему они так легко поддались? Почему с такой готовностью восприняли их гибельную идею?

Словно какой-то космический Дух, носясь над Землей, выждал момент, когда Бог отвернется на минуту, и высеял свои ядовитые споры, которые взошли таким дружным и буйным посевом.

Отчего даже самые чистые — те, кого мы приводим сейчас в качестве нравственного примера — Мандельштам, Булгаков, Пастернак,— имен можно назвать много! — отчего даже они были затронуты, захвачены этим духом? Отчего какая-то ниточка все время висела между ними и новым режимом, оставалась неповрежденной? Ведь это была не только нить компромисса, но и нить надежды? Надежды на что-то, веры во что-то?

Единственный, кто разорвал эту связь, разорвал бесповоротно, безоглядно,— А. И. Солженицын. Заметьте, это уже другая генерация, он отстоит по времени от них. Может быть, должен был пройти какой-то период, чтоб переварить, перебороть яд, освободиться от него?

И, наверное, с Солженицына и должен начаться отсчет новой, другой литературы.

Будет ли она называться как-то иначе, в отличие от той, которую мы именовали «советской»?

Ехидности, посыпавшиеся на это название после статьи Виктора Ерофеева, конечно, возникли не на пустом месте. Что и говорить, термин этот вовсе не безупречен. Хотя, право, мы могли бы и не столь тщательно выискивать его изъяны — здесь явно присутствует элемент чрезмерности, преувеличенности предъявляемых требований. Без особого труда можно найти и куда более уязвимые цели, взять хотя бы, например, такого монстра, как «советский патриотизм»,— словосочетание, в котором соединились заведомо исключаемые понятия — любовь к родине, к определенному месту и принципиальное отрицание, неприятие этой любви.

И вообще, терминология — это не так важно. Не так уж важно, как называть этот период нашей литературы, этот кусок нашей жизни. Самое главное — это кончилось. И этого никогда больше не будет. И пусть многое еще цело, цел каркас и остаются непотревоженными многие структуры, но все это обречено — новая жизнь, новая жизненная среда растворит, рассосет их без остатка.

И, пожалуй, Виктор Ерофеев прав — самое время справлять поминки.

Надо постараться, чтоб это были хорошие поминки. Настоящие, хорошие, человеческие поминки.

Чтоб народу там собралось много, и народу самого разного, чтоб пускали туда не только по членским билетам, но и всех, кто пожелает, потому что, как ни говори, это все-таки событие не рядовое, и касается оно всех нас с вами. Чтоб на столе было вдоволь всякого добра, и, по несчастной отечественной традиции, и того самого, с которым мы так отчаянно (и, увы, безуспешно) боремся долгие годы. Чтоб не отравляла застолье какая-нибудь дама-распорядительница, не жужжала, как надоедная муха, призывая не уклоняться от темы, а если и жужжала, то в меру. Чтобы гости сидели довольные, с покрасневшими лицами, а за столом стоял тот нестройный шум, который всегда ясней ясного говорит о том, что все удалось и все идет, как надо. Чтоб разговор нет-нет да и уклонялся в сторону от положенного русла и сворачивал на вещи житейские, повседневные. Нехудо также, чтоб и дама-распорядительница, уступив многочисленным уговорам, выпила бы рюмочку-другую и пообмякла бы, подобрела и заговорила про свое, наболевшее.

А если и произойдут там какие-либо инциденты, которые омрачат печальную торжественность события,— например, кто-нибудь, из числа взявших слишком резвый темп, не рассчитавших силы, уснет за столом, уронив голову в тарелку с холодцом, или, наоборот, станет вести себя слишком активно и, разгоряченный едой и питьем, попытается затянуть какую-нибудь песню, или, еще хуже, совсем потеряет представление, где он находится, и вздумает, негодяй, тиснуть в коридоре проходившую мимо даму-распорядительницу, отчего та подымет истошный крик, и на крик этот кинутся находящиеся поблизости гости и, не разобрав сгоряча, что в нем куда больше гордости и торжества, чем возмущения, и заломив ему руки, вышибут его вон, и он покатится с крыльца, а потом подымется на ноги и, утирая кровь и грязь, будет разма-

хивать руками и посылать невнятные, хотя и вполне различимые ругательства, а на другой стороне улицы, через дорогу, будут стоять не попавшие на торжество зеваки и с большим интересом наблюдать за происходящим — если все это случится, не будем принимать это слишком близко к сердцу. Это все жизнь. Это бывает.

В поминках всегда ужасно много языческого.

Желания *утешить себя* там почти столько же, как и *вспомнить о нем.*

Поминки — это то место, где конец жизни очень часто встречается с ее началом. Недаром опытные свахи говорят, что на них лучше всего знакомятся будущие пары.

И потому, провожая старое, отжившее, вспомним о том новом, что должно народиться.

Будем надеяться, что то, что было иссечено и порублено, не погибло вконец, что загаженная, изуродованная вырубка с поломанным, затоптанным, придавленным подростом понемногу отойдет, восстановится, что семена, сидящие в почве, не пропали безвозвратно, а только замерли, затаились на время, и что все это оживет, расправится и зашумит могучим вековечным лесом.

Надо только набраться терпения и подождать.

Впрочем, что ж нам еще остается делать?

Читать? Нет?

Обзор книжных новинок ведет Владимир Кавторин

М. Лурье, П. Студеникин. «Запах гари и горя (Фергана, тревожный июнь 1989-го)». М., «Книга», 1990 г.

Эта книга могла бы, наверное, разойтись и тиражом куда большим, чем 30 000. Ведь это — о том, что болит, ноет в душе у каждого, что застит нам будущее... И о чем мы знаем так мало, так ненадежно. А авторы многое видели сами. И выводы делают уверенно, нелицеприятно: «Против внутренних войск (после тбилисских событий.— *В. К.*) была развернута настоящая кампания, даже с трибуны Съезда народных депутатов прозвучало: а нужны ли нам вообще внутренние войска?.. Пишем об этом потому, что уверены: не будь затянувшейся „дискуссии" — привлекать или не привлекать в экстремальной ситуации войска,— не было бы в Фергане у экстремистов тех трех дней, когда они совершенно безнаказанно творили свои черные дела».

Звучит, правда? Но советую проявить определенную недоверчивость и занудство и, пролистнув назад несколько страничек, перечитать интервью генерал-полковника Шаталина: «Многие задают вопрос: почему мы не смогли предотвратить трагические столкновения 3 и 4 июня? Из-за недостаточной, порой противоречивой информации мы не имели достоверной картины происходящего. Прибывшие первым эшелоном подразделения — 700 человек — не смогли справиться с тысячными толпами, не имели вооружения и спецсредств».

Выходит, генерал вовсе не терял драгоценные дни на колебания и дискуссии, а просто не знал, что происходит, с чем столкнутся его солдаты. Но если так, то кто-то, вероятно, должен был его информировать? Тем более, что, по сведениям наших же авторов, «о предстоящей резне знали и говорили по всему Узбекистану». Уж не те ли это люди, что целой комиссией «от заведующего отделом ЦК Компартии Узбекистана до председателя УКГБ по Ферганской области» правили газетную статью о предшествовавших ферганским событиях в Кувасае, превращая ее в «крошечную заметку, которая ничего не прояснила, а лишь еще больше затуманила случившееся». За этакими заботами они и позабыли, вероятно, сообщить генералу Шаталину, что «на предприятиях Ферганской области в открытую, примерно еще с февраля 1989 года, стали изготовлять оружие... и составлять списки турок-месхетинцев, проживающих в области».

Столь странная логика, при которой выводы разительно противоречат живым подробностям рассказа, книгу, понятно, не украшает. Но прочесть ее все же стоит. Отделив факты от навязываемой интерпретации, читатель и сам без труда поймет, что к чему.

Ю. Оклянский. «Дом на угоре» (Книги и судьба Ф. Абрамова). М., «Художественная литература», 1990 г.

Кстати сказать: странность авторской логики, отмеченная в предыдущем отзыве, дело отнюдь не новое. Еще в начале пятидесятых, анализируя тогдашнюю густо лакировочную литературу о деревне, Ф. Абрамов подметил именно это противоречие: пафос и общие концепции разительно противоречили тут же изображаемым реалиям, подробностям жизни. А ныне Ю. Оклянский, тщательно анализируя первые абрамовские романы, приходит к выводу, что автор их и сам был от подобных противоречий отнюдь не свободен! Он лишь упорно — от романа к роману — выбивался из-под их цепкой власти, учился видеть жизнь не только без внешних (цензурных), но и без внутренних (идеологических) окуляров.

Впрочем, в книге Оклянского интересен, думается, не столько литературоведческий анализ абрамовских романов, сколько честный и искренний рассказ о судьбе талантливого сына жестокого времени, ступившего одним из первых на тяжкий путь внутреннего, духовного высвобождения изпод идеологических глыб и, хоть не без потерь, но вполне достойно его прошедшего.

С. Липкин. «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»; Анна Берзер. «Прощание». М., «Книга», 1990 г.

В 1949 году, готовясь к публикации романа Гроссмана «За правое дело», Твардовский послал его рукопись М. Шолохову, члену редколлегии «Нового мира».

«Ответ Шолохова,— вспоминает С. Липкин,— был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая: „Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против"».

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: „Кому вы поручили?" Дикое, департаментское отношение к литературе».

Даже сейчас, когда после статей и мемуаров Буртина, Лакшина, Солженицына и прочих злобный идиотизм (а как сказать иначе?) различных писательских собраний-заседаний 40—60-х годов ни для кого не секрет, шолоховская фраза все-таки поражает. Именно тем, что принадлежит не какому-нибудь К. Воронкову, Г. Маркову или А. Сурову, а Шолохову — человеку, несомненно, с душой и талантом!

Как же трудно было тем нескольким одиночкам, в душах которых уже тогда начиналось движение, выламывание из-под ледяных глыб большевистской идеологии! Что же давало им силы для крестного их пути?..

Нет, я не буду пересказывать мемуары Берзер и Липкина — их стоит прочесть, прочувствовать и продумать самому, наедине с собственной совестью. Я только об одном эпизоде скажу.

Когда умирающий Гроссман отказался от публикации своей последней повести «Добро вам», это было даже его друзьями воспринято как необъяснимый каприз, как «совершенно излишняя» принципиальность. И то! Цензура ведь покушалась всего-то на полстранички, на один крохотный эпизод, где армянские крестьяне во время свадебного веселья неожиданно заговорили «о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей».

Нет, Гроссман не удивился, отчего это советский цензор так печется о германском фашизме. Глубинное родство двух тоталитарных режимов он чувствовал и понимал лучше многих — не зря его роман партийные идеологи пытались упрятать «на триста лет». Но, ничуть цензорскому произволу не удивившись, он покориться ему все же не пожелал!

«Я его понимал,— пишет С. Липкин.— Давняя подпись под письмом Сталину мучала его, он не хотел еще раз поступаться своей честью».

Что за письмо? В самый разгар «дела врачей» Гроссман поставил свою подпись под коллективным обращением, смысл которого был: «врачи — подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т. д.». «Письмо,— пишет Липкин,— так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями. Но Гроссман, в каком-то затмении решив, что ценою немногих можно спасти несчастный народ, вместе с большинством собравшихся поставил под письмом свою подпись».

«Ценою немногих спасти народ» — да ведь это одна из самых распространенных иллюзий XX века! И сколь многие не только охотно прощали ее себе, но даже в заслугу ставили?! Для Гроссмана же житейская эта «помарка» на десятилетия стала тайным стыдом. Стыдом и источником духовной воли, столь необходимой для выдавливания из себя раба, для нравственного самосовершенствования!

Зачем говорю об этом? Затем, что в XX веке редко кому удалось пройти свой земной путь без подобных «помарок». И ныне появилось немало «злых мальчиков», спешащих поставить всякое лыко в строку и пнуть побольней того же Гроссмана, Пастернака или Булгакова. Наверное, это кажется им высокой принципиальностью, но дай Бог каждому из нас так пройти свой путь, чтоб житейские «помарки» на нем становились источником нравственного самовозвышения, самоочищения души,— лучшего не бывает!

Борис Ельцин. «Исповедь на заданную тему». Л., «Советский писатель», 1990 г. (серия «Новинка года»).

Говорят, главное чтение для англичан не романы и повести, а жизнеописания, биографии. Если так, то, замечаю, все больше становлюсь англичанином. И не только я, вероятно. В минувшем году ни один роман по количеству изданий и суммарному тиражу не может сравниться с книгою Ельцина. А ведь она нигде не пролежала на полках и дня! Дело тут, думаю, не только в том, что автор популярный политик, но и в читательской популярности самого жанра. В самом деле: хорошая биография дает куда более обильную пищу для размышлений, чем самый лучший роман. О степени читательского доверия я уж и не говорю!

«Читателю этой книги,— заканчивает ее Б. Ельцин,— чуть легче, чем мне. Он уже знает, что произошло завтра, где я, что со мной.

Он знает уже, что со страной. И что с нами всеми...»

Он диктовал эти слова в конце восемьдесят девятого, под шепоток слухов, «что на ближайшем Пленуме намечается переворот. Хотят снять Горбачева с поста Генерального секретаря ЦК КПСС и оставить ему руководство народными депутатами». Мы и впрямь уже знаем, что эта попытка не удалась, что Ельцин стал руководителем Российского парламента, что ради «руководства народными депутатами» он (но не Горбачев!) вышел не только из ЦК, но и вообще из КПСС; знаем, что пост Генерального секретаря поблек, отошел в тень рядом с постом Президента страны... Самые, быть может, яркие страницы и ельцинской судьбы, и его политического соперничества с М. С. Горбачевым «прочитаны» нами за пределами книги, но это не делает ее менее интересной, менее необходимой в наших размышлениях о том, что будет с нами со всеми, как скажется это соперничество в судьбах страны.

Напротив — каждый новый поворот политической жизни заставляет обращаться к ней вновь. Успех бывшего члена Политбюро Гейдара Алиева на осенних выборах в Азербайджане, в каком-то сниженном, перевернутом ракурсе отразивший, по-моему, весенний избирательский успех Бориса Ельцина, заставил меня, например, вновь перечесть только что прочитанную книгу. Потянуло проверить, не обманулся ли в первом своем впечатлении, не ослеплен ли был популярностью ее автора и героя? Но — нет. Во всяком случае, даже на протяжении самой книги Борис Ельцин обнаруживает способность умнеть и дозревать на ходу, в общении с другими людьми, а для политика это куда как ценно!

Впрочем, с последними выводами повременим! Быть может, эту книгу нам придется еще не раз перечесть?

Лев Гумилев, Александр Панченко. «Чтобы свеча не погасла» (Диалог). Л., «Советский писатель», 1990 г. (серия «Новинка года»).

Еще одна книга из той же издательской серии. Она, конечно, столько читателей, сколько «Исповедь» Б. Ельцина, не соберет. Но для тех, кто пытается всерьез размышлять о судьбах России, о смысле ее истории, о ее будущем, прочесть эту книгу просто необходимо.

События на всем Евразийском континенте за несколько последних тысячелетий — вот тот исторический материал, опираясь на который строят свои гипотезы двое известных ученых. Ну, а предмет их диалога прекрасно сформулирован А. Панченко: «В истории стран и народов бывают эпохи, когда страны и народы как бы срываются с цепи. Начинается вакханалия внутренних войн и террора. В средние века это объясняли Божьим промыслом — иначе говоря, просто отказывались от объяснения... Что до новых историков, то они ищут и причины болезни — социальные, психологические, религиозные, вплоть до расовых и национальных».

Именно причины и пружины подобных эпох и пытаются нащупать наши историки. Что и понятно: человек, в подобную эпоху живущий, не может не пытаться отыскать ее общий смысл! Не буду, впрочем, излагать их концепции — это потребовало бы значительного пространства. Ограничусь несколькими цитатами.

«Тирания не только разорила страну, она ее развратила. Ставка на худших... удалила от власти порядочных людей, а худших сделала еще хуже. При вступлении... было обязательным клятвенное отречение от родителей, то есть прямое нарушение пятой заповеди. Ложь стала поведенческим принципом тех, кто хотел „выбиться в люди“...»

В этой характеристике самое, пожалуй, интересное то, что она относится не к нашему веку, а к эпохе Ивана Грозного. Впрочем, Гумилев и Панченко выделяют в нашей истории несколько перекликающихся эпох, отмеченных тем внутренним сходством, которое авторы именуют «религией силы». «Вера в „светлое будущее“,— пишут они,— оборачивается религией силы, каким-то неоязычеством. Ведь язычники ценят в идолах только силу. Если в ней усомнятся — горе идолам! Вспомним, как их свергали в Киеве. Владимир „Перуна велел привязать к хвосту коня и волочь с горы по Боричеву взвозу к Ручью, и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами“... Когда после революции в Московском Кремле накинули удавку на шею статуи Александра II и сдернули ее с пьедестала,— все это были раскаты языческого эха, отголоски той киевской порки».

«Религия силы, естественно, не в ладах с истиной. Сила не терпит препятствий и ограничителей. Истина — всегда ограничитель. Следовательно, сила не терпит истины, сначала презирает ее, а потом, достигши дряхлости и маразма, боится. Эпохи, когда господствует религия силы, неизбежно становятся эпохами лжи».

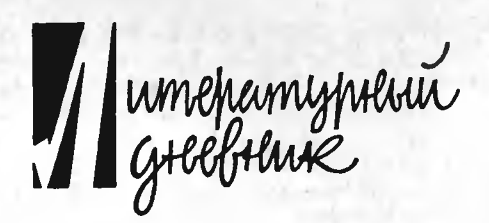
Этого, уверен, достаточно, чтобы читатель пожелал обязательно найти и прочесть книгу Л. Гумилева и А. Панченко. А подробный разбор их концепций и полемику с ними придется отложить до большой статьи, которую, признаться, очень хочется написать.

Зигмунд Фрейд. «Психология бессознательного» (сборник произведений). Составитель, научный редактор, автор вступительной статьи М. Г. Ярошевский. М., «Просвещение», 1990 г.

Самое удивительное в этой книге — это ее тираж: 750 000! Нет, я не сомневаюсь: на магазинных полках она не залежится. Но если из десятка купленных экземпляров будет прочитан хотя бы один — это уже будет очень неплохо. Труды Фрейда долго были у нас под запретом, и единственное, пожалуй, что твердо ведает о нем наша широкая публика, это «Фрейд — проповедник пансексуализма»! Отсюда и спрос...

Сам Фрейд прекрасно знал, что есть проблемы, до понимания которых «нельзя долететь, но надо дойти хромая, и в этих условиях не грех хромать». Мы же до тех вершин европейской мысли, от которых были десятилетиями насильственно отлучены, желаем именно долететь! Взять их большевистским штурмом, с наскоку!.. Вот и издаем З. Фрейда чуть ли не миллионными тиражами, для самой широкой публики. И тут же, в предисловии, спешим ей, несмышленой, разъяснить, что «представление об исконной агрессивности человека еще раз обнажило антиисторизм концепции Фрейда, пронизанной неверием в возможность устранить причины, порождающие насилие». Так сказать, в лучших старомарксистских традициях...

Грустно это, господа, грустно!



Е. М. Хмелевская

КАК Я ВЕЗЛА РУКОПИСИ ПУШКИНА

4 марта 1938 года вышло Постановление Совнаркома за № 256, по которому Пушкинский дом АН СССР становился единственным в нашей стране хранителем автографов А. С. Пушкина. Там должны были сосредоточиться все рукописи поэта, где бы они до сих пор ни находились. Начался сбор материалов, но Великая Отечественная война помешала закончить эту работу. Часть рукописей оставалась в Москве, на хранении в Литературном музее. Среди них находились черновые и беловые автографы поэта, его рабочие тетради, дневник, письма к разным лицам, рисунки [1].

Привезти их в Ленинград Борис Викторович Томашевский поручил мне.

Шел 1948 год. Такси еще не работали или их было очень мало. Поезд из Москвы в Ленинград отходил ночью. Литературный музей предоставил мне машину к 6 часам вечера. Что мне было делать? Не сдавать же автографы Пушкина в камеру хранения?! Это были два больших пакета, весом около пуда, завернутые в толстую бумагу. Я их приняла по описи, не имея времени подробно просмотреть каждый документ. И вот, в обход всем инструкциям и правилам, я решила до отхода поезда отвезти свой клад просто на квартиру своей сестры, которая тогда жила у Зубовского бульвара, в Долгом переулке (ныне улица Бурденко). Все семейство сестры, состоящее из родителей, тети и шести человек детей, было взбудоражено. Пакеты поставили на буфет, и дети ходили кругом, взволнованные, и по очереди влезали на стул, чтобы дотронуться до этих священных реликвий. Такого в их квартире никогда не было и не будет!

Ранее, заказывая в Академии наук обратный билет в Ленинград, я спросила, кто с этим поездом еще едет, надеясь найти знакомого попутчика. Попутчик нашелся. Им оказался Сергей Васильевич Обручев, сын академика, по профессии геолог, большой любитель литературы и знаток Пушкина. Обручеву принадлежит статья «К расшифровке десятой главы „Евгения Онегина“» (Пушкин. Временник, № 4—5, 1939, с. 497—507). Вот его я и выбрала своим негласным помощником, чтобы в случае внезапной болезни или чего-нибудь непредвиденного — открыть ему тайну своего багажа.

Накануне Татьяна Григорьевна Цявловская, которая пришла в ужас от этой эпопеи, внушала мне, что все должно быть окружено строгой тайной. Она говорила, что злоумышленники уже следят, могут вырезать дно багажного ящика, брызнуть мне в лицо сонный порошок и т. д. Эти разговоры не прибавили мне бодрости.

К моменту отъезда на вокзал стал накрапывать дождь, до метро «Парк культуры и отдыха» путь довольно длинный. Пришлось обернуть рукописи клеенкой, и два моих племянника бодро и весело понесли пакеты, а я бежала за ними, не спуская с них глаз. Наконец приехали на вокзал, вошли в вагон и водворили рукописи в багажный ящик. Я села на него; потом легла и до утра не покидала своего поста, время от времени проверяя целость багажа. Сергей Васильевич Обручев вежливо выразил удовлетворение от «неожиданной» встречи. Мы беседовали на различные темы, не касаясь Пушкина. Конечно, я не спала всю ночь!

Подъезжаем к Ленинграду. Меня должен был встречать наш завхоз, милейший Степан Гаврилович Бобров. Я прошу Обручева задержаться и говорю, что везу бесценный груз, и пока не придет встречающий — пусть он меня не покидает... «Что же это за груз? — спрашивает Сергей Васильевич.— Урановая руда?» — «Гораздо ценнее — рукописи Пушкина!» — отвечаю я и откидываю крышку багажника. Вижу, как лицо моего спутника постепенно бледнеет... «И вы одна их везете?» — «Нет, не одна — с вами!» И я рассказала Обручеву, как брала билет в надежде на его помощь. Тем временем пришел Степан Гаврилович, и я рассталась с потрясенным геологом.

Степан Гаврилович приехал на грузовике (легковая машина была занята, поэтому он и задержался). Он предложил мне сесть рядом с шофером, но я не могла расстаться с рукописями и полезла в кузов машины, куда положили пакеты.

Весь Рукописный отдел во главе с Борисом Викторовичем Томашевским встретил нас на пороге института. Когда я внесла пакеты и положила их к ногам Бориса Викторовича, раздались аплодисменты. Потом в его кабинете состоялся банкет. Открывая его, Томашевский поднял бокал в память Льва Борисовича Модзалевского, который так долго ждал этого дня, так много сделал для воссоединения пушкинского рукописного наследия и не дожил до него...

Меня просили подробно рассказать, как я везла рукописи. Рассказала я и о роли Обручева. Оказывается, Татьяна Григорьевна уже звонила и пыталась напугать Бориса Викторовича. Не знаю, что он ей ответил, но, когда я его спросила, как он не побоялся доверить мне рукописи, он ответил: «Я знал, кому доверяю!» Эти слова были мне лучшей наградой. А потом Борис Викторович напомнил, как еще в 1928 году, когда я и моя подруга Зинаида Дмитриевна Дамперова, будучи студентками Института истории искусств, проходили практику в Пушкинском доме, он поручил нам составить список хранящихся в Рукописном отделе рукописей поэта. «И долго еще эта, уже потрепанная тетрадь служила единственным справочником к автографам Пушкина. Она у нас так и называлась: „Список Дамперовой и Мясоедовой [1]“»,— добавил Борис Викторович.

Теперь в Рукописном отделе не осталось свидетелей радостного события, каким было объединение всех, известных в то время рукописей поэта.

[1] См.: Малова М. И. Обзор новых материалов, поступивших в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР в 1946—1948 годах.— Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома, вып. III, М.— Л., 1952, с. 85.

[1] Моя девичья фамилия.



Димитрий Панин

«ЛУБЯНКА — ЭКИБАСТУЗ». ЛАГЕРНЫЕ ЗАПИСКИ

Главы из книги первой

Глава 17

НА ШАРАШКЕ (Продолжение)

Чистые сердцем

«Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят».
(Мф. 5:8)

Давным-давно внешние признаки перестали для меня иметь значение. Нет для меня ни эллина, ни иудея; я не отбрасывал людей за принадлежность к коммунистической партии, на безбожников научился смотреть как на братьев, требующих скорой помощи... Я старался заменять эти названия оценками по существу, проверять человека по тому, удовлетворнет ли он следующим признакам:

— одних слов мало, нужны дела;

— доказывай, отстаивай свои убеждения, но умей признать себя побежденным и отойти от ошибочного, тогда только двинешься вперед;

— люби ближнего и помогай ему сегодня, а не в расчете на будущие поколения. Спроси его, что нужно, а не навязывай свое;

— не разжигай злобы, зависти; гаси мстительные чувства. Помни, что люди — братья и многое можно решить мирным путем. Когда же потребуется, умей заступиться за обиженных и сражаться средствами, не уступающими нападающей стороне.

Для некоторых людей достаточно одного признака, и они пленят тебя сильнее, чем те, у которых много других качеств. На моей родине остались единицы людей зрелого возраста из чудесной породы чистых сердцем, и режим подавления поставил на них высокую пробу и гарантию крепости.

Таким был Копелев. Как-то раз, в один из периодов наших мирных с Львом отношений, сидели мы вечером после ужина на койках. Задумчивая улыбка блуждала на его губах, и, скинув на мгновение панцирь партийности, он прочитал задушевно на память из апостола Павла:

— «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею — нет мне в том никакой пользы». Как хорошо сказано,— проронил он.— Не будь марксизма, стоял бы я за это горой.

— Лев,— ответил я.— Вот сейчас ты настоящий. Брось упираться, мусор не защитишь. На пиру мужей останешься смешным и жалким. Если же возьмешь на вооружение истину, то будет мало тебе равных. В моем сердце славянский Перун свил гнездо; христианство для меня — обитель спасения, источник чистоты и великих поучений... Только, увы, часто, как и большинство людей, я бывал далек от требований Спасителя... Я трачу много сил на преодоление соблазнов, на то, чтобы скрыть свои недостатки, быть отзывчивым, побороть высокомерие, насмешливость, ибо обязан себя исправлять. Ты, наоборот, сознательно себя портишь, но чуть высунешься из своей скорлупы, как добро из тебя так и лезет. Ведь ты христианин в душе, и тебе можно только позавидовать.

Десять минут расслабления перед звонком на вечернюю смену помогли прогнать усталость, и Лев снова стал убежденным сторонником коммунизма.

Второй такой человек — самая близкая мне в последние годы женщина. Она родилась в 1922 году и своей матерью-идеалисткой была воспитана в лояльности к режиму. Училась она в знаменитой московской 25-й образцовой школе, где были дети высокопоставленных кремлевских сановников, в том числе Светлана и Василий Сталины. Студенткой в патриотическом порыве ушла добровольно на фронт, где была в армейской разведке и получила контузию. По тогдашней традиции, во время боевых операций вступила там в партию, в которой состояла тридцать лет. За эти долгие годы несчетное число раз отсиживала на партийных собраниях, но грязные их поручения обходили ее стороной, так как всем было ясно, что с дерзновенной смелостью она от них откажется. В 1943 году ее таскают к следователю по делу арестованных молодых людей, но ничего от нее добиться не могут. В годы усиления диктатуры, перед смертью Сталина, она безбоязненно выступает в защиту человека, объявленного врагом народа, после чего начинаются гонения, увольнение с работы. В семьдесят первом, после двух инфарктов, эта нежная хрупкая женщина проводит одна сражение со сворой партийных чинуш. Ей удалось втайне от них сделать магнитофонную запись, являющуюся документом эпохи; в ее голосе звучит металл полководца. Я никогда не поверил бы, если бы не знал ее жизни, что она хоть неделю могла находиться в партии — столь чиста она, отзывчива и бесхитростна. Дом этой женщины был приютом обиженных и гонимых, им принадлежало ее свободное время, и нуждающимся оказывалась помощь. От дурных поступков ее всегда сохраняла чистота сердца, а добрые дела укрепляли душу.

Потаповы

С инженером, который в романе «В круге первом» назван Потаповым, я не сказал на шарашке, пожалуй, ни одного слова. Я испытывал к нему резкую антипатию, хотя ни мне, ни другим товарищам он не сделал ничего плохого. Достаточно о нем вспомнить, как я мгновенно заряжаюсь презрением, как будто по мне пробегает искра от индуктора. Но я воспринимаю этот персонаж Солженицына иначе, чем он.

Для меня Потапов — символ людей доброй воли, которые забыли свой долг, высшие обязательства перед людьми и полезли на брюхе прислуживать, а по существу, подпирать и спасать режим террора и угнетения. Он понимал все не хуже нас, но никогда не высказывал своих потаенных мыслей, а беседовал только на нейтральные темы с такими же, как он, умниками. Смертельно боялся он не угодить начальству и попасть на заметку оперуполномоченному. Он был человек незаурядных способностей, хороший инженер и лез из кожи вон, чтобы прослыть незаменимым специалистом. В этом он вполне преуспел, удержался дольше всех на шарашке, хотя не был специалистом по телефонии, а обслуживал только технику измерения. Солженицын назвал его недоуменным роботом. Под робота он действительно маскировался, но недоуменности, то есть сомнения, колебания вследствие непонимания — в нем не было ни на грош. С природным трудолюбием роботом быть легко, и такое положение дает много преимуществ: безопасность, хорошее отношение начальства, повышенное питание, предельный в тех условиях заработок, свидания с женой. Большинство заключенных относилось к нему благожелательно, так как он отвечал двум главным требованиям: не был стукачом и вором. В общем восприятии он был человеком положительным, умел расточать улыбки и пересыпал свою речь цитатами из пушкинского «Евгения Онегина». Я видел его нутро, и его двойная, по существу, игра была мне отвратительна. Когда распропагандированный с детства человек, испорченный и разложившийся, думает только о себе и плюет на остальных — это понятно, и ко множеству встречавшихся на моем пути я зачастую испытывал чувство горечи и жалости, видя, как их страшно изуродовали. С Потаповым дело обстояло иначе. До 1917 года он успел еще поучиться в реальном училище, изучал Закон Божий, воспитывался в христианской семье, знал, что многие из его родни и окружения были посажены, расстреляны, высланы... и предпочел забраться в скорлупу благополучия, надев личину управляемого робота. До войны ему — ведущему инженеру Днепровской электростанции — удалось избежать ареста в 1937 году. Оказавшись во время войны в плену, он думал только о том, как уцелеть и по возвращении не испортить отношений со сталинской деспотией, но просчитался. Исключений для военнопленных не делали; органы его не пощадили и дали десятку. В заключении он побивал рекорды трудолюбия и лакейской старательности, после шарашки, на воле, быстро приобрел квартиру, обстановку, машину, дачу... Ему всегда были безразличны те, кто борется, недоволен, кого мучают, лишь бы самому хорошо, а там —

Продолжение. См.: «Звезда», 1991, № 1.

хоть трава не расти. Таких, как Потапов, много, и в их среде он был хорошо принят. О тех, кто действовал, прислушиваясь к голосу совести, он рассуждал как о неудачниках, чудаках, лишенных чувства реальности. Случайно мы встретились у общего знакомого в середине шестидесятых годов. Потапов был высокомерен, самодоволен, как и ранее, не проронил ни слова в разговорах, которые велись о политических событиях, и оставил во мне гадкое впечатление.

Потаповы, только постарше нашего героя на десять, пятнадцать, двадцать, тридцать лет, явились истинными виновниками катастрофы, начавшейся в 1917 году.

Потаповы — офицеры в Петрограде и в Москве — отсиживались в октябрьские деньки семнадцатого года по квартирам, играли в преферанс и пили кофе. Они держали, как любили тогда говорить, нейтралитет, иными словами — не вмешивались в события всемирной важности. Если они не понимали общего смысла происходящего, то обязаны были хоть позаботиться о своей судьбе. Одним мешали интеллигентские бредни, другим — нерешительность и робость, но большинство не хотело жертвовать собой. Такая позиция привела к поражению Временного правительства, разгрому юнкеров в Москве, разгону Учредительного собрания. Потаповы надеялись, что кто-то за них справится с горсткой сагитированных матросов и солдат из запасных полков, даже не обстрелянных или не успевших еще побывать на фронте. Но этого не случилось, а, наоборот, их потащили в Чека, поставили к стенке или записали в Красную Армию. Мобилизованные решили служить верой и правдой, иначе комиссар мог пристрелить или отправить в Чека, и, таким образом, на стороне красных добросовестно воевали офицеры, внутренне с отвращением и ненавистью относившиеся к своим хозяевам. В создавшейся ситуации о нейтралитете быстро забыли. Генеральный штаб российской императорской армии почти весь состоял из потаповых, и они перешли в Генштаб Красной Армии.

Огромной была прослойка потаповых среди деловых людей — банковских и прочих служащих. Не было бы их помощи — полный паралич охватил бы страну через несколько месяцев.

В последующие годы, когда страна ковала свою мощь, стремясь до зубов вооружиться, в специальных конструкторских бюро, состоящих из заключенных, разрабатывались лучшие образцы пушек, танков, самолетов, стрелкового оружия... Штурмом брали изобретатели бюрократические твердыни, пробивая дорогу своим бомбардировщикам, истребителям, ракетам, газам, бактериям... Их жалкие отговорки о том, что они вооружают родину и тем спасают ее от Гитлера, после войны заменились погудками о капиталистическом окружении и американском империализме. Но кто же они, эти помощники режима? Быть может, это исчадия ада, вампиры, демоны?.. О нет! В большинстве своем — это потаповы безбожного производства, расплодившиеся в огромном количестве. Ими набиты номерные засекреченные институты, специальные военные опытные заводы, работающие на военную промышленность. За ничтожную премию они стремятся родить рационализаторские предложения, сделать открытия военного значения. Они думают о диссертациях и научных степенях со всеми вытекающими материальными благами. И ради этого готовы продать душу черту.

Все, кто обеспечивает современные деспотии атомными и сверхводородными бомбами, баллистическими ракетами, а также прочим, пока не известным оружием массового уничтожения, должны осознать, что если они участвуют в разработке таких идей, то являются людоедами или потаповыми. В первом случае их не смущает перспектива уничтожения неповинных людей. Во втором случае им все ясно, но они занимаются подготовкой массовых убийств из шкурнических интересов.

Но у потаповых огромное преимущество: по своей натуре они люди доброй воли, поэтому способны все прекрасно понять и исправить свое поведение. Для этого, покуда их страна — агрессор, захватчик и поработитель как своего, так и других народов, прежде всего, для ее же блага, надо перестать ее вооружать, а тем более — оружием массового уничтожения.

Стар и млад

Среди нас был двадцатидвухлетний американец — мулат, рожденный от брака еврея и негритянки. В Москве он что-то делал в американском посольстве, успел жениться, начал, кажется, предпринимать шаги для перемены гражданства, но в это время его «запутали» и дали двадцать пять лет. Специальности у него не было, и держали его в отделе оформления, где он что-то научился клеить. Лицо у Мориса было темноватое, волосы курчавые, черные, под ногтями была заметна синева. О последней особенности мы до этого только читали, и нам было интересно увидеть это воочию.

С двадцатых годов нам вколачивали в головы, что негры в Америке существуют для того, чтобы их линчевали; потом оказалось, что этим занимаются только в южных штатах, а в лагере удалось познакомиться со статистикой, по которой в СССР количество блатных самосудов и убийств «проигранных в карты» за один месяц превышало жертвы ку-клукс-клана за десять лет. Так или иначе, но все сходилось на том, что негры еще не пользуются полностью свободами и правами американских граждан. Таким образом, сочувствие Морису было обеспечено, и тем не менее он его как-то нарушал своим поведением и выходками, несколько выделяясь из нашей среды: например, нам казалось, что он слишком развязно и шумно вел себя за обеденным столом.

Прославился он на всю шарашку, когда подал начальнику тюрьмы заявление в стихах с просьбой о новой паре ботинок. Замысел Мориса был приведен в исполнение Львом: в издевательском тоне презренный зэк Морис писал, что ему нужны не простые ботинки, а лишь такие, которые он не сумеет износить за свой пустяковый срок в двадцать пять лет. Он надеялся, что его сыновья и внуки тоже поносят эти замечательные ботинки. Даже на шарашке пары ботинок едва хватало на год, на общих работах срок носки исчислялся неделями — гротескность ситуации была вызывающей. Поэма заканчивалась так: «подписался удрученный, Морис Гершман — заключенный». Недели две Морис был героем дня, вызывал улыбки, и как-то это сошло ему с рук.

В следующий раз свое свободолюбие он выразил совершенно невероятным образом. На ужин нам дали подгоревшую кашу. Я даже не обратил на это внимания, съел запросто полагающуюся порцию; зэки побогаче молча отодвинули еду. Морис схватил тарелку и пустил ее вдоль пола по коридору между столами в сторону шедшего навстречу офицера надзора. В колледжах США, возможно, это было бы в порядке вещей, но на первом лагпункте МГБ, как именовалась наша шарага, такая шуточка была равносильна брошенной бомбе. Опешивший чин хотел сделать какое-то замечание, но Морис его опередил и накричал на него первый. Смысл сказанного сводился к тому, что он — не свинья, жрать всякие отбросы не обязан, жить в этой стране не желает и требует, чтобы его выслали в Штаты... Эффект был необычен: чин старался его успокоить и прекратить крик. Любого из нас тотчас посадили бы в комендатуру и увезли бы в Бутырки, хорошо, если просто в карцер, а не на переследствие... Но с Морисом все произошло иначе: его вызвали, пообещали отправить в лагерь, он еще раз надерзил, и когда наконец его увезли, часть зэков решила, что это — на пересуд, с целью отправить в Америку. Если прогноз оправдался, то посылаю ему запоздалое, но горячее поздравление старого зэка.

С сотрудником Резерфорда профессором Светницким я встретился три раза. В сорок первом он провел недели две в этапной бутырской камере. Тогда он был крепким, здоровым мужчиной лет шестидесяти. Я думаю, что этот крупный ученый оставил бы по себе заметный след, если бы не его опрометчивое возвращение в тридцать седьмом «на родину». Кроме физики и химии он был великолепным знатоком персидских поэтов и, по нашей просьбе, читал наизусть Саади, Фирдоуси... Он охотно рассказывал также о своих путешествиях и жизни на Западе. К тому времени мы слышали уже много блестящих повествований и были достаточно избалованными, но внимали его описаниям с большим интересом и без тени скуки.

В сорок восьмом профессор появился на шарашке в качестве вольнонаемного в одной из секретных лабораторий. Он обрюзг, черты лица его деформировались, зубы выпали. Меня он не узнал, и я, чтобы его не смутить, тоже не подал виду. Однажды я отважился спросить у него, каково его мнение о принципе Ле Шателье, о котором я читал в учебнике физической химии в тридцать пятом. Он отреагировал немедленно: «Правило считается теперь устаревшим, и я не советую вам им пользоваться».

Через несколько месяцев профессора снова арестовали, и его фотографию сняли с доски почета, на которой теперь зияло пустое место, об этом рассказывает и Солженицын в «Круге». Весть разнеслась немедленно среди заключенных, и проклятия посыпались в адрес мучителей, взявшихся за новые истязания семидесятилетнего маститого ученого.

В третий раз наша встреча произошла заочно. Мой хороший знакомый, бывший зэк с Колымы, сидевший с ним в одной камере в пятидесятые годы во время переследствия, побывал у него в конце шестидесятых в гостях в Москве. Девяностолетний старец сохранил живость ума и прочел ему свой стишок: «И голод, и холод — я все пережил, но я еще молод и ... на них положил».

Афанасьев был ни юн, ни стар, а в расцвете сил. Он был самородок: обладал изумительной одаренностью и богатейшими способностями в различных областях, но не имел законченного высшего образования. Все горело в его руках, и он становился профессионалом в любой области. На шарашке он занимался телевидением и в сорок девятом построил телевизор с самым крупным тогда в СССР экраном (600 × 600 мм). Афанасьев обладал также музыкальной одаренностью и играл на скрипке. Он был хорошим христианином, но нрава гордого, независимого и, обладая высоким чувством собственного достоинства, не признавал пятую заповедь зэка «не задирайся!», что приносило ему много неприятностей в заключении. На следствии он вел себя тоже страшно вызывающе, отказывался давать показания, запирался, обличал следователей в преступной фабрикации дел. Своим характером он восстановил против себя многих, и чекисты постарались заставить однодельцев наговорить на него как можно больше. Факт непризнания не играл тогда существенной роли, следователи его перекрыли массой враждебных показаний, и суд вынес

высшую меру наказания. Кассационной жалобы он писать не стал, но в этот период расстрелами не увлекались, так как нужна была даровая рабочая сила, и юрист при тюрьме написал ее за него. В час казни его вызвали из камеры смертников с вещами, и «комендант смерти», как тогда в политических тюрьмах величали палачей, приказал ему заложить руки назад и, наставив на него сзади пистолет, повел его по коридорам, залам, лестницам огромного подземелья. Хождение окончилось у первой двери, где ему дали расписаться под заменой смертной казни десятью годами заключения. Произведенная операция была актом бессильной адской злобы чекистов, так как в советской тюрьме установилось правило — давать бумагу о помиловании смертнику сразу после выхода из камеры. Экзекуция оставила на затылке Афанасьева две проплешинки сантиметра полтора в диаметре, так как в ожидании смерти в его сознании протекали нервные процессы, запечатлевшие картину неминуемых двух чекистских выстрелов в затылок. Особенно резко проплешинки бросились в глаза, когда его вернули на шарашку после пятисуточного карцера, где его остригли наголо. Кстати, в карцер он попал тоже за то, что крепко надерзил высшему начальнику: другого списали бы с шарашки, но его, как прекрасного работника, подвергли лишь наказанию.

Я к нему питал живейшую симпатию, и мы два раза в общей компании праздновали Рождество и Пасху, хотя по натуре он был одиночкой и друзей у него не было. В день отъезда я зашел попрощаться в его лабораторию, благо она не считалась секретной, и провел несколько минут с ним и с хорошенькой вольнонаемной сотрудницей отдела. Я подумал, что не миновать Афанасьеву вскоре очередного карцера за эту неположенную связь, так как, видимо, сам того не желая, этот великолепный человек вызвал в ней сильное чувство.

Фауст двадцатого века

Почти все персонажи романа Солженицына имеют своих прототипов. Нержин, Рубин, Кондрашов, Прянишников, Спиридонов списаны как бы с натуры. Агния, Бобынин, Иннокентий слеплены из разных людей. Яконов, Ройтман, Шикин, Герасимович, Абакумов, Сталин и другие подверглись творческой обработке автора. С одним из персонажей — художником Кондрашовым — я много встречался в московский период, с 1959 по 1967 год, вплоть до момента нашей ссоры.

Кондрашов был далек от политических и общественных интересов, влюблен в свое искусство. По образованию математик, он был знатоком изящной словесности, любителем античной и классической западной философии. Бога он не отрицал, но относился к Нему как к некой надмирной величине, не обязывающей его к конфессиональным проявлениям. В московской жизни, где многие книги были недоступны, необходим был — гораздо больше, чем на Западе,— активный обмен мнениями, без которого жизнь для меня теряет смысл. Я в нем видел не только одного из художников, к которым меня всегда тянуло, но и серьезного человека, с которым можно поспорить. Полагаю, что меня он воспринимал также не как критика искусства. Я обычно воздерживался от обсуждения его картин, но однажды посчитал для себя невозможным не вникнуть в его творчество.

Он принадлежал скорей к художникам-реалистам девятнадцатого века: люди были похожи на людей, чашка чая была объемной и реальной, дерево было деревом, а не схемой. Но иногда он мог сделать ухо несоразмерной с лицом длины, когда лепил из пластилина голову человека. Ему была свойственна яркость красок, которые он мастерски умел применять. Следовало бы отбирать у него картины, так как он никогда не мог успокоиться и большинство из них портил бесконечными подрисовками и усовершенствованиями. Десять лет писал он картину «Отелло, Дездемона, Яго». Начал он, как всегда, с головы, и в пятьдесят девятом, то есть через два года, картина, на мой взгляд, была окончена. Дездемона стояла у балюстрады лестницы, как бы предчувствуя нависшую угрозу смерти: лицо было пепельно-бледным, глаза опущены. На ступеньку выше стоял Отелло, склонив к ней массивную голову. Крупные черты, искаженные ненавистью и мукой, были схвачены прекрасно, волосы казались глыбами камней. Видно было, как гнев борется с любовью, подозрение с надеждой... Краски одеяния гармонировали со смятенным состоянием души, багрово-красный плащ напоминал откинутое крыло... Мне хотелось убрать только Яго с авансцены, а в остальном картина была полностью закончена. Кондрашов придерживался иного мнения и считал, что сделанное — лишь промежуточная ступень.

Он работал еще восемь лет, ревниво охранял свое детище и решил показать мне его только после окончательной доработки. Наконец, летом шестьдесят седьмого, наступил этот день. Перед моим изумленным взором предстало нечто чудовищное: шея Отелло удлинилась и напоминала тело крупного питона, зато голова уменьшилась в размерах и стала как бы змеиной, веки напоминали чешую аллигатора. Дездемона превратилась в самодовольную дьяволицу, лукаво, из-под приопущенных век поглядывающую в сторону Яго, довольную, что сумела вызвать ревность Отелло. На первой картине Яго был искусным интриганом, на второй — демоном, носителем лукавства, развала, мстительности... Я остолбенел: это было какое-то наваждение. Я потребовал первый вариант и после сравнения убедился в характере искажений. Тогда я обратился к художнику со следующими словами:

— Вы отдали душу черту. Вы — Фауст двадцатого века. Но старый Фауст совершил сделку сознательно и на определенных условиях, вы же бессознательно попали в когтистые лапы. Вы — бескорыстный, чистый человек, и потому ваш опыт имеет огромное, потрясающее значение. Ваше окончательное произведение — расплата за недомыслие и небрежность в религиозных вопросах. Вы загасили свое стремление ввысь, к Богу. Отделяя и тем самым уничтожая форму, вы убили содержание. Ваш высокий замысел о рыцарях, охраняющих чашу святого Грааля, все время откладывается, и, наверное, картина никогда не будет написана. Для этого нужен особый строй души, который вы не просто утеряли. Вы до него не доросли. Недостойным интеллигентским словоблудием вы оправдали свой отход от Церкви, забывая, что жизнь наша — сплошной капкан, в котором мы запутаны и завязаны. Вы превратились в инструмент, воспринимающий дьявольские инспирации, и картина служит тому ярким доказательством.

Кондрашов обиделся, и наши отношения с тех пор резко охладились. На прощание я попросил его не уничтожать оба варианта — сохранить их для современников и потомства.

Глава 18

НА КАТОРГЕ (1950—1953)

Сталинская каторга

В 1943 году Сталин перешел к наступлению на фронтах и ознаменовал его двумя новшествами:

— введением смертной казни через повешение для особо провинившихся, оставляя, естественно, в силе при этом расстрелы для остальных;

— открытием каторги.

Генералиссимус Сталин нацепил на плечи военнослужащих Красной Армии старые императорские погоны. Тот же ход мысли подсказал гениальному стратегу и полководцу обратиться к царским архивам и извлечь оттуда сведения о содержании каторжан в царское время. Режим в смысле строгостей не смог удовлетворить лучшего друга чекистов. Царская каторга была малиной: норм выработки, конечно, не было, в девятисотые годы каторжные работы становились тоже не обязательными. Самое возмутительное было с кормежкой. У лучшего друга всех родов советских войск так не кормили даже старших офицеров: хлеб от пуза, то есть вволю, к нему гречневая каша с пережаренными свиными шкварками, и отдельно к этому рациону выдавался на палочке с весов ровно фунт мяса.

Универсальный гений Сталина в заимствованную идею внес, как всегда, безапелляционные коррективы. Каторжан ставили на исключительно тяжелые работы; для них были выделены отдельные лагпункты, где бараки запирали на ночь; на лагерную одежду нашили по четыре номера — на шапке, спине, груди, над коленом. Десятники, особенно в первое время, беспощадно вычеркивали туфту из нарядов. В столовую каторжников водили строем побригадно, за малейшую провинность сажали в карцер, на работах не смешивали с обычными заключенными. Чекистами были пущены слухи, что в число каторжан попадают только самые матерые изменники, гестаповцы, палачи.

Однажды, когда я еще работал на заводе, меня послали на один из каторжных объектов, существовавших на Воркуте параллельно с обычными, к каторжнику Боброву, гениальному инженеру, которого, нарушая инструкцию, использовали в качестве консультанта по самым сложным вопросам. На объекте его изымали из остальной массы каторжан, и он работал в отдельном помещении конторского типа с несколькими вольнонаемными. На меня он произвел огромное впечатление. Он был рослый, спокойный, с правильным, но грубо вычерченным профилем. Сразу бросалась в глаза его огромная сила ума и воли. У немцев он работал главным инженером на одном из заводов Мессершмитта и рассказывал мне о стычке с маршалом Герингом, из которой вышел победителем. Инженер Бобынин на шарашке «Круга» не имел прототипа, и Солженицын создал этот образ, в какой-то мере увлекшись моими воспоминаниями об этом прекрасном человеке. Инженер Бобров иронически усмехнулся, когда однажды я спросил, кто остальные каторжники, и дал мне понять, что, в основном, это безвредные украинские крестьяне, посаженные по доносам. Позже, в спецлагах, мы убедились в справедливости такой оценки: опасных и крупных военных преступников, пойманных на оккупированных территориях, посылали на виселицу или расстреливали, а мелочь кидали на каторгу.

Много раз в своей жизни получал я благословение священников. Но благословение этой маленькой замученной женщины на неизвестном затерянном полустанке сравнимо для меня по значению и силе с благословением самого папы римского, которое снизошло на меня во время пребывания в вечном городе.

Песчанлаг — Степлаг

Подготовку к третьей мировой войне Сталин, по своему обыкновению, проводил под лозунгом «укрепления тыла». К усиленным посадкам по старым спискам прибавились массовые аресты евреев, проводимые под лозунгом борьбы с «безродным космополитизмом», биологов, именовавшихся вейсманистами-морганистами», бывших зэков, которые к тому времени уже вышли из заключения, тех, кто имел хоть отдаленное отношение к оппозициям... Всех заключенных, кто мог вызывать опасения, в первую очередь бывших вояк, по замыслу параноика, боявшегося своей тени, сосредоточили в спецлагерях, или, как их иначе называли, особлагах. В них проводился режим, утвержденный в сорок третьем для каторжан. Поэтому всех каторжан передали в особлаги. Власть лишний раз доказала свое беззаконие и произвол, поскольку осужденных к содержанию в исправительно-трудовых лагерях (итл) запросто перевели в разряд каторжников. Особлаги были организованы в 1948 году, и им были присвоены кодовые клички: на Воркуте — Речлаг, на Колыме — Берлаг, в Тайшете — Озерлаг, в Мордовии — Дубровлаг, в Казахстане — Песчанлаг и Степлаг. Экибастуз, куда нас привезли, входил попеременно в последние два особлага.

В конце августа 1950 года наш этап из Павлодарской тюрьмы был передан в руки конвоя Песчаного лагеря. Много конвоиров видел я до этого, но о таких бандитах приходилось только слышать. Правда, состав заключенных тоже был боевой и за ответом в карман не лезли. Среди западников, как мы называли украинцев из западных областей, многие носили кресты на шее, и мы заранее договорились, как отвечать конвою. Обыскивающий меня схватился лапой за шнурок, на котором висел нательный крестик, но не рванул, а вопросительно глянул мне в глаза. Я был в его власти больше, чем кто-либо, так как он мог отобрать мои записки. Поэтому без крика, но очень твердо, я заявил, что не сдвинусь с места. Наученный прежними этапами, он не осмелился доставить себе садистского удовольствия сорвать с меня крест.

Нас погрузили по двадцать пять человек с вещами на трехтонные грузовики, передняя часть которых была отгорожена для трех-четырех конвоиров с автоматами. Грузовики мчались по бездорожью степи. В сумерках и ночью конвой палил в небо из ракетниц. В пути нас выгрузили на оправку: представилась полная возможность разоружить конвой и на машинах доехать обратно до города. Но люди не были подготовлены к такой возможности, а те, кто верховодил, на побег ставку не делали.

Ночью добрались до Экибастуза. Вопреки нашим разъяснениям, многие надеялись, что везут не на каторгу, но убедились в своей ошибке, увидев нарядчиков и прочих придурков, украшенных номерами на всех положенных местах. Из расспросов поняли, что кормежка достаточная, доходяг нет, посылки разрешены, режим очень строгий, каторжный, гарантийная пайка — семьсот граммов хлеба, блатных почти нет, женщин, естественно, тоже, на работу по специальности с общих работ вырваться тяжело. Кроме лагерной тюрьмы, был в зоне барак с намордниками и решетками на окнах, отгороженный колючей проволокой,— бур (барак усиленного режима). Впрочем, и в остальных бараках на окнах были решетки и на ночь двери запирались. Все это не было новостью, так как об этом рассказывали привезенные на шарашку особлаговцы.

За два дня нас обмундировали, выдали тряпки, и художник каждому из нас написал краской его номера. После этого нас разбили на бригады и вывели на общие работы — рытье траншей под финские домики. Недели через две мы перешли к каменной кладке. Посылок я не получал, следовательно, расходовать энергию надо было экономно и задерживаться на общих работах было недопустимо, тем более, что по десятой заповеди зэка я был обязан не быть никому в тягость. Я пробовал помочь бригадиру в описании нарядов и на первых порах включал все вспомогательные действительно выполненные работы, вроде переноски деталей домиков, и составлял акты на время простоя по вине производства... Вольный десятник все, что я делал, вычеркивал. Я понял, что полезным при таком отношении быть не могу, и посоветовал бригадиру требовать от зэков выработки норм до момента, когда еще выдается гарантийка, и не превышать этот минимум; кажется, полагалось для этого выполнить работу на тридцать процентов. Большинство «западников» начало получать уже посылки из дома, и уменьшение пайки не страшило.

Вскоре мне и еще одному инженеру повезло — удалось устроиться на деревообделочный комбинат. Нас числили за маленькой мехмастерской, но на нас лежала задача пустить в ход установку для получения жидкого кислорода, которая в полуразрушенном состоянии стояла в наскоро слепленном вокруг нее помещении каркасного типа. До этого оборудование держали целый год под брезентом на улице. Зеркала цилиндров компрессора поржавели, приборы разворовали, много трубок исчезло, документацию пустили на

курево. Во всеоружии седьмой заповеди и вспомнив, как Тиль Уленшпигель писал портреты знатных сеньоров, я с непоколебимым апломбом заявил, что берусь наладить и пустить установку. Расчет был исключительно прост. Зная советское снабжение, не говоря уж о лагерном, я был уверен, что пока будут доставать необходимые материалы, приборы, лабораторные устройства, кончится мой срок заключения.

Не боги горшки обжигают, и месяца за три я вполне разобрался в действии этого агрегата, составил чертежи на необходимые части и написал заявку в отдел снабжения на недостающее для пуска и эксплуатации снаряжение. В тресте Иртышуглестрой поняли, что гораздо проще получить новую установку, чем достать десятую часть того, что мною было указано, и прекратили дальнейшие работы. К тому времени я уже свел знакомство с инженерами, руководившими главной механической мастерской. В особлаге перевод на другой объект не поощрялся, так же, как использование инженеров по специальности. Тогда возник план, по которому я должен был занять место переброшенного на другой участок бригадира. Пришлось согласиться и два месяца выводить бригаду на работу. Целый день был у меня совершенно свободен. По собственному почину я выполнял работу конструктора и завоевал быстро признание со стороны вольнонаемного начальника мастерской, который сумел меня отвоевать у лагеря. На мое место бригадиром удалось поставить Солженицына, который всю осень и зиму пробыл на общих работах. Я считал себя обязанным устроить другу временную передышку, которая позволяла ему отдаться творчеству.

С наступлением тепла Солженицын начал читать наизусть свое первое произведение — поэму «Дорога». Мы собирались под вечер, рассаживались на телогрейках, на подсохшей земле и с восторгом слушали. Память у Солженицына была гигантской, так как по объему его произведение было в два с лишним раза больше «Евгения Онегина», в котором около 5400 стихотворных строчек. Чтобы не сбиться и ничего не пропустить, Саня откладывал каждый стих на четках, которые ему подарил кто-то из западных паренькоа.

Лет через семь, уже после ссылки, когда Саня проездом был в Москве, я спросил его о судьбе первого детища. Он ответил, что далеко ушел вперед, видит в поэме ряд недостатков, в частности, растянутость, повторы, и собирается ее переделать. Я горячо уговаривал его оставить все как есть, не трогать экибастузский вариант и создать, если у него есть потребность, другую поэму по канонам книжной поэзии пятидесятых годов нашего века. Я крайне огорчен, если он не внял моему совету и уничтожил подлинник уникального и неповторимого памятника тех каторжных лет, переливающегося для меня красками молодости, силы и душевной чистоты.

Солженицыну при жизни следовало бы поставить памятник. Изобразить его в темном бушлате и офицерской ушанке каменщиком в момент передыха на кладке стены из черного мрамора. Шея замотана вафельным полотенцем, лицо сосредоточенно, взгляд устремлен вдаль, губы шепчут стихи, в руках четки. Так читал он нам каждую неделю новые строфы все возраставшей поэмы.

Потрясающим было то, что слагал он ее сразу в уме, почти никогда не прибегая к бумаге, так как риск был огромным. Однажды вечером он потерял листок, на котором все же что-то записал, и не обнаружил его в бараке. Всю ночь он проворочался на жестком ложе, с первым ударом подъема был уже у двери и, выскочив, проделал наиболее вероятный маршрут, который восстановил в памяти. О диво! Листок, исписанный его столь характерным почерком, попал в расщелину между камнями на дороге. Саня занимался творчеством в обстановке слежки и регулярного надзора, и попадись этот клочок бумаги в лапы надзирателя, было бы создано лагерное дело. В это время Саня выходил еще ежедневно на работу в качестве каменщика. Мы были горды, что в нашей среде формируется писатель огромного калибра, так как это уже тогда было ясно.

Перевод целой бригады с одного объекта на другой осуществить было гораздо проще, чем перемещение из бригады в бригаду, связанное с использованием по специальности. Нам удалось заполучить в мехмастерскую три бригады с подходящим составом людей, в том числе и Павлика.

Страх и недоверие Сталина к людям достигли в то время своего апогея. Достаточно перечислить количество выслеживающих друг друга чекистских инстанций, таких, как надзорсостав, оперуполномоченный министерства внутренних дел (МВД), оперуполномоченный министерства государственной безопасности (МГБ), таинственный оперуполномоченный отдела «К» или «М», который, по слухам, докладывал чинам дворцовой охраны Сталина и надзирал над всеми. Специальные помещения были отведены под штаб надзорслужбы и кабинеты оперуполномоченных.

Ограды вокруг лагеря были столь же чудовищны, как и пирамиды надзора. Колючей проволокой были опутаны зона и предзонники, надолбы из бревен с заостренными концами были врыты наклонно под углом в сорок пять градусов и направлены внутрь жилого пространства. Между двумя заборами была натянута проволока и продета в ошейники свободно бегающих специально выдрессированных овчарок. Одно из колец, опоясывающих лагерь, постоянно распахивали, дабы след беглеца мог отпечататься на свежей земле.

В самой зоне был построен каменный изолятор — лагерная тюрьма — с сырыми неотапливаемыми карцерами и отгорожен колючей проволокой барак усиленного режима. Внешние атрибуты терроризма давили на слабые души.

Буревестник

За малейшие провинности можно было угодить из общей зоны сразу в бур. В буревестнике, как мы его называли, содержались беглецы, молитвенники-богомольцы, отказчики от работ, на которых пришлось махнуть рукой, жертвы стукачей. До бура они отсидели положенное в изоляторе. Одним из постоянных обитателей этого невеселого места был Герой Советского Союза майор Воробьев — эталон беглецов особлага. Еще человек десять следовали его примеру и большую часть времени проводили в изоляторе. Когда из бура их выводили в каменоломни на особо тяжелые работы, беглецы действовали всегда по одной и той же схеме. С самосвала снимали шофера, приехавшего за камнями, три человека забирались в кабину, остальные желающие — в кузов, разогнав машину, таранили ворота и на предельной скорости мчались по дороге. С вышек, окружающих карьер, начинали бить из пулеметов по колесам, конвоиры с вахт строчили из автоматов и пробивали шины, и на помощь из штаба уже мчались на джипах автоматчики. Беглецов снимали с самосвала и били — не очень сильно, так как никаких особых поисков предпринять не пришлось: все разыгрывалось на глазах и без сопротивления со стороны заранее обреченных. Конвой даже радовался: представлялся случай без особых усилий получить поощрение. Беглецов снова запирали в изолятор, и цикл возобновлялся. Я пытался узнать у Воробьева о мотивах применения столь безнадежного способа. Он объяснил, что хочет добраться до Москвы и рассказать Верховному Совету о том, что здесь творится. Во мне это вызывало лишь усмешку. Я сам был неудавшимся беглецом и ошибки других поэтому видел отчетливо. Тот, кто решился на побег с целью вырваться на волю, должен быть готов на все. Если такое состояние не обеспечено, то происходит только игра с самим собой и с лагерным начальством. Несопротивляющихся беглецов, без оружия, при поимке обязательно ловят. Когда беглецы раздобывают автомат и по их повадкам видно, что живыми они не сдадутся, у конвоя и оперативников создается иное настроение, и даже лов может вестись так, чтобы оказаться безрезультатным. Многие считали героями беглецов из каменоломни, и действительно требовалось присутствие духа, чтобы совершить прогулку под дождем пуль. Поэтому для подъема самочувствия заключенных мы использовали эти факты, и свое мнение я высказывал лишь самым близким, без передачи остальным.

По мере того, как бур пополнялся людьми делового образа мыслей, формы побега менялись и становились более разумными и менее безнадежными. Громадный моряк-эстонец Тена и его маленький напарник вскоре после нашего приезда, ночью, после отбоя, удачно нырнули под проволоку, благо собак тогда еще не было, и выскочили из общей зоны. Им удалось переплыть Иртыш и проникнуть за Омск, где они пали жертвами собственной мягкотелости.

Толковые попытки побегов производились с помощью подкопов, которые велись из самого бура, и по такому внутреннему коридору, выводящему за зону, однажды чуть не убежал весь состав буревестника.

Наиболее удачным и остроумным был побег двух зэков во время сильного бурана. За день намело валы спрессованного снега, колючая проволока оказалась занесенной, и зэки прошли по ней как по мосту. Ветер дул им в спины: они расстегнули бушлаты и натягивали их руками, как паруса. Влажный снег образует прочную дорогу: за время бурана им удалось проделать больше двухсот километров и выйти к поселку. Там они спороли тряпки с номерами и смешались с местным населением. Им повезло: то были чеченцы; они оказали им гостеприимство.

Чеченцы и ингуши — близкородственные друг другу кавказские народности магометанской религии. Их представители в огромном большинстве — люди решительные и смелые. Гитлера они рассматривали как освободителя от кандалов сталинизма, и, когда немцев прогнали с Кавказа, Сталин произвел выселение этих и других меньшинств в Казахстан и Среднюю Азию. Гибли дети, пожилые и слабые люди, но большая цепкость и жизненная сметка позволили чеченцам устоять во время варварского переселения. Главной силой была верность своей религии. Селиться они старались кучно, и в каждом поселке наиболее образованный из них брал на себя обязанности муллы. Споры и ссоры старались разрешать между собой, не доводя до советского суда; девочек в школу не пускали, мальчики ходили в нее год или два, чтобы научиться только писать и читать, а после этого никакие штрафы не помогали. Простейший деловой протест помог чеченцам выиграть битву за свой народ. Дети воспитывались в религиозных представлениях, пусть крайне упрощенных, в уважении к родителям, к своему народу, к его обычаям и в ненависти к безбожному котлу, в котором им не хотелось вариться ни за какие приманки. При этом неизменно возникали стычки, выражались протесты. Мелкие советские сатрапы вершили грязное дело, и много чеченцев попало за колючую проволоку. С нами тоже были надежные, смелые, решительные чеченцы. Стукачей среди них не было, а если таковые появлялись, то оказывались недолговечными.

В верности магометан я не раз имел возможность убедиться. В мою бытность бригадиром я выбрал себе помощником ингуша Идриса и был всегда спокоен, зная, что тыл надежно защищен и каждое распоряжение будет выполнено бригадой. В ссылке я был в Казахстане в разгар освоения целины, когда, получив по пятьсот рублей подъемных, туда хлынули представители преступного мира. Парторг совхоза, испугавшись за свою жизнь, за большие деньги нанял трех чеченцев своими телохранителями. Всем тамошним чеченцам он своими действиями был отвратителен, но, раз обещав, они держали слово, и благодаря их защите парторг остался цел и невредим.

Позже, на воле, я много раз ставил в пример знакомым чеченца и предлагал поучиться у них искусству отстаивать своих детей, охранять их от тлетворного влияния безбожной, беспринципной власти. То, что так просто и естественно получалось у малограмотных магометан, разбивалось о стремление образованных и полуобразованных россиян обязательно дать высшее образование своему, как правило, единственному ребенку. Простым людям при вколачиваемом безбожии и обескровленной, разгромленной, почти повсюду закрытой Церкви невозможно было в одиночку отстоять своих детей. Дело кончилось бы обязательной посадкой.

Безвылазно находился в буре подвижник Твердохлебов. Принадлежал он к представителям ушедшей в подполье православной Церкви, называемой на Западе катакомбной. С ним прибыли в лагерь еще несколько представителей тайного братства с каким-то длинным названием, которое начисто отрицало официальную советскую Церковь во главе с патриархом Алексием. О мерзостях, творимых продажными князьями Церкви, они были чрезвычайно осведомлены, громили их как представителей антихриста, слуг безбожных властей и считали себя истинными православными христианами, не признающими никаких новшеств и соблазнов века. Во главе их братства стояли женщина и два ее сына, получившие по двадцать пять лет тюремного заключения. Все они были из рабочих — механики, слесари, шоферы, шахтеры — и до ареста жили в шахтерском Донбассе. На Куйбышевской пересылке их было человек пятнадцать, и я уже там с ними познакомился. Только трое из них попало в наш лагерь. Твердохлебов был высококвалифицированным механиком-монтажником по компрессорам, дизелям, насосам. По ряду его ответов на интересующие меня технические вопросы я понял, что передо мной профессор своего дела.

По приезде в лагерь он категорически отказался:

— нацепить номера, считая их печатью сатаны, оскорбительной для христианина;

— выполнять какие бы то ни было работы, не желая поддерживать власть сатаны;

— принимать пищу с лагерной кухни из-за возможности содержания в ней животных жиров, которые он не употреблял.

Соглашался он брать только сахар и хлеб, а по средам и пятницам хлеб тоже отдавал соседям по бараку. Весь день и часть ночи он проводил в молитве и в размышлениях на духовные темы. Религиозного образования у него не было почти никакого, но поразительной была ясность в понимании и толковании истин христианского вероучения.

Он выдержал несчетное число суток в карцере, достаточных, чтобы свалить быка, и каждый раз выходил оттуда только более сухоньким. К сроку его добавить было нечего, так как он имел уже двадцать пять лет, и, перепробовав весь арсенал принуждения, который разбивался о его могучее упорство, начальство сдалось, и он завоевал право выполнять свои скромные требования. Тогда издеваться над ним и еще несколькими молитвенниками, скорей всего по наущению начальства, начал латыш — дневальный бура. С ним мы справились своими силами, предложив ему уйти с лагпункта, если он не хочет, чтобы его «марванули», и он добровольно попросился в изолятор. Самопосадки в тюрьму тогда начинали входить в моду.

С другим стойким молитвенником бура я познакомился тоже на Куйбышевской пересылке. Он был в подряснике послушника и резко отличался от всех остальных. Расположился он возле двери по соседству с парашей. Мы тотчас предложили ему хорошее место на нарах, но вскоре он вернулся обратно. Днем несколько часов он лежал на своих вещичках, свернувшись калачиком, остальное время и почти всю ночь молился. Видя его молитвенное усердие, отдельные надзиратели предлагали в знак уважения вывести его отдельно на оправку и умывание — случай невероятный, но я слышал это ночью своими ушами. Видимо, он принадлежал к другому ответвлению катакомбной церкви, хотя взгляды его совпадали со взглядами Твердохлебова. Приверженцы последнего не признавали его своим за то, что он самовольно присвоил себе монашеский чин. На его слабенькое, худенькое тело обрушили град тех же пыток и измывательств, но он тоже все выдержал и вышел победителем.

Какой громадной силой должна обладать молитва! Другие — крепкие молодые парни — за десять суток в карцере наживали чахотку, а богомольцев сломить ничем не удалось.

Многие попадали в карцер изолятора по доносам стукачей. Всю осень просидел там по

навету ни за что ни про что наш большой друг Юрий Карбе, обвиняемый в попытке к бегству.

Сверхподозрительность Сталина привела к системе чекистских отделов, каждый из которых стремился охватить общее поле наблюдения и сыска своей отдельной агентурой, то есть стукачами. Ненависть, возмущение, протесты в лагерях можно уподобить пару в котле. В военное время чекистскому отделу МВД удавалось обеспечить подавление заключенных, так как, создавая искусственные лагерные «дела», вымаривали голодом и болезнями лучших, наиболее активных и опасных. Выпуск паров производился непрерывно, и до взрыва дело не доходило.

Очевидцы рассказывали, что в особлагах тоже попробовали заняться фабрикацией выдуманных дел, но из этой затеи ничего не получилось: у большинства уже и так было по двадцать пять, добавлять было не к чему, почувствовать и оценить добавку не могли, а по причине резкого изменения состава следствие превращалось в издевательство над следователями. Кроме того, на остальных такие пробы устрашающего действия не возымели. Выпуск пара был прекращен, а давление в котле чекисты искусственно повышали. Это могло кончиться взрывом. Тогда придумали «буревестники» и начали нажимать на лагерные наказания. Но наказанный мужчина в расцвете лет и сил, с фронтовым прошлым, которое не снилось чекистской саоре и ее охране, быстро поправлялся, выйдя из изолятора, да и в нем питание было сносное. Устроить милую сердцу чекистов доходиловку было невозможно, ибо опытные зэки сразу же резко снизили бы выработку и сорвали бы план треста, добывающего уголь в бассейне Экибастуз. Так поступили в моей бригаде: в ответ на вычеркнутые десятником вписанные работы мы скрытно объявили итальянскую забастовку — почти никто ничего не делал. Прораб всполошился — план стройки затрещал по всем швам. И когда ему пожаловались на десятника, тот получил новую установку: за свой умеренный труд люди начали получать вскоре наибольший паек. Я понял, что в этом с виду страшном лагере у заключенных большая сила.

До весны пятьдесят первого обстановка не изменилась. Чекистские отделы нажимали на стукачей, те выслеживали мелкие нарушения, но крупных поклепов не совершали, так как боялись страшного возмездия. Все же они достаточно портили жизнь, и многие сидельцы изолятора и бура лелеяли мечту по выходе оттуда разделаться на лагпункте с иудами. Давление в котле непрерывно повышалось, состояние явно становилось неустойчивым, и вполне можно было предсказать, пока еще в неясной форме, возникновение вспышек резкого протеста. В воздухе чувствовалось приближение грозы.

Экибастуз в этом состоянии описан Солженицыным в его повести «Один день Ивана Денисовича» сквозь призму воображаемого работяги. Конечно, чтобы полностью описать особлаг, не хватит места даже в книге из десяти глав. И каждая будет посвящена только одному характерному слою населения лагеря, которое можно сгруппировать следующим образом:

— советские воинки: власовцы и пленники;
— партизаны;
— инженеры, а также другие интеллектуалы — люди мысли, искусства;
— молитвенники — протестанты и иные отказчики — и другие сыны катакомбной церкви, а также сектанты;
— рядовые работяги;
— беглецы;
— чеченцы, ингуши, крымские татары, кабардинцы, балкары, калмыки, выселенные из родных мест и попавшие в лагеря;
— бандиты и урканы с политическими статьями (58^{14});
— легионеры и солдаты дивизий СС, немецких и национальных;
— придурки;
— советские и партийные работники;
— стукачи;
— гады: начальство, чекисты, надзиратели, конвой;
— вольнонаемные работники треста;
— активные борцы с чекистским произволом — организаторы центров возмущения.

В 1972 году в Женеве я посмотрел английский фильм «Один день Ивана Денисовича». Мне очень жаль, что я не был консультантом и не смог помочь кинофирме в осуществлении ее прекрасного замысла. Актеры хорошие, режиссер добросовестный, сценарист чересчур старательный. Вот эта старательность и подвела: фильм является робкой иллюстрацией повести, а этого как раз делать не следовало.

В 1962 году повесть явилась прорывом лагерной тематики в советской литературе. Но, чтобы ее опубликовать в советском журнале, взяли соответствующую плату: описание слаженной и быстрой работы бригады каменщиков. Это была первая уступка. Такая работа была возможной и, может, даже имела место, но она была не типичной, не характерной для особлага и, в какой-то мере, даже обидной. В особлаге работали с прохладцей и за процентами выработки не гнались. Первое время усердные работяги прихватывали часть обеденного перерыва, но мы покончили с таким положением насмешками и угрозами. Особлаговец быстро начинал себя чувствовать членом большой зэковской семьи, в которой хоть и не без урода, но замечательных людей тоже хватает, у них есть чему поучиться, их можно и следует послушать.

Второй уступкой было изображение бывшего коммуниста, морского офицера Буйновского в качестве героя-протестанта. Дружную работу перед самым концом смены еще иногда можно было наблюдать, особенно когда деловой цикл требовал завершения, но выходка Буйновского на разводе, где он протестует как коммунист, исключалась в обстановке особлага, ибо означала саморазоблачение — она могла исходить только от сторонника сталинского режима, следовательно, от пособника чекистов. Немногие бывшие коммунисты боялись этого, как огня. О своих коммунистических идеалах, если у кого они и остались, они могли говорить беспрепятственно только в кабинете чекиста, и при этом от них требовали немедленного доказательства на деле искренности их заявлений, то есть превращения в стукачей. В особлаге на это шли далеко не все, а некоторые даже проклинали свое коммунистическое прошлое. Прообразом Буйновского в лагере был капитан второго ранга Бурковский — человек крайне ограниченный, чтобы не сказать глупый. Наши объяснения в одно его ухо входили, а в другое выходили. Хорошо хоть, что он не превратился в стукача, ибо мы его не раз предупреждали. В его голове не могла родиться мысль ни о каком протесте: он был службист до мозга костей и добровольный раб сталинской деспотии.

Приходится слышать упрек, что Солженицын идеализировал Ивана Денисовича. Это неверно, и чтобы это понять, следует разобраться в обстановке. Времена, когда в России были патриархальные крестьянские и рабочие семьи,— в далеком прошлом. Пресс безбожного развала душ действовал на все слои населения, и в первую очередь — на горожан. Несмотря на это, немало горожан оказались более стойкими к пропаганде и направленному на них насилию, чем несчастные жители обезглавленной, исковерканной деревни. Стойкость определялась верой в Бога, умственным развитием, общением с более опытными и развитыми людьми.

Но и в деревне, благодаря ее более обособленному от коммунистического агитационного пресса существованию, имелось также немало хорошо разобравшихся в главном людей. Одним из них был Денисыч. Если Денисычу хватило ума со всеми другими сдаться в плен, когда немцев ждали как освободителей, и убежать от Гитлера, как только стало ясным, что он явился как захватчик, то он догадался бы не рассказывать свою одиссею армейским чекистам по прибытии в советский штаб. Но там его запугали, сличили его показания с другими, дали очные ставки, и пришлось признаться.

Формула Денисыча: «Что не сработано честным трудом, то и не заработано» — несет в себе не только отголосок стародавних времен, но и требования, предъявляемые в любую эпоху к мастеру своего дела. Даже в лагерях, с туфтой и отвращением к рабскому труду, мастер отвечал головой за работу и одновременно кормил себя и подручных. С такой оговоркой эту формулу можно принять как рабочую установку, а не отжившую погремушку. Внутренний мир Ивана Денисовича дан Солженицыным правдиво и типичен для миллионов людей, исковерканных безбожной системой.

Окончание следует

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

К СТОЛЕТИЮ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

КНИЖНЫЙ УГОЛ